

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

СЕНТЯБРЬ

МОСКВА
1939

Уполн. Главлита А—16197.
Сдано в набор 17/VIII—39 г. Подписано к печати 20/IX—39 г.
18 печ. листов 28,6 авт. листов. Тираж 80.000. Зак. 3035.
Технический редактор Е. Т. Верхоробенко.
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская площадь, 5.

Речь по радио Председателя Совета Народных Комиссаров СССР тов. В. М. Молотова

17 сентября 1939 г.

Товарищи! Граждане и гражданки нашей великой страны!

События, вызванные польско-германской войной, показали внутреннюю несостоятельность и явную недееспособность польского государства. Польские правящие круги обанкротились. Все это произошло за самый короткий срок.

Прошло каких-нибудь две недели, а Польша уже потеряла все свои промышленные очаги, потеряла большую часть крупных городов и культурных центров. Нет больше и Варшавы, как столицы польского государства. Никто не знает о местопребывании польского правительства. Население Польши брошено его незадачливыми руководителями на произвол судьбы. Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. В силу такого положения заключенные между Советским Союзом и Польшей договора прекратили свое действие.

В Польше создалось положение, требующее со стороны Советского правительства особой заботы в отношении безопасности своего государства. Польша стала удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Советское правительство до последнего времени оставалось нейтральным. Но оно в силу указанных обстоятельств не может больше нейтрально относиться к создавшемуся положению.

От Советского правительства нельзя также требовать безразличного отношения к судьбе единокровных украинцев и белоруссов, проживающих в Польше и раньше находившихся на положении бесправных наций, а теперь и вовсе брошенных на волю случая. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям — украинцам и братьям — белоруссам, населяющим Польшу.

Ввиду всего этого правительство СССР вручило сегодня утром ноту польскому послу в Москве, в которой заявило, что Советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии.

Советское правительство заявило также в этой ноте, что одновременно оно намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями и дать ему возможность зажить мирной жизнью.

В первых числах сентября, когда проводился частичный призыв запасных в Красную армию на Украине, в Белоруссии и еще в четырех военных округах, положение в Польше было не ясным и этот призыв проводился, как мера предосторожности. Никто не мог думать, что польское государство обнаружит такое бессилие и такой быстрый развал, какой теперь уже имеет место во всей Польше. Поскольку, однако, этот развал налицо, а польские деятели полностью обанкротились и не способны изменить положение в Польше, наша Красная армия, получив крупное пополнение по последнему призыву запасных, должна с честью выполнить поставленную перед нею почетную задачу.

Правительство выражает твердую уверенность, что наша Рабоче-Крестьянская Красная армия покажет и на этот раз свою боевую мощь, сознательность и дисциплину, что выполнение своей великой освободительной задачи она покроет новыми подвигами, героизмом и славой.

Вместе с тем, Советское правительство препроводило копию своей ноты на имя польского посла всем правительствам, с которыми СССР имеет дипломатические отношения, и при этом заявило, что Советский Союз будет проводить политику нейтралитета в отношении всех этих стран.

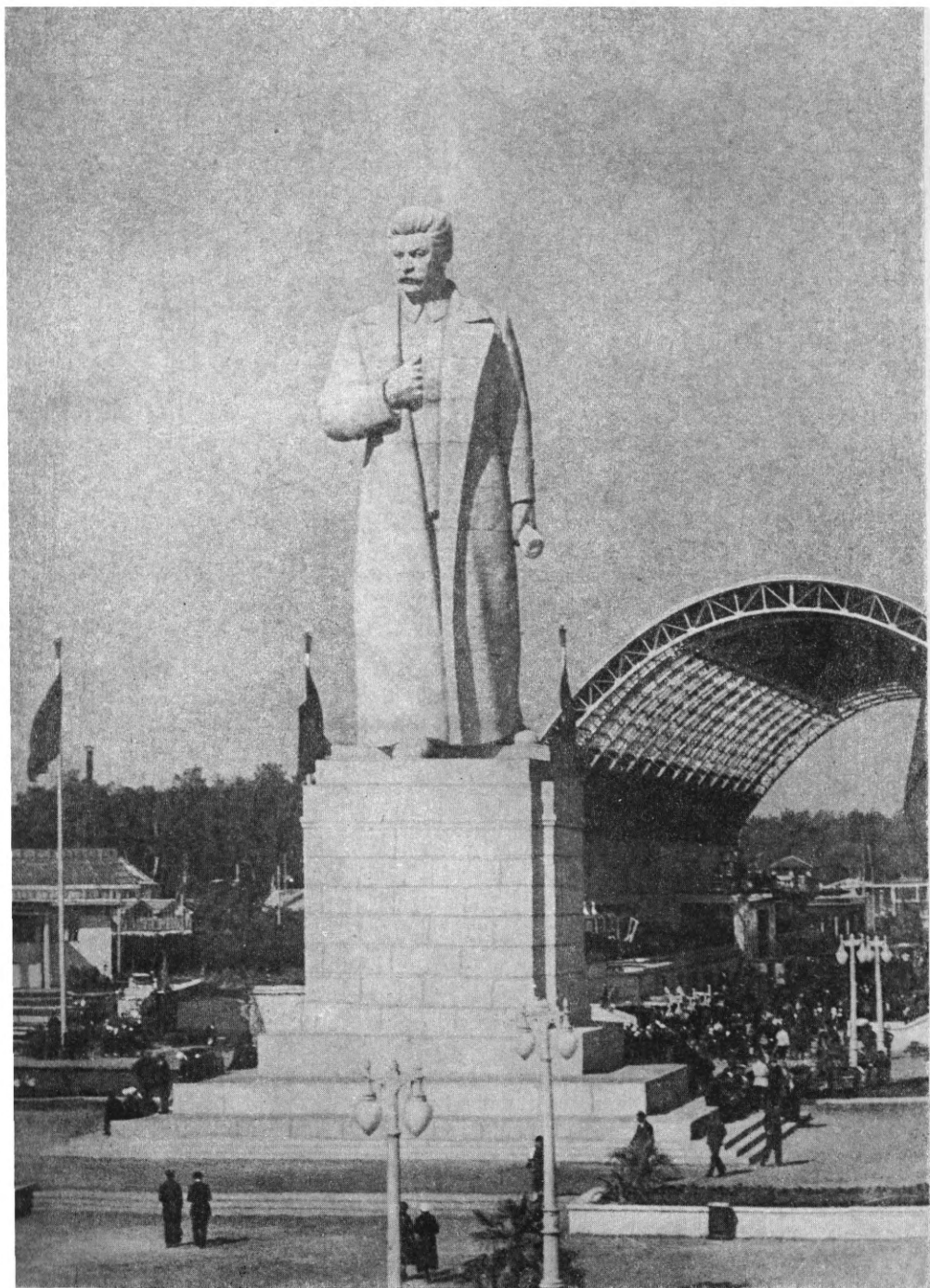
Этим определяются наши последние мероприятия по линии внешней политики.

Правительство обращается также к гражданам Советского Союза со следующим разъяснением. В связи с призывом запасных среди наших граждан наметилось стремление накопить побольше продовольствия и других товаров из опасения, что будет введена карточная система в области снабжения. Правительство считает нужным заявить, что оно не намерено вводить карточной системы на продукты и промтовары, даже, если вызванные внешними событиями государственные меры затянутся на некоторое время. Боюсь, что от чрезмерных закупок продовольствия и товаров страдают лишь те, кто будет этим заниматься и накапливать ненужные запасы, подвергая их опасности порчи. Наша страна обеспечена всем необходимым и может обойтись без карточной системы в снабжении.

Наша задача теперь, задача каждого рабочего и крестьянина, задача каждого служащего и интеллигента, состоит в том, чтобы честно и самоотверженно трудиться на своем посту и тем оказать помощь Красной армии.

Что касается бойцов нашей славной Красной армии, то я не сомневаюсь, что они выполняют свой долг перед родиной — с честью и со славой.

Народы Советского Союза, все граждане и гражданки нашей страны, бойцы Красной армии и военно-морского флота сплочены, как никогда, вокруг Советского правительства, вокруг нашей большевистской партии, вокруг своего великого вождя, вокруг мудрого товарища Сталина, для новых и еще невиданных успехов труда в промышленности и в колхозах, для новых славных побед Красной армии на боевых фронтах.



Площадь Механизации на Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке

ДЕЙСТВИЕ I-е

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Шумит дождь. На темной сцене освещена внутренность сторожки с горящей железной печью. Старик-сторож подкладывает дровишки. Долгий заводской гудок.

Сторож. Шабаш... Да, шабаш.. А есть нечего... Пошабашили...

Чувилев (входит). Печка у тебя топится? Мочи моей нет, Гаврилыч, все кости отсырели...

Сторож. Разогреешься—хуже прозябнешь. Иди лучше домой.

Чувилев. Зубы у меня болят.

Сторож. Зубы болят от голоду, у сытого зубы не болят.

Чувилев. Дома—жрать нечего. Топить нечем. (Садится.) Марья помирает.

Сторож. Марья твоя помирает?

Чувилев. Доктор сказал—питать мясным бульоном. Говорит и сам в глаза глядит, мерзавец, смеется... Хлеба нынче выдали по осьмушке, пятьдесят процентов припека,—как грязь, в руках плывет...

Сторож. Эх, пролетарьят, пролетарьят...

Чувилев. Ну, что—пролетарьят?

Сторож. Вырубили дубину да на свою спину.

Чувилев. Впряглись—надо вытягивать. Народ все-таки двужильный.

Сторож. Кто это—двужильный?

Чувилев. Русские.

Сторож. Сладко птица пела, куда кошка не с'ела...

Чувилев. Тебя, Гаврилыч, кошка не с'ела во-время... Ты видишь—человек упал духом, человек нездоров... Скажи что-нибудь легкое...

(В окошечко стук.)

Не стучи, иду, иду, вот тоже привязался ко мне мучитель... (Уходит.)

Сторож (подкладывая в печку). Это разве дрова... Чурки сырые... Эх, и дров-то нет...

(Входят Саша и Лаврентий.)

Саша. Дедушка, здравствуй... Эх, как у тебя тут тепло... Ну, чисто в бане.. (Садится у печки.)

Лаврентий (мрачно). Саша, походи к вопросу с другой стороны.

Саша. И ведь как это важно: когда тепло—и есть не так хочется.

Лаврентий. Главное—ты выслушай меня... Революция—ведь она же людьми делается?.. Людьми... У каждого человека могут быть и должны быть свои личные дела, пускай даже мелкие...

Саша. Никаких личных дел у меня нет и быть не может...

Лаврентий. Фу ты,—с тобой говорить!.. Так ведь одно же другому не мешает... Я тебя не отрываю от революции... Это основное... Я тебя глубоко, так сказать, ценю, исключительно, так сказать, потому что ты такая горячая, идейная девушка...

Саша. Врешь... Врешь, врешь... Клавдия Зайцева умнее меня во всех отношениях, однако, ты ей про личные дела что-то не поешь...

Лаврентий. Фу ты,—с тобой говорить!.. Да не могу же я каждой девчонке петь... Ну, Клавдии не пою, тебе пою...

Саша. Смотрите, милые мои, даже пар от платья...

Лаврентий. Я не за юбками бегаю—вот это что доказывает. От каждого требуется напряжение всех сил... Правильно?.. А ты меня раскальываешь, ты меня отвлекаешь, ты действуешь, как прямой саботажник... Вот я как ставлю вопрос...

Саша. Мама родная, до чего ты мне надоел... До саботажа договорился... Как мне тебе втолковать: не до того мне, понятно?

Лаврентий. Значит, я должен тебя ждать до построения социализма?

Саша. Да.

Лаврентий. Почему?

Саша. Как почему? Всею свое время. Тогда я сама попрошусь—бери меня с ногами и руками... Лавруша, как

ты представляешь социализм? Нарядное? Электрическое? Веселое?

Лаврентий. В общих чертах — правильно...

Саша. Всюду — тепло, прямо жарко... Все сытые по горло... Работаем мало...

Лаврентий. То-есть как это мало работаем?

Саша. А машины — да ты что! Надела перчатки, семь часов постояла около машины, платочек сняла, халатик сняла — и в клуб, на лекции, в театр... Ой, вот будет жизнь!..

Лаврентий. Правильно... Вот вместе и будем это устраивать... А замуж выходи сейчас...

Саша. Не выйдет, Лавруша... Ну, никак...

Лаврентий. Фу ты... Ну почему, почему?

Саша. А дети пойдут сейчас же? Об этом ты думаешь?

Лаврентий. Почему же, непременно, вдруг у нас пойдут дети? Ну, хотя бы и так... Покуда гражданская война — отдадим их в деревню... А потом возьмем.

Саша. И тебе не стыдно так говорить? Ох, Лаврентий, придется вас, мужиков, здорово перевоспитать...

Лаврентий. Книжная у тебя душа, Санька, один голый политпросвет.

Саша. Врешь... Врешь, врешь, этого ты не думаешь. Душа у меня веселая...

Лаврентий. Хорошо. Согласен. Общение между нами, чтоб были дети и вообще, — это мы отложим... А коренной вопрос — решим немедленно...

Саша. Что нужно? Вот что нужно: ты родила, тебе и забот никаких... Достань мне сейчас соску, — ну достань... То-то... Вот когда у нас все это будет, — тогда с легким сердцем и можно целоваться с таким дурнем, как ты...

Лаврентий. Одно мне понятно, что ты меня окончательно не любишь, Александра.

Саша. Да нет же, наоборот... Лавруша, и ждать тебе не так уж долго...

Лаврентий. То-есть как недолго? С неба свалилась? Четырнадцать

армий одних интервентов... Да Деникин, да Колчак, да сукин кот Юденич... Это все надо разбить... Ей — недолго!.. Года будем воевать. Все пойдем умирать на фронтах...

Саша. Пойдем все, умрем не все. Тебя, Лаврушка, не убьют...

Лаврентий. Это ты откуда знаешь?

Саша (*вздыхнув*). Но это же невозможно представить...

(Пауза.)

Я только удивляюсь, до чего мировая буржуазия — сволочи! Ну, чистые людоеды! Натравить на нас четырнадцать держав! Лавруша, ты на меня не очень обижайся... Я тебе верный товарищ... Если умрем — так рядом... А я верю... Третьего дня, помнишь, Владимир Ильич говорил — почему мы должны победить... И ничего от этих держав, от этих Деникиных, не останется... (*Толкнула локтем Лаврентия.*) Силенки-то у тебя хватит, дяденька?

Лаврентий. Оставь меня, Санька... Тебе — все хи-хи... Дура ты стриженная...

Саша. Врешь... Врешь, врешь, я даже очень умная, ты мне сам это говорил...

(Входит Чувилев.)

Чувилев. Митинг собирают в кузнечном цеху... Лаврентий, махорочки свернуть нет?

Лаврентий. Нет.

Чувилев. Наши ребята приехали с фронта...

Лаврентий. Кто?

Чувилев. Суслов и Михайла Потапов... Оба раненые. Ох, рассказывают, — плохо.

Лаврентий. Идем, Саша. (*Она уходит в сени, он задержался у двери.*)

Сторож. Ну и дождь, — нелегкая сила... Семьдесят лет живу, таких дождей не видано... Эх, пролетарьят, пролетарьят...

Лаврентий. Ты к чему это?

Чувилев. От старости все болтает, да с голоду...

Саша (*снова появляется*). Лавруша, обождем, — двор не перебежать.

Лаврентий. Разговоры эти известны — «таких дождей сроду не видно. Такого голоду сроду не слышно...».

Чувилев. А ты не грозись. Еще мамкино молоко на губах не обсохло... Я на этом заводе родился.. Что претерпел — этого тебе и во сне не увидать... (Страстно.) За что, я тебя спрашиваю, комсомолец, за что мы едим осьмушку хлеба? Эту, что ли, осьмушку мы ждали? Вон они, зубы, во рту шевелятся, как старый плетень,—взять да их к чорту и выплюнуть... Вот тебе хлебная монополия!

Лаврентий. Так...

Чувилев. Нет, не так.. Ты-то уйдешь, когда Деникин в Москву на белом коне в'едет... Ты, гляди, какой здоровый... А я лягу поперек заводских ворот — ступай через меня...

Лаврентий. Так, так... Значит, вот зачем тебя сейчас вызывали...

Саша. Мы видели, товарищ Чувилев...

Лаврентий. Алексей Степанович, давай говорить по-товарищески: тебя сейчас вызывали?

Чувилев. Да.

Лаврентий. Кто?

Чувилев. Один человек.

Лаврентий. С нашего завода?

Чувилев. Нет... Женин родственник. Ну, агроном Семен Говядин...

Лаврентий. А что ему было нужно-то от тебя?

(Чувилев молчит.)

Литературу, что ли, принес?

Чувилев. Я не взял.

Саша. Как воронье, проклятые, слетаются...

Лаврентий. Алексей Степанович, об этом случае я должен говорить в парткоме...

Чувилев. Поздно, друг ситный, поздно... Никакой теперь партком не поможет... С нами и воевать-то нечего, через две недели бери нас голыми руками, кто еще жив остался. Хорошо, может быть, он — подлец, этот мой родственник... Но зачем ему врать? Приехал, говорит, в Москву,—кровавыми слезами оплакиваю революцию.

Что, говорит, вы сделали? Убили вы ее сами — не пулей, не ножом, убили вы ее осьмушкой хлеба. В Самарской, в Пензенской, в Курской губернии, знаешь, как мужики едят-то сейчас? Блины с коровьим маслом жуют нехотя... Жареной гусятиной избы пропали...

Лаврентий. А он тебе не рассказывал, как помещики вернулись, сколько там коммунаров на телеграфных столбах болтается, сколько мужиков шомполами перепорото?

Саша. Правильно, Лавруша.

Чувилев. Это я лучше тебя знаю... Этому я тебя учил, молокосос... И еще я теперь знаю: так ли повернешь, эдак ли повернешь,—рабочему человеку — могила...

Саша. Неправда!..

Лаврентий. Кому-кому, а уж таким, как ты, Алексей Степанович, стыдно так говорить...

(В темноте появляется свет автомобильных фар. Слышны голоса. Быстро входят двое: Грохов — черный бородатый, одноглазый рабочий — и Жмуркин — маленький, светливый, с одной ногой на деревяшке.)

Грохов. Печь топится?

Жмуркин. Тепло, как в бане... Самое верное — покуда соберутся,—давай его сюда...

Грохов. Обсушим...

Лаврентий. Кто приехал, ребята? (Грохов и Жмуркин, не ответив, вышли.)

Саша (глядя в окошко). Открыта машина, какая-то.

Чувилев. Кто-нибудь из Кремля. Ах, боже мой, боже мой... Что теряем, что теряем...

Саша. Да уходи ты с похоронами... Лучше помри ты, чем скулить...

Сторож. Не торопи, сударушка, сами торопимся.

(Входит несколько человек рабочих, среди них Жмуркин и Грохов. Затем входит Ленин, стряхивая мокрую кепку.)

Ленин. Времени у меня маловато, товарищи...

Жмуркин. Сюда, к печке, Владимир Ильич, снимайте пальто, она сразу — жаром возьмет. высохнет...

Грохов. На скамеечку, Владимир Ильич...

Ленин. А, может быть, сразу в цех?

Жмуркин. Ребят надо собрать. Сказали-то про митинг уже после гудка...

Ленин. Кто же так умно распорядился?

Грохов. Да, видишь ты, в комитете-то сейчас никого нет. Зайцева — секретаря — в два часа увезли, — сыпняк. А заместителя его — Жмова — ты знаешь?

Ленин. Ну, а как же...

Грохов. Жмова вчера зашибло...

Ленин. Серьезно?

Жмуркин. Сотрясение мозга...

Ленин. Ай, ай, ай...

Грохов. Как он подвернулся, как это случилось... Входит в сборочную—и ударило его крюком мостового крана.

Саша. Наши комсомольцы ведут расследование: это было сделано умышленно, и мы знаем кем,—человек этот сегодня не вышел на работу...

Ленин (*смотрит на нее, смотрит на рабочих. Присаживается на табуретку*). Надо смотреть в оба, товарищи... Враг мобилизует все силы... Ваш завод работает на оборону,—вывести вас из строя—значит ударить по Красной армии...

Грохов. Нас из строя не выведешь, Владимир Ильич. Было бы у нас угля досыта,—в три бы смены работали...

Жмуркин. У нас бы руки, ноги были целы,—в одну бы смену три смены нажуровали... Комсомольцы нас здорово выручают, но и те — на очереди, на фронт... Остаются чуть-что не одни инвалиды, хоть на ярмарке показывай: один кривой, другой хромой... Вот Чувилев — его же ветром шатает...

Ленин. Алексей Степанович, присаживайтесь. Здоровье плохо?

Чувилев (*который стоял до этого вдалеке*). Здравствуйте, товарищ Ленин... Нет, я постою... Не в здоровье дело... Запутался я, Владимир Ильич.

Ленин. Распутаем. На то они и узлы, что бы мы их, большевики, распутывали...

Чувилев (*подходя ближе*). Владимир Ильич, не верю я в победу советской власти...

Ленин. Вот это уже нехорошо.

Чувилев. Ты меня знаешь давно... Прожил я честную рабочую жизнь. Пулю ношу с Красной Пресни и цынгус с Якутска... И нынче я пошатнулся, Владимир Ильич... (*Засопел.*)

Ленин. Дай руку... Садись... (*Жмет ему руку.*) Товарищи, я давно дружу с Алексеем Степановичем... Удостоверяю, что он честный человек... Пусть он нам расскажет, мы с ним поспорим принципиально... Только честный человек, товарищи, может быть принципиальным человеком... Рассказывай нам про свои болезни...

Чувилев (*садится рядом с ним*). Владимир Ильич... Когда в пятом году дрались на Пресне, тогда у нас все было впереди... Не страшно было, что нас развезли, раскидали по тюрьмам, по ссылкам... Тогда мы сознавали, что революция впереди и в резерве весь народ...

Ленин. Резервы! Вот, вот, вот... Попал в самую точку...

(*Входит еще несколько рабочих, среди них двое прибывших с фронта, только что перевязанных, — Сулов и Потанов.*) Здравствуйте, товарищи... Ты хочешь сказать: революция совершилась, силы у нашей революции израсходованы и надеяться нам больше не на что? Тяжбу с империализмом мы должны проиграть? Так я тебя понял?

Чувилев. Именно... Это я хотел сказать.

Грохов. Есть такое сомнение среди нас, скрывать нечего...

Жмуркин. Мы не отступаемся Владимир Ильич,—помирать или что другое — это не в счет... Но уж больно на нас навалились со всех сторон. Боимся не сдюжим.

Ленин. Вполне понимаю вас, товарищи... Но международная обстановка и наша — внутренняя — не дают нам никакого основания думать, что не сдюжим... Сдюжим... (*Смеется.*)

Лаврентий. Правильно.

Ленин (*Чувилеву*). Давай считать: какие резервы у Англии, у Франции? Какие резервы у белых?

Чувилев. Владимир Ильич, у них оружия наготовлено на тридцать миллионов солдат...

Ленин. То — оружие. А я тебя спрашиваю о резервах. Из оружия должен стрелять человек. Где эти люди, которые в нас должны стрелять?

Чувилев. Постой, ты не сбивай меня... Я начал с чего...

Ленин. А почему я тебя буду не сбивать, — мы же с тобой деремся.

Лаврентий. Правильно.

Ленин. Побеждает на войне тот, у кого больше резервов, то-есть больше источников силы и выдержки в народной толще... Согласен?

Чувилев. Это — точно... Но ведь голыми-то кулаками тоже много не навоюешь...

Ленин. А кто тебе сказал, что у нас голые кулаки?

Чувилев. А как же?

Ленин. Вспомни-ка, прошлой весной войска Англии и Франции не смогли нас разбить... А уж куда как были страшны: и дредноуты, и пушки, и танки... И ничего у них не вышло, потому через головы этих войск мы протянули руку к их резервам — к трудящимся Англии и Франции. Мы отвоевали у этих войск их резервы. Получился конфуз...

Жмуркин (*Чувилеву*). Ихний пролетарьят-то, понимаешь, — с нами заодно...

Ленин. Англичане и французы сели на свои дредноуты и уплыли из Архангельска и Одессы. А ты говоришь у нас кулаки голые...

Лаврентий. Владимир Ильич... Значит, у этих гадов резервов для войны с нами нет?

Ленин. Нет, в том-то и дело... Англичане решили теперь задушить нас чужими руками... Черчилль напускает на нас своих вассалов: Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву... «Грязная, мутная волна большевизма будет задавлена», — так деликатно выражаются англичане...

Чувилев. Все на одного... Так куда же тут...

Ленин. И даже сроки назначили: Петроград должен пасть в октябре, Москва — к рождеству, и Россией будет управлять смешанная комиссия под военной диктатурой...

Грохов. Это как же так?

Чувилев. Спасибо, ободрил ты нас. Владимир Ильич...

Ленин (*смеется*). Я же говорю об их предположениях. Наши — совсем другие...

Жмуркин. Ага! Вот слушай теперь...

Ленин. Эти маленькие государства, которые Черчилль натравливает на нас, всерьез думают о демократических свободах и независимости, обещанной им совсем не всерьез английскими и французскими капиталистами... Они связали эти маленькие страны всякими договорами и векселями, и теперь Черчилль жестко потребовал оплаты: марш военным походом на Москву!

Чувилев. О, господи! Час от часу не легче...

Ленин. Но независимость-то Польше, Финляндии, Эстонии, Латвии и остальным — кто дал?

Лаврентий. Мы дали...

Жмуркин. Без аннексий и контрибуций...

Ленин. Независимость им дали мы, большевики, бесплатно. И гарантировали им независимость. Что им делать теперь? Выполнять волю зверского кредитора — итти воевать с большевиками, гарантируемыми им независимость, или — со всякими извинениями и поклонами в сторону Англии — помочь нам своим нейтралитетом...

Жмуркин. Нейтралитет! Значит — ни тпру, ни ну! Самое милое дело!

Грохов. И дешево, и сердито.

Ленин. Вот, вот, вот...

Чувилев. Послушаешь тебя, Владимир Ильич, — все ясно... Да так ли? Когда мы из Гельсингфорса уходили, эта финская буржуазия, кажется, нас живьем бы сожрала...

Жмуркин. А в Варшаве... Польские паны, как драконы...

Лаврентий. Товарищи, дайте докончить мысль товарищу Ленину.

Ленин. И ненавидят нас, большевиков, и живьем готовы с'есть... Не это решает дело... На земле есть только две силы, которые могут определить судьбы человечества... Международный капитализм. Если он победит — он проявит себя бесконечными зверствами... Бесконечными зверствами...

(Пауза.)

Другая сила — международный пролетариат, борющийся за социалистическую революцию. Буржуазия маленьких стран, которым мы дали независимость, качается, как маятник, направо и налево; с одной стороны, зверская пасть международного капитала, с другой — большевики, хоть и ненавидимые, да бескорыстные... И, как всякая буржуазная демократия, они изберут «золотую середину», сядут между двумя стульями — изберут нейтралитет...

Лаврентий. Это положение товарища Ленина я подтверждаю...

Грохов. Кто тебе дал слово? Чего ты высказываешь?

Ленин. Правильно высказывает. Прошлой весной мы отняли у Англии и Франции их резервы, теперь отнимаем их малые народы, которыми Европа от нас отгородилась. Таким образом, Алексей Степанович, резервов у Англии и Франции для войны с нами нет.

Лаврентий (Чувилеву). Ага! А ты — не верю...

Ленин. Видишь, и проясняются кое-какие выходы из тяжелого положения. Остаются белые, из них на данный момент наиболее опасный враг — Деникин. Тут уже Англия и Франция денег не жалеют, — снабжают его щедро и амуницией и оружием, благо залежалых запасов с империалистической войны осталось много. Но вот главное: — благополучно у Деникина с резервами?

Чувилев. У Деникина?

Ленин. У Деникина точно так же неблагополучно. Крестьянство поднимает в тылу у Деникина партизанские восстания, потому что он тащит за собой

помещика. Крестьянство резервов Деникину не даст...

Лаврентий. Не даст...

Жмуркин. Мужик-то? Мужик ему не подсобит. Мужик долго думает, примеривается... А уж он решил...

Грохов. А ты с ним говорил?

Саша. Товарищи...

Ленин. А мы довели на сегодняшний день численность Красной армии до двух с половиной миллионов. Это значит, что у нас резервы есть и резервы неисчерпаемы. Несмотря на все трудности, крестьянство идет с нами... Из двух всемирных сил крестьянство сознательно и безоговорочно выбирает силу пролетарской революции. Это значит, что революция победит...

Лаврентий. Правильно!

Саша (Ленину). Моя мама — сельская учительница, конечно...

Ленин. И ваша мама подтверждает...

Саша. Подтверждает. Кроме, конечно, Матюшкиных, Самсоновых, Карнауховых, которые кулаки у нас на селе... Как услышали, что приближается Деникин, — сто двадцать мужиков у нас записалось добровольцами в Красную армию...

Ленин. Это чрезвычайно важное свидетельство, товарищи. (Вынимает карандаш, листочек бумаги.) Село ваше — как называется?

Саша. Дубовка, Воронежской губернии.

Ленин. В селе есть комсомольская организация?

Саша. Владимир Ильич... Мама пишет: «В комсомольском комитете повесили дощечку: «Комитет комсомола закрыт, все уши на фронт». Мама хотела, конечно, тоже записаться в комсомол, но она совершенно седея, и ее в комсомол не взяли...

Лаврентий. Ну что ты чушь по-решь...

Ленин (записывая). Чрезвычайно интересно...

Сторож (берет с печурки вскипевший чайник, наливает в стакан, подает Ленину). А ты чайку выпей.

Ленин. Спасибо, не хочу...

Сторож. А ты худой стал. Летом-то лучше был. Выпей чайку.

Ленин. Ну, спасибо.

Сторож. А я все думаю — подкашивается пролетарьят.

Саша. Да будет тебе, бабушка.

Чувилев (*окружающим*). Восьмушка хлеба потому мне была горька, что в нее пролетариат уперся, как в миглу...

Грохов. Опять он про эту осьмушку!..

Чувилев. Теперь я этого моего родственника, агронома Говядина, не то что вытряхну из дома, сукиного ко-та, — я его сведу в Чеку.

Жмуркин (*Суслову и Потапову*). Чего робеете, ребята, он вполне свой человек... Докладывай...

Суслов. Владимир Ильич... Очень бьют нас белые...

Потапов. Очень они хитры, Владимир Ильич..

Ленин. Так, так, так...

Суслов. Против их генералов наши главкомы не вытягивают. Наши соберут коллегия и давай вертеть вопрос, куда вертят — белые где-нибудь нас обойдут и — давай... Бойцы понимают, что на фронте каша. Зубами скрипят... Обоянь могли бы не отдавать — отдали... Отчего? Волокита, прямой саботаж... Чорт их знает, что за люди?

Потапов. Паники не надо, Суслов, говори фактически, Владимир Ильич сам сделает вывод...

Сторож (*который уходил и вернулся*). Весь завод собрался.

Ленин (*Суслову и Потапову*). После митинга поговорим... По окончании — идите прямо к моей машине. (*Всем*.) Товарищи, мы должны поднять вопрос о поголовной мобилизации всей страны. Советская республика должна стать единым военным лагерем не на словах, а на деле... От всех, от всех, товарищи, нужен немедленный и необычайный подьем энергии. Нужно собрать все силы самопожертвования и героизма... И мы победим...

Лаврентий. Товарищ Ленин, один вопрос...

Саша (*Ленину поспешно*). Он хочет спросить: что делать конкретно, скажем, нам, девушкам?

Ленин. Когда женщина берет ружье и идет драться, силы народа удваиваются?

Саша. Удваиваются...

Ленин. Больше того... Военная разведка, культурное обслуживание фронта и тыла? Это все ваши задачи... Энтузиазм! Вот, что несет с собой советская женщина, дерущаяся за социалистическую революцию...

Саша. Понятно... Благодарю вас...

Ленин. Пожалуйста, пожалуйста. (*Уходит вместе со всеми, кроме Саши и Лаврентия.*)

Саша (*возмущенно*). Я прямо как на огне горела — вот выскочит, вот ляпнет Владимиру Ильичу: скоро ли, мол?

Лаврентий. Помолчи на этот раз. Ты на митинге сейчас внесешь предложение от комсомола, чтобы нам выступить на фронт сегодня ночью.

Саша. Сегодня ночью?

Лаврентий. Испугалась?

Саша. Дурак! Я к тому — как же на фронт-то в юбке?

Лаврентий. Очень хорошо: пойдешь прямо в разведку.

Саша. Ох, ты какой! Мужественно заговорил...

Лаврентий. Ты же меня перевоспитываешь...

(*В дверь врывается Жмуркин — прямо к телефону.*)

Жмуркин (*вызывает*). Кремль... Дежурного. Товарищ, говорит с вами рабочий механического завода... Ну да... У нас в парткоме телефон испорчен... Товарищ Ленин велел передать, что через час будет... (*Вешает трубку.*) Ребята, катастрофа... Примчался мотоциклист из Кремля — мой приятель, — рассказал мне секретно... Деникин — вот только-что, куда мы сидели тут — разговаривали... Деникин взял Орел...

КАРТИНА ВТОРАЯ

Орел. Площадь перед вокзалом. Холодный рассвет, во мгле—очертания водокачки, разбитых паровозов. Огни, путаница порванных проводов. Направо вокзал с выходом на площадь. Висит трехцветный флаг. Налево заколоченные лавки. Здесь расположились уличные торговки и молочницы. Среди них Саша в платочке, с корзинкой. На площадь вываливается с путей толпа солдат, рассыпается между торговками. Слышен проход войск, музыка. Из вокзала выходит поручик Бабочкин.

Бабочкин *(кричит юнкерам)*. Очистить площадь! Вот сволочи! Сказано — нельзя сюда, значит нельзя. Не понимают русского языка, — коли их штыками...

(Возня, шум, давка. Юнкера очищают площадь от торговок.)

Бабочкин. Экая орава!.. Господа юнкера, для чего вам даны винтовки, я спрашиваю?.. Задержать вон того — с гусем... Экая рожа!

(Из толпы вырываются две торговки, бегут снова к путям.)

Бабочкин. Нельзя, нельзя... Пошли отсюда, пошли, проклятые...

Первая торговка. Как это мы проклятые?

Вторая торговка. Кто это нас проклинал?

Первая торговка. Монополию отменили — давай свободу.

Вторая торговка. Не грози штыком-то.. Не смеешь нас гонять с места на место... Мы — буржуазия...

Первая торговка. Надел погоны... Погонщик нашелся...

Вторая торговка. Ты укажи, где нам торговать по закону?

Бабочкин. Сказано: для уличной торговли отведена городская площадь, туда и ступайте... Вообще, немедленно проваливайте отсюда к чертям...

Первая торговка. Ах ты, сволоч, сам иди на площадь.

Вторая торговка. Ты сначала сними со столбов, кого вы там повесили.

Первая торговка. Страсть какая! Вороны-то всего города слетелись! Эх, вы бесстыдники...

Бабочкин *(хватается за кобуру)*. Но, но! Помолчите, как бы вам самим не повиснуть!

Первая торговка. Убивают! *(Визжит, бежит.)*

Вторая торговка. Батюшки, убивают! *(Визжит, бежит.)*

Бабочкин. Бабы проклятые! *(Уходит на вокзал.)*

(Сцена на минуту пуста. Справа и слева появляются Лаврентий и Саша.)

Лаврентий *(одетый мещанином, подмышкой гусь)*. Саша...

Саша. Лавруша...

Лаврентий *(подходит)*. Где же ты третьи сутки пропадаешь?

Саша. Здорово я тебя нашел... Вот какое дело, слушай...

Лаврентий. А я уж и не знал, что думать... *(Берет ее ладонями за лицо.)*

Саша. Ты слушай...

Лаврентий. Жива, ну это самое главное...

Саша. Подпольный комитет дал чрезвычайное задание... Ты слушай...

Лаврентий. Слушаю, слушаю... *(Целует ее в голову, в щеки.)*

Саша *(вначале даже не замечая этого)*. Они очень довольны твоей работой... Твои сведения об эшелонах и номерах полков отосланы в главный штаб... Теперь вот какое задание... *(Возмущилась, оттолкнула его.)* Да ты просто мерзавец!..

Лаврентий. Дано чрезвычайное задание, слышал...

Саша *(от возмущения громко дышит)*. Нынче ночью кутеповцы обошли одну нашу часть и взяли пленных... Попали наши товарищи... Worse всего — попал Алексей Степанович Чувилев...

Лаврентий. Вот старый хрен! Как же это он?.. Саша, дрянная история... Фу ты, какая скверная история...

Саша. Нужно их выручить... Видишь — на запасном пути вагон, переключенный мелом...

Лаврентий. Вижу...

Саша. Они там, девять человек, я выяснила — и Алексей Степанович там.

Лаврентий. Тогда, пожалуй, выручим..

Саша. Справишься, Лаврентий?

Лаврентий. Железнодорожники подсобят... Сейчас здесь ждут генерала Кутепова. Будет парад войскам. крестный ход и всякая петрушка... Вагон мы подцепим паровозом и — за семафор... Беда — дежурный офицеришка тут все крутится... Он разве помешает...

Саша. А как его убрать?

Лаврентий. Как убрать? Придумаем...

Саша. Ладно, офицеришку я на себя возьму...

Лаврентий. То-есть как это на себя возьмешь?

Саша. Офицера уберу, будь покоен...

Лаврентий. Ох, Санька, не зарывайся...

Саша. Ну, иди, иди к вагону, иди, Лавруша.

Лаврентий. Постой, чего у тебя в корзинке-то?

Саша. Как чего? Пирог продаю.

Лаврентий. Дай пирожок... Саша...

Саша. Очумел! Мне их в разведке выдали...

Лаврентий. Ну, дай один, ну, верно же со вчерашнего дня не ел.

Саша. Знаешь, тебе нужно еще очень здорово подтягиваться...

Лаврентий. Ладно, воспитывай, воспитывай.

(Входит Степан, пожилой мужик с кнутом. Саша уходит.)

Степан. Говорили — вольные цены, а гоняют, торговать не велят. Здесь-то можно, что ли, стать с возом? Чего? Тут бы аккурат телегу и поставил и — милое дело. Чего?

Лаврентий *(ест пирожок)*. Ставь, ставь...

Степан. Но?.. Ты здешний?

Лаврентий. Здешний, здешний...

Степан. Торгуешь?

Лаврентий. Торгую...

Степан. И ничего? А чем торгуешь-то?

Лаврентий. А тебе какое дело? Гуся продаю.. *(Идет по направлению к путям.)*

(Степан идет за ним.)

Степан. А мне гвоздей страсть как надо... Где бы достать, здешний человек? Чего? Кабы не эта нужда, разве бы я сюда поехал за полсотни верст...

(С вокзала опять входит Бабочкин.)

Бабочкин. Опять базар! Пошли на площадь!

Степан. Ваша честь, да там неспособно.

Бабочкин. Ты еще разговаривать! Экая рожа! *(Коротко, как кот лапами, норовит ударить Степана по щекам.)*

Степан *(отстраняясь)*. Осторожнее, ваша честь, так задеть можно.

Лаврентий *(вспыхнув, едва сдерживаясь)*. Ну-ка, оставьте руки, господин освободитель...

Бабочкин. А ты кто таков? В морду хочешь?

Лаврентий *(мрачно)*. Не советую, как бы чего не вышло...

Бабочкин. Покажи-ка документы...

Лаврентий. На гуся, что ли, вам документы?

Бабочкин. Не шутить! *(Вынимает револьвер.)* Документы!

Степан. Батюшки! Где теперь управу искать, ведь так весь народ перепугают...

Бабочкин. Показывай...

Лаврентий. Честное слово — неужто я дома забыл...

(До этой минуты Саша стояла вдалеке, исподлобья наблюдая. Когда Бабочкин вытащил оружие, она быстро подошла к нему.)

Саша. Господин офицер... Господин офицер...

Бабочкин. Опять! Что я вам говорю, чертовки!..

Саша. У меня деньги вытащили, ей-боженьки, один человек... Вот туда побежал... Что я дома скажу, убьют меня...

Бабочкин. А зачем зевала?

Саша. На вас засмотрелась, господин офицер... А он, окаянный, хватъ,— кошелька и нет... Поймайте его, пожалуйста...

Бабочкин. Я не стражник, а гвардейский офицер, понятно тебе?..

Саша. Наверно, вы — корниловец, такой отважный...

(Лаврентий и Степан скрываются.)

Бабочкин. Глупая, я — дроздовец. *(Указывая на пути.)* Вон — корниловец, у него на рукаве — лавровая ветвь, а тот — марковец — имеет на погонах букву «М». А тебя как зовут, хорошенькая?

Саша. Да Катя же. Ой, что я дома скажу?

Бабочкин. Слушай... Да ты просто красавица. Притти к тебе можно?

Саша. Не знаю... Лучше мне в воду головой...

Бабочкин. Я приду... Деньги у меня найдутся и все будет в порядке. Чего боишься?

Саша. Скажите — парад будет?

Бабочкин. Как только приедет генерал, сейчас же начнется парад.

Саша. А когда он приедет?

Бабочкин. Ждем. А что?

Саша. Ну, уж ладно... Тогда идемте сейчас...

Бабочкин. Не могу сейчас, Катя... Понимаешь, я дежурный... Сейчас же после парада... Ты где живешь?

Саша. Ну, вы обманете, я знаю...

Бабочкин. Ничего ты не знаешь, глупая... Бегом прибегу... Слушай... На той неделе мы должны взять Москву... Можете служить молебны. Мы, дроздовцы, дали клятву — войти первыми, с музыкой и получить приз в миллион рублей. Деньги будут — заплатить за твои пирожки. И коммунистам заплатим за их пирожки. На кремлевских стенах воткнем бревна и повесим всех жидов, коммунистов и интеллигентов. Заживем шикарно... Что твой Орел, Катя... Найму тебе квартиру в Москве...

(Звуки рожка. Подходит поезд.)

Комендант *(бежит по путям)*. Взвод! Шагом марш!

(Появляется взвод юнкеров, отбивая шаг, идет к классному вагону.)

Смирно! Равнение направо! На караул!

(Взвод берет на караул. На площадке вагона показывается Кутепов.)

Саша. Ой, это кто?

Бабочкин. Этого ты на всю жизнь запомни. Это генерал Кутепов, народный герой. Ты уходи лучше, уходи... Когда начнется парад, я прибегу сюда... Ты не обманешь? Будешь ждать?..

Саша. Приходите, только скорее...

(Саша уходит. Кутепов спускается на перрон. За ним из вагона выходит губернатор, несколько военных и англичанин с фотоаппаратом.)

Кутепов. Здорово, орлы!

Взвод. Здравия желаем, ваше превосходительство!

Кутепов. Солдаты! Господа офицеры! Поздравляю вас с крупнейшей победой: взят Орел. А там, с божьей помощью, падет и Тула... Могу вас порадовать: есть приказ главнокомандующего — новый год встречать в Москве...

Взвод. Ура!

Кутепов. Красные банды панически отступают по всему фронту... Наши верные союзники, окрыленные нашими победами, идут дальше в оказании нам военной помощи: только на-днях лорд Черчилль заявил о походе на Совдепию четырнадцати держав...

Взвод. Ура!

Кутепов. Орлы! Приказываю вам: не щадя сил и крови,— вперед, на Тулу!

Взвод. Ура!

(Кутепов со всей свитой выходит с вокзала на площадь.)

Комендант *(коменданту)*. Василий Васильевич, где же депутаты от населения?

Комендант. Торжественная встреча и парад войскам назначены около кафедрального собора. Здесь тесно, грязно.

Кутепов. Вышла неловкость. С нами корреспондент английских газет.

Комендант. Тогда прикажете согнать народ к вокзалу?

Кутепов. Оставьте...

Англичанин (*фотографируя Кутепова с группой военных*). Маленькая пауза...

Кутепов (*позируя — коменданту*). У меня сведения, что мужики не торопятся везти вам хлеб, и торговое население боится открывать лавки.

Комендант. Так точно, это есть, ваше превосходительство.

Кутепов (*губернатору*). Александр Федорович, вы получаете в ведение неспокойную губернию. Не нужно забывать, что большевики как-никак дали мужикам землю. Это много значит для темного крестьянина. Мужик не ищет идеалов. Мужик, в особенности великоросс, испорчен революцией.

(*Из боковой кулисы показываются первая и вторая торговки.*)

Комендант (*кивнув на них*). Поручик Бабочкин...

Бабочкин (*делает в сторону торговки падающее движение*). Пошли!..

Кутепов. Оставьте их...

(*Корреспондент направляет аппарат на торговки, которые глядят на него, как злые крысы.*)

Кутепов. Одними только виселицами вы еще не приведете население в православную веру... Соль и керосин, господа! Дайте населению соль и керосин по сходной цене и тогда вейте из него веревки...

(*Торговки кидаются к Кутепову.*)

Первая торговка. Мы с жалобой...

Вторая торговка. Мы честные торговки...

Первая торговка. Нам не дадут торговать. У нас товар гниет.

Вторая торговка. Это что ж? Поставили здесь цепного кобеля... Сейчас заголюсь — покажу синяки, как он дерется...

Первая торговка. На площадь нас гонят, а туда народ близко-то подходить боится...

Англичанин (*фотографируя Кутепова и торговки*). Небольшая пауза.

Кутепов (*торговкам*). На площади повешены большевики, мертвые большевики для вас менее страшны, чем живые... Разрешаю вам торговать около вокзала... (*Коменданту*.) Василий Васильевич, неправильно, неправильно... Торговым людям нужно дать свободу торговли. Население должно почувствовать всю пропасть между красным раем и законным порядком. Не забывайте, господа, эти честные торговки — наши верные помощницы на нашем страдном пути...

(*Во время этой сцены появляется между дощатыми палатками Лаврентий, Кутепов указывает на него.*)

Кутепов. Ну, вот вам еще один тип, видать по роже — добрый, честный российский обыватель... Это все наши друзья, Василий Васильевич, наш тыл и наши резервы... Подойди-ка, братец... Торгуешь?

Лаврентий. Торгуем...

Кутепов. Гуся продаешь?

Лаврентий. Гуся продаю.

(*Англичанин его фотографирует.*)

Кутепов. Почему же твой гусь?

Лаврентий. Тысяча рублей.

Кутепов. С ума сошел! Болван!

Лаврентий. Нынче свобода торговли...

Кутепов. Тысяча рублей за гуся! Да он и десяти рублей не стоит... Гусь! Мерзавец!.. Ты должен был бы даром отдать гуся твоим избавителям, скотина... Стоит тебе вбить ума в задние ворота.

Лаврентий. Нельзя меня бить, я сын священника...

Кутепов. Пошел прочь, животное!.. Да, Александр Федорович, вам придется немало здесь положить трудов. Русский народ забыл бога и совесть... Устройте крестный ход, что ли... Предложите духовенству вести нравственные собеседования с населением.

Степан (*пятит задом телегу между лавками*). Тпру, назад, нечистая сила...

Кутепов. Ну вот, господа, вы говорите, что мужики не желают везти нам

продовольствие. *(Подходит к возу.)*

Здорово, братец...

Степан. Здравствуйте.

Кутепов. Ты откуда?

Степан. А из деревни Хомяковки...

Кутепов. Что привез?

Степан. Да мелочь — горох, пшено...

Кутепов. Молодец, хвалю. Почему продаешь?

Степан. Цены настоящей не знаю, спросить не у кого: один я на весь Орел и торгую.

Кутепов. Почему другие крестьяне не выезжают?

Степан. Почему?

Кутепов. Я тебя спрашиваю.

Степан. Не желают, стало быть..

Кутепов. Не желают! Как вообще у вас в деревнях: рады, небось, что коммунию-то мы у вас кончили? Что?

Степан. Да как тебе сказать... Разное говорят.

Кутепов. Разное говорят! Эх, ты, Гомоля, Гомоля... Решпублика! *(Резко.)* Ну! Гляди мне в лицо, сукин сын. Красный?

Степан. Что вы, помилите... При чем же я красный... Привез пшено, горох, изволите сами убедиться... Кабы не гвоздей фунтика четыре — разве бы я поехал на такую страсть... *(Вынимает из кармана.)* Вот сальца шматок, это сейчас могу продать, вещь, само собой, не дешевая...

Кутепов. Да ты понимаешь, зверь, от кого мы тебя спасли? Кто на твоей шее сидел? А он сальце продает?! Как стоишь, когда с тобой разговаривают? Снять шапку!

Англичанин *(фотографируя их)*. Маленькая пауза...

Кутепов. Нельзя ли этого англичанина в буфет, что ли, отправить... Избавьте меня от его присутствия... *(Англичанину.)* Благодарю вас, мистер Куинтвинч... *(Оборачивается к коменданту и губернатору.)* Это чорт знает что, господа! У вас здесь публичный дом! Когда лучшие сыны отечества не щадят своих жизней, вы не в состоянии навести порядок в тылу... Разгильдяйство! Попустительство!

Комендант. А ва-ва...

Кутепов. Молчать! Потрудитесь сесть под арест на пятнадцать суток. *(Губернатору.)* А вам, ваше сиятельство, советую поменьше пить коньяк и побольше работать... Идемте, господа...

Комендант. Ваше превосходительство, что делать с пленными? Там еще остались...

Кутепов. Не понимаю вашего вопроса...

Комендант. Слушаюсь. *(Бабочкину.)* Прикажите, чтобы вывели и кончили... И догоняйте нас...

Бабочкин. Слушаюсь...

(Бабочкин бежит в сторону путей. Кутепов со свитой уходит. Торговки усаживаются с корзинами около разбитых лавок.)

Саша *(появляясь на минуту из-за угла вокзала)*. Лаврентий... Лаврентий...

Лаврентий *(появляясь со стороны путей)*. Беда... Не успеем...

Саша. Что же нам делать?

Лаврентий. Я с конвоиром поговорю....

Саша. Поговори.

(Оба исчезают.)

Степан *(около воза)*. Горох, горох... Пшено, пшено...

Первая торговка. Курочки горячие, курочки...

Вторая торговка. Молочко топленое...

Первая торговка. Яички каленные...

Вторая торговка. Творог, творог...

Степан. Эка, раскричались бабы на весь базар... Спекулянтки.

(Со стороны путей появляется со связанными руками несколько пленных, раненых красноармейцев, среди них раненый Чувилев. Их конвоирует солдат в погонах.)

Солдат *(кричит)*. Ваше благородие! Ваше благородие! *(Пленным.)* Ну, стой, ну, останьись же, бессознательные! Смирно! При побеге буду стрелять...

Чувилев. Запарился, сердечный?..

Солдат. Ну да, запаришься с вами, дьяволами... Третью партию гоняю... Да не смеешь ты со мной говорить! Молчи!

Чувилев. Я... молчу... Нас, что же, расстреливать будете, или как?

Солдат. А ты что думал, маленький?.. Коммунистов — стрелять, остальных сдам в тюрьму. Там разберут. Тьфу ты, чорт! Поручик должен мне печать поставить... Куда его унесла нечистая сила... Ваше благородие!

(Появляется Лаврентий.)

Чувилев. Хлопот, вижу, тебе много... За что же ты хлопчешь-воюешь, служивый?

Солдат. Как за что воюю? Да не смеешь ты со мной говорить, молчи и все...

Чувилев. Наградят тебя за твои труды здорово...

Солдат. Да, наградят!..

Чувилев. Крестьянин, что ли? Откуда? Пензенский?

Солдат. Ну, пензенский. Ну, самый ты что ни на есть вредный человек, чего ты ко мне привязался?

Чувилев. Вижу — мужик хороший, а неосознательный... Ведешь нас расстреливать, а уж помещик тебя поблагодарит... Землишку твою возьмет, покуда ты здесь хлопчешь, покосы, луга возьмет же обратно. Вернешься, повоевавши — и нет ничего: одна коза на приколе... Сломали вы советскую власть, спасибо вам...

Солдат. Мобилизованный я, понятно тебе, коммунист? Присягу я принял... Куда я подамся!.. Молчи, говорю тебе... Слушай, человек...

(Лаврентий подходит.)

Ты здешний?

Лаврентий. Тебе отойти, что ли, нужно?

Солдат. Ага, милый человек, может, ты их покараулишь? Ну, если убегут, я тебя из-под земли достану — застрелю... Положь гуся, отдай его вот этому пленному. Я слетаю, только вот печать приложу.

Лаврентий. Это что же, все коммунисты?

Солдат *(сочувственно)*. Коммунисты все до единого, вот беда-то...

Лаврентий. Иди, не бойся...

Солдат. Не могу винтовку тебе оставить... Ну, да ты — здоровый. *(Пленным.)* Стань в затылок, никаких шевелений. *(Уходит на вокзал.)*

Лаврентий *(Чувилеву)*. Резво бежать можешь?

Чувилев. В плен попал! Лаврентий! Куда я от срама своего побегу.

Бабочкин *(появляясь из вокзальных дверей)*. Поручик Правдухин!.. *(Останавливается, увидев пленных.)* Это еще что такое? Где охрана? Куда делся конвой?

(Со стороны лавок к нему быстро идет Саша.)

Саша. Послушайте... Офицер...

Бабочкин *(кидаясь к ней)*. Катя! Да, да... Сейчас, сейчас...

Саша. Идемте.

Бабочкин. Да, да... *(Глядит на пленных.)* Поручик Правдухин...

Саша. Ну, что же вы, идете...

Бабочкин. Да, да... Нужно сдать дежурство... Поручик Правдухин...

Лаврентий. Вам что — покараулить их, что ли, нужно? Я покараулю, идите спокойно, ваше благородие...

Бабочкин. А! Это ты — поповский сын с гусем... Бред какой-то...

Саша *(тянет его за рукав)*. Не хотите, как хотите. Идемте...

Бабочкин. Пойми, ведь за это же под суд... Поручик Правдухин... Вот свинья!..

Саша. Не хотите, я не уговариваю. *(Отходит.)*

Бабочкин. Катя, Катя, Катя... *(Убегает за ней.)*

Лаврентий *(пленным)*. Рассыпайся... Чувилев, лезь в телегу...

Степан. Лезь, я прикрою.

(Пленные исчезают. Чувилев лезет в телегу. Степан накрывает его соломой.)

Степан. Ну, нечистая сила! *(Хлещет по лошади, уезжает.)*

Солдат *(выходит из вокзала, глядит на пустую площадь)*. Тьфу, ты, ядрена шишка! Так я и знал...

(Вдали слышен малиновый звон.)

ДЕЙСТВИЕ II-е

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Кабинет Ленина в Кремле. Ночь. Ветер. Дождь в окна. У стола Ленин разговаривает по телефону.

Ленин. ...Плохо слышно... Где обнаружены раз'езды Кутепова? Под Мценском? Что в штабах? Очень плохо слышно... Продолжаем отступать? Девятая и двенадцатая армии тоже отступают?.. Вы слышите меня, Серго? Завтра будет принято решение... До свидания... *(Вешает трубку. Погружается в чтение листов рукописи. Звонок телефона. Берет трубку.)* Да, Орел оставлен. Да, противник продвигается к Туле... Не катастрофичное, но трудное... Архивы? Я не понимаю — какие архивы? Правительства... Если бы даже бои шли в предместьях Москвы, я бы точно так же считал нашу победу обеспеченной... А мысль об эвакуации — трудностью и преступлением...

(Вешает трубку. Снова читает. Легкий стук в дверь. Ленин встает и открывает. Входит Сталин, — у него трубой свернутая карта, газета и письмо.)

Ленин. Прочел.

Сталин *(со сдержанным волнением)*. Прочли? Я принес пятиверстку...

Ленин. Очень хорошо. Давайте-ка, давайте-ка... *(Раскладывает карту на столе.)* Звонил Серго.

Сталин. Он прислал записку — нарочным. Очевидно, звонил о том же... *(Подает Ленину письмо.)*

Ленин. По последней сводке — раз'езды Кутепова — под Мценском...

Сталин. Это паника штаба фронта, — их там нет... А вот любопытно, Владимир Ильич... *(Показывает газету.)*

Ленин. Это что — «Таймс»?.. Портрет Деникина.

Сталин. Подпись: царь Антон... Новая династия...

Ленин. Царь Антон... Англичане его уже коронуют?

Сталин. Собственно, царю Антону они оставляют Московию в границах семнадцатого века... Из морей — только Белое, как замерзающий порт.

Ленин. Премудрые англичане! Так, они же, слушайте, бродят по истории, как бараны в потемках, сталкиваясь лбами... Боятся диалектики, как собственной могилы...

Сталин. В основном, статейка направлена против Японии, претендующей на Сибирь по Урал включительно. Англичане настолько уверены в нашем разгроме, что начинают ссору из-за дежа.

Ленин. Ведь этакая чисто английская откровенность!.. На что русскому народу столько земли?.. Потеснится, ничего, — русский народ только и ждет провожать царя Антона в Троицу на богомолье...

Сталин. На самом деле здесь намечены все основания для будущей мировой войны.

Ленин. Поглупела, поглупела после войны эта самая буржуазия. Большевиками испугана до умопомрачения.. Сердится, торопится, ускоряет события... Вот тут-то мы и будем ее бить, с расчетом, по плану... После этой кровавой статейки Финляндия, Эстония, Латвия уж, конечно, ни под каким видом не выступят против нас... Благодарю, милорды! Англия от злости и страха потеряла дипломатическую ловкость. Факт. Вот что плохо: наши армии могли бы сейчас не отступать... Причина ясна, — вы совершенно правы... *(Перебирая листки.)* Совершенно правы, товарищ Сталин...

Сталин. Хотя бы сведения о Кутепове... В Орле он натолкнулся на серьезное пассивное сопротивление. Крестьяне не повезли ему хлеба...

Ленин. Так это правда?

Сталин. Правда... Кутепов заговорил уже о керосине и соли... Обнимается с торговками на площади... Кутепов и весь Деникин держатся тем, что военное руководство Троцкого смотрит на Красную армию только, как на средство... И смотрит на крестьянство, как на пушечное мясо. Владимир Ильич, Красная армия хочет драться. Весь вопрос в руководстве... Владимир Ильич, прочтите письмо Серго...

Ленин (*наклонясь к свету лампы, читает*). «Я проехал по штабам армии и пишу вам из штаба фронта. Я увидел что-то невероятное... Что-то граничащее с предательством, какое-то легкомысленное отношение к делу, абсолютное непонимание серьезности момента. Штаб фронта — это балаган».

Сталин. Серго постеснялся вам написать всеми словами...

Ленин. ...«Среди частей создано строение, что дело советской власти проиграно, — все равно ничего не поделаешь... Где же эти порядки, дисциплина и регулярная армия Троцкого?.. Как он допустил дело до такого развала?..».

(*Порыв ветра, в окно снаружи ударяет чем-то тяжелым и мягким.*) Это ветер их гонит на свет — московских ворон... (*Ходит вместе со Сталиным.*) Развал... Чорт знает, что такое!..

Сталин (*сдержанно, уверенно, влагая всю силу страсти в эти слова*). Вопрос идет о днях, даже о часах...

Ленин. А полушубки и сапоги так-таки попали к Кутепову?..

Сталин. По непонятной причине эшелон был пущен на Орел, один из корниловских полков оделся в наши полушубки... И даже поблагодарил по телефону...

Ленин. То же с огнеприпасами...

Сталин. То же с огнеприпасами по «непонятной причине»...

Ленин. Завтра я предложу ваш план ЦЕКА. Повидимому... Я уверен... (*Перебирает листки.*) Военный план Троцкого в том, чтобы, уклоняясь от ударов под Москвой, произвести рейд в глубокий тыл Деникина, и тем самым отвлечь силы Деникина от Москвы.

Сталин. Это не военный план, — скверный анекдот. План Троцкого неминуемо отдает Москву Деникину. Нажмите Деникину на глубокий тыл, — в ответ он всеми силами ударит по Москве и только... Нажмите на один конец качающейся доски, другой конец подскочит, чем сильнее нажать, тем сильнее ударит.

Ленин. Вы предлагаете — создать

ударную группу и начать с разгрома Кутепова под Орлом...

Сталин. Мы должны создать немедленный перелом на главном фронте. Мы должны перейти в наступление на главные силы Деникина, идущие на Москву, уничтожить его лучшие ударные части... Наступать — лобовым ударом. Когда солдат революции наступает, это ему понятно: он пробивает себе дорогу к будущей жизни, она у него на острие штыка. Социализм для него так же осуществим, как урожай будущего года.

Ленин (*остановился*). Правильно... Это вы сказали хорошо.

Сталин. Когда его заставляют отступать неизвестно почему и куда, рядом нет умного политического комиссара, он брошен на произвол штабных неурядиц, — боец понимает одно: революцию продают, социализм продают... Единственный понятный лозунг Красной армии: вперед! Отступления она знать не хочет...

Ленин. И тем более преступно, чудовищно...

Сталин. Наступать будем не по отвлеченным географическим линиям, но по дорогам классово-стратегии. Наступать во всю глубину деникинского клина через Донецкий бассейн на Ростов. По этому плану наши армии будут двигаться в родной нам среде донецкого пролетариата. Он даст нам резервы и всякую помощь. Мы получаем важнейшую железнодорожную сеть и основную артерию, питающую сейчас Деникина. Мы рассекаем армию Деникина на две части: добровольческую оставляем на с'едение Махно и партизанам, а казачью ставим под угрозу захода в тыл. Мы получаем возможность поссорить казаков с Деникиным. Мы получим донецкий уголь, а Деникин остается без угля.

Ленин. Товарищ Сталин, какие были бы ваши условия?

Сталин. Если мой план будет принят?

Ленин. Если ваш план принят...

Сталин. Это хорошо... Признаться вам, Владимир Ильич, я был несколько взволнован... Я поеду на фронт,

если Троцкий не будет вмешиваться в дела фронта... Троцкий не должен переступить границы фронта... Это мое первое условие... С фронта должны быть отозваны люди, которых я считаю непригодными, и заменены новыми людьми, которых я считаю способными выполнить задачу. Это мое второе условие...

Ленин. Ударная группа для разгрома Кутепова создается из частей Четырнадцатой... А политическое руководство?

Сталин. Серго Орджоникидзе...

Ленин. Очень хорошо... ЦЕКА мы соберем... *(Взглядывает на часы)*. Часика через три-четыре... Вы знаете — никто не спит в эти ночи... Да... Вы совершенно правы... Еще и еще вливать рабочих в Красную армию, выдвигать их в комиссары... Вот тут-то и протаскивается социализм в повседневное поведение каждого бойца... *(Предупреждает движение Сталина, протянувшего руку к коробке спичек)*. Осторожнее. Дайте, я сам... *(Зажигает)*. Я уже наловчился. Эти спички необыкновенно опасны, головки отскакивают и прямо в глаз...

Сталин. Спасибо.

Ленин. И — когда в штаб, в Серпухов?

Сталин. Немедленно... Я хотел бы уже выехать в конце ночи... Владимир Ильич, вы бы все-таки пошли отдохнуть...

Ленин. Вот ваш вид мне мало нравится. У вас большое лицо... С «казенным имуществом» нужно обращаться бережно... Идемте на кухню, там что-нибудь перекусим. Карту возьмем с собой... Значит, весной пахать будем уже по всей стране...

Сталин. Владимир Ильич, дайте пожать вам руку. Поразительна сила оптимизма в народе... И в вас...

Ленин. И я вас уверяю: в десять-пятнадцать лет мы уложимся... Без чудес... Творческие силы народа тысячелетия накапливались в ожидании этого часа...

Сталин. А часы идут медленно... Хочется подтолкнуть маятник...

(Зазвонил телефон. Сталин берет трубку.)

Серпухов... Опять Серго.. Это я у телефона, Сталин... Серго, говори громче... Партизанские восстания? В тылу Кутепова? *(Обернувшись, Ленину)*. Партизанские восстания в тылу Кутепова...

(Ленин поспешно подходит к столу и берет вторую трубку. Оба молча слушают.)

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Деревня. Около избы стоят — председатель сельсовета 35-летняя женщина Василиса, муж ее, хилый мужик Мартын, несколько пожилых крестьян, среди них Степан. Грохот пушечной пальбы. Все обернулись, слушают.

Мартын. Это что же! Конец, мужики?..

Степан. Ай, ай, ай... Здорово заседают...

1-й крестьянин. Помещики... Дорвались до своего...

Мартын. Аминь советской власти!.. Эх, мать честная!

Василиса. Мартын, не говори много...

Степан *(Василисе)*. Сама видишь, кума... Куда нам подаваться? Нам, старикам, итти некуда... Горюй около своего двора, где весь век горевал... Так,

что ли? Эх, ребята, не подсобили мы во-время...

1-й крестьянин. Да ведь темнота же, господи... Лучину жжем.

Василиса. Погодите хоронить... Вон теперь откуда стреляют... Ничего еще не известно...

1-й крестьянин. А ведь это, пожалуй, наши...

Василиса. Наши...

2-й крестьянин. Наши и есть...

Василиса. Спокойно, товарищи... Продолжаем... *(Степану)*. Ты начал говорить...

Степан. Только я выехал, воз-то я поставил... Как он на меня наскочит... «Вгоняй,— говорит,— мужику ума в задние ворота...».

Мартын. Ой... Это кто же так?

Степан. Генерал Кутепов — мне... Скотину,— говорит,— не будем так бить, как будем бить мужика... Аж трясется...

Мартын. Василиса... Да ты слушай, что он говорит... Какая теперь советская власть... Кончена твоя власть...

Василиса. Мартын, не говори много...

Мартын. Чего Мартын... Я ведь не робкий... Мартын... Жена ты мне... Должна слушать и — все...

(Опять удар орудия. С шипением пролетает снаряд.)

2-й крестьянин. Из эдакой страсти да по мужикам...

1-й крестьянин. Я год кричу: дайте нам агитатора... А теперь — вилами, что ли, воевать?..

Степан. Василиса, бери мужа, уходи...

Мартын. В лесок, в болото, где гнилая часовня... Святое дело... Переждем, обтерпимся...

Степан. Раз ты — советская власть,— разговор короткий...

Мартын. Запорют?

Степан. Запорют.

1-й крестьянин. Шомполами...

Василиса. Ну, ладно скрежетать... Нет, мужики... Вы меня избрали... Вы меня слушайте... Мы есть советская власть. Декреты мы читаем, слава богу, не по складам... Темнойот отговариваться нечего... А — раз взяли власть — отдавать ее некому, кроме бога...

Мартын. Что!.. А ты надоедаешь — бога нет, бога нет...

Василиса. А как бога нет — власти отдавать некому.

1-й крестьянин. Разумно...

Василиса. В болото я не побегу... Власти моей не отдам, хоть рви мне горло зубами...

Мартын. И не спросят тебя — разорвут горло.

Василиса. В третий раз предупреждаю, Мартын, не говори много. Хлеб-

ную монополию мы попробовали. Трудно? Трудно. Но — власть наша. и земля наша. Кутепова попробовали? В селе Троицком женщин, заголя подолы, пороли прутьями... И весной они будут пахать опять исполу княжескую землю... Нет, мужики, искать нам нечего, кроме советской власти.

(Удар орудия.)

2-й крестьянин. Вон он опять как бабахнул...

1-й крестьянин. Беспощадно.

Степан. Ну, а дальше-то что?

Василиса. А дальше вот что... Бросьте, что вы старые мужики... В октябре — брали власть — были вы не стары... И ты, Степан, не хуже молодого отмахал пятьдесят верст в Орел... Для этого ты не стар — горох Кутепову возить...

Степан. Ой, что ты, кума... Да кабы не гвоздэй мне надо...

Василиса. Я все знаю, все записываю... *(Снова удар, полет снаряда.)* Это все пустое, мужики,— больше одной смерти не бывает... А неволя хуже смерти...

Степан. Да мы рады, что ли, неволе-то... Дура ты...

Василиса. Мне персонально известно — у кого припрятаны винтовки...

Степан. Очумела! Где у нас винтовки!..

Василиса. У тебя — под печкой, у Герасимова на погребнице зарыта, у Щедрова — в подполье две винтовки...

2-й крестьянин. Все знает...

Василиса. Кто еще войдет в Хомяковку... Войдут белые — не давать им ни куренка, ни корки хлеба... Сдохнут они не своей, так своей смертью... Берите винтовки, бегите по дворам: скотину, птицу — прятать... И прятать не в риге или в баньке, — это глупость! — а гнать на болото... И баб, и ребят туда же. А мы станем партизанить...

Степан. Уж тогда, кума, надевай галифе, шпоры...

Василиса. И надену...

Степан. Баба в шпорах... Вот тебе — советская власть...

Василиса *(вытаскивая из кармана бекши револьвер)*. Ты, что — на-

род смесишь?.. Ты чью руку держишь?

Степан. Легче, легче... Не махай мне перед носом-то...

Василиса. Понял? Казню и не отведу!

Степан. Да молчу я, ну тебя к свиньям...

Василиса. Я могу принять команду. Голосовать будем или подчиняетесь без голосования? *(Утвердительно.)* Согласны...

Мартын. Да чего мы согласны-то?

Василиса. Третье предупреждение получил, Мартын, теперь объявляю тебя вне закона.

Мартын. Ох...

Степан. Это, брат, не матерком пугнуть: без закона — законного-то...

(Близко винтовочные выстрелы.)

Степан. Ей все — митинг, митинг... Вот и дождались...

Василиса. Мартын, выноси оружие... Спокойно, мужики... Мартын скорее...

(Входят с винтовками Чувилев, Лаврентий и Саша в мужском платье.)

Саша. Стой, что за люди?

Лаврентий. Руки вверх...

Чувилев. Товарищи, вы за кого? Опустите руки. А, Степан! Пшено, горох... Здорово, спаситель...

Степан *(своим)*. Это — наши... Это — пролетарии. Здорово, Чувилев.

Чувилев. Что вы собрались — песни, что ли, петь?.. Али сдаваться бейлым?

Василиса. Товарищи, мы партизанам...

Чувилев. Вот это хорошее дело. Самое правильное, старички... А молодежь где же у вас?

Василиса. Молодежь в Красной армии.

Чувилев. Сколько вас?

Василиса. Девять человек.

Чувилев. Солидно... Саша, помнишь, что Владимир Ильич говорил? Только, ребята, военную позицию выбрали вы неудачно...

2-й крестьянин. Товарищи пролетарии... Мы-то хотим драться...

1-й крестьянин. Вас только и ждали... Растолкуй нам теперь...

Чувилев. Потолковать — с удовольствием... Давай сядем...

Лаврентий. Алексей Степанович, ты же на разведке, с ума сошел. К четырем часам приказ — дать сведения.

Чувилев. Дай передохнуть, покурить, — у меня же ноги старые, короткие... Сверну, закурю и пойдем... Мужички, правильно вы поступаете... Коммунисты вам сейчас много не обещают. Даже просто вам тяжело с нами, и тяжело будет еще некоторое время, покуда не изгоним врага... Но обещаем вам главное, что никто не даст...

Василиса. Это я им каждый день повторяю, Алексей Степанович. Слушают они меня, отвернешься — опять у них колебания...

Чувилев. Отчего же у вас колебания, мужички? Давайте повернем вопрос со всех сторон...

Саша. Алексей Степанович, докурим, пойдем...

Чувилев. Вот, — красноармеец, лучший в полку разведчик... Девка, честное слово... *(Мужики развеселились, голоса: «Девка, и то — девка, какая задорная...».)* Ей сам бог велел с этим парнем естественно целоваться, миловаться... Нет, — надела штаны, воюет, проливает свою нежную кровь за ваше мужицкое счастье... Вот в чем сила у нас, коммунистов... В убеждении, мужички...

Василиса. Совершенно правильно...

Саша. Алексей Степанович, им слушать тебя некогда, мы же на самой линии огня...

Чувилев. Вот тут-то и надо разговаривать. Иди, Саша. иди, Лаврентий, я вас догоню у околицы...

Василиса. Алексей Степанович, скрывать нечего. Вон он... Хорошая-то изба... Вон — в окошечко поглядывает мироед. Давеча — ожидали белых — он уже и лампы зажег и бороду расчесал. Его они боятся. Вот через что у них колебания...

2-й крестьянин. Давеча из окошка мне грозит: «Ужо, — говорит, — поговорим, краснозадые...».

1-й крестьянин. Весь мир с'ел, хуже, чем на помещика, на него работаем.

Степан. Он нас душит,—ладно. А вот ты с Василисой нас рассуди... Давеча напугала меня наганом: «Казню,—говорит,—не отвечу...». Мало ей хлебной монополии?.. Вы, говорит, розно живете. Будет, говорит, в Хомяковке у нас артельное хозяйство...

Василиса. Будет.

Чувилев. Эту красавицу вы, мужики, слушайте, это и есть советская власть...

(Отчаянная стрельба. Крики. Вбегает девочка.)

Девочка. Тетенька Василиса... Казак!.. У Тетеркиных на дворе грабят, право слово!.. Куры так и взлетают... Баран ногами бьет... Поросята визжат... Тетериха посреди двора без памяти как брякнется, право слово.

(Из избы появляется Мартын с оружием.)

Лаврентий. Сколько их?

Девочка. Четверо, а то — шестеро, право слово. Страсти!

Лаврентий. Ребята, давай, давай, на подмогу...

Василиса. Мужики, разбирайте оружие.

Степан. Кума, у меня на гумне пулеметик спрятан,—сбегать, что ли?

Василиса. Не виляй, бери винтовку.

Степан. Можно и винтовочку, конечно.

Лаврентий. Четверо заходи по задмам...

Степан *(беря винтовку)*. Ну, Кутепов,—в душу, в веру, в мать... Идем ребята!

Василиса *(девочке)*. Ты тут посиди тихонько. Я сама с ними схожу.

Лаврентий. Ползком, товарищи. Не обнаруживай себя...

Саша. Товарищи, берите их живыми...

(Все уходят, торопливо, пригибаясь.)

Мартын *(возится с винтовкой)*. Сейчас я, сейчас!.. Заела проклятая...

Это разве винтовка,—это игрушка... Что я сделаю с голыми руками?

Девочка. Дяденька Мартын, лучше тут постой, боязно. А я лучше посмотрю... *(Влезает на крышу сарая.)*

Мартын. Конечно... Двор кому-нибудь беречь в таких делах надо... У ней там печать... Документы по всей избе раскиданы...

(Выстрелы, крики.)

Девочка *(на крыше)*. Пымали, право слово, одного пымали. Ой, ой, ой... Дяденька Мартын, страсти! Дерутся, как молотобойцы, право слово... Шапки летят,—брык один, брык другой. Ой, ой, ой... Один закатил по улице... *(Выстрелы.)* Человека убили...

Мартын. Нашего?

Девочка. Ихнего... Другого пымали... Право слово... Ведут...

(Взволнованные голоса. Входят Лаврентий, Саша, Чувилев, Василиса, Степан—они волокут двоих человек, казака и кавалериста.)

Казак. Не надо, хлопцы... Пожалуйста, не надо... Мы же подневольные...

Степан. Грабить вас тоже неволили, сволочи, бандиты!

Казак. Простите нас, Христа ради... Мы голодные, озябшие. Сами не рады...

Степан. Голодные! Щеки на наших курах раз'ел... Стервятник!

Мартын *(кидается)*. Кончай их, ребята! И — все!

Василиса. Мартын!

Мартын. Чего Мартын... У меня, знаешь, расправа короткая...

Чувилев *(Мартыну)*. Так, товарищ, не годится. Надо организованно. *(Чувилев, Лаврентий и Василиса садятся на завалинку. Мужики держат пленных. Саша записывает.)* Революционный закон — справедливый закон. Суровый закон, но большевики не мстят... *(Пленным)*. Ай, ай, ай... Ну были бы вы офицерами или купчишками... Пойманы за грабежом... Женщину избил в кровь... Деникинцы!.. Сколько вам Черчилль платит за это безобразие?

Лаврентий. Алексей Степанович. у нас времени мало.

Чувилев. Ну, допрашивай, допрашивай...

Лаврентий (казаку). Какой части?

Казак. Усть-Медведицкого регулярного казачьего полка, третьей сотни казак Воскобойников, Кондратий Варсонофьевич... Мобилизован против желания.

Чувилев. Врет!

Казак. Никак нет. Согнали плетью с печи... Могу присягнуть, что сочувствую революции.

Чувилев. Ну, врет. Как тебе, в глаза глядеть не стыдно...

Казак. Никак нет, не стыдно, господин товарищ.

Чувилев. Для тебя я действительно господин товарищ. Наемник! Отечество продаешь, садовая твоя голова...

Лаврентий. Разведчик?

Казак. Так точно.

Саша (кавалеристу). А вы — какой части? (Тот хрипит.) Не понимаю, яснее.

Казак. У него же сифилис, он только хрипеть может.

Саша. Казак?

Казак. Какой он к чорту казак. Бандит обыкновенный. Их у генерала Мамонтова целый полк. Пускают их в прорыв специально — грабить. Его расстрелять, ваше благородие, он сам спасибо скажет...

(Кавалерист хрипит.)

Чувилев. Слышите, товарищи? Вот эти идут с оружием на советскую власть! Эдакие храпуны, куродавы... Извольте видеть — против диктатуры пролетариата!

Лаврентий. Алексей Степанович, время крайне ограничено.

Чувилев. Допрашивай, допрашивай, дружок...

Лаврентий (кавалеристу). Крестьянин?

(Тот хрипит.)

Казак. Помещик он. Их весь полк из Екатеринославщины. Это мы, Усть-Медведицкие казаки, сидим на скуд-

ных наделах, а у них — по двести, по триста десятин чернозему... Анархисты они, дьяволы... Одни — с батькой Махно, другие — у нас. В общем, все бандиты... Расстрелять его — милое дело.

Кавалерист (хрипит). Гадюка, сволочь...

Лаврентий. Усть-Медведицкий полк — в составе корпуса Мамонтова?

Казак. Так точно, товарищ командир.

Лаврентий. Каким образом Усть-Медведицкий полк оказался на левой стороне Дона?

Казак. Так мы же ваш фронт прорвали...

Лаврентий. То-есть как прорвали наш фронт! Когда?

Саша. Знаешь, что тебе за ложные показания?..

Казак. Никак нет, на правде могу крест поцеловать.

(Стрельба, крики «ура!». Входят Солодухин, командир полка и комиссар.)

Лаврентий. Товарищи, станьте в порядке, на фронте инспектор.

Солодухин (с картой в руке). Теперь они, сволочи, не прорвутся! Понятно тебе? (Командиру полка, указывая на карту.) Река, хутор, овраг, наша батарея... Бросай сюда кавалерию. Тут им, сукиным котам, — гибель. В реке — гибель. В овраге — гибель. На хуторе напорются на пулеметы. Отступают сюда, — тут ты их и рубай. Иди... По коням!.. (Командир поспешно уходит, Солодухин смотрит в бинокль. Крики: «По коням!». Топот кавалерии.)

Девочка (с крыши). Человек, лезьте на крышу, здесь виднее...

Солодухин. Сейчас к тебе влезу... (Оборачивается.) А это что за войско?

Василиса. Партизане деревни Хомяковки.

Солодухин. А кто командир? (Василиса замаялась, смугилась.)

Степан. Она же и командир.

Солодухин. Почему не в бою?

Василиса. Не успели еще...

Степан. Военную подготовку проводим...

С а ш а. Товарищ инспектор, они взяли пленных, получены важные сведения...

С о л о д у х и н (*подходя*). А! Усть-Медведицкие казачки! Мародеры?

К а з а к. Так точно... Никак нет. У села Борщёва переправились через Дон всем корпусом генерала Мамонтова.

С о л о д у х и н (*берет его за мундир, глядит в глаза*). Что ты сказал?

К а з а к. Так точно... Генерал Мамонтов нас, можно сказать, плетями гнал через Дон... Никого, говорит, не боюсь, одного я боюсь — казака Буденного...

С о л о д у х и н. Буденного?..

К а з а к. Так точно... Встреча с ним нежелательна. Корпус наш, значит,

имеет движение — сюда, а он давит отсюда.

С о л о д у х и н (*обращаясь к комиссару*). Что за чертовщина! (*Казак*.) Буденного там быть не может...

К а з а к. Как не может быть! Ни на шаг не отстает. Мать честная, не во сне же мы его видели...

С о л о д у х и н (*комиссару*). По моим сведениям, Буденный получил приказ Троцкого уходить на юг. Неужели он решил по-своему? Свяжись... Проверь... (*Комиссар уходит*.)

С о л о д у х и н (*казак*). Показывай, где перешли Дон?.. (*Развертывает карту*.) Не брехать!..

К а з а к. Вот туточки...

ДЕЙСТВИЕ III-е КАРТИНА ПЯТАЯ

Серпухов. Штаб фронта, расположенный в больнице. Кабинет Сталина. За столом — Сталин. У телефона — начальник штаба Арбузов, на стене — карта. За дверями — трескотня машинисток.

А р б у з о в (*по телефону*). Да. Серпухов. Реввоенсовет. У телефона начальник штаба Арбузов. Хорошо. Доложу. (*Кладет трубку. Сталину*.) Солодухин. Вернулся с фронта, через пять минут привезет последние сведения разведки.

С т а л и н. Продолжайте.

А р б у з о в (*в руках у него лента*). То, что наши третья и восьмая бригады заняли Орел, могло бы означать начало перелома... Но Кутепов не дал себя уничтожить под Орлом, заблаговременно вывел свои части и в то же время перешел в наступление на Кромы. Вчера Кромы заняты дроздовцами и корниловцами.

С т а л и н. Таким образом, одна часть нашей ударной группы наносит удар на Орел, другая в противоположном направлении на Кромы! Получается неопределенность?

А р б у з о в. Так.

С т а л и н. Группа раздваивает свои силы?

А р б у з о в. Так.

С т а л и н. Выполняет группа свое прямое назначение?

А р б у з о в. Нет.

С т а л и н. Не выполняет. Передайте Серго по прямому проводу.

А р б у з о в (*пишет*). ...Члену Реввоенсовета Четырнадцатой Серго Орджоникидзе...

С т а л и н (*диктует*). «...Противник быстро вскрыл наличие на фронте вашей ударной группы и приложил все старания, чтобы рядом обходных движений и ударов сбить ее с заданного направления, рассредоточить ваши силы, растолкать вашу группу по частям и бить вас поодиночке... Что ему и удалось...» (*Повторяет про себя*.) Что ему и удалось...

А р б у з о в. Два раза?

С т а л и н. Зачем? Неприятность не нужно говорить два раза. (*Диктует*.) «Ваша ошибка должна быть исправлена. Смысл ваших операций в том, чтобы приостановить движение белых на север, к Туле, и перейти в контр наступление. Для этого вы должны собрать полки в одну группу, сжать их в кулак и истребить лучшие полки Кутелова. Я повторяю — истребить, ибо речь идет об истреблении».

Арбузов. Исторический приказ, товарищ Сталин.

Сталин. Зачем так говорить... Листок бумаги — это еще не история. История будет после.

Арбузов. Справедливо, справедливо.

Сталин. Ударная группа Серго разобьет лучшую пехоту Добровольческой армии. Но у них остается конница Мамонтова и Шкуро, — для нас столь же неприятный противник. *(Обернулся к карте.)* Где сейчас корпус Мамонтова? Он находился на правом берегу Дона...

Арбузов. У товарища Солодухина последние сведения. *(У двери.)* Могу его позвать?

Сталин. Пожалуйста.

(Арбузов идет к двери, открывает, сейчас же входит Горюхин, predisполкома, полнокровный и развязный, в штатском.)

Арбузов. Товарищ... Виноват... Вы к кому?

Горюхин. Председатель исполкома, товарищ, председатель исполкома, надо знать...

Арбузов. По какому делу?

Горюхин. Товарищ, я председателем...

Сталин. Это я его вызвал... Товарищ Горюхин?

(Арбузов уходит. Горюхин подходит к Сталину.)

Горюхин. Ну да, в чем дело, товарищ?

Сталин. Вы ставите полушубки и валенки для армии?

Горюхин. Да. Лично я подписал договор с товарищем Кузнецовым. Можете спать спокойно, товарищи, армия будет обута и одета.

Сталин. Какая армия?

Горюхин. То-есть что значит какая?

Сталин. Две недели тому назад в ваши полушубки и валенки оделся Корниловский полк.

Горюхин. Вранье... А все может быть... Насчет этого спрашивайте с товарища Кузнецова, наше дело — сдать.

Сталин. Полученные вчера от вас полушубки и валенки того же качества, как те, что были посланы к белым?

Горюхин. Качество довоенное, товарищ, можете спать спокойно.

Сталин. Вот — эти самые валенки? Вы узнаете?

(Берет со стола пару очень маленьких валенок.)

Горюхин. Наши. Это же товар...

Сталин. Примеряйте.

Горюхин *(вертит их)*. Да... Как будто маловаты... Брачок попал...

Сталин. Брачок попал... *(Идет к боковой двери. Горюхин неохотно идет за ним. Сталин берет за дверь полушубок.)* Эти самые полушубки? Узнаете?

Горюхин. Товарищ Сталин, это же овчина...

Сталин. Примеряйте.

Горюхин. С полным удовольствием... *(Натягивает на себя полушубок, у которого нет спины, а рукава сшиты на спине.)*

Сталин. Застегнитесь...

Горюхин. С полным удовольствием... *(Полушубок трещит на нем и рвется на спине.)* Оригинально...

Сталин. Боец Красной армии с «полным удовольствием» наденет такой полушубок?

Горюхин. Спину забыли вшить, сволочи. Это, как единственный курьез, товарищ Сталин...

Сталин. Теперь идите сюда. *(Уходит с ним за дверь.)*

(Входят Арбузов и Солодухин.)

Солодухин. У Мамонтова и Шкуро в двух корпусах не больше двадцати пяти тысяч сабель.

Арбузов. Да, да, да.

Солодухин. Буденный был бы не Буденный, — находясь от противника в пятидесяти верстах — повернуть назад. Да что вы! Конечно, Буденный разорвал к чертям непонятный приказ и кинулся за Мамонтовым и Шкуро.

Арбузов. Да, да, да. Но у Буденного всего...

Солодухин. У Буденного — шесть-семь тысяч сабель.

Арбузов. Отчаянная голова, отчаянная голова!

Член Реввоенсовета (быстро входит). Что, что, какие новости?

Арбузов (Солодухину, представляя вошедшего). Товарищ Хрипунов, член Реввоенсовета.

Солодухин. Новости довольно неприятные...

Член Реввоенсовета. Ага... Я говорил...

Арбузов. Буденный разорвал приказ Троцкого...

Член Реввоенсовета. Полевой суд...

Солодухин. Слушайте, товарищи... Буденный же руководился прямым революционным смыслом... Очуметь надо — судить Буденного...

Член Реввоенсовета. Что делаешь, товарищи... Война прежде всего наука, математика... В Европе сколько войн было выиграно без артистизма в нашей науке — опасная штука... (Идет к столу.) Жалко мне Буденного, жалко, жалко...

Солодухин (Арбузову). Буденный понимает, что может полатиться головой. Но он и отдает свою голову за эту операцию.

(Из боковой двери выходит Горюхин с валенками и полушубком. Он как будто похудел, вид у него растерянный.)

Арбузов (Горюхину). Не в ту дверь, пожалуйста сюда... (Запирает за ним дверь.)

(Во время дальнейшего разговора входит Сталин и стоит, слушает, не замеченный ими.)

Член Реввоенсовета. Точно установлено, где на данный момент находятся корпуса Мамонтова и Шкуро?

Солодухин (хмуро). Установлено точно.

Арбузов. Оба корпуса Мамонтова и Шкуро прорвались на левый берег Дона, в районелевой Россоши. Сведения проверены.

Член Реввоенсовета. Ах, вот как!..

Солодухин. Теперь понятно вам,—судить Буденного!

Член Реввоенсовета. Тяжелое обстоятельство. А где же Буденный?

Солодухин. Буденный там же, на левом берегу. Получил сведения, что Мамонтов и Шкуро переправляются. Значит — котелок-то у него варит, шапки-то у его бойцов горят, кони у него рвутся... А он получает приказ Троцкого — уходить, видишь ли ты, в глубокий тыл Деникину, к чертям собачьим.

Сталин (резко). И Буденный выполнил предательский приказ?

(Все трое оборачиваются)

Солодухин. Здравствуйте, товарищ Сталин. По последним сведениям, Буденный быстрым маршем движется навстречу Мамонтову и Шкуро.

Сталин. Вот это правильно...

Член Реввоенсовета. Но... товарищ Сталин...

Сталин. Что—но?..

Солодухин (берет из рук растерявшегося Арбузова ленту). Правильно... Буденный запрашивает: как вы рассматриваете его инициативу и как он должен поступать?

Сталин. Товарищ Арбузов... Приказ... оперативный...

Арбузов (пишет). 10 825...

Сталин (диктует). «Последние данные разведки указывают на движение неприятельской конницы из района Воронежа на север. Приказываю: командору конного Буденному разбить эту конницу противника...».

(Арбузов поднимает голову, готовый писать дальше.)

Все. Передайте немедленно по прямому.

Арбузов. Будет исполнено. (Уходит.)

Солодухин. Товарищ Сталин, у меня от души камень отвалило, честно слово...

Сталин. Буденный должен истребить Мамонтова и Шкуро. Деникин теряет лучшие части своей конницы.

Член Реввоенсовета. У Деникина помимо Кутепова и Мамонтова—

ятыдесят тысяч казачьих сабель, и полтора-два тысяч штыков, и миллионные резервы на окраинах...

Сталин. Что из этого вытекает?

Член Реввоенсовета. Вытекает, что для военного успеха недостаточно уничтожить две ударных группы.

Сталин. Для военного успеха необходимо единство и спаянность. Единство — или национальное, или классовое. У Деникина его нет. Армия Деникина не едина и не однородна, и тылы враждебны ему. Когда мы истребим его ударное ядро, лоскутная армия Деникина неминуемо распадется. Окраины не дадут ему резервов.

Член Реввоенсовета. А у нас?

Сталин. У нас это необходимое единство достигнуто. Наша победа обеспечена.

(Входит Арбузов.)

Товарищ Арбузов, я полагаю для дальнейших операций Буденного корпус его необходимо развернуть в конармию. Начать немедленно подготовку к развертыванию. Реввоенсовет Первой Конной поручить возглавить Ворошилову.

Арбузов. Слушаюсь... В приемной — начальник оперативного отдела главного штаба... Прибыл в весьма нервном состоянии...

Сталин. Кто? Кузнецов?

Арбузов. Так точно. Кузнецов.

Сталин. Что ему нужно?

Арбузов. Он от главнокомандующего. Видимо, штаб фронта продолжает настаивать на старом плане Троцкого...

Сталин. Позовите.

(Арбузов уходит.)

До свидания, товарищ Солодухин.

(Солодухин уходит.)

Член Реввоенсовета *(собирая бумаги)*. Немножко сомнения никогда не мешает, товарищ Сталин.

Сталин. Когда сомнения исходят от глубокой уверенности в правоте дела...

Член Реввоенсовета. Н-да... Пожалуй...

(Входят Арбузов и Кузнецов. Член Реввоенсовета, размышляя сам с собой,

уходит. Сталин садится к столу. Кузнецов делает движение к стулу, но остается на ногах.)

Сталин *(просматривая бумаги)*. Что скажете?

Кузнецов *(заносчиво)*. Комкор Буденный самовольно нарушил приказ главкома... Приказ был ясен: переправиться на правый берег Дона и идти на юг на соединение с Шоринным... Вместо этого...

Сталин. Буденный остался на левом берегу и начал подниматься на север...

Кузнецов. Это партизанщина, товарищ Сталин...

Сталин. Это здоровый революционный смысл... Конница Мамонтова провала наш фронт.

Кузнецов. Это еще не выяснено.

Сталин. Буденный об этом, очевидно, знает и не мог поступить иначе...

Кузнецов *(вынимает из портфеля и кладет перед Сталиным бумагу)*. Во всяком случае вопрос идет об отзывании Буденного и предании его суду...

Сталин *(Арбузову)*. Покажите ему приказ 10 825.

(Арбузов показывает Кузнецову запись в блокноте.)

Кузнецов *(взглянув мельком)*. Прорыв фронта еще ничего не решает...

Сталин *(пишет, не поднимая головы)*. Прорыв фронта открывает дорогу противнику на Москву.

Кузнецов. Товарищ Сталин, план штаба фронта разработан в деталях, и все движения военных групп подчинены ему. Штаб фронта — не коллегия интеллигентов... Отдельные неудачи и случайности военных операций не могут нарушить стройности общего плана. Удар по Деникину должен быть нанесен в глубоком тылу. Во имя спасения Москвы вы оттягиваете от основной операции наши конные силы... Если временно мы даже и потеряем Москву, большой беды еще нет...

Сталин. Отдать Москву — не беда? Главштаб согласен отдать Москву?

Кузнецов. Вопрос не ставится так прямо...

Сталин. Вы представляете, что вы говорите?

Кузнецов. Представляю, товарищ Сталин, и настаиваю на аресте Буденного...

Сталин (Арбузову). Дежурного...
(Арбузов идет к двери.)

Кузнецов. И, кроме того, штаб фронта настаивает на невмешательстве в его операции политических органов...
(Входит дежурный Особого отдела.)

Сталин (дежурному, кивая на Кузнецова). Арестуйте его.

(Кузнецов торопливо лезет в карман. Дежурный схватывает его за руки.
Короткая борьба.)

Кузнецов (Сталину). Вы за это ответите.

Арбузов. Корректно, без шума, прошу вас...

(Кузнецова уводят.)

Совершенно непостижимо, совершенно ненормальный тип...

Сталин. Кузнецова немедленно отправить в Москву под самой надежной охраной...

Арбузов. Слушаюсь, слушаюсь...

Сталин. Проверьте тщательно все мои приказы и распоряжения, проследите, чтобы каждые два часа ко мне по-

ступали донесения и сводки... Учтите, товарищ Арбузов, со всей ясностью: решается судьба революции.

Арбузов. Слушаюсь, слушаюсь.
(Уходит.)

Сталин (берет телефонную трубку). Москва. Чрезвычайная комиссия. Кабинет Дзержинского. Говорит член Реввоенсовета Сталин. Феликс Эдмундович. Я только-что арестовал начальника оперативного отдела главного штаба Кузнецова... Вот как?.. (Пауза. Он слушает.) Операция прошла безболезненно? Они бы наделали нам хлопот... Поздравляю. До свиданья, Феликс Эдмундович... (Медленно кладет трубку. Арбузов входит с телеграфной лентой в руках.) Сегодня ночью в Москве раскрыт крупный заговор белогвардейского центра, возглавляемый адвокатом Щепкиным. Они формировали в Москве две офицерских дивизии... Начальником штаба этих дивизий был только-что арестованный вами Кузнецов... Что у вас?

Арбузов. (все еще сраженный этим известием). Буденный по прямому благодарит. Он в одном переходе от Мамонтова. (Читает.) «Повис на хвосте у Шкуро и Мамонтова. Завтра приказ будет выполнен...».

Сталин. Это, пожалуй, так и будет.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Помещение телеграфа на полустанке Суковкино. За окнами снежная буря. У аппарата—юзист, в шинели, с солдатскими погонами. Около него—комендант разезда поручик Вурм. Около другого стола сидит в расстегнутой бскеше комендант бронепоезда «Слава офицерам» капитан Лихошерстов. На стене—карта. Юзист принимает депешу.

Лихошерстов. А в чайнике что у тебя?

Вурм. Чай.

Лихошерстов. Чай... Скучно...

Вурм (юзисту). Откуда?

Юзист. Касторная. Штаб группы генерала Постовского, ваше благородие.

Лихошерстов. А в той склянке что у тебя?

Вурм. Чернила.

Лихошерстов. Чернила... Скучно...

Вурм (подходя к окошку). Собачья погода... Какой ветер, жутко... Какой снегопад!

Лихошерстов. Снегопад! Метель, немецкая морда... Мчатся тучи, вьются тучи... А в той бутылке что?

Вурм. Клей.

Лихошерстов. Клей... Скучно... Юзист. Принято, ваше благородие...

Вурм (подходя). Читай.

Лихошерстов. Развести стакан спирта и—под ветчину. Роскошно.

Юзист. Касторная. Штаб группы генерала Постовского. Вас вызывает дежурный... «По сведениям разведки четвертая кавалерийская дивизия из корпуса Буденного, а также сам Буденный лично с наступлением сумерек, примерно в шестнадцать часов, исчезли из района военных действий в неустановленном направлении...».

Лихошерстов (свистит). Какой это болван сообщает?

Юзист. Капитан Маслов, ваше благородие... Далее: «Штаб не исключает возможности появления четвертой кавалерийской дивизии Буденного в районе раз'езда Суковкино».

Лихошерстов. Собачья чушь!

Юзист. Штаб предписывает вам, господин комендант раз'езда Суковкино, принять все меры предосторожности сегодня в ночь. Говорил — капитан Маслов».

Лихошерстов. Ага! Вот оно где! (Встает, идет в угол, где валяются шинели, вытаскивает из-под них фляжку, отвинчивает.) Я не знал, что ты такая свинья,—прятать полную флягу с коньяком! (Нюхает.) Французский! Зверь! Скотина! Приседай... (Пьет.) Поручик Вурм, приседай!

Вурм. Брось дурить, Лешка... Надо принять меры. Твой бронепоезд под парами?

Лихошерстов. Вы сами под парами, поручик Вурм. Приседай, ать-два!

Вурм (приседает). Буденный в такую адскую метель действительно может прорваться...

Лихошерстов. Ать-два...

Вурм (приседая). В девятнадцать часов я проверил сторожевые посты, люди с головой занесены снегом. Твой бронепоезд — единственная, чорт возьми, охрана полустанка...

Лихошерстов. Отставить!.. Ты зверь, болван, скотина, гороховая колбаса... Смотри... (Подходит к карте.) Касторную — вот она — с северо-запада прикрывают три пехотных бригады генерала Постовского. На юго-восток от Касторной стоят корпус Улагая и Шкуро. Южнее их корпус генерала Мамонтова. Понятно тебе. осел? Мы расположены глубокой подковой или мешком.

Твой паршивый раз'езд Суковкино — вот он где — в самой глубине мешка. А где красняки? Я спрашиваю, поручик Вурм?

Вурм (с неохотой, чтобы отвязаться). Фронт Буденного расположен на север от Касторной, по сторонам железной дороги Касторная — Воронеж.

Лихошерстов. То-есть против отверстия нашего мешка, и наша задача — охватить его флангами и сжать смертельным объятием. На правом фланге Буденного одиннадцатая пехотная дивизия расширяет лоб о пехоту Постовского, прикрывающую Касторную. Шестая кавдивизия Буденного вторую неделю без успеха рубится со Шкуро и Улагаям. Четвертая же его дивизия, таинственно исчезнувшая в облаках метели, стоит как-раз носом в отверстие нашего мешка. Отсюда весь панический ужас капитана Маслова: батюшки, матушки, темно, ничего не видно, а вдруг четвертая дивизия с самим Буденным полезла в мешок. Не моргай немецкими белобрысыми ресницами. Думай: полезет Буденный в мешок, где его изрубят в котлетный фарш. Самоубийца он?

Вурм. Буденный очень хитер, знаешь...

Лихошерстов. Хитер твой Буденный! У Буденного двадцать кавалерийских полков и — точка... А сколько у нас? Я спрашиваю, поручик Вурм. При-се-дай!..

Вурм (быстро). У нас сорок один кавалерийский полк и пятнадцать тысяч штыков пехоты... На левом берегу Дона Буденный все-таки нас разбил. Под Воронеж все-таки мы отступили. Под Воронежем он нас разбил все-таки... Под Касторную мы отступили...

Лихошерстов. Все-таки!.. Ты меня начинаешь сердить... Под Касторной мы вторую неделю треплем Буденного и здесь мы его кончим... И только такие пижоны, как штаб генерала Постовского, могут с перепою вообразить, будто Буденный пустился на азиатскую хитрость, исчезнув в облаках метели... Буденный истек кровью и просто выводит дивизии из боя...

Вурм. Слушай, Лешка, оставь мне хоть каплю...

Лихошерстов. На ногте... (Капает из фляги на ноготь.) Слизывай, поручик фон-Вурм...

Вурм (уклоняясь). К сожалению я не фон... Знаешь, Лешка, говорят, к новому году в Москве будут крупные повышения. И будто бы можно хлопотать о присвоении дворянства.

Лихошерстов. Воображаю тебя в Москве, дура немецкая... Тебе на купчихе надо жениться, и градоначальником скакать в пролетке: «Гляди веселей!». Ты создан для спокойной жизни, мой птенчик.

Юзист. Штаб генерала Постовского вызывает коменданта бронепоезда капитана Лихошерстова... «Немедленно бронепоезду «Слава офицерам» проверить путь от раз'езда Суковкино до станции Касторная. Капитан Маслов».

Лихошерстов. Тыфу ты, чорт!.. Передай, что я уже выехал... (Вурму.) Прощай, котик. Веди себя скромно, к начальству храни страх божий, ты будешь счастлив. (Уходит.)

Вурм. Да... Мчатся тучи, вьются тучи... Да, брат Пушкин... Проворонили Россию... (Юзисту.) Ты, слушай, сам откуда?

Юзист. Ростовский-на-Дону мещанин, ваше высококордие.

Вурм. Ростовский мещанин... (Внезапно обозлившись.) Как стоишь! Мало вас учили... Три шкуры надо было драть... В Москве бывал?

Юзист. Никак нет, ваше высококордие.

Вурм. Эх, Москва, Москва, золотая голова...

Денщик (входит, испуганно). Ваше благородие...

Вурм. Ты, болван!

Денщик. Ваше благородие...

Вурм. Молчать! Как ты спрятал фляжку с коньяком, хохлацкая морда!

Денщик. Ваше благородие.

(Распахивается дверь, входят занесенные снегом в бурках и папахах Буденный, начштаба Андрей Степанович, связист и несколько конных бойцов.)

Буденный (подходя к Вурму). Где ленты последних разговоров со штабом?

Вурм (пятясь). Кто вы такой? Простите...

Юзист (отчаянным голосом). Буденный!..

Андрей Степанович (с резким движением в сторону юзиста). Встать от аппарата! Дешпи по линии? Сводки—давай... (Связисту). Садись на его место.

(Красный связист садится к аппарату.)

Буденный. Что же вы рот разинули, поручик, я вас не рубаю... Передайте оружие.

(Вурм отдает оружие кавалеристу.)

Расскажите подробно всю обстановку.

Вурм (руку к козырьку). Ваше пре...

Буденный. Брось.

Вурм. Господин ком...

Буденный. Брось.

Вурм. Семен Михайлович...

Буденный. Вот это так. Смелей, поручик.

Вурм. Разрешите говорить?

Буденный. Отвечайте жизнью за каждое слово, понятно? Куда девался бронепоезд «Слава офицерам»? Он только-что стоял здесь, на путях...

Вурм. Бронепоезд вышел в разведку до станции Касторная...

Андрей Степанович (отрываясь от сводок). Семен Михайлович, в штабе Постовского полная тревога. Они ждут нас здесь на рассвете.

Буденный. Это хорошо. (Вурму.) Кроме «Славы офицерам», в Касторной сколько еще бронепоездов?

Вурм. Четыре, всего со «Славой офицерам» — пять, ваше пре... господин ком...

Буденный. Не можете без этого,— прибавляйте: товарищ Буденный.

Вурм. Слушаюсь...

Буденный (раздумывая). Пять бронепоездов... Это хорошо... У вас связь со штабами полная?

Вурм. Связь полная только по прямому проводу, телефонные линии испорчены, товарищ Буденный.

Буденный. Ага! Отлично!

Вурм (юзисту). Подай последний разговор со штабом Постовского.

(Юзист подает. Буденный читает.)

Комдив (входит, простуженным голосом). Все в порядке, Семен Михайлович. Батальон охраны разоружен, спали вповалку, дьяволы. Станция оцеплена, разведки в сторону Касторной и в сторону села Бычок я усилил. Ни сюда, ни отсюда беляки не проскочат.

Буденный (указывая на сводку). Противник ищет твою дивизию по всей степи.

Комдив. Что ты говоришь?!

Буденный. В штабе у Поставского — пожар на колесах.

Комдив. Ах, гады!

Буденный (Вурму). Штабы Мамонтова и Шкуро предупреждены об опасности?

Вурм. Никак нет, я не успел передать...

Буденный. Дарю тебе жизнь за это.

(Вурм коротко рыдает.)

Комдив. Ну что же, давай приказ, Семен Михайлович: одиннадцатая дивизия ударит по Касторной в лоб, а я наскочу с заду. До рассвета кончим Поставского.

Буденный. Не горячись, Тарас Иванович.

Комдив (кавалеристам). Дайте свернуть, ребята.

Буденный (Вурму). Главная база снабжения патронами и снарядами также находится в Касторной?

Вурм. Так точно. По распоряжению генерала Поставского эшелон с огнеприпасами продвинут в Касторную и пока еще находится на колесах.

Буденный. Вот это здорово!

Комдив. Ты чего задумал, Семен Михайлович?

Андрей Степанович (отрывая ленту из аппарата). Говорит сам генерал Поставский.

Буденный. Ну-ка!

Андрей Степанович (читая). «Передать срочно штаб Мамонтова, штаб Шкуро, штаб Улагая. Четвертая конная дивизия Буденного двигается в сторону Суковкино. Точка. В целях безопасности предлагаю вызвать из резерва штаба генерала Шкуро пехотный полк. Точка. Также, если понадобится,

вызвать со станции Касторной второй бронепоезд в помощь бронепоезду «Слава офицерам». Отвечайте мне немедленно. Генерал Поставский».

Буденный. Лучше и не надо! (Связисту.) Держи генерала на конце провода... Отвечай что-нибудь...

Связист (отчаянно). Да что ж я ему буду отвечать?

Буденный. Стучи «отче наш»... (Вурму.) Ваша фамилия? Имя? Отчество?

Вурм. Вурм Карл Оттович...

Комдив (удивленно). Гу! Как по-добрал!

Буденный (связисту). Стучи: «У аппарата комендант раз'езда Суковкино Карл Оттович Вурм. Четвертая дивизия Буденного подошла к Суковкино. Несмотря на снежную метель, противник сильными раз'ездами атакует наши заставы...».

Комдив. Ну, скажи — лихо атакует...

Буденный (ходит, диктует). «По-видимому, при дивизии находится сам Буденный...».

Комдив (расправляя усы). И Тарас Иванович, — помяни про меня-то.

Буденный. «Весь батальон охраны введен в бой. Прошу помощи: немедленно вернуть в Суковкино бронепоезд «Слава офицерам». Точка. Одновременно буду просить у генерала Шкуро в помощь пехотный полк».

Комдив. Ну же, прибавь еще кавалерийскую бригаду, что тебе стоит! Заодно их тут и кончим!

Буденный. «О дальнейшем буду вас ставить в известность. Поручик Вурм».

Вурм (вытирая лоб). Боже мой, боже мой...

Комдив (Вурму). Все равно тебе у белых больше не служить.

Вурм. Так точно, больше не служить.

Комдив. Ты что, кадровый?

Вурм. Так точно. Лейб-гвардии ее величества королевы греческой гренадерского полка...

Комдив. Гу! Вот понес...

Буденный (связисту). Что отвечает генерал Поставский?

Андрей Степанович (*отрывая ленту*). Генерал отвечает: «Хорошо, бронепоезд «Слава офицерам» через пятнадцать минут будет в Суковкино». Постой, он что-то про Мамонтова наступал. (*Разбирая.*) «Не могу добиться связи с генералом Мамонтовым».

Буденный. Вот это ловко! Это удача!

Андрей Степанович. «Свяжитесь сами с Мамонтовым и ответьте мне, когда вызовете его. Генерал Постовский».

Буденный. Стучи: «Хорошо, сейчас попытаемся вызвать генерала Мамонтова, и тогда вам скажем. Поручик Вурм».

Вурм. Боже мой, боже мой...

Буденный (*комдиву*). Тарас Иванович, поди, готовь встречу бронепоезду.

Комдив. Можно. Встретим. (*Уходит*).

Буденный (*связисту*). Вызывай от имени Мамонтова штаб генерала Шкуро.

Андрей Степанович. Семен Михайлович, ты что же — все силы белых хочешь стянуть в Суковкино?

Буденный. Мы не спрашиваем — сколько врага, а — где он... А где ему быть — я сейчас укажу.

Андрей Степанович. Готово... Штаб генерала Шкуро. У аппарата начштаба... (*Вурму*). Фамилия его?

Вурм. Полковник Стабесов, Николай Николаевич...

Буденный (*диктуя*). «У аппарата генерал Мамонтов. Здравствуйте, Николай Николаевич. С частями моего корпуса я нахожусь на полустанке Суковкино. Положение обостренное. Требую помощи. Вышлите немедленно пехотный полк... Генерал...»

Вурм (*поспешно*). Генерал-майор...

Буденный. Генерал-майор Мамонтов...» (*Пауза.*) Какой ответ?

Андрей Степанович (*читая ленту*). ...«Слушаюсь, сейчас вышлю пехотный полк, полковник Стабесов».

Буденный. Очень приятно.

Комдив (*входит*). К приему бронепоезда все в порядке.

Буденный. Тарас Иванович, готовь встречу Шкуро.

Комдив. Дай свернуть.

Буденный (*связисту*). Свяжись со штабом генерала Улагай.

Комдив. Для встречи Шкуро могу выделить четыре эскадрона.

Буденный. Мало.

Комдив. Люди с утра не ели, Семен Михайлович, пускай подзаправятся. А этих я уж подкормил из здешнего буфета.

(*Комдив отходит, чтобы дать распоряжение*).

Связист. Готово. Штаб Улагай. У аппарата генерал Улагай...

Буденный. Вот это — задача! Как его зовут?

Вурм. Генерал-майор Георгий Михайлович Улагай.

Комдив (*Вурму*). Он что — алкоголь?

Вурм. Это есть, так точно.

Комдив (*Буденному*). Все в порядке. Не стесняйся, Семен Михайлович.

Буденный (*связисту*). Стучи: «У аппарата комкор Мамонтов».

Комдив (*подражая*). У аппарата комкор Мамонтов, чудо-генерал.

(*Все смеются.*)

Андрей Степанович. Улагай отвечает: «Здравия желаю, Мишка, какой чорт тебя занес в Суковкино? Если с перепоя, приезжай скорей ко мне поправляться».

Комдив. Самый генеральский разговор!

Буденный. «Здравия желаю...» (*Вурму*). Как я к нему обращаюсь?

Вурм. Можно фамильярно: моншер...

Комдив (*быстро, Буденному*). Не говори непонятного...

Буденный (*Вурму*). Смотри... (*Диктует.*) «В семнадцать часов меня атаковал Буденный крупными силами и вынудил меня отодвинуться к станции Суковкино, где я в данный момент нахожусь. Я отчаянно сопротивляюсь при поддержке двух бронепоездов».

Комдив. Двух! Заметьте, ребята, двух... Ну и артист!

Буденный. «Нужна твоя срочная помощь обязательно до рассвета, не менее одного стрелкового полка... Жду у аппарата, Мамонтов».

Андрей Степанович. Семен Михайлович, ты с ума сошел! Вызвал еще целый полк. Зачем ты их сюда стягиваешь? Что мы будем с ними делать?

Буденный. Тебе известен приказ Сталина: не только разбить врага, но истребить его. Речь идет об истреблении.

Андрей Степанович (*связисту, раздраженно*). Да ты возьми маленку, смажь хорошенько аппарат, чего он у тебя скрипит? (*Пауза*). Улагай отвечает. «Сожалею о беспокойстве, причиненном вашему превосходительству красными бандитами. Немедленно поднимаю тебе в помощь гренадерский полк... Не теряй присутствия духа... Пью твое здоровье. Улагай...».

Буденный. Так. Теперь вызовика мне опять Касторную, штаб Постовского. Тарас Иванович, ступай. Встречай врага. Время.

Комдив. Время, Семен Михайлович.

Буденный. В добрый час, Тарас Иванович.

(Комдив уходит.)

Андрей Степанович. Касторная, у аппарата генерал Постовский.

Буденный. «У аппарата комкор Мамонтов. Здравствуйте...».

Вурм (*поспешно*). Он — ваше высокопревосходительство.

Буденный. Ну, «...ваше высокопревосходительство. Вы удивлены, что я в Суковкино. С высланным вами бронепоездом «Слава офицерам» я отбиваюсь от красной саранчи Буденного. Подкрепления от Шкуро и Улагая, боюсь, что придут поздно. Несмотря на вьюгу, буденновцы атакуют чорт знает как. Прошу выслать второй бронепоезд. Кроме того, при создавшейся обстановке вашу базу с огнеприпасами держать в Касторной рискованно. Мой совет — немедленно эшелон с огнеприпасами в сопровождении двух бронепоездов увести из Касторной на станцию Старый Оскол. Точка. Комкор Мамонтов».

Андрей Степанович. Подметки на ходу срезывает. Главкомандующему приказал увести огнеприпасы. Семен Михайлович, он нас не слушает. Стоп. Генерал Постовский отвечает: «Считаю разумным ваш совет. Огнеприпасы немедленно вывожу из Касторной на Старый Оскол. Второй бронепоезд «Гром победы» высылаю на Суковкино».

Буденный. Ну, и дурак! Боже ж ты мой, есть такие дурни на свете.

Комдив (*быстро входит*). Бронепоезд «Слава офицерам» подходит.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Перрон вокзала. Крутится снег. Стоит Буденный в бурке и папахе. Сзади него — Андрей Степанович в бурке и папахе. Отдаленная стрельба.

Буденный. Что это такое?

Андрей Степанович. Стрельба где-то в стороне села Бычок.

Буденный. Неужели Тарас Иванович уже встречает эшелоны?

Андрей Степанович. А что же другое может быть?

Буденный. Благополучно ли у него?

(*Шум приближающегося поезда. Буденный кричит.*)

Открыть семафор!

(*Подползают сквозь метель огни.*)

Ты все проверил?

Андрей Степанович. Ребята с пулеметами—в палисаднике и с той стороны на путях.

(*Свист паровоза. Поезд подходит, останавливается. С него соскакивает Лихошерстов.*)

Лихошерстов. Ну, как у вас тут? В чем дело? Что за собачья паника?

Буденный. Да ничего — отогнали красных.

Лихошерстов (близко подходит). Сейчас меня в полуверсте отсюда какая-то сволочь обстреляла... (Обрывает, взглядываясь в Буденного.)

Буденный (прикладывая пальцы к папаче). Здравия желаю.

Лихошерстов (настороженно). Здравия желаю.

Буденный. Господин комендант бронепоезда! На станции находится генерал Мамонтов, он приказывает команде бронепоезда построиться на платформе, так как, по всей вероятности, поздравит команду и скажет ей несколько слов.

Лихошерстов. Слушаюсь! (Кричит.) Эй! Прапорщик Пупко!

Голос. Здесь!

Лихошерстов. Прикажи команде выйти и построиться.

Голос. Всем?

Лихошерстов. Всем!

Голос. Слушаю!..

Лихошерстов. Генерал прибыл вагоном?

Буденный. Вагоном.

Лихошерстов. У меня половина команды простужена. Нельзя ли хоть полбидона спирта.

(Слышно, как спрыгивает с поезда команда.)

Буденный. Немедленно явитесь к генералу. Он вас ожидает на телеграфе.

Лихошерстов. Скучно. (Идет.)

Голос. Смир-р-на! Стройся!

(Бешеный цокот копыт. Со стороны, противоположной подошедшему поезду, слышно, как соскочил всадник. Лихошерстов останавливается. Быстро входит комдив.)

Комдив. Все в порядке, Семен Михайлович! Из полка Шкуро ни один не ушел, гоню триста пленных.

Лихошерстов. Понятно! Буденный! (Выхватывает шапку, кидается на Буденного, к нему кидаются Андрей Степанович и комдив.)

Буденный. Отставить!

(Андрей Степанович и комдив отскакивают. Буденный вытаскивает клинок.)

Ты вот каков! Ладно. Держись, капитан!.. (Кидается, ляг скрещенных сабель.)

Лихошерстов (отскакивает). Ловко! Эх, Буденный! (Швыряет шапку.)

Буденный. Жить хочешь. (Вкладывает шапку в ножны. В сторону команды.) Команда бронепоезда, смирна! Снимай оружие! Вы под пулеметами! (Пауза.)

(Слышно бряцанье падающего оружия.) Оружие складывай бережно...

Лихошерстов. Ловко, елки точеные! Ловко! (Схватывается за голову.)

Андрей Степанович. Семен Михайлович, подходит второй бронепоезд «Гром победы».

Буденный. Принять на запасный путь!

ДЕЙСТВИЕ IV КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Закат в снежной степи. Вдали черный силуэт железнодорожной станции. Булькают и хлопают выстрелы. Входят Кутепов и комендант.

Комендант. Здесь, ваше высокопревосходительство, здесь. (Кричит). Смирно! Командующий на фронте...

С земли поднимается несколько офицеров. До этого их не было видно. У всех угрюмый, измученный вид. Один — в накиннутой попоне, другой — весь перевязан, третий — в полушубке поверх английской шинели.

Кутепов (всматриваясь в стоящих). Здравствуйте, господа.

(Пауза.)

Офицеры (медленно, мрачно, без энтузиазма). Здравия желаем, ваше высокопревосходительство...

Кутепов. Какая часть?

Комендант. Дроздовского полка неполная рота, ваше высокопревосходительство.

Кутепов. Сколько вас? (Пауза.)

Голос Бабочкина. Двадцать девять живых и шесть трупов...

Кутепов. Орлы, я горжусь вами... При ближайшем свидании я доложу о вас главнокомандующему...

Голос Бабочкина (тихо, издевательски). Очень приятно. (Пауза).

Кутепов (будто не слыша этого). Дроздовцы, эвакуация огнеприпасов еще не окончена. Но к девятнадцати часам огнеприпасы и мой поезд отойдут. Приказываю вам до последнего вздоха держать подступы к станции. В помощь вам оставляю танк. В девятнадцать часов вы увидите зеленую и белую ракеты. Под прикрытием танка отступайте к станции. Вас будет ждать состав. Остальные части подтянутся. Вам все понятно?

Голос Бабочкина (иронически). Все понятно.

Кутепов. Орлы! Я вел вас на Москву. Клянусь богом и памятью русского монарха я приведу вас в Москву. (Тяжелая пауза.)

Комендант. Ура!

Кутепов. Вас не может поколебать временное отступление. Успех красных — это их последнее отчаяние, истерика. Им нечего жрать. Они неминуемо захлебнутся. Достоверно известно, что Ленин уже удрал с чемоданом бриллиантов за границу... Но, господа, в настоящий момент мы вынуждены выравнивать фронт и кстати пополнить убыль в частях.

Голос Бабочкина. Что, кстати, случилось в Касторной?

Кутепов. Что? (Пауза. Он тихо коменданту.) Узнайте, кто задает вопросы.

Комендант. Слушаюсь. (Придвигается к офицерам.)

Кутепов. Военная судьба сыграла с нами злую шутку, господа. Командующий группой, генерал Постовский, честный, но доверчивый офицер был обманут варварской хитростью красных бандитов. Хотя наши потери под Касторной значительны, — положение быстро восстанавливается.

Голос Бабочкина. Так ли?

Кутепов (опять будто не услышав). Славные дроздовцы! Перед вами

противник — банда мужиков и фабричных, у которых одна цель в жизни — грабить! Уничтожьте их! Вперед! Завтра я вас поздравлю с победой... До свидания, господа. В помощь вам остается танк...

Бабочкин. Счастливой дороги, генерал... К Черному морю или в Европу?..

Кутепов (бешено). Кто говорит?

Комендант. Поручик Бабочкин.

Кутепов. Поручик Бабочкин, вы сошли с ума!..

Бабочкин. Так точно... Я прошу ответить, почему вы скрываете наш разгром? Под Касторной уничтожены наши лучшие конные корпуса... Захвачено пять бронепоездов... Прорван фронт добрармии...

Кутепов. Приказываю молчать!.. В строй!..

Бабочкин. Слушаюсь...

Кутепов. Приказываю вам сегодня же искупить ваш проступок...

Бабочкин. Слушаюсь... искуплю... Живыми отсюда не вернемся... Москвы не увидим, — весьма обидно, ваше высокопревосходительство... А совсем были рядом — рукой подать... Рассчитывали на приз в миллион рублей, — рассчитывали повеселиться. Почему гвардейский корпус, цвет армии, лежит носом в земле российской? Затем шли в Москву? Так уж вы, ваше высокопревосходительство, сами мерзую землю и кушайте... Дураков больше не найдете — собачьей смертью околевать... Гнить заживо...

Кутепов (во время его истерических слов торопливо вытаскивает револьвер, подходит к Бабочкину, стреляет). Купок нагана несколько раз щелкает.

Бабочкин. По господам офицерам израсходовали, ваше превосходительство.

Кутепов (швыряет револьвер). Подлец! (Бьет Бабочкина стеклом по лицу.) Взять... Расстрелять... (Повернулся, ушел, за ним комендант.)

(Офицеры стоят неподвижно, точно опустившись на винтовки.)

Бабочкин. Ну, что же вы... Кончайте, господа... Я же конченный, конченный, конченный...

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Зимняя равнина. Метель. Грохот орудий. Взрывы. Вдали зарево. Сквозь метель бегут атакующие красные. Стрельба. Атакующие пробежали.

Звуки боя отдалились.

Лунный свет сквозь разрывы снежных облаков позволяет различить на снегу несколько трупов. Появляется Чувилев, несущий на руках Сашу.

Чувилев. Санитар! Санитар! (Задыхаясь.) Ничего, Саша, ничего... это у тебя контузия...

Саша. Голову развалило, дядя Чувилев...

Чувилев. А ты тряхни головой, тряхни, голубка... Ну и тяжела же ты, девка... Стань на ноги... Не вались...

Лаврентий (лежавший до этого времени неподвижно, поднимает голову). Саша...

Саша (встрепенулась, оглядывается). Лаврентий! Лаврентий!

Чувилев. Вот он лежит... Ах, так я и знал...

(Они подходят и наклоняются над Лаврентием.)

Саша. Из головы течет у него, дядя Чувилев...

Чувилев. Это хорошо — у мертвого кровь не течет... Подсоби-ка... (Саша приподнимает голову Лаврентия, Чувилев ее бинтует.) Неудачно его ранило...

Лаврентий. Санька...

Саша. Здесь я, здесь... Золотой... Миленкый...

Лаврентий. Сволочи, ох, сволочи...

Саша. Потерпи, Лавруша... Тебе же не больно... (Чувилеву.) Осторожнее бинтуй, какой ты... Лавруша, зачем ты глаза закрываешь... Потерпи... Лавруша, не умирай... Не хоти умирать... Дядя Чувилев, этого же нельзя себе представить...

Чувилев. Ну, ну, боец... Все можно себе представить...

Саша. Он же на снегу застынет — понесем его...

Чувилев. Носилки надо... Побеги, покличь...

Лаврентий. Не уходи, Санька... (Опираясь на руки, садится.) Сволочи, ах, сволочи, что со мной сделали...

Чувилев. Знаешь — победа, Лаврентий... Крошим белых с пяти бронепоездов...

Лаврентий (обернувшись на зарево). Истребить, сказано — истребить... (Ближние разрывы.)

КАРТИНА ДЕСЯТАЯ

Вокзал небольшой станции. Солнечный свет сквозь замерзшие окна. На деревянных диванах и на полу — раненые, ожидающие поезда. Раненые громко поют. Входит Чувилев — поддерживает Лаврентия, у которого обвязана голова.

Саша (обращаясь к раненым, сидящим на лавке): Товарищи, потеснитесь, дайте человеку сесть. Мозг у него, товарищи, чуть не вытек, такое тяжелое ранение.

1-й раненый. Это где же вас так?

Чувилев. Нарвались на броневики... У меня-то пустяки — палец задело. А парня очень страшно — осколком в череп...

1-й раненый. А это, что же, девка с вами? Или что?

Чувилев. Рядовой боец.

1-й раненый. Ну, садитесь.

2-й раненый. Садитесь.

(Лаврентий и Саша садятся. Чувилев остается на ногах.)

1-й раненый. Слух есть — надела-ли наши делов, — большие бои.

Чувилев. И не говори, — такое воодушевление. Красная армия, как в полководье, — валом валит. Дождались, берем свое, дождались вождя...

(Проходит начальник станции, с седыми усами, с землистым от утомления лицом. Саша срывается с дивана к нему.)

Саша. Товарищ начальник... Послушайте, товарищ начальник... Когда санитарный поезд на Москву,— скоро?

Нач. станции. Не знаю, господа, ничего не знаю, товарищи.

Саша. У нас товарищ тяжело ранен, язык у вас отсохнет, сказать...

Нач. станции. Ничего не знаю. (Уходит.)

Саша. Зараза... (Возвращаясь на место, к Лаврентию.)

1-й раненый. Этот тебе ни за что не скажет,— такой скарעד.

2-й раненый. Тут, девушка, один дизентир ходит, он все знает, у него спроси.

Чувилев. Какой дизентир?

2-й раненый. Пензенский какой-то, от белых убег... Вон идет. Эй, слышь, дизентир, ходи сюда...

(Появляется с сундучком солдат, тот самый, что дал возможность в Орле Чувилеву и другим убежать от расстрела.)

Солдат (подходит). Насчет поезда хотите? Поезд будет через несколько минут.

Саша. Московский, санитарный, слушайте?

Солдат. Никак нет... (Усмехнулся.) Ишь ты, девка, ребята... Будет харьковский, голубка, штабной, он вас задерживает.

Чувилев. Ты что врешь али нет?

Солдат. Я тут, милоч, две недели околачиваюсь, порядки знаю лучше начальника станции. А ведь вы мое местечко заняли... (Сует сундучок под диван.)

Чувилев. Гляди! Это ты...

Солдат. Я...

Чувилев. Пензенский?..

Солдат. Ну, да пензенский... Батюшки, это никак ты...

Чувилев. Я...

Солдат (на Лаврентия). И этого помню... А ведь и девку эту я там видел... Вы тогда, значит, одна шайка были... Ох, коммунисты! Подвели вы меня тогда...

Чувилев. Дезертировал?

Солдат. Ну, а как же — той же минутой... Винтовочку к забору и, ви-

дишь, гуляю другой месяц... Весь до чиста проелся.. Ну, как, коммунист, дела-то у вас идут... Не слышал — Пензу еще не взяли? Что-то медленно Красная армия наступает... Пензу надо бы уже взять...

Чувилев. И дурак ты, я погляжу...

Солдат. Почему?

Чувилев. Без толку валяешься по вокзалам, чай, сколько времени не разувался...

Солдат. Ужас...

Чувилев. А ты бери винтовку, иди с Красной армией. Так-то скорее будешь дома.

Солдат. А ты ведь меня опять агитируешь. Милоч, все понимаю... Да на войне, сам знаешь, закрутишься... А мне дома страсть как надо побывать... Скоро весна, — плужишко, боронишку справить надо? Вот, отпашусь, пшеничку посею, пойду вам подсоблять... Да, теперь вы одолеете — белым аминь...

Лаврентий (тихо, со страстной злобой). Веселый ты... Загреб жар чужими руками...

Саша. Лавруша, не волнуйся, водички хочешь?

Лаврентий. Оставь меня... (Солдату.) Пахать, сеять! Какую землю пахать? Для кого сеять? Рано успокоился.

Солдат (качнув головой, отходит). Сердитый. Энергичный.

1-й раненый. Ты, вижу, шутить горазд. Жил сладко...

2-й раненый. Мы кровь проливаем, а ты около крутишься. Советчик!

1-й раненый. Это не порядок, нет.

Солдат. Ай, ай, ребята, вы что же — хотите меня самосудом кончить? Дизентир я, мне и винтовку-то не дадут. Вот в чем мое оправдание.

1-й раненый. Воешь!

2-й раненый. Пахать, сеять я и сам хочу, сволочь!..

Солдат. Ну, виноват я, ребята... Темнота же. У белых пороли, здесь ругают.

Чувилев. Счастье твое, пензенский, что ты оказал нам услугу...

Лаврентий (страстно). Не будет тебе покою... Нет тебе покою!

Саша. Лаврентий, приляг, ну приляг ко мне на колени... (Солдату гром-

ким шопотом.) А ты не можешь не спорить, видишь, человек ненормальный... (Снова песня. Один из раненых пляшет. Сигналы, обозначающие приближение поезда. Проходит начальник станции. Песня и пляска прерываются. Начальника обступают.)

Чувилев. Товарищ, это штабной поезд.

1-й раненый. Останавливается он, товарищ?

2-й раненый. Бойцам-то вы можете сказать, товарищ...

Нач. станции. Не знаю, господа. Ничего не знаю, товарищи...

Солдат. Ребята, вы меня спросите. Поезд маршрутный. Здесь не останавливается. Хотя, бывает, требуется прямой провод, тогда может остановиться. Но ожидать трудно...

(Грохот подходящего поезда. Начальник станции выходит на перрон. Раненые подходят к окнам.)

Лаврентий. Саша, помоги... Ну, помоги же, прошу тебя. Поезд останавливается... (Лаврентий приподнимается и с помощью Саши идет к дверям. Поезд останавливается. На перроне слышны усиливающиеся голоса, приветственные крики. С перрона в дверь входят Сталин и Арбузов.)

Арбузов (нач. станции). Где у вас прямой провод, проводите меня.

(Арбузов и нач. станции уходят. Сталина обступают раненые.)

1-й раненый. Товарищ Сталин, как дела наши?

2-й раненый. Ну, что, бьем гадов, али как?..

Сталин. Товарищи, я виноват, что немного задержал санитарный поезд. Сейчас его подадут.

Чувилев. Товарищ Сталин, пожалуйста, расскажите, как идет наше наступление, мы тут чисто в потемках.

(Голоса: «Расскажи, расскажи».)

Лаврентий (кричит). Товарищи, слушайте...

Сталин. Сейчас по прямому проводу сообщаю Владимиру Ильичу о крупнейшей победе. Фронт Деникина прорван

под Касторной... Опрокинуты конные корпуса Мамонтова и Шкуро, под ударами Буденного они отступают на юг! В самой Касторной уничтожено три бригады генерала Постовского, захвачены все бронепоезда, и на станции Старый Оскол — все огнеприпасы. Штаб генерала Постовского и сам генерал зарублены в уличном бою. Взята огромная добыча. Воодушевление было такое, что наши кавалеристы бросались на танки и захватывали их...

1-й раненый (протискиваясь к нему). Я как драгун — не понимаю, товарищ Сталин: в конном строю брать танки... Эго как же?

Сталин. А я и сам не понимаю как. Налицо: взяли шесть английских чудовищ. Вам, товарищи, наверно уже известно, что под Орлом и Кромами уничтожено сорок тысяч офицеров — весь ударный корпус Кутепова.

Саша. Товарищ Сталин, значит, полный разгром Деникина?

Сталин. Пока еще рано говорить о полном разгроме, но одно несомненно: армии Деникина неудержимо катятся под уклон... Еще несколько таких ударов — и контрреволюция будет сметена с лица Советской земли. Каждая капля крови, пролитая вами, товарищи, пролита за победу социализма, за будущее счастье человечества.

Лаврентий (в возбуждении, почти плача). Вся кровь, всю кровь мою отдам, товарищи, всю, всю...

Сталин. Мне кажется вам не следует так горячиться, при ранении в голову это нехорошо.

Саша. Я ему это все время говорю.

Сталин. А он не слушает.

Солдат. Товарищ Сталин, тут меня заругали...

Сталин. Вы кто такой?

Солдат. Дезертир...

Сталин. Плохо.

Чувилев. Он от Кутепова ушел, у него есть небольшая заслуга — человек известный.

Солдат. Воюю с четырнадцатого года. Одну весну только и попахал маленько. Опять мобилизовали, прямо говорю — шомполов испугался. Но пули ни одной по Красной армии не пустил.

Теперь и домой хочется, и сраму не хочется носить на себе. Дозвольте, товарищ Сталин, взять винтовку.

Чувилев. Ей-богу, доспел человек.
Сталин. Товарищи, дадим ему винтовку?

(Голоса: «Дадим, дадим».)

Идите к моему вагону.

Солдат. Сейчас.

(Бежит, чтобы взять свой сундучок. Появляется Арбузов, подходит к Сталину.)

Арбузов В Кремле у аппарата вас ожидает товарищ Ленин.

Сталин (раненым, обстывшим его). Поправляйтесь, товарищи. Много, много миллионов людей скажет вам спасибо за ваши труды, за ваши тяжелые раны.

КАРТИНА ОДИННАДЦАТАЯ

Декорация первого акта — сторожка. День. На койке лежит Лаврентий.
Входит Гаврилыч. Лаврентий садится.

Гаврилыч. Кончилось... Сейчас она придет, потерпи... (Подкладывает в печурку дровишки.) Дрова привезли, топить начали, к вечеру тебя переведут в госпиталь... Ты бы лучше лежал, Лаврентий, — Саша заругает и тебя, и меня...

Лаврентий. Ленина видел?

Гаврилыч. Куда там, не пробил-ся... А ты слышал, — с хлебушком лучше стало. Другой день выдают по три четверти фунта и хлеб хороший, сладкий, давно такого не ели... Берет свое пролетарьят...

Лаврентий. А ты нас хоронил...

Гаврилыч. Когда это? Страдал я за вас, а не хоронил... Голова-то у тебя болит? Вот тоже — нашего завода бывшего хозяина дочь, муж ейный, полковник Чикин, он канфорку носил серебряную вот на этом месте, как у тебя... Ему на Пресне рабочие голову провалили... И как еще жил, пьяница только был, озорник...

(Входит Саша, розовая с холода. Ставит винтовку, снимает полушубок.)

Саша. Везде партийная неделя прошла с воодушевлением, но мы всех перекрыли... Сто восемьдесят человек подали заявление... Говорил Владимир Ильич... Сейчас вспомню: «Трудовое крестьянство увидело, как рабочие бесстрашно идут в бой и умирают в первых рядах... Этой кровью скреплен наш союз. И в этом наша победа»... Понимаешь? Он, конечно, по другому гово-

рил... Но что было!.. Ой, Лаврентий, — я вылезла... Язык у меня сразу присох... Только и выговорила, что даю клятвенное обещание — сегодня возвратиться на фронт...

Лаврентий. Сегодня?

Саша (дрогнувшим голосом). Сегодня, да...

Лаврентий. Очень хорошо...

Саша. Лавруша, чего голову повесил... Да мне самой, что ли, хочется воевать-то?.. У меня жилочки все от страха трясутся... Ну, не горюй... (Гладит его.) Ты сейчас инвалид... Месяца два проваляешься... Может я вернусь, может ты туда приедешь... Ладно?

Лаврентий. Только это твое начальство, Санька, и больше ничего... Чего тебе на фронт возвращаться? Одной тебя Деникин испугался, что ли? Пули ждешь?

Саша. Ох, ты ослабел, Лаврентий... (Садится рядом с ним.)

Лаврентий. Мало у тебя дела в тылу? Иди в культпросвет...

Саша (опустив голову). Бойцы засмеют, — вот-те повоевала, окопалась... Ну, какой я культпросвет! Милые мои, — алгебры даже не знаю...

Лаврентий. Не в алгебре дело, дура ты...

Саша (вдруг весело). Помнишь — тогда мы у печки разговаривали? Я на тебя рассердилась! Вот думаю, чортушка, на словах — чистый соловей, а на деле одно заладил... Теперь я тебя очень уважаю...

Лаврентий. Уважаешь!..

Саша. Лавруша, до смерти тебя люблю... Лавруша, ждать тебе не так уж долго...

Лаврентий. То-есть как недолго?

Саша (*передразнивая*). Четырнадцать армий одних интервентов, да Деникин, да Колчак, да сукин кот Юденич... Где они?

Лаврентий. Ну?

Саша. Вот то-то — ну? Лавруша... По-твоему я за это время только винтовку чистила. Нет, Лавруша, в темные ночи я много думала. И, как тебя ранили, пришла к одному выводу...

Лаврентий. Нет, Санька, ты уж лучше мне эти выводы не говори.

Саша. Самое дорогое — это человек. И сильная это вещь, и хрупкая. Ударило осколком в голову и — закатилось солнце навсегда. А ведь в твоей, Лавруша, голове мечта сделать счастливым все человечество, ради этого ты идешь на смерть... Значит надо тебя жалеть, надо тебя по мелочам не огорчать...

Лаврентий. Саша, светлая ты!

Саша. Слава богу, договорился... (*Ни стальных цапх пробило четыре, Саша вскинулась.*) Ой, пусти — четыре... Бежать нужно... Я еще вернусь — проститься. Не таращи глаза...

Лаврентий. Сейчас простись, сейчас...

Саша. Ну, хорошо. (*Приникла ему лицом на грудь, обняла за плечи.*) Милый мой, желанный, дорогой, золотой...

Лаврентий. Напрасно уж ты не лезь, Саша, зря-то...

Саша. Ну, конечно, я же не о двух головах... Все будет хорошо... За меня не бойся, — ничего плохого со мной не может случиться. потому что этого нельзя себе представить...

(*Входят Грохов и Гаврилыч. Саша отстраняется от Лаврентия.*)

Грохов. У вас тут все в порядке? Чувилев записку послал Владимиру Ильичу... (*Быстро метет веником около печки.*) Сюда идут. А ты бы, Гаврилыч, богов-то убрал... (*Указывает на угловую полку.*)

Гаврилыч (*оправляя койку*). Да

где они, боги-то, очумел... Там бутылка от керосина.

(*Входят Ленин и Чувилев с подвязанной рукой.*)

Чувилев. Тут мы временно, Владимир Ильич, в госпитале холод собачий...

Ленин (*Лаврентию*). Здравствуй-те. Вам нужно лечь в клинику, молодой человек, с такими ранами шутить нельзя. (*Чувилеву.*) Я вам напишу записочку. (*Пишет.*) Чрезвычайно интересные вещи рассказывает Алексей Степанович.

Чувилев (*Лаврентию*). Про Василису Петровну из Хомяковки... (*Ленину.*) Отряд у нее образовался человек полтораста... Стала баба настоящим атаманом... Гроза! Налетела на кутеповские тылы, на обозы. Когда начался разгром, ловила по оврагам офицеров. Кончилось с Кутеповым, принялась за своих мироедов... Этой весной непременно хочет пахать артельно и — добьется...

Ленин. А помнишь, ты спорил, что у нас кулаки голые... Такие женщины будут у нас управлять государством. (*Саше.*) Вы боец?

Саша. Так точно.

Ленин. Сколько же вам может быть лет?

Чувилев (*смеясь*). Девятнадцать ей, только.

Ленин. И в атаки ходили?

Чувилев. Ходила...

Ленин. Страшно?

Саша. Ни капельки, Владимир Ильич...

Лаврентий. Врет она... За другими-то не поспевают бежать, — так сзади визжит...

Саша (*тихо*). Дурак...

Лаврентий. В культпросвет — это ее дело...

Ленин. Я тоже думаю — он прав... Не забывайте, Красная армия — это орудие просвещения... Просвещение, — этого оружия больше всего на свете боятся капиталистический мир.

Лаврентий. Правильно...

Ленин. Товарищи, сегодня на расвете Красная армия ворвалась в Харьков. Захвачены огромные запасы оружия, снаряжения и продовольствия...

На-днях будем уже выдавать по фунту хлеба...

Гаврилыч. Вот это — победа... Я всегда говорю: с советской властью жить можно...

Ленин (Гаврилычу). И я говорю...

Гаврилыч. Чего?

Ленин. Не так страшен черт, как его Черчилль малюет...

Гаврилыч. А ты, милоч, опять повеселее стал...

Ленин. Черчилль не рассчитал одного, — резервов нашей революции. Поход четырнадцати держав не удался, как мы и утверждали. Черчилль снабдил всем Деникина для похода в Москву, но упустил из виду Василису Петровну из деревни Хомяковки. А это — народ, который, пробивает себе путь в будущее, в социализм... Черчилль рассчитывал, что ты зашатаешься, Алексей Степанович, а ты взял винтовку...

Чувилев. Уж ты мне этого, Владимир Ильич, не поминай,пусти... Почему я тогда упал духом?

Саша. Зубы у него болели...

Чувилев (смеясь). Верно, зубы у меня тогда болели...

Ленин. Ну, а теперь у Черчиля зубы болят... (Смеется, берет шапку.) Поправляйтесь, молодой человек...

Лаврентий. Владимир Ильич, можно вам задать вопрос?

Ленин. Пожалуйста...

Лаврентий. Скоро ли можно ожидать построения социализма?

Саша. Как тебе не стыдно!

Ленин. Почему вы сердитесь? Я его понимаю. Скоро ли, он спрашивает. Правильно. Социализм не отвлеченное понятие, он на острие штыка каждого красноармейца... Победа социализма — дело не отвлеченное, вопрос только во времени... (Лаврентию.) Научись соблюдать строжайшую дисциплину в труде...

Лаврентий. Понятно.

Ленин. Самоотверженно добивайся повышения производительности труда.

Лаврентий. Понятно.

Ленин. Хозяйничай экономно, счет деньгам веди добросовестно... Вот тогда вплотную подойдешь к построению социализма...

Саша. И это все? А я представляю: социализм — это такое... (Показывает широко, — во всю силу размахнув руками.)

Чувилев (смеясь). Чудачка!

Ленин. И даже много шире, чем вы показали... Уверяю вас, — вам будет не плохо житья с этим молодым человеком...

Лаврентий. Я ей твержу: вместе деремся, вместе будем добиваться. А ждать, когда ей предварительно построят дворцы для ее детей, — очень даже глупо...

Саша. Ты бы постеснялся, Лаврентий...

Ленин. А я бы скорее встал на его точку зрения. (Смеется.)

(Быстро входит Грохов. За дверью — голоса. За окном — гул подходящей толпы.)

Грохов. Владимир Ильич, ребята на фронт отправляются, просят вас опять — хоть несколько слов...

(Вслед за Гроховым входит несколько рабочих с винтовками, с походными сумками, снимают шапки. Говорят: «Владимир Ильич, товарищ Ленин, хотим проститься...». За окном — гул голосов.)

Ленин. Это хорошо, что мы еще раз встретились, товарищи... Вы отправляетесь на фронт... (Голоса: «На фронт, на фронт, Владимир Ильич...».) В добрый путь, товарищи... Россия удивительная страна... Разоренная и голодная, и холодная, а — что ты поделаешь — народ в ней поднялся во всей своей силе, уверенный, что он справится со всем миром... (Голоса: «Справимся, Владимир Ильич...».) На этой уверенности мы начали революцию, и мы уверены, что мировой колосс рухнет в борьбе с нами... Один замечательный человек недавно сказал мне: для Красной армии единственный понятный лозунг — это вперед, отступления она знать не хочет... А Красная армия — это наш народ, во главе которого идете вы, взявшие на себя всю тяжесть диктатуры... Вы, сказавшие: смерть или победа!.. Где эти четырнадцать армий интервентов? Где эти ударные корпуса

Колчака и Деникина?.. Знамена Красной армии плещутся уже над Донбассом... И это только начало великой войны, ее мы окончим нескоро... С каждой победой перед нами—новые задачи... Замолкнут пушки контрреволюции,—очередь за войной бескровной. Ваши руки сожмут тогда другое оружие в борьбе за просвещенную, светлую Россию, обильную всеми земными плодами великую родину социализма... Сегодня, в эти дни наивысшего напряжения, мы закладываем фундамент нашего народного хозяйства, мы разрабатываем план электрификации всей страны. Над нами смеется капиталистический мир, обзывая нас голодными мечтателями... Что ж... Через немно-го лет мы посмотрим, кто засмеется. Крепче сжимайте оружие, товарищи...

Смерть—им, нам—победа... У них все ужасы смертельных противоречий... У нас мы заставим, чтобы молоком и медом потекли наши реки, не в сказке, а на самом деле. И вы это знаете, и вы верите в это... Мы обуздаем дикую стихию мира, и человек станет свободным и счастливым не в сказке, а на самом деле... Крепче сжимайте оружие, зорче вглядывайтесь вдаль, — там предел, мыслимый уму: весь мир, где наведем порядок коммунистического хозяйства... Где человечество после мучительных превращений покинет наконец тесную оболочку и на блистающих крыльях будет подниматься все выше и выше,—ибо разуму человеческому, счастью человеческому не будет предела... Крепче сжимайте оружие, бесстрашно идите вперед, советские люди...



О поэме „Мгер из Сасуна“

Акад. И. ОРБЕЛИ



Поэма выдающегося поэта Советской Армении Аветика Исаакиана—не переделанное какое-либо вариант или отрывок из великого армянского эпоса, «Давид Сасунский»—это сжатое поэтическое выражение идей, рассеянных по всему эпосу, идей, достигающих особенно высокого напряжения в народной обрисовке младшего из четырех героев, Мгера Младшего, судьба которого так тесно связывает отделенный от нас веками эпос с нашими днями.

Исаакиан правильно уловил ту несказываемую сказителями нить жизни Мгера, которая единственно способна объяснить, почему старый мир был для него тесен, почему обветшавшая поверхность земли, на которой держался старый мир, неспособна была выдержать тяжелую поступь мгерова коня.

Исаакиан связал с Мгером черты, отражающие сказания об его отце Давиде, деде Мгере Старшем и прадеде Санасаре,— он собрал воедино яркие образы, разбросанные по всему эпосу, и дал цельный образ подлинного сына народа, воплощающего в себе чаяния и устремления и несокрушимую мощь взрастивших его народных толщ.

Мгер Исаакиана — последовательный борец против несправедливости и угнетения, строитель крепости, не предназначенной для защиты горсти собранных его дедом Санасаром переселенцев, а крепости — оплота для всех стражду-

щих, угнетенных, протестующих и готовящихся к борьбе за перестройку мира людей.

Эти люди в поэме ни разу не названы по национальности потому, что в этой борьбе сильнее, чем когда-либо, сказывается справедливость утверждения героев народного эпоса, что нет разницы между арабом и армянином, но пропасть отделяет царя Мсра-мелика от народа, будь то армяне, сасунцы или наведенные на армянскую землю Мсра-меликом рабы.

В Мгере Исаакиана собраны в единый фокус лучшие движения души великих предков Мгера — выношенных армянским народом героев.

Мгер Исаакиана, родившись престолонаследником, становится и зачинщиком, и вождем борьбы с царями, князьями и богатеями. Пусть Исаакиан здесь отступает от текста эпоса, делая его княжичем, это отступление может быть результатом попытки поэта и в этом отношении слить воедино образ четырех героев (из которых первый, Санасар мог бы быть назван царевичем), дать сводный, коллективный образ сасунских героев, а они, будучи борцами за народ, а не за престол, никогда не поднимали руку для захвата чего-либо, а всегда протягивали ее для помощи тем, кто был обижен в старом мире.

Прекрасен по мысли и выдержан в стиле поэмы ее конец — торжество дела Мгера.

Ведь сказители, говорившие о том, что Мгер выйдет из скалы, когда наступит его час, когда разрушится старый мир и будет созидаться новый, не знали (хотя и сказывали этот эпос накануне наступления мгерова часа), что этот счастливый для Мгера и для всего человечества час так близок.

А новый армянский сказитель и поэт, Аветик Исаакиан, сложил свою поэму, когда, бросая взор вокруг, он уже видел торжество созидания нового мира, видел счастье на лицах мгеровых друзей, радостно попирающих развалины старого мира. Аветик Исаакиан видел и видит, как с каждым днем растут башни не

медной или латунной, а стальной, несокрушимой крепости — оплота всего трудящегося человечества. Новый «сказитель» должен был отвести вышедшему вновь на свет любимого солнца Мгеру почетное место в ряду тех, кто торжествует победу, созидая новый мир, — и он в своей поэме отвел это место Мгеру.

Прекрасный, звучный перевод К. А. Липскерова дает возможность тем, кто не знает армянского языка, познакомиться с поэмой Исаакиана. Но понять эту поэму и те, кто не знает армянского языка, и те, кто его знают, могут лишь в свете всего великого армянского народного эпоса.



Мгер из Сасуна

АВЕТИК ИСААКИАН

★

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Встал храбрый Давид, князь
Сасуна,— и зог
На Мысыр он войной идет.
За его отбытием вслед Хандут

госпожа
Завершила круг, принесла на свет
Младенца, чтоб мощь унаследовал он
И земли Сасуна, и джаджанский
трон.

И, как стародавний обычай велит,
Пришли все старейшины дома

Джаджанц.
Не в пеленки младенца они облекли,
А цепями от плуга его оплели,
И сказали старейшины дома

Джаджанц:
«Если мальчик железные цепи сорвет,
Значит воли он хочет, ее обретет,
Он — нашего рода: отец его — лев».

А мальчик руками, ногами сучил,
Рассыпались звенья, и цепь он
разбил.

И вестник к Давиду сквозь рати
спешит,

И к Хандут свой наказ отправляет
Давид:

«Что сыну — что львенку имя искать!
Ты отца моего имя возьми.

Надо Мгером его назвать.
Над нашей страню владыкою должен
он стать.

Кто ломает железо,— управляет
людьми».

И горестный день пришел:
Скончался могучий Давид.
Боль сердца убила Хандут,
И Мгер, одинок и сир,
Остался, вступая в мир.

И тогда брат Давида — Чинчхапорик
Над высоким Сасуном владыкой
возник.
Все добро, все сокровища брата он
взял,
И растить, и выхаживать Мгера он
стал.

Хоть малым ребенком был еще Мгер,
В Сасуне для всех он силы пример,
Осанкой — в отца, смотрят очи

светло,
Взор — орлиный, возвышенное чело,
Кудри — огонь,
Стан и руки, что сталь — опасайся,
не тронь!

Семь обедов порой поедал он зараз,
Все растут по годам, он — возрастает
за час.

Непокорен он был, дерзновенен и яр,
Жил в нем пламенный жар.
А рассердят его.— помрачнеет он тут,
Что вершина Немвруд.

Горы грузно ступнями стоят в
прогастях,

По вершинам их — молнии прыщут
в ветрах,

Сила Мгера за молнией Мгера гнала,
Он выщипывал перья из крыльез
орла.

★

И дядя однажды Мгеру сказал:
«Наши гряды, луга, все, что я
сберегал,
Пастухи потравили; пойди, погляди,—
Ты за дело примись, зря в дому не
сиди».

И Мгер спозаранок вставал, на плечо
надевал
Буйволоу суму с хлебом, с питьем,
По просторам сасунским сновал,
по горам,
Охранял он сасунские нивы, луга.
На сасунских горах много есть
родников,
И серебряной, буйною гривой львов
По уступам простерся их пенный
покров.
Садился Мгер у воды,
Зараз он весь хлеб с'едал,
Голодным весь день блуждал.

Он, домой возвратясь, дяде вечером
говорил:
«Сегодня опять я не ел ничего». —
«Сынок, отчего?
Банджара да синдза сасунские травы
полны,
Их собирай, поедай, голодными дни
твои быть не должны».

★

Поднимался Мгер, по теснинам
сновал,
Диких пчел благородные соты собирал,
С'едал, набирался сил. Карабкался
между скал,
По грозным гнездовьям орлов яйца
собирал.
И кремнистые глыбы друг о дружку
он бил,
Из огромных камней огонь извлекал,
Разводил костер, пек яйца орлиные.
С'едал, набирался сил.
Охотничал он, бродил
В тростниках у реки Ангех,
В дремучих, в темных лесах,
Без дорог, без тропы, без вех.
Вперегонки с ветрами бежал,
Перепрыгивал через ров,
Преследуя по пятам
Стаи вспугнутых кабанов.

На вершину горы Мгер взбирался
порой,
На вершину, встающую острой
стрелой.
На уступах тех скал он порою стоял.
Где газель удержать своих ног не
могла,
Там, где не было птичьего видно
крыла,—
И кричал с дерзновенною силою
в дол,
Словно вольный, гордый орел.

★

С вершины Антока, гром рождая и
звон,
Глыба страшная сорвалась,
И крутилась она, неслась
На овец, на джаджанский загон.
Мгер подбежал, могучий хребет
Подставил под глыбу, глыбу сдержал.
И до этого дня все висит
задержанный Мгером обвал.

Мгер, домой возвратясь, дяде
вечером говорит:
«Сасунские камни — словно ножи,
Взгляни,
Разодрали, пожрали мои лапти они».

Чинчхапорик молвил в сердцах:
«Почини! Носил их немного дней!».
Мгер заворчал и бесстрашно напряг
На дядю он лук бровей.

«От этого дэва скоро настанет беда,
Он — бес исполинский, страшный
вишاپ.
Увещаньям не внемлет, не слышит
угроз» —
В страхе большом Чинчхапорик
молвил жене.
И порешили: так или этак, от Мгера
себя упasti;
Мгера, прочь прогоняя из дома, из
края,
Обманом и кознями по невозвратному
бросить пути,
Навек из Сасуна выгнать его.
А Воробышка-крошку, сына своего,
Что в стенах монастырских Марўта
за грамотою сидел,

Сделать властителем, чтоб наследовал
он
Земли Сасуна и джаджанский трон.
И вот снаряжают они с Верго
Отрока Мгера, снеди ему дают.
В Капуткох направляют, к отцу
Хандут.

«Твой дед престарелый,— дядя
сказал,—
Не видел тебя долгий срок.
Отправляйся, людей повидай, белый
свет исходи.
Научись, хоть чему-нибудь, мой
сынок».

★

В путь отправился Мгер, в Капуткох
пришел,
В землю деда пришел.
В доме дедовском пробыл он ровно
семь лет.
С дядьями наездничал он,
По охотничьим взгорьям скакал на
коне,
Со старшими наравне
В схватки вступал, в латах, в броне.

Но час деда настал — и скончался
дед,
И Тева-Торбс, дядя старшой,
Мгера позвал, с усмешкой сказал:
«Глупый Мгер! Иль тебе не приходит
из ум,
Что в наследье ты б мог получить
Сасун.
Твой отец имел бурдюки, золотую
в них россыпь храня,
Он села и доли и грады имел,
Меч-молнию, огненного коня.
Пристало ль тебе топтать, как
бездомному, наш порог?
Твой дядя добром овладел,
расправляется с ним,
А ты на чужбине совсем изнемог!
Эй, сумасброд Джаджанц! Да не
иссякнет твой дым!».

★

Мгер тут вскочил и расправил грудь.
Палицу — в руки, под ноги — путь.
Пошел и пришел в престольный
Сасун.

А как прибыл в Сасун, на колени
встал,
Землю края родимого поцеловал,
И стрелой помчался в Аррюцаберт,
В старинный очаг Джаджанц.
Он в замок отцовский под вечер
вошел,
От гнева сгорая, речь с дядей повел:
«Как ты князя Сасуна наследника
мог
Заставить чужой обивать порог?»
Еще говорил он,— Чинчхапорик
Топнул ногою; взлетел его грозный
крик:

«Проклятье тому, кто сирот
Под крылом своим бережет!».
Мгер за палицу взялся вмиг,
Да рука на дядю не поднялась.
Разъярился Чинчхапорик,
Лютю взревел, и дубину взял,
Мгера избил, из дома прогнал.
Мгер обернулся, взбешен и яр,
Да не послушалась снова рука,
сдержал он удар.

И в путь он пошел, слезы горькие
лил,
Над могилой родителей плечи
склонил,
Попросил он прощенья, пошел он,—
и вот
Уж не видно сасунских нагорий
и вод.

ГЛАВА ВТОРАЯ

И Мгер обездоленный, голодом,
жаждой томимый,
Гонимый,
Даль в глаза свои взял,
Путь под ноженьки взял,
И пошел, и пришел в Чапахджура
поля.
И только пришел в Чапахджура поля,
Увидел он: в летний, в полуденный
зной,
Под сладостной тенью, под темной
листвой,
Сидит богатей, сидит он с женой,
Яичницу ест, попивает вино.
«Привет! На здоровье! — сказал
ему Мгер. —
«Я голоден, дай-ка мне хлеба поесть».

Снопы увязал, сложил,
Заскирдовал на току золотую
пшеницу.

Дорога гусана к скирдам привела,
Лира гусана — череп вола.
Три меж рогами струны
Туго натянуты, прикреплены.

Он отдал поклон, на сноп он присел,
Он складно по струнам ударил,
запел,
Насущному хлебу он славу воспел.

«Как не славить нам хлеба,
Благо народа!
Хлеб и потреба,
Хлеб и свобода.

Мы хлеборобам от чистой души
Пожелаем долгие дни.
Насыщают, питают мир
Хлеборобы одни.

И о вас мы поем, о том,
Что труды ваши святы, поем.
О хлебе святом поем.
О свободе вашей поем».

Пернатые стаи слетелись с небес.
Зашебетали кругом их голоса.
Взяли долю они, взвилась в небеса.

И князь появился — он полем
владел, —

Он половину пшеницы унес.
А после и староста к току пришел,
И лавочник к хлебу дорогу нашел.
Мешками, в охапку, пшеницу они
волокут.

Золотую пшеницу они волокут,
В счет побора, за долг, за налог
волокут,

Ничего не осталось крестьянину
тут, —

Только зернышки на току.

И как только все это увидел Мгер,
Не знал он, как пламень души
превозмочь.

Он ахал весь день, он ахал всю ночь,
Думал, нахмурившись, Мгер:
«Простой человек под гнетом ярма

Наполняет давилъни и закрома,
Чтобы стали еще полней
Амбары князя и богачей,
А сам он — голодный, а сам —

не одет,
Все такой же нагой, как родился
на свет».

И Мгера позвал старшина, сказал:
«Ну, подать свою подай,
Подушную подать царю подай!».

«Какая тут подать? Пред кем я
в долгу? Что за царь?»
Он мне в долг не давал, что он
просит с меня?» —

Так молвил отважный Мгер.

Закричал старшина, и вот все село
Пришло, — работники, батраки.
На плечах у них — змеи жгутов
ременных,
Дубинки в руках у них.

«Вяжите, — сказал, — руки, ноги ему!
В железо закуйте! Бросьте его
в тюремную тьму!».

«Эх, рабы скудоумные! Не защитой
вы стали мне в этот час,

А я с душегубом вашим борюсь!
Оружье вы взяли, пошли на меня,
Как будто я — не за вас!

Эй! В сторону все! Пускай старшина
придет,

Подать царю берет!» —
Так вымолвил Мгер и великой
твердыней стоял.

Заметался народ — Мгера схватить.
Мгер наморщил чело, палицею
взмахнул.

Ударила палица о ступу, взлетела
ступа,

Крутясь понеслась, — доселе летит.
И ветер от взлета ступы,
Словно молнии взмах,
Распластал старшину села:
Он лежал, как смердящий прах,

И люди взглянули — и вмиг все село
Наутек, наутек понеслось.

Так летели, как в бурю хворост
сухой,

Так, что дух у всех заняло.

★

И с мыслию смутной, с печальной
душой
В путь он пошел и увидел в пути:
Над лугами зелеными гор,
Над ключами, бегущими с гор,
Дикие стаи веселых птиц реют, поют,
С лепетом, щебетом в небе снуют.
И к ним обратился Мгер и сказал:
«Блаженные, дикие птицы!
У неба вы в милости, прокляты
люди.
И вольно, беспечно, что дружные
братья,
В любви вы живете, не зная забот.
И вас владыка полей не гнетет,
Поборов и даней с вас царь не
берет,
Блаженные, дикие птицы!».

★

И Мгер огневой до Медного Города
добрался.
Медного Города стены, врата
Медночеканные — были крепки.
Меднолитые своды моста,
Башни над крепостью были крепки.
И долго бродил он и взад, и вперед
По маленьким улицам и по большим,
И он, удивленный, на площади встал
Возле богатых палат.
И слышит он: мастер с высокой
стены
Громко кричит: «Эй! Камней!
Эй! Раствору да щебня давай!».
Работники, на спины глыбы взвалив
Да ведра огромные, по ступеням
Узеньких лестниц кверху и вниз
Лазят; колена трясутся у них,
тяжко вздыхает грудь.

И Мгер увидал: рабочий-юнец,
С камнем тяжелым высоко взойдя,
Рухнул на землю и раскрыл
Череп... и брызнул мозг.
И когда эту гибель увидел Мгер,—
Как буря над морем, что тысячью
тигоам
Подобится рыком и скалы свергает,—

Кипя, пламенея, вскричал он, сказал,
Душе своей молвил и миру
вскричал:

«Эй, люд подневольный, чей
тягостен труд!
Палаты тобой воздвигаются тут,
А что ж для себя вековечные дни
Ты строишь лишь тюрьмы одни?
Пойду и построю я крепость,—она
Вам только и станет защитой одна.
Отцовские латы возьму и коня,
Сасунцев бесстрашных и полных
огня,
Подмогу в бою, и выйдем на бой,
И мир победим, корыстный и злой.
Старье сокрушим
И строй трудовой установим в миру,
Строй люда простого, закона и прав,
Чтоб труженик стал бы хозяином сам
Труду своему и своим хлебам».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

И с пламенем схожий, кинулся Мгер,
полетел и взлетел
На горы Сасуна — Сасун и на Сим;
Сасуна гора громоздилась пред ним
И взбиралась до неба, горда, высока.
Сходна с головой быка,
Что, фыркая, лютую стужу несет
И вихрей круговорот.
По ущельям сасунских рек
Огневые кривые клинки, —
То подножия Цовасар, чьи снега
К звездам возносят свои берега.

И без-устали Мгер блуждал
От реки Ангех до Сепан-горы,
От Маратука по Цицмакакит.
Он для крепости места искал,
Он утесов искал, отвесных скал,
удобных, пригодных скал.

И раз в непролазной чаще одной, в
теснине лесной,
Тигр огромный прынул на Мгера и
заревел
Яростным ревом.
Размахнулся палицей Мгер,
Лютому тигру череп рассек,
Мясо поел, шкуру набросил
Себе на чело, разметал по плечам,
Словно гишт и халам.

Устрашающую скалу Мгер отыскал
В извилинах Маратука,—
Словно высокий трон из железных
руд.

Тут взирали со всех сторон
Провалы бездонные, пропасти
темные,

И раскинулась тут
Для твердыни пригодная россыпь
огромных каменных груд.

И тогда Мгер Джаджанц палицу
взял
И помчался, примчался в Таронский
лог.

Лог Таронский большую реку имел,
Глубокую, многоводную, по
прозванию Арацань.
Сто сорок ручьев, ручейков
Друг с дружкой сливались, — и
вместе они
Сплетали реку Арацани.

И увидел Мгер — вода поднялась,
понеслась, понеслась,
Размывая поля и жильё.
Вот все пашни зальет селянина!
Сжалился Мгер, с сердцем
ужаленным на Скалистую Гору
взлетел,
Необ'ятную глыбу с базальтовой
сбил скалы,
Сдвинул и потащил, волоча, волоча,
Грохоча, грохоча,
Протащил, — и в реку поверг.
На две ветви он глыбою реку

разбил,
Эта влево легла, та — направо
пошла,
И спала вода, и веселыми вновь
Увидел жильё и поля селянин.

Как гаронцы увидели силу его,
Испугались, диву дались, побежали,
вбежали
В Арэв-Арринч, город торговый,
большой,
В латунные стены Вишапабэрт.
И ворота латунные Вишапабэрт
На сорок замкнули замков.
Мгер подбежал, палицей он
Семь раз по воротам прогромыхал,
По латунным воротам прогромыхал,

Он топнул о камни стальной ногой,—
Будто с гор загремел обвал,
Загремели скрепы, замки
На воротах латунных Вишапабэрт.
«Эй! Таронская знать! Князья!
Вот воля моя: собрать, созвать, мне
передать,

На ваши харчи мне в подспорье дать
Сто мастеров, чтобы камни тесать,
Сто мастеров, чтобы стены класть!
Десять сотен рабочих, носильщиков
дать,

Чтобы камни таскать, железо
ковать,
Десять сотен рабочих, носильщиков
дать,

Чтобы землю копать, свинец
расплавлять!
Созвать их, мне передать, иль ваше
жильё

Я в прах превращу, на ветер пушу!».

С челобитной ко Мгеру пришли,
Хлеб и соль принесли
Знатные города Арэв-Арринч.
Купцы, богачи в этот же миг
Серебра да еды поспешили дать,
И сто мастеров, чтобы камни тесать,
И сто мастеров, чтобы стены класть,
И десять сотен рабочих, носильщиков
дать,
Чтобы камни таскать, железо ковать,
И десять сотен рабочих, носильщиков
дать,
Чтобы землю копать, свинец
расплавлять.

И забрал мастеров и работников
Мгер,
К краю повел своему,— в свой
нагорный Сасун повел,
В край огромных, высоких скал.
На скале устрашающей с ними он
воздвигал,
Словно щит непробойный, крепость и
вал,
Из могучих камней, из базальта,
кремней
Бойницы, проходы и своды слагал.
Не известь лили они,—свинец
В основание стен;
Не щебенъ клали они,—свинец
Меж камнями стен.
А башню они возвели подконец

На вершине, где только орла крыло
Ее задевать могло.

Стальной был запор, стальной был
затвор

На огромных вратах,
Построили пышные своды они
Высоких палат.

И окнами грозно палаты глядят
На извилистые пути,
На далекий путь и на близкий путь.
И сказал он: «Название крепости
будь —

«Ярость моя».
И гремит это имя до нашего дня —
Вооруженный и строгий страж.

★

И, быстро ступая, отправился Мгер
В престольный город Сасун.
Спросонок заря раскрыла глаза,
А небо — морем пурпурным текло.
Словно туча вздымался дым
Из очагов и труб.
Этот день был воскресный день,
Обедни служили в церквах.

И вошел он в Арюцабэрт,
В свой джаджанский дом.
Семь запоров с ларя сорвал,
Доспехи, кольчугу Давида взял,
Златокованный пояс Давида взял,
Панцырь нагрудный скрепил он у
плеч,
В родительский шлем смог чело ов
облечь,
Он к бедру привязал Меч-Авлунд,
молнию-меч.

Он в ворота конюшни ударил ногой,
В десять запоров на них, — и вот
Железные створы ворот
Распались, осколками прозвения.
Мгер давидова вывел коня,
Огневого коня, за гриву его держа,
Положил ему руку на шею, чтоб
сесть, —

Из церкви вышел Чинчхапорик,
Нахмурился, закричал, за локоть
Мгера схватил.

«Чтоб не стало тебя, Мгер
беспутный и злой!

Твой увидеть бы гроб!
Провалиться б тебе!».

Локотком оттолкнул неугомонного
дядю Мгер,

Локоток по зубам прошел, —
И всех-то зубов лишил неугомонного
дядю Мгер!

Вскочил на коня солнцеродный Мгер.
Разгорячил, да не дал увлечь.
Как домчался до площади, — встал.
В правой руке
Тысячелучный молния-меч.

Как в Андокских горах громыхает
гром,

Над городом голос гремит,
Мгер горожанам кричит:
«Эй, вы, сасунские храбрецы,
Эй, селяне, работники и рабы!
Все, что могут владеть копьем и
стрелой,
Все, что могут владеть дубьем,
булавой,

Оружье берите, идите за мной,
Разрушим навеки мир темный и
злой,
Установим строй трудовой на земле,
Строй люда простого, закона и прав.
Чтоб труженик стал бы хозяином сам
Труду своему и своим хлебам».

И голос Мгера прогремыхал
По ущелью Сално, сквозь ворота
Цопан
Чапахджур пробежал, в даях Муша
звучал,
К скалам Хута взбежал, взнесся в
горы Горгур.

И вернулся опять
Стоголосо звучать
Над Сасуном.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Все главы Джаджанц, весь могучий
род:

И Горлан-Оган, да и Хор-Гусан,
Тар-Воробышек, с ним и Хор-Манук.
И Вжик-Мхо за ним, да и Бранц-
Куррик,
Да и Джодж-Вирав, да и Чох-Вирав,
И придворных рать, и сепухов тьма.

И вот из могилы голос идет, на плач
 ответ подает:
 «Отправься, сынок, на взгорье
 Топан,
 В Воронову Пещеру,
 Порыдай, пострадай, покайся
 в слезах,
 Чтоб христос тебя пожалел,
 даровал избавленья».

И родная страна не держала
 Мгера.
 И солнце, что взор умирающих,
 Меркло,
 И тускло взирало, не согревало
 Мгера.
 По колена ноги коня.
 Погружались в прах.
 И с великим трудом Мгер поплелся
 И добрался до озера Ван,
 Отомкнулась Воронова Пещера, в
 об'ятья свои приняла
 Мгера с конем.
 И замкнулась Воронова Пещера, как
 выпустила Мгера с конем.

И Мгер-исполин в пещере живет.
 Тусклый мреет огонь дни и ночи над
 ним.
 На день — кружка воды, хлеба в
 день — три ломтя!
 Пред конем — сноп трилистника
 И зимой зеленой травы.

И бессмертный думает Мгер
 О житейских делах,
 Мирские дела змеей обвивают сердце
 его,
 И не плачет, не кается он, чтоб
 христос его пощадил
 За его злые дела.

И плывут
 Тучи, полные пламенем, влагой,
 С величавой вершины Масиса,
 С увалов Сипана, с моря Ципан,
 Пламенем бьют
 В нагую Воронову Пещеру, в
 закрытый за Мгером вход,
 Громяхают, сверкают, убывают,
 себя истощив.
 А в недрах пещеры, в глуби скалы,
 Гневом исполненный Мгер

Грозно кричит.
 Топочет и ржет
 Вздрузданный конь, огненный конь.
 Потрясают и Мгер, и конь
 Мир до его основ.

И в день вознесения каждый год,
 Когда небо к земле с лобзаньем идет
 И воду целует огонь,
 В день вознесения каждый год,
 Когда все раздвигают створы ворот.
 Опасаются в селах и в городах:
 Распахнется Воронова Пещера,
 появится Мгер.
 И горожане, селяне в слезах молят
 Христа —
 Злого Мгера связать, не выпускать.
 Чтоб не вырвался он, землю не
 разорил.

И в одно вознесенье, когда Мгера
 врата
 Вновь разомкнулись, — в пещеру
 проник
 Старый пастух, и пред старцем
 возник
 Кто-то могучий, подобный скале.
 На его голове был шлем,
 Он сидел на коне огневом,
 Молнию он держал, —
 Так он пред старцем предстал.

«Кто ты?» — молвил старик.
 «Я — Мгер, сын Давида.
 Ты откуда пришел, старик?».
 «С белого света» — молвил пастух.
 «А мир изменился иль нет?» —
 Спросил его Мгер.
 «Мир все такой же, как был»,
 Молвил старый пастух.

«И попрежнему люд простой в
 тяжком труде,
 И добычу свою отдает другим, сам
 голодный живет?» —
 Спросил его Мгер.
 «Да, все по-старому, Мгер
 Джаджанц».
 «Возвращайся в свой злобный мир» —
 Сказал возмущенный Мгер.
 «Когда же ты выйдешь на белый
 свет?» —
 Мгера спросил старый пастух.
 «Когда нож до кости дойдет,

И Мгера народ позовет» —
 Грозный ответил Мгер,
 Из пещеры вышел пастух,
 И сомкнулась Воронова Пещера.

★

И Мгера пещера таит.
 Он сидит на могучем коне
 В броне,
 Молния в правой руке,
 Щит на левой руке,
 На голове его шлем.
 Слушает... мир окружающий нем.
 Слушает... глухо, темно.
 Вся душа его в слухе, ухо
 К народу обращено.

★

Даль времен велика, миновали века
 С той поры, как любящий бедных
 Мгер

Был замкнут в пещерный мрак.
 Злобных тысяча лет прошло,
 Снова тысяча злобных лет,
 Унылых, свирепых, тягостных лет.
 И простой народ, подневольный раб,
 Что животное вьючное, изнывал,
 Страдал, только труд знавал,
 Страдал, тяжело грудь вздымал,
 На потребу, жадным, скутым
 Князьям, да владельцам злым,
 Царям, богачам.
 Повсюду, во всех краях,
 Изнывал, умирая в трудах:
 В пустыне морей, меж бурных зыбей,
 Под жаром полдневных лучей,
 Меж вьюг ледяных.
 И вечно он жил, и вечно бродил
 Голодным, нагим —
 Таким,
 Как родился на свет.
 И права не знал, и воли не знал,
 И день изо дня, из года в год
 Злоба господ,
 Насилия гнет
 Тяготили народ.
 Да нож до костю́ дошел,
 До сухой народной костю́!

А как нож дошел до костю́,
 Не выдержал, крикнул народ,
 Из поселков и городов,
 С берегов озер и морей,
 От кузнечных огней —
 Подневольный бедняк, обездоленный
 раб,

И работник любой, —
 Все, к смерти готовые, вышли в бой
 И кричали, зывали, звали
 Грозного Мгера.
 И, пылая, что пламень, со всей земли
 Тысячи, тысячи зовов неслись,
 И зовы, что буря, что буйный
 прибой.

Воронову Пещеру нашли и пришли,
 И постучали в скалу.

Слышит в пещере Мгер:
 Пылающих кличей тысячи тут!
 Тут к смертному бою зовы зовут!
 Десницу железную выпрямил Мгер,
 Безмерно взыграло сердце его,
 Грозно заржал конь огневой.
 До основ потрясли они мир земной,
 И рассекли скалы они.
 Молнии бьют с Меча-Авлуня,
 Ужас рождает, срывают они
 Путь, затворы; затворов — уж нет:
 Мгер появился, вышел на свет.
 Потекли бедняки, появились, пришли.
 Тысячи, тысячи, тысячи их,
 Подневольных рабов и рабочих
 земли!

Обступили морем безмерным,
 Бурнодышащим,
 Мгера, —
 И грянули разом на царей и
 князей.

Торгашей-богачей.
 Грозно грянули разом,
 Злой разрушили мир,
 Утвердили строй трудовой на земле,
 Строй люда простого, закона и прав,
 Чтoб труженик стал хозяином сам
 Труд у своему и своим хлебам.

Перевел Константин Липскеров.

Вино

РАССКАЗ

ВИТ. ФЕДОРОВИЧ

★

На горной тропе лейтенант великобританской королевской гвардии Чарльз Чарльстон остановился передохнуть и, обмахивая лицо сложенным четверо чертежом на синьке, оглядел пламенный осенний лес и сверкающее море. Белая подкладка синьки бросала на лицо лейтенанта блики света, и от них яснее было видно горделивое выражение, как бы говорящее: мое море, мои горы, мой Крым! В левой руке он держал перчатки и фуражку с офицерской кокардой.

Пониже лейтенанта, в зарослях кизила, остановились затылками к морю двое румяных томми. А Степан Степаныч стоял чуть повыше всех и вытирал вспотевшую голову. Он с тайным беспокойством взглядывал на синьку в руке лейтенанта, и к мягкому бабьему его лицу внезапно приливал девичий румянец. Степан Степаныч спрашивал себя: если в руках лейтенанта полный план Средней Массандры с ее коллекционной галлереей и нужна ему только одна историческая коллекция, — на кой чорт таскаться такой важной персоне по всем трем ярусам? Или Массандра отдана Англии в концессию? Но не рано ли с концессиями? Вон Красная армия уперлась в самый Перекоп, и хотя говорят, что перешеек неприступен, но кто ж его знает...

На тропинку выскакивали черные дрозды и чокали, не спуская со Степана Степаныча вишневых глаз, вдруг впархивали в багряную заросль и кричали

издали. Трудный год и для птицы! По горам отрясли дички яблони, лесного инжира, обобрали орешник, кизил и ежевику, — одно вечнозеленое земляничное дерево с красивыми дурманными плодами не тронута, — на его розовые ветки не любила садиться птица. Степан Степаныч сунул платок в карман и опять подумал о Перекопе:

«На свете как будто нет ничего неприступного».

Лейтенант вынул из кармана перочинный ножик в замшевом чехле и, сверкнув сталью и перламутром, срезал кизилевый прут; он оборвал розовые парные листья с резкими жилками, оставив один на конце, потом оглядел чашу и желтые скалы яйлы, со снежком в складках — ослепительное море заставило его сощуриться.

— Савойя! — похвалил лейтенант.

— А по ночам у нас бегают чекалки, — наивно ответил Степан Степаныч, — роются в мусорных ящиках.

— Шакалы, а...

Лейтенант подозрительно покосился на Степана Степаныча, на его белый с черным лаковым козырьком картузишко, который винодел осторожно прижимал к груди, скользнул взглядом по белой в крапинку рубашке, подпоясанной желтым шнурком с ошипанными кистями, по разношенным сандалиям, надетым на босу ногу... Он быстро перевел взгляд на охряную почву, которая ощерилась известковым сланцем.

— Тут есть тайна! — сказал он мечтательно и ткнул прутником в сторону

рдеющего под солнцем далекого винограда.

Степан Степаныч понял, что лейтенант ридится в мечту и тайну от неловкости,— просто речь идет о силе крымской земли.

— Лоза любит первозданные почвы,— ответил он.

Торжественное слово «первозданные» очень понравилось лейтенанту, он оживленно взмахнул лозинкой и вспомнил свои путешествия. Лучший виноград в мире — в Куль-де-Серран, в Анжу, растет на синих и красных сланцах песчаника! В Эперне до семидесяти процентов мелового щебня, а какая лоза! Или виноградники Педрохиминеса в Гренаде, которые растут почти на голом, сером песчанике!

— Да, именно: виноград любит первозданные земли! — Он поднял глаза к далеким голубым скалам Ай-Петри, которые как бы шагнули с высоты яйлы к морю.— Генерал заперся в восхитительной крепости.

Он следил за плющом, яркозеленые листья которого в огне осени казались траурными. Этот плющ подымался отовсюду: от земли, от упавшего уже ствола, от скалы; он обвивался вокруг крепчайших дубов и превращал их в безлистые, удущенные столбы.

— Каждой стране нужен сильный человек! — сказал лейтенант, слегка свистнув в воздухе прутиком. — Англия почитает только сильных людей.

Степан Степаныч не знал, о чем подумал лейтенант, сделав этот вывод,— не о плюще же! — но не сдержался и сердито буркнул:

— А Кромвель?.. Кромвель, упразднивший королевскую власть, не был сильным? Тем не менее ваши предки выкопали мертвое тело Кромвеля и повесили его... и радовались бурно...

Лейтенант коротко засмеялся:

— Сам Кромвель сказал бы вам, что вы неправы. Законной власти надо подчиняться.

— Господин лейтенант,— четко ответил Степан Степаныч, — коллекционной галереи здесь никогда не было!

Лейтенант надел фуражку и пошел

по тропе вверх. Степан Степаныч выждал, когда прошли лейтенант и томми, и поплелся за ними. У всех троих англичан ботфорты — с медными шляпками гвоздей на подошвах, с подковками на каблуках. Они казались Степану Степанычу людьми, которым цивилизация служила всеми своими средствами,—особенно лейтенант в паре из шелковистого коричневого коверкота, с щегольской кожаной сумкой на бедре. Степан Степаныч одергивал на ходу кушую свою рубашку и старался неслышно ступать разбитыми сандалиями, особенно когда лейтенант оборачивался к нему с вопросом. От долгого хождения у Степана Степаныча кружилась голова: он проводил рукой по мягкому ежику, с усилием встряхивал плечами. Он решил, что причина усталости — от голодания и что ему пора перейти с алиготе на мускатное вино. Рабочие, давно уже отказываются от алиготе, меняют бутылки этого вина на рыбу, на крабов, на орго, на картошку с цыбулей. В белом алиготе — вкус супа, в желтом мускате — сытость свеженпеченного пшеничного хлеба, — пора перейти на мускат, он должен насыщать сильнее!

Вышли к площадке в горе, к дворику Средней Массандры с железной решеткой ворот, которые глядели под горбатый спуск каменной дороги. В самую гору, в желтые кроны дубов втиснуто большое здание галлерей из зеленого оолита под красной черепичной крышей. Справа, за желтыми ясенями,— дощатая бондарка; три дубовые бочки пьяно валялись на зеленой траве. Пониже сияла на солнце, как кристалл, стеклянная оранжерея; в ней — ряд широколистных, темного дуба, бочек. На цементированной наготе площадки стояли три ряда тысячедекалитровых бочек, снабженных прочными дубовыми стояками,—солярий для вина.

Железо обручей сверкало синеватыми бликами. Степану Степанычу казалось, что на них вращались радужные круги. Он старался не смотреть на эти круги и говорил о русском виноделии, о воспитании вина, которое не может жить без чистого воздуха, без света солнца и ровной температуры.

По крыше галлерей к дубовой ветке кралась рыжая кошка. Готовясь к прыжку, она присела и круто согнула спину, но тут же разочарованно оглянулась, — вероятно, птица упорхнула.

Англичанин следил за рыжей кошкой, он показал прутиком на здание галлерей и спросил: не главный ли это погреб? Степан Степаныч немного обиделся на слово «погреб» и ответил, что это — хранилище с тремя галлерейми.

— С тремя галлерейми... — повторил лейтенант в той же интонации.

В этом прозвучала ирония. У Степана Степаныча заняло в животе, и он решил, что англичанин знает решительно все о хранилище, в руке у него — подробный чертеж. Голова Степана Степаныча кружилась сильнее, а радужные круги, которые по временам вспыхивали на обручах бочек, теперь возникли и на оранжерее, у скрещения рам, — целый хоровод больших и малых радужных кругов. От их вспыхек слегка тошнило Степана Степаныча, и он думал с досадой:

«Привязалось, будь ты проклято! Голод — не тетка...».

Только скалистые обрывы яйлы, высоко под небом, были свободны от радуг; зато они как бы покачивались всей грядой, и это было хуже кругов! Степан Степаныч ухватился правой рукой за белый свой картузик, что носил подмышкой, и громко произнес известную фразу массандринского бухгалтера Фомы Худякова:

— Асклепиад, врач древней Греции, понимал так: могущество богов не сравнится с пользой вина.

Это была правда: уже многие месяцы Степан Степаныч, все служащие и рабочие на виноградниках питались почти исключительно вином. Но мнение врача Асклепиада о вине лейтенанту было безразлично, он с интересом рассматривал рыжую кошку, которая опять ползла по черепичной крыше. Белый кончик хвоста у кошки извивался и вздрагивал. Одолевая головокружение и слабость, Степан Степаныч думал: это лейтенант Чарльстон крадется, а он, Степан Степаныч, прижался к развилке дерева; крыло Степана Степаныча подбито, он

может лететь только по параболе, чтобы шлепнуться на желтую площадку; и, по сути, он уже лежит на боку, а лейтенант, блестя шелковистой шерсткой, протянулся рядом, поддевает его коготком, подбрасывает, ловит, мнет зубами и опять мечет над собой...

«Могучие хребты, — подумал Степан Степаныч, посмотрев на горы, — есть и побольше... реки сильные у нас, леса непроходимые, моря злые... Ах ты, чорт, ужели сдам?!».

Он перевел взгляд с гор на свой картуз и нежнее прижал его к боку. Почти не носил он этого картуза на голове, боясь, как бы не пропела газетная полоска, вложенная за кожаную подкладку околыша. Эту вырезку из большевистской газеты он получил тайно в Симферополе — на ней портрет человека, о котором думали, кажется, даже горы.

В голове Степана Степаныча пояснило, кружение радуг пропало, а горы стояли твердо, как это и полагалось им.

В оранжерее, куда они вошли, прямо пахло вином и дубом, казалось, запах мягко касался щек. Томми остались снаружи — они о чем-то разговаривали, скупно шевеля бритыми губами. Лейтенант слегка хлестал по воздуху кизилинкой, прислушиваясь к лепету листка. А Степан Степаныч говорил о морских путешествиях вина: полезно уложить бочки с вином на палубе парусника и возить их по морю полгода или больше; играют роль три силы: качка, солнце и морской воздух, — это, как десять лет хранения.

Они вышли из оранжерей. Рыжая кошка уже примостилась на краю крыши, у самой трубы, умиленно пожирая птицу, — у ее носа трещало и топорились птичье крыло, сверкая зеленым отливом.

— Поймала! — сказал лейтенант тонкой усмешкой.

— Дрянь! — грубо ответил Степан Степаныч и крепко стиснул скулы.

В вестибюле галлерей, из глубокой черной дыры, куда ниспадала широкая лестница, — дыра была огорожена балюстрадой, — исходил винный ток и душный запах серы, которым окуривали бочки от винного грибка. Высокая ду-

бовая дверь в дегустационную раскрыта. Тихо в комнате, холодно, но уютно: вабрана теплыми дубовыми панелями, приветлив овалный дубовый стол, окруженный креслами, сделанными из полированных бочек; на постаментах два боченка, сторожащие стеклянный шкаф с бутылками русских вин.

Лейтенант улыбнулся... Он согласился отведать вина, с удовольствием осматривал убранство, заглянул даже за боченки, — уж не хотел ли он увидеть там того шалуна Вакха, который некогда нашел кусок лозы, три раза ее пересаживал — в птичью, в львиную, в свиную кости, — сообщив ей все свойства сих костей?.. Мечтательность озарила черты его чисто выбритого лица. Он бросил на стол фуражку, швырнул в нее квадрат синьки, лайковые перчатки и сел, устало развалив колени. Томми присели у дверей.

С картузиком у груди Степан Степаныч убежал в соседнюю контору, плотно прикрыв за собою дверь в дегустационную. В этой высокой комнате, точно заблудившись, сбились в одном углу пять конторских столов, а за двумя столами под окном работали конторщик Константин Иванович, черноголовый, гонкий человек, со скулами, похожими на жабры, и бухгалтер Фома Худяков — очень толстый, в сером альпаговом пиджаке.

— Дегустируем с представителем Англии? — спросил Худяков, повернув голову к Степану Степанычу. — Купили коллекцию историческую крымскую... для погребов его величества?

Константин Иванович прыснул и, упав лицом в раскрытую книгу, хохотал беззвучно, изнеможенно.

— Кажется, в его руках план галлерей, — сказал Степан Степаныч пониженным голосом.

Константин Иванович поднял маленькую головку, и скулы у него посинели, стали похожи на жабры лежалой рыбы. А Худяков смотрел на Степана Степаныча выпученными глазами и, неизвестно к чему, продекламировал:

Мы так же, как и ты, похожи на Хамлёта,
Ты так же, как и мы, немножко Дон-Кишот.

Степан Степаныч попросил конторщика подать вино для проб «с полным блеском» и отмахнулся картузом от Худякова, который все декламировал ту же строфу, выговаривая по-южному: Хамлёта.

— Какие к чорту шутки?

Худяков надул щеки и, ударяя себя мясистой ладонью по губам, прокудахтал, как согнанная с гнезда квочка.

— Эх, Фома... — Степан Степаныч даже с ненавистью взглянул «на этого толстокожего». — Мальчишка в сорок лет! — И вышел из конторы.

Лейтенант сидел неподвижно, слегка откинувшись и положив руки на колени, словно позируя для портрета. Константин Иванович появился из другой двери и поставил на стол высокую стеклянную банку. Потом вышел и через минуту внес на подносе восемь бокалов хорошего стекла, наполовину налитых вином; четыре бокала поставил перед лейтенантом, четыре (тех же сортов) — перед Степаном Степанычем. Вино пламенело, бросая на полированный дуб красные, фиолетовые, зеленые и янтарные отблески. С разрешения лейтенанта Константин Иванович принес томми по бокалу красного портвейна. Они выпили и сказали оба очень благовоспитанно: «Вери гут!», — но от второго бокала отказались.

Положив картузик на колени, Степан Степаныч неторопливо поднял бокал и оплеснул стенки зеленым алиготе; он посмотрел вино на свет — алиготе уронило на лицо зеленую тень. Степан Степаныч прихлебнул алиготе, остаток вылил в банку. Он сказал, что выдержанные вина забрала власть: в Ялте каждый день праздновали победы, а молодые вина еще дики. Бокал с мускатом Степан Степаныч взял нетерпеливой рукой и сразу же ощутил вино во рту, как душистый казацкий хлеб. Он насыщался мускатом, пил его глоток за глотком, тело становилось легким, голова ясной. Лейтенант пробовал вина осторожно.

— Мы, англичане, — сказал он с улыбкой, — не любим повгорять вопросы... но действительно ли, скажите мне, коллекцию увезли немцы?

Он выслушал ответ, недоверчиво разглядывая на свет фиолетовые огни в бокале кучук-ламбата, потом отпил немного и долго молчал. Константин Иванович принес бокалы новых сортов — гамма почти черных бархатных тонов; его рука с подносом дрожала, и вино плескалось. У Степана Степановича рука была тверда, он неторопливо поднимал бокал, отпивал глоток с привычной задумчивостью дегустатора, решающего задачу букета, вкусовой дисгармонии — всех технических свойств вина, спокойно ставил перед собой или выплескивал остаток в банку; он был уверен теперь, что на синьке — чертеж только внешнего расположения Массандры.

Будто решив что-то, лейтенант отодвинул бокал с вином, встал и, выбрав из картуза вещи, спросил:

— Имеем осмотреть четыре галереи?

— Три.

Степан Степанович достал из шкафа книгу впечатлений и положил ее перед лейтенантом, попросив о записи. Лейтенант прочел на соседней странице латинскую поговорку всех пьяниц: *In vino veritas!*¹ — и дальше, по-русски, залихватским почерком: «С удовольствием провел время в Массандре. Генерал Каульбарс». Достав из особого гнезда своей сумки самопишущую ручку, лейтенант написал аккуратным почерком о том, что он осмотрел хозяйство Массандры и нашел все (кроме погребов Средней Массандры, которых он еще не видел) в совершенном порядке, о чем и свидетельствует своей подписью — лейтенант великобританской королевской гвардии Чарльз Чарльстон. Степан Степанович закрыл книгу, положил ее в шкаф и повел лейтенанта в галерею. Бесшумно ставя свои сандалии, слушая стук подошв лейтенанта по бетону, он думал, что англичанин просто оговорился, сказав: «Имеем осмотреть четыре галереи», — и опять у него засосало в животе.

По первой галерее лейтенант прошел невнимательно, коротко взглядывая на огромные бочки в стояках. От лампы-

чек ложились на стены тройные тени, и по теням казалось, будто идет целый отряд людей. Лейтенанту почудилось, пахнет вялым виноградом; он спясть вспомнил Эперне, где грозди не снимают до гниения. Вторую галерею прошли еще быстрее и спустились на этаж ниже, в третью галерею. Бочки здесь отличались тем, что днища у них вытянуты овалом кверху, они почти упирались в своды, похожие на добрых слонов в стойлах. Под прямым углом к главной шла боковая галерея, в ней штабеля ивовых корзин источали тонкий запах увядания. В гнездах корзин лежали пустые бутылки, а возле, по полу, были разбросаны предметы розлива: шланги, пахнувшие спиртом, большие лейки, боченок с распаренными пробками, точно набитый членистыми червяками, машинка для купорки, подобная мортيره.

Степан Степанович вынул и опять вложил в гнездо корзины пустую бутылку, пояснив, что это — скромное его изобретение для хранения вина в лежачем положении, — отдохнувшее вино много мягче, крепче, сильнее букетом, чем уставшее стоять.

— У вас в коллекционной лежат? — быстро спросил лейтенант.

— У нас нет галереи для хранения.

Лейтенант неувовимо усмехнулся. Он вспомнил о тех людях, которые покупают старое вино для домашних праздников, несут или везут, разбалтывая в нем отвратительные чернила осадка.

— Конечно, чтобы возратить вино букет, они не отложат свой праздник...

— ... на полгода... — подсказал Степан Степанович и задержал лейтенанта за руку перед люком для спускных вод.

Из черной дырки метра в четыре глубиной тянуло гнилой сыростью. Ворча на беспорядок, Степан Степанович откинул шланг от люка, закрыл дыру чугунной крышкой, похожей на вафлю. Лейтенант прошел дальше к углу, осмотрел прибор для вгона воздуха в сусло, подобный лакированной лохани со стержнем и зубчаткой, повертел ручку и пренебрежительно, как бы бракуя, — это была немецкая марка, — пнул прибор носком ботфорта. Степану Степановичу,

¹ В вине — истина.

который все улаживал крышку люка, почудилось, что по галлерее прошел гул; он обернулся к лейтенанту, тот стоял с повелительно поднятой рукой.

— Притопните вашей любезной сандалией, — сказал он Степану Степанычу.

Степан Степаныч выполнил приказ — от удара в пол ногой прошел стон. Лейтенант приказал что-то томми, они прошли к середине галлерей, молодежато повернулись лицом к лейтенанту и разом притопнули, — под полом долго звучало эхо. Потом томми поработали каблуками в боковой галлерее, на площадке лестницы, там удары были тупы. Лейтенант ходил за ними по пятам, а сзади брел Степан Степаныч, и так расслабили у него ноги, что хотелось сесть или лечь.

— Зачем стаптывать такие хорошие ботфорты? — сказал он со спокойной насмешкой. — Ведь звук идет от трубы.

Лейтенант круто повернулся к Степану Степанычу, его верхняя губа приподнялась, и длинные, желтые, лошадиные зубы сразу испортили приятное лицо; он резко взмахнул прутом почти у самого лица винодела. Сердце Степана Степаныча дрогнуло, как от жгучего удара, он ухватился свободной рукой за белый картузик.

Щека странно горела, в сущности, горели обе щеки. А лейтенант раздраженно развернул синьку и ткнул ее к самому носу Степана Степаныча, — на этой синей бумаге был подробный чертеж хранилища Средней Массандры со всеми четырьмя галлерейми, а самая нижняя — с рядом занумерованных ниш и этажерок.

«Это был бы классический удар» — подумал Степан Степаныч, судорожно поводя щекой.

— Ваша лестница, — сказал лейтенант, — заложена камнями и зацементирована.

Он свернул и спрятал синьку, сунул прут подмышку и приказал Степану Степанычу: к восьми утра лестница должна быть открыта! упаковочные материалы приготовлены! третья галлерей будет им немедленно опечатана! На площадке лейтенант велел томми закрыть

железные двери галлерей, связал их петли шнурком и припечатал испанским золотистым сургучом, оттиснув печаткой из дымчатого хрусталя, — все эти предметы лежали в его сумке; даже не взглянув на Степана Степаныча, он поднялся с томми по лестнице, — резко чавкали медные гвозди подошв.

Степан Степаныч стоял сбоку от двери, под лампочкой, и глядел на свод. Тень от его головы приняла на стене гордый римский профиль, и это было, как насмешка, при его теперешней беспомощности. Он откачнулся; тень на потолке переломилась, став двухголовой. Оглядев площадку, Степан Степаныч отогнул кожаную прокладку в картузе и вынул вырезку из газеты, которую ему тайно дали в Симферополе на базаре. На рыжей бумаге — портрет человека с высоким лбом, именем которого поднялась страна по ту сторону пешейка.

— Ленин, Владимир Ильич, — тихо сказал Степан Степаныч и задумался, глядя на портрет.

Он вглядывался в черты этого лица, как в радостное будущее, или будто припоминал мечту юности. Будь портрет с ними зимою, легче одолевались бы мучения! В эти зимние ночи пальцы примерзали к бойку, к собачке берданки, — ночами приходили банды грабить подвалы. Бондарь Алексеич с женой своей Машей, с рабочими запирались в Верхней Массандре, Константин Иваныч действовал на Нижней, а он с этим чудачком, Фомой Худяковым, с татаринцом Селимом отстреливались карточью здесь, на Средней. Случалась ночью пальба, как при штурмах крепостей...

По лестнице стучали подошвы. Степан Степаныч заглянул в пролет — шли томми с табуретками в руках, — на площадке устанавливали, стало быть, пост. Степан Степаныч отошел за лестницу, свернул портрет осторожно — бумага уже износилась на сгибах — и вложил его понадежней за кожаную прокладку картуза.

Работу кончали, ржавую дверь в четвертую галлерей можно было в яме

распахнуть. Над обломанными краями цементной площадки торчала лестница, появлялись руки в серых брезентовых рукавицах, выдвигая глыбы туфа, похожие на кекс, — от лампочки, спущенной в яму, на потолке ворошились круглые тени, подобные облакам. Двое сезонников и богатырь татарин Селим сбрасывали туф под лестницу. А томми, которые держали пост всю ночь поочередно, и порядком поблекли при этой работе, глядели все же довольными: ночь кончилась без неприятностей. Один томми делал гимнастику, другой сидел на табуретке с «кольцом» на коленке.

Степан Степаныч только-что спустился и помогал носить туф. Ночь выпала бессонная, все тело Степана Степаныча онемело, и людские голоса едва доходили до сознания. Один голос твердил настойчиво: «Какую богатству отдавать...», другой допытывался, пробьются ли наши, а третий голос басисто гудел: «Ка-ак, значит, ударит мима...». Этот третий голос завладел вниманием Степана Степаныча и помог ему понять, что на взморье «стоит аглицкая подводная лодка и достигает мимой в самый лоб Перекопу».

— И думаю, и думаю всеё ночь... — сказал этот же голос со страстью. — Вон Селим пудовики ворочает... Раз бы, раз им по казанкам, — тут и кладу венец!

На Степана Степаныча из ямы глянуло восковое лицо сезонника с запавшей в рот желтой бородой, он опирался рукой на лом так, будто, прикрываясь локтем, уже наносил кому-то удар кулаком другой руки.

— Ай-яй! — ответил Селим, и в его черной, густой бороде сверкнули белые зубы: — Овечка, овечка, ходи на шашлик! Тью, тью, овечка...

Лестница зазвенела дробью знакомых подковок — спускался лейтенант с тремя новыми томми. Вступив на площадку, лейтенант кивнул головой своей тени на стене и заглянул в яму.

— Очень жаль... — он посмотрел на запечатанную дверь в третью галерею, — пробить там пол легче.

Хотя лейтенант и делал вид, что не замечает Степана Степаныча, лицо его

минутами было полно изумления, будто он хотел крикнуть: да неужели вы ничего не знаете?! Он что-то поспешно приказывал солдатам по-английски, заканчивая протяжно словами по-русски: «ни-че-го», «по-смот-рим» — и напряженно улыбался. Двое из прибывших томми прыгнули в яму, и куски туфа полетели оттуда каскадом; остальные томми убрали камни. А руки в серых рукавицах все так же медленно выдвигали на асфальт полуторапудовые глыбы туфа, исчезали и опять появлялись. Глядя мимо Степана Степаныча, лейтенант спросил его о ключах и таре. Степан Степаныч достал из кармана ключ на шнурке, протянул его лейтенанту. Тот сделал вид, что не замечает ключа и наставительно процедил:

— Поймите, господин директор, лев Альбиона слишком стар, и ему хорошо известны все хитрости зверей.

Он говорил недолго, косвенно извиняясь за вчерашний жест: историческая коллекция продана российским временным правительством великобританскому правительству, и вряд ли в данном случае хранителем проявлен патриотизм. Вот, если хранитель — большевик... Лейтенант пытливо взглянул на Степана Степаныча и прибавил мрачно:

— Нам всем снится социализм... в свое время. Но, к сожалению, это — очень старая сказка.

Сверху спустилось шествие: помахивая топором, впереди шел босой бочар Алексеич, повязанный по седеющим волосам узеньким сыромятным ремешком, рядом плюхал со ступеньки на ступеньку грузный Худяков, дальше — пятеро сезонников несли по два ящика со стружками. Поровнявшись с лейтенантом, Худяков остановился, склонил голову и галантно подшаркнул ногой. Он сейчас же отошел с хмурым лицом и остановился у ямы под бьющим из нее светом.

— Это наш знаменитый декантировщик, — сказал Степан Степаныч лейтенанту. — Он так сцедит старое вино, что оставит в осадке не больше полурюмки. Он же и бухгалтер.

Лейтенант слушал плохо — то сдерживал с руки лайковую перчатку, то на-

тягивал ее плотно до большого пальца, а Степан Степаныч, наблюдая эти его движения, понимал их так: все-таки лейтенант смущается, неудобно ему грабить страну большой культуры. Он спустился по лестнице к дверям в коллекционную, отпер проржавевший замок и распахнул обе половинки двери; войдя первым, он включил у двери лампочку; зажегся коричневый свет. Лейтенант спустился ловко, как хороший гимнаст. Следом за ним, корячась на лестнице и смотря вверх глазами погибающего, — он возбуждал смешки у томми, — слез Худяков.

Одна лампочка, покрытая коричневой пылью, светила цветом сепии, глубина галереи пропадала в полутьме. В полумраке, со своими четырехъярусными нишами в стенах, утыканными бутылочными донцами, с дубовой этажеркой тоже в донцах, галерея походила на внутренность огромного улья с сотами, полными черного меда. Лейтенант осторожно снял с полки бутылку, формой похожую на женскую фигуру в кринолине, и вопросительно посмотрел на Степана Степаныча.

— Лакрима-кристи, итальянское вино, — пояснил Степан Степаныч. — То есть: «слезы христовы», с виноградников Падуи. Это — ликерное вино двенадцатого года прошлого столетия.

Степан Степаныч прошел по ряду, называя вина разных стран; он говорил о них тепло, как старый библиотекарь, ученый, которого принято называть «книжным червем», говорит о книгах. Не прерывая Степана Степаныча, лейтенант шептался с томми. Солдаты стали вдоль ниш на расстоянии руки друг от друга.

— Начните с крайней ниши, с вина аликанте, — посоветовал Степан Степаныч. — Аликанте — любимое вино англичан.

Томми начали работу виртуозно, и поток бутылок стремительно поплыл к площадке. Степан Степаныч стоял в темном конце галереи. Он говорил о винах времен похода русской армии по следам Наполеона, и тут, неизвестно для чего, припомнил выражение одного-глазого полководца Голенищева-Кутузо-

ва: «Наполеон может меня разбить, но обмануть — никогда». Лейтенант быстро взглянул на Степана Степаныча и пренебрежительно усмехнулся. Руки томми мелькали у ниши № 78, и Степан Степаныч, спохватываясь, обрывал длинные рассуждения, пояснял, что это вино — из виноградников Смирны, того времени, «когда Англия науськала султанскую «Блистательную Порту», но все так обернулось, что русская армия подписала мир в виду Константинополя». При слове «науськала» лейтенант поднял брови под козырек, но не возразил. В руках томми потянулась вереница длинных бутылок с узкими горлышками, с овальными истлевшими ярлыками, которые осыпались под руками блеклой позолотой, с остатками на них персидской надписи, подобной кудрям дыма.

— Сто девять лет ему, — пояснил Степан Степаныч, — ширазское вино, контрибуция времен персидской войны с Баба-ханом, времен убийства Грибоедова.

Лейтенант что-то записывал в книжку, пальцы его крепко ждали карандаш, он раздраженно щелкнул им по страничке и сказал:

— Вино есть вино. «Вино и музыка веселят сердце» — изрек Соломон.

— Вы не досказали: «Но лучше того и другого любовь и мудрость».

Лейтенант похвалил память Степана Степаныча, который скромно ответил, что отец его часто читал вслух библию.

— Любовь и мудрость... — продолжал Степан Степаныч настойчиво, — редкая штука!..

— Вы — унылый человек, а Соломон оценил это так: «Уныние сушит кости».

Степан Степаныч уступил «поле», подумав:

«Для тебя, видно, Соломон — последний довод».

Худяков, который стоял у этажерки, вынул из гнезда бутылку формы октаэдра — на одной из граней, у горла, алела сургучная печать. Он поднял ее горлом к лампе, и обширный его живот странно сотрясаясь под альпагой.

— Марсала... тысяча восемьсот первый год, — вздохнул он со всхлипом.

Степан Степаныч шагнул к Худякову и зло вырвал бутылку из его рук. Он ощутил в бутылке тепло, почти человеческое тепло, и, дрогнув, как бы поколебался, — не отшвырнуть ли бутылку, — но быстро сунул посудину на этажерку. Они глянули друг другу в глаза — худяковские глаза были выпучены с тем трагизмом, который обычно предшествовал его циническим шуткам.

— Перешутил... пошлая!.. — процедил Степан Степаныч.

Худяков пошел к выходу.

Обернувшись к лейтенанту, Степан Степаныч встретил его вопросительный взгляд и со смущением пробормотал, что декантировавший болтал бутылку горлом кверху, и это — безобразие... Лейтенант порывисто протянул Степану Степанычу руку, заметив с деланной беззаботностью, что это — пустяки, что вино еще изрядно придется поболтаться по морям и океану...

Конвейер томми приближался к нише, где лежала теплая бутылка. Как ветром подметаемые с полки, бутылки с марсалой понеслись вдоль этажерки. Степан Степаныч сорвал с головы картузик, прижал его рукой к груди и прошел за потоком к выходу. На краю обломанного пола стояли ящики. Томми быстро, автоматически принимал и укладывал бутылки; он не задержался па теплой бутылке — и плечи Степана Степаныча опустились, он облегченно вздохнул и вытер пот на шею:

— Что хорошо, то хорошо, — вздохнул он.

В нишах оставались горки пыли и потемневшие драмки — ими перекадывались бутылки. На сводах ниш качалась клоками паутина, подобная серым бабочкам, которые присели нести грену и умирать. Только на цементированном полу, в углублении стены остались переложенные дранками бутылки многих форм с яркими иностранными ярлыками, оплетенные металлической проволокой и рафией. В чистом стекле тлели как бы расплавленные драгоценные камни, — это было вино последних лет для закладки в коллекцию. Степан Степаныч вернулся к лейтенанту. Тот держал в руках бутылку рейнского, повернув ее

к себе горлышком, и чуть состругивал ногтем поблекший сургуч. Он спросил: разлагается ли сургуч? И Степан Степаныч невозмутимым голосом прочел реферат о сургуче и пробках, — но обхватил он ножку этажерки пальцами так сильно, что они побелели.

— На месте надо их просургучить, — закончил Степан Степаныч, — и дадите вино полгода отдохнуть.

Лейтенанг воскликнул «о, да!», как «ура», и положил бутылку. С лестницы отозвался стук молотка и со двора — фырк мотора. Ловкие томми уже конвоировали сезонников, выносивших ящики.

Выходя из галлерей, Степан Степаныч пропустил впереди себя на лестницу лейтенанта и попросил его снять печать с третьей галлерей: начинается разлива вина. Лейтенант поднялся на площадку, сорвал печать. Обломки сургуча он почему-то положил в карман. По лестнице к выходу он поднялся осторожно на носках, Степан Степаныч, напротив, широко размахивал руками, звонко прихлопывал сандалиями; на площадке он развязно пригласил лейтенанта составить акт.

Когда они вошли в канцелярию, Худяков и Константин Иванович спали за столами, уронив головы на руки. Перед самым теменем Константина Иваныча дымил стакан чая с мелко порезанными лесными яблоками. Степан Степаныч разбудил Худякова, и декантировавший долго тер пятерней лысину; наконец он качнулся и выдернул из бокового ящика книгу в хорошем кожаном переплете с золотом: «Массандра. Коллекционная галлерей. 1800 г.». Открыв ее на последней странице, Худяков положил книгу на свободный столик, а Степан Степаныч подал лейтенанту ручку. С залихватскими кудрями и хвостиками букв в акте излагалось, что «согласно распоряжению Российского Временного Правительства, а также Господина Главнокомандующего Российской Добровольческой Армией историческая коллекция вин Массандры передается представителю Великобританского Королевского Правительства, господину лейтенанту Чарльзу Чарльстону». Лейтенант похвалил «веселый почерк» и поставил свою

подпись. Рука дернулась: последние три буквы он оторвал, — послышался пушечный выстрел с ялтинского рейда, — но сейчас же присоединил их к подписи черточкой. Он положил ручку на стол подчеркнутым жестом, встал и, прощаясь, пожал руку Степану Степаньчу. Он сделал было движение в сторону Худякова, но осекся... Злодейски тараща глаза, Худяков осторожно подвигал пресс-бювар к большой зеленой мухе, которая беспечно грелась под осенним лучом на лаке стола... Вздернулась верхняя губа лейтенанта — отвращением: ф-фу, муху пресс-бюваром!.. Он круто повернулся и вышел, будто отсчитывая на керамиковом полу секунды своими подковками.

Перед зданием галереи храпел грузовик, — пятеро томми сидели на ящиках, тревожно поглядывая в сторону города. Лейтенант поместился в легковом автомобиле, который стоял за решеткой ворот; он снял фуражку и вытер лоб. Машина выбросила клуб синего дыма и провалилась за поворотом, в зелени зарослей, вместе с качнувшимся лейтенантом. Тронулась грузовая, и томми, что стояли ночью на карауле, приветственно подняли руки. Степан Степаньч отнял от груди и показал им свой картузик.

Из галереи вышел с топором бондарь Алексеич. Из мойки выскочила тетя Маша — ее руки густо паровали. Вышли и Худяков с Константином Ивановичем, — у конторщика заспанные вихры. Степан Степаньч обернулся к Худякову, тот сейчас же метнул взгляд к яйле и выше нее, к голубым небесам.

— Пойдем, Фома, — сердито позвал Степан Степаньч и прошел в галерею, приказав по дороге Алексеичу заделать «тайну мадридского двора».

Он быстро спускался в хранилище и слышал за собою поспешное шлепанье босых ног Алексеича и сопенье оставшего Фомы. Степан Степаньч распахнул двери в третью галерею и включил свет. Он прошел к тому месту, где стоял прибор для вгона воздуха в сусло, и отодвинул его. В полу был пролом с согнутой арматурой. Алексеич вынул из-за пояса молоток и принялся разгибать железо.

— Был бы нам каюк, — проворчал он, — кабы Чортон разглядел наши ночные дела.

Он спросил про цемент: «в какой порции его разводить?» — и про какие-то «стояки споднизу».

— Алексеич, голубчик, ужели спасли?

— А то нет? — горделиво ответил Алексеич. — Увезем голубку в горы.

Степан Степаньч стиснул кулаки, перед ним как бы заново прошли муки этой ночи: он вспоминал, как тонкий Константин Иванович первым полез в дыру для спускных вод, как тащили сюда, в третью галерею, через люк, Фому Худякова, а он кряхтел, и это было ужасно, как пробивали дыру, как тетя Маша с проворством хорошей стряпухи наводила на бутылки с водой древнюю обомшелость с помощью пыли и древесного мха, как перелили две тысячи бутылок, подменили не меньше трех тысяч... как самым стойким оказался сырой Худяков — даже анекдоты рассказывал. Они уходили под утро, когда лопаты на лестнице били в дверь, и не оставили неприятелю ни капли древнего вина. Степан Степаньч сам вывинтил лампочки в коллекционной галерее, уместил на дыре прибор для вгона воздуха в сусло.

— Не легко справиться со звериным, — бормотал Степан Степаньч, — не легко, но можно, господин лейтенант; а вот человеческое пронести в сей жизни много труднее.

Он объяснил Алексеичу, как составить замес из цемента, и отошел в боктовую галерею к корзинам. Декантировщик стоял здесь, как наказанный, с бессильно повисшими руками. Степан Степаньч взглянул в его серое лицо с мешками у глаз, и ему стало жаль этого измученного за ночь человека: опьянеть можно от одних ароматов!.. Но теплая бутылка из-под марсалы встала в памяти так живо, что раздражение вскипело необоримо, хотя он твердил себе: «Это ему — за хлыст! за хлыст!».

— Фома, — сказал он, — дурацкая твоя штука с бутылкой этой могла нам стоить жизни. И как ты, декантировщик, мог?.. Мочу — в такую бутылку!..

Глаза у Худякова ворочались трагически; он нетерпеливо слушал вопросы и восклицания: «Пошлость! Надо же себя уважать! Или пьян стал от букета, или нанюхался до свиной кости?..».

Фома неуклюже притопнул два раза ногой.

— И пьяный был к свету... — прохрипел он. — И нехай не суются в чужую хату... подметальщики! А тебе скажу так: воды им налить — мало!

Он поднял круглые, мягкие кулаки. Степан Степаныч вспомнил его привычку: лупить себя в гневе по щекам; сдержал улыбку и, отвернувшись к корзине, достал бутылку, — в ней искрилась жидкость цвета янтаря. Они долго смотрели на свет игру вина, — глаза у обоих сделались нездешними.

— Хорошо перелил марсалу! — похвалил Степан Степаныч.

— Кая она... — хрипел Худяков, — янтарь, но совсем другой!

По лестнице зашлепали сандалии, слышался тонкий голос Константина Ивановича и басистый — тети Маши: они звали, и голоса их дробились гулким эхом.

— Что же... браток Степа? — сказал Фома, и щеки его словно затянуло паутиной. — Это вернулся Чарльз Чарльстон.

Вбежав в галерею и увидев у корзины Степана Степаныча с Худяковым, Константин Иванович и тетя Маша долго не могли найти нужного слова, — у Константина Ивановича шевелились скулы, а простоволосая тетя Маша вытряхивала красненький платочек у самого лица Степана Степаныча.

— П-пел.. — закричал Константин Иванович.

— Перекоп одолели! — крупным го-

лосом об'явила тетя Маша. — Наши обманули ихних!

Степан Степаныч поочередно, с недоверием смотрел на их лица, сличая выражения, вдруг он припомнил беспокойство, поспешность лейтенанта — и сразу поверил.

— Тетя Маша! — закричал он, хватаясь за фуражку. — Чем же обманули?

— Скрозь море поднырнули! — жарко об'яснила тетя Маша и зачастила: как к Селиму приехал папаня, как белые «дзыгой по улицам крутятся», бегут «на парохода», «цельное светопреставление, а это...».

Степан Степаныч приказал Худякову запереть галерею и побежал к лестнице, задыхаясь и сорвав с головы картузик. Константин Иванович несся за ним, как маленький, вприпрыжку. А тетя Маша пожелала кому-то: «А шо б вы сказались!» — и ринулась к лестнице, как на штурм.

Худяков слушал уходящие голоса, прислонившись к днищу бочки. В галереях стало тихо, — та особая тишина, которая возможна только под землей. Декантировщик отделился от бочки, поднял руку и, очень серьезно, помахивая кистью, скомандовал невидимой бригаде:

— Вира помалу!.. А ну, майна!.. Вира помалу! Есть! Стоп!

Он тихо смеялся, а рука его застыла над головой; он ярко представил себе: ялтинский мол, электрический кран английского миноносца, команду боцмана и как поднимается на цепях грузовой автомобиль, медленно вращаясь с грузом ящиков на тресе, и опускается в чрево трюма.

— И нехай я, Хома Худяков, буду пошляк!

Будущность

ЭДУАРД САМУЙЛЕНОК

Авторизованный перевод с белорусского Семена Родова

(Окончание ¹)

★

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Гунава с раннего утра озабоченно расхаживал по двору. Старая овчарка плелась за ним, потом ей надоело, и она улеглась под круглым столом у ведра с бутылкой. А Гунава все шагал, иногда искоса поглядывая на стол, где лежали прижатые плоским камнем бумаги. Одна из них и явилась причиной плохого настроения Гунава. В ней с подобающими комментариями были описаны все героические подвиги Гунава во время карательной экспедиции и содержался приказ: либо навести порядок в бунтарском селении, либо подать рапорт об отставке. Начальство приказывало немедленно задержать всех вооруженных крестьян, но соблюдать при этом абсолютную осторожность, избегать выстрелов и стычек, потому что из опыта прошлого известно... и т. д. Каким образом без выстрелов и столкновений выловить четырнадцать—а может быть, и больше—вооруженных человек, умеющих владеть оружием и, кроме того, неизвестно где находящихся, Гунава не мог себе представить. Неприятно было и то, что в ответ на его рапорт об отпуске последовал отказ. Начальнику-де известно, что он ранен легко, даже участвовал в похоронах инспектора. На него возлагается обязанность ликвидировать восстание, пока оно еще в самом начале, а потом он получит отпуск.

Ясно, это была работа Мучаидзе, который вышел чистым и даже выслужался. Гунава не сомневался, что, если восстание будет разрастаться, его отдадут под суд за то, что он сжег селение, и на этом отыграются.

Было от чего притти в плохое настроение.

И Гунава продолжал шагать, проклиная Мучаидзе всеми проклятьями, какие только знал.

В полдень кто-то брякнул щеколдой у ворот. Калитка была заперта. Заспанная Степанида выглянула из окна и, отгоняя от себя мух, недовольно сказала:

— Батоно, там кто-то с улицы стучит... Какой-то человек...

— Отопри! — гаркнул Гунава. — Я, что ли, пойду отпирать? Корова!

Степанида отвалилась от окна и вышла из дому. Во двор вошел плечистый человек с большими, отвислыми усами. Увидев Гунава, он снял шапку, поклонился и показал из-за усов два длинных желтых зуба, выдававшихся вперед. Щеки у него были красные, словно намалеванные, бегающие глазки с хитроватыми желтыми зрачками улыбались. Человек, видимо, был очень доволен, что застал Гунава. Особоотрядник смотрел на него, припоминая. Ему казалось, что он где-то встречался с этим человеком.

— Ну? Что нужно? — грубо спросил Гунава. — Сегодня я не принимаю.

¹ См. «Новый мир», кн. кн. 7 и 8 с. г.

Человек еще раз поклонился, все так же улыбаясь.

— Хэту Ганарджия, батоно... — сказал он, вынимая из шапки какую-то бумагу. — Я немного занимаюсь торговлей, ваша милость; Спиридон, как старший, остался на земле. Мы с ним, ваша милость, давно поделались... хе-хе...

Гунава заметил, что Хэту Ганарджия не совсем твердо стоит на ногах.

— Сегодня я не принимаю! — повторил Гунава, отворачиваясь. — Приходи завтра в канцелярию.

Он прошел по двору до забора, а когда повернулся, то увидел, что Хэту Ганарджия стоит на том же месте, держит бумагу в руках и улыбается.

— Ну? Что я тебе сказал? — сердито крикнул Гунава.

— Ог брата моего Спиридона очень важная бумага для вашей милости...

Нахмурясь, покусывая губы, Гунава взял из рук Хэту длинное, исписанное крупными буквами письмо, которое начиналось словами: «Его светлости господину Гунава» — и кончалось подписью: «Общины Сабокучаво староста Спиридон Ганарджия». Он задержался взглядом на одной строке, потом прочитал вторую, и вдруг мрачное его лицо просветлело.

— Хо! — сказал Хэту Ганарджия. — Хе-хе-хе... Ваша милость...

От него на весь двор несло луком и какой-то дрянью, но Гунава готов был простить ему и худшее: письмо старосты Ганарджия заключало в себе спасение.

«Тогда, вылезши из ямы, — писал Ганарджия, — я услышал, как разговаривали меж собой Тариэль Кверквелия и Элия Бокучава, который тогда удрал из погреба и которого вы приказали арестовать, но я, ваша милость, без войска боюсь. Они уговорились, что Бокучава останется в селении, а если ему потребуется видеть этих разбойников, которые, забыв бога и не стыдясь людей, ваша милость...».

Гунава пропустил две строки.

«... то он, означенный Элия Бокучава, зажжет огонь на взгорье Нам-Дэви. и они тогда ночью, увидя огонь, придут

к нему. Взгорье Нам-Дэви, ваша милость, чтоб знали, это будет гора по правую руку, как только съезжать из лесу к нашей плотине. На ней растет высокая липа с толстым, кривым суком низко от земли. А еще я слышал, как они говорили, что в вас стрелял Топурия, тот самый Топурия, старый негодяй и бродяга, которого ваши солдатики словили у нас на огородах в тот день, когда в нашем селении, по божьей воле, пожар случился. Теперь я думаю, что, может, вы больны, ваша милость...».

У Гунава начала дергаться щека. Он еще раз прочитал: Топурия. Тот самый старик с худым, смуглым лицом, с седой бородкой клинышком... Вмиг, как живой, встал он перед Гунава, и, как тогда, на допросе, в его задумчивых и загадочных глазах было покорное: «не знаю, батоно».

«... а еще, ваша милость, докладываю вам, что они, значит, все наше селение, так, как вы приказали, делать не хотят, недоимок платить не будут и в уезд не поедут. Как говорил Кверквелия, они думают отобрать землю у соседнего с нами помещика князя Абхазава...».

Дальше Гунава не стал читать, сложил бумагу и сунул ее в карман.

— Х-хе... батоно! — сказал Хэту Ганарджия, переступая с ноги на ногу. Он заметил под столом ведро и в нем бутылку.

Гунава, не обращая внимания на него, повернулся и пошел по двору.

«Так!.. — думал Гунава.— Гора внизу заросла орешником, я помню... Один взвод залаяет именно там. у леса. У болота поставим два «льюиса»; на дороге, в лесу, — конный взвод. Топурия! Ты меня угостил своим медом, теперь попробуешь моего!».

Гунава дошел до забора и повернул назад. Хэту Ганарджия стоял посреди двора, мял в руках шапку и улыбался.

— Прошу! — Гунава сделал широкий, гостеприимный жест и улыбнулся так же широко, как и Хэту. Тот, кланяясь на каждом шагу, подошел к столу.

— Твой брат — достойный человек! — сказал Гунава, наливая стакан. — То же самое я думаю и о тебе. Степанида!

— Хе-хе, батоно... — улыбнулся Хэту, разомлевший на солнце. — Я — бедный человек!.. А Спиридон мне и не совсем родной!.. Мы не от одной матери, ваша милость...

— Это неважно. Бедность и благородство всегда шли рука об руку. К сожалению, я не могу сам надлежащим образом вознаградить тебя...

Улыбка сбегала с веселого лица Хэту, и он серьезно посмотрел на Гунава. Видно, он не ожидал, что такой начальник не в состоянии вознаградить.

— ... Однако... — говорил Гунава, запинаясь, — такие услуги («Дам ему сколько-нибудь, чорт его возьми!») — решил он вдруг)... такие услуги, — закончил он, — должны быть оплачены, хотя они и выше денег. Они будут оплачены из средств государства, потому что ты, уважаемый, с братом своим сделал для государства, гм...

Гунава не был красноречив, когда дело касалось расходов. Он молча подвинул стакан к Хэту. На крыльцо вышла Степанида и равнодушно посмотрела на хозяина.

— Принеси мой портфель, Степанида, — сказал Гунава, — и чего-нибудь закусить.

Было жарко. Листва на деревьях завяла; влажный, душный ветер налетал порывами, после чего становилось еще жарче. Хэту Ганарджия, старательно выводя буквы, писал расписку. Гунава диктовал ему, откинувшись на спинку кресла, наблюдал за красными жучками, ползавшими по шероховатой коре каштана, и думал о Мучидзе.

«Впустую мозолили свои собачьи лапы, уважаемый!.. Не так легко Гунава яму выкопать. Мы еще посмотрим, кто получит награду, а кто вылетит со службы!..»

— Написал, батоно, — сказал Хэту, алчно глядя на пачку пестрых бумажек, лежавших на портфеле. — Как писать дальше?

В этот момент во дворе появился Гамрекели.

— Гамарджоба, Акакий! — крикнул он, размахивая шляпой. — Во-время пришел, у тебя гости. Подержи собаку, пожалуйста.

В эту минуту Гунава искренно пожалел, что овчарка стара и дружелюбно относится к людям. Гамрекели, любезно улыбаясь, подплыл к столу и, в одно мгновение оглядев краснощекого Хэту и все, что было на столе, присел на край скамейки против Гунава, который сразу же собрал бумаги и положил их в портфель, а деньги, отделив от пачки несколько кредиток, спрятал в карман. Это вышло подчеркнуто враждебно. Но Симон, понявший демонстрацию Гунава, сделал вид, будто это касается не его.

— Однакож и жарко... — простодушно сказал он, отирая лоб обширным платком. — Уф, боже ты мой!

Гунава молчал. Он знал, зачем пришел Симон, и решил заблаговременно занять позицию.

— Сегодня рыбаки наловили много рыбы, — сказал Симон просто для того, чтобы что-нибудь сказать. — Габуния продает отличную кефаль, прямо даром!.. Пошли свою бабу к Габуния, а нет, так приходи сегодня в духан, — я купил, угощу.

Гунава молчал. Хэту Ганарджия с кислой миной смотрел на клейкие, замызганные бумажки, оставшиеся вместо пухлой пачки. Пустяки — эти ноевские боны! Да и тех начальник пожалел! За эти деньги двух куриц не купишь! Хэту Ганарджия, который надеялся на хорошее вознаграждение, теперь утратил свою веселость.

— Подпиши свою фамилию, — сказал Гунава, подсовывая ему обтрепанные боны. — А с братом твоим потом!.. Мы с ним потом увидимся!..

Хэту расписался, глубоко вздохнул, подал Гунава бумажку, собрал свои боны и, вздохнув еще раз, встал.

— Желаю всего вам наилучшего, дорогой батоно! — сказал он обиженным голосом, и в глазах у него можно было прочесть, что он говорит неправду. — Дай вам бог!..

Он поклонился. Брови Гуава приподнялись, опустились, что означало поклон. Но тут вмешался Гамрекели.

— На дорогу, на дорогу!.. — сказал он с видом своего человека, наливая в стакан вино. — Быть может, путь далек?.. Как же так...

— Да и не близко... — начал Хэту, кланяясь. — Так что, если сказать, отсюда до станции...

Но тут Гуава громко кашлянул и встал.

— За твое здоровье и за здоровье твоего брата, — сказал он, быстро взяв стакан, который для себя налил Симон. — Желаю здоровья и твоей семье...

Он открыл рот, плеснул в него вино и посмотрел на Хэту. Тот поспешно допил свой стакан. Гуава крепко взял Хэту под руку своей здоровой левой рукой и повел к воротам с таким видом, словно хотел ему что-то сказать по секрету. На самом же деле он, ничего не говоря, довел Хэту до ворот, выставил его на улицу, любезно ему улыбнулся на прощанье и закрыл калитку, сильно брякнув задвижкой.

Симон неподвижно сидел за столом, чувствуя, что вышло скверно. Гуава вернулся с нахмуренным лицом, грозно сдвинув брови, глядя себе под ноги. Подойдя к столу, он сел на стул, дернул себя за ус и свирепо посмотрел на Симона.

— Брат мой, Акакий! — с упреком сказал Симон, решив начать первым. — Если ты не хочешь, чтоб я к тебе приходил, можешь мне об этом сказать. Неприлично при чужом человеке вырывать у меня стакан из рук.

У Гуава снова начала дергаться щека. Он подался всем телом вперед, с ненавистью глядя в широкое лицо Симона.

— Ты кто такой? — свистящим шопотом, изо всех сил сдерживаясь, чтоб не закричать, спросил Гуава. — Ты кто такой, что будешь мне мораль читать? Ты приходишь в мой дом, как в свой собственный, нюхаешь по углам, как собака, лезешь всюду, где тебя не просят. Твое дело моим вином чорт знает кого угощать? Тебе хотелось узнать, откуда этот человек и что ему

нужно? Ты все вынюхиваешь и высматриваешь? Молчи! Просто странно, как это я не прогнал тебя со двора, чортов мешок кукурузы! Что общего у меня с тобой, у меня — дворянина, офицера национальной гвардии, начальника особого отряда? Ты — жулик, я тебя могу в тюрьме сгноить. Я тебя не хочу видеть за своим столом!

— Ва! — непочтительно сказал Симон и посмотрел на Гуава открытым, наглым, затуманенным злобой взором. — Подумаешь! Отдай мои сто золотых, и я тебя не то, что за столом, в своем отхожем месте видеть не захочу. Отдай сто рублей и будь себе генералом, а нет, так я — в суд...

Гуава молча схватил портфель и швырнул его в Симона, но не попал, и портфель, зацепив бутылку, рассыпая бумаги, пролетел мимо. Бутылка скатилась в траву. Симон вскочил и хотел выбежать из-за стола, но наткнулся на собаку, та пронзительно взвизгнула, и Симон снова опустился на скамью и поджал под себя ноги.

— Ломи! — кричал, топая ногами, взбешенный Гуава. — Ломи! Взять! Взять его!

Он пинал собаку, но та, вместо того, чтобы схватить Симона, вылетела из-под стола и в два прыжка исчезла в саду. В окне появилась Степанида и стала с интересом наблюдать за происходящим. Но Гуава скоро умолк и сел на свое место. Степанида пожалела, что ссора так быстро утихла.

— Какие сто рублей? — шопотом спросил Гуава, одну за другой срывая пуговицы со своей рубахи. — Какие сто золотых, рыжая ты жаба?

— Те, что ты взял у меня под землю в Сагвасалио, — ответил Симон, медленно спуская ноги со скамейки.

Гуава оторвал последнюю пуговицу и бросил в траву. Сделал он это, по правде говоря, зря. Припадок раздражительности у Гуава был попросту следствием утренних переживаний. Убедившись, что Симон напуган достаточно, он встал и начал подбирать свои пуговицы и бумаги. Симон, заметив, что Гуава плохо справляется одной рукой, вылез из-за стола и помог ему.

Это был мирный жест, и Гунава принял его довольно благосклонно.

— Вон там, — сказал он, — мне кажется, еще пуговица.

— Мертвый жучок, а не пуговица, — ответил Симон, заглянув под стол. — Это бывают такие круглые жучки...

Они собрали бумаги, Симон сложил их в порядке и передал Гунава.

— Спасибо, — сухо сказал Гунава. Он все же не соглашался на скорый и полный мир. — Я из-за тебя важные документы едва не растерял! Душу ты мне вымотаешь!

Симон, считавший, что это ему выматывает душу, тяжело вздохнул.

— Отдай деньги, Акакий! — сказал он смиренно. — Хватит с тебя и так... Когда мы с тобой турецкий товар продали, ты равную долю взял, а тебе только и заботы было, что достать парусник. А про шинели помнишь?.. Ты же мне просто кость бросил, как нищему, а я за все чистыми деньгами заплатил. Но я тебе слова тогда не сказал, считая тебя приятелем, другом. В делах с близкими людьми я свою выгоду не очень соблюдаю. А вот ты теперь мои деньги просто ни за что, ни про что забрал. Я тебе уже сказал, что от дела отказываюсь. Правда, на этом я не обеднею и ты не разбогатеешь, но дело в том, что деньги мои зря пропадают... А ты мне еще в лицо бросаешь разные вещи да собаками меня травмишь...

Симон был очень обижен и говорил долго. Гунава его не слушал. Он знал, что Симон надул его и на турецком товаре, и на шинелях. Откинувшись на спинку кресла, Гунава думал о том, что дела все-таки налаживаются. Он жалел только, что проявил какую-то женскую запальчивость: топал ногами и травил Симона своей никудышной собакой. Нужно было просто вывести купца за шиворот. Он завтра пришел бы мириться и даже не упомянул бы о деньгах.

Наконец Симон заметил, что Гунава его не слушает, и замолчал.

— Я тебе отдам эти деньги... — задумчиво глядя в мглистую даль неба, сказал Гунава. — Одолжу и отдам.

— Ого! — недоверчиво усмехнулся Симон.

— И, кроме того, ты можешь взять землю. Что я тебе — мальчик? То он со мной уговаривается — бери деньги, то он раздумал — отдавай их назад. Разве у меня банк? Я тебе сказал: земля все равно что твоя; когда нужны будут какие-нибудь формальности, я тебе помогу. Ты мне по уговору платишь полную сумму. И все. Если ты сам отказываешься от дела, то задаток пропадает. Это даже и по закону. Я же тебе сказал, что считаю деньги как бы одолженными, так этого тебе мало? В чем же дело? Да, наконец, иди к чертовой матери, у меня и без тебя работы много!

Гунава встал, подбросил носком сапога бутылку. Она покатилась по траве.

— Он мне говорит про нужники, а я должен ему делать реверансы! Я, офицер, дворянин и политический деятель, еще раз тебе говорю! Ты должен уметь себя вести, мужик! Он мне говорит разные гадости и требует придворного с собой обхождения. Если хочешь знать, ты меня оскорбил!

Гунава зашагал по двору, помахивая пустым рукавом рубахи. Теперь Симон окончательно убедился, что денег ему не получить, и вдруг, как часто с ним бывало при неудачах, перестал об этом думать. Ему стало сразу легче.

«Дьявол длинноногий! — подумал он, глядя вслед Гунава. — Схватит, клещами из него не вырвешь. Ай, глуп ты еще, Симон! Так тебе и надо! Не развешивай ушей! С такими людьми нужно уметь жить...».

Гунава снова сел. Он исподлобья посмотрел на Симона, оперся локтем на стол и задумался о чем-то. Симон молчал. Гунава искоса опять посмотрел на него, и, должно быть, Симон выглядел жалким, потому что особотрядник сочувственно сказал:

— Напрасно мучишься, Симон... Через три дня я арестую этого Коркия. бери землю, пусть не пропадают твои деньги... Ей-богу! Я просто удивляюсь, как это у меня хватает терпения с тобой няньчиться.

Симон криво ухмыльнулся.

— Ты меня уговариваешь сходить в гости к инспектору? — спросил он. — Вот ты, военный человек, когда ехал туда, то за оружием и штанов не было видно, а назад приехал без руки.

Гунава поморщился, однако сдержал себя, только постучал пальцами по столу.

— Ты не подумай, что я насмеюсь! — торопливо добавил Симон, опасаясь, как бы опять не испортить мирную беседу. — Я только хотел сказать, что, если ранили тебя, военного человека, который и оружие имеет, и, как из него стрелять, знает, то что же со мной будет? Чем я стану защищаться от них? Палкой, которой буйвола погоняют? Вот что я хотел сказать, брат Акакий, а если вышло похоже на издевку, то это у меня такой уж язык. За это извини!

— Ну, хватит на сегодня, уважаемый сосед! — сухо сказал Гунава. — У меня много работы. Я тебе советовал бы от земли все-таки не отказываться, а ты делай, как хочешь. Бунтов бояться нечего, через неделю там будет райский покой. Однако, как хочешь, — меня это мало касается.

— Я зайду, может, завтра... — резко сказал Симон, идя рядом с Гунава к воротам. А может быть, ты ко мне в духан придешь? Заходи, брат Акакий, поговорим... Напрасно поссорились... Чорт знает, в этой жизни не всегда угадаешь, как шагнуть...

— Хорошо, потом сговоримся... — ответил Гунава, думая о своем.

Проводив Симона, он опять стал ходить по двору. Он ходил и насвистывал марш. Ветер стих. В воздухе стоял густой запах увядших трав, в саду нудно стрекотали цикады.

II

Внизу, в долине, глухо шумел ручей. Там залегла уже густая тень, оттуда тянуло влажной прохладой близкой ночи. Стоя на краю вышербленной ветрами скалы, Михаил Ганарджия не мог уже видеть дороги, пролежавшей на дне долины по той стороне ручья. Глухая тишина спускалась на горные леса, шум жотока вдруг приблизился и стал отчет-

ливым. Склоны лесистых взгорий все больше темнели, на вершинах близких и дальних гор блекли лучистые краски заката, но скоро исчезли и они. Ночь заполонила горы и леса.

Михаил закинул винтовку за плечи. Собака, лежавшая у его ног, поднялась, зевнула с протяжным визгом и вдруг зарычала. Михаил пнул ее ногой. Вверху, в кустах, послышался шорох, мимо со стуком прокатился камень, звонко щелкнул о другой, они сорвались с обрыва, и эхо донесло из долины дробную трескотню. Собака залаяла и прыгнула вперед. Михаилу показалось, что десятки собак лают вокруг в горах, — таким гулким было эхо.

— Тише, проклятая! — услышал Михаил голос Тариэля. — Где ты, Миха?

— Здесь я... Иди направо, а то влезешь в муравейник.

— О камни ушибся... — сказал Тариэль, приближаясь. — Словно их нарочно кто в кусты насовал. А собаку с собой, все-таки, не следует брать, Михаил... Пошла прочь, нечистое горло, еще под ноги лезет!

Тариэль подошел и стал рядом с Михаилом, осматриваясь.

— Темно, — сказал он, — не диво и голову свернуть.

— А вот — только пять шагов вперед... — ответил Михаил, — и готово...

— Никого не видел на дороге? — спросил Тариэль.

— Вечером только крестьяне проехали... Корову вели...

В темноте мелькали бледные огоньки светлячков. Собака мягким комом легла у ног Михаила.

— Я кричал поговорить с тобой, Миха, — сказал Тариэль, помедлив. — Нужно нам как-то все это обдумать. Сядем здесь вот, на камни...

Он нагнулся, ощупывая рукой скалу. Под пальцами хрустко крошился мелкий, сухой мох.

— Теплые камни... — сказал Тариэль. — Э, братец, тут же совсем удобно! Садись рядом со мной.

Михаил сел. Скала и вправду была теплой. От нагретых камней, от сухих трав поднимался терпкий запах. Михаил закашлялся.

— Нам нужно подумать о том, что делать дальше, — спустя несколько минут начал снова Тариэль. — Мы с тобой старше всех здесь... Меня наши люди, ты сам знаешь, признали как бы начальником, я же тебя, Михаил, и по годам, и по уму старшим признаю. У нас с тобой должно быть одно мнение. Вот я и пришел, чтобы поговорить с тобой и посоветоваться...

Михаил опять закашлялся. Уже третий день он чувствовал себя плохо, особенно после заката солнца, когда дневная жара сменялась сыростью и туманами.

— Продолжай, Тариэль, — сказал он, — что ж. и в самом деле, может быть, что-нибудь придумаем.

— Первое, что сделать надо, — говорил Тариэль, — это поставить все наши дела на военный лад. Если мы будем вести себя, как овечье стадо, нас забьют голыми руками. Против нас могут выслать большой отряд. Мы должны считать себя воинской командой, слушать выбранного начальника, все должно вестись по-военному. Какие у нас теперь порядки? Вот какие... Арчил Сидава пропал целый день, и никто не знал, куда он делся. Оказывается, он ходил на плотину и ждал, не встретит ли кого-нибудь из селения... Ему хотелось узнать про жену Оция караулд дорогу по ту сторону долины и не удержался, чтоб не выстрелить, когда на него набежала дикая коза. Ну, хорошо, что Арчил никого не встретил, а Оция убил козу, и никто, должно быть, его выстрела не слышал! А что было бы, если бы поблизости оказались солдаты?! Так вот установим теперь такой порядок: никто без моего или твоего разрешения не должен шагу ступить. Кому не терпится к жене, пусть сейчас же, сегодня же, идет прочь! Патроны каждому надо выдать по счету, как на фронте, а запас спрятать в надежное место, которое будет известно только нам с тобой!.. У нас около пяти сотен патронов, и не стоит все их держать на руках...

— Это правильно.

— А теперь нам нужно подумать, как научиться владеть оружием. Никто из

нас не умеет разобрать затвор, — это не такие винтовки, с какими мы воевали под Сарыкамьшем. Я сказал, чтоб никто пока не брался за это. Если не сложишь затвор, то ружье можно выбросить за плетень. Опять же, за плетень его нужно выбросить, если не чистить затвора. К тому же и смазывать оружие у нас нечем. Так вот что мы сделаем: если завтра все будет спокойно, мы с тобой попробуем справиться с затвором, а Митрофан Бокучава обещал сварить такое масло, которое будет пригодно для смазки.

— И это хорошо, — сказал Михаил.

С каждой минутой ему становилось хуже. Кровь как бы стыла в жилах, голову охватывал жар, в горле было сухо, томила жажда, и сердце стучало резкими, болезненными толчками. Иногда ему казалось, что он один сидит здесь, на горной возвышенности, а Тариэль говорит с ним откуда-то издалека. Это был приступ застарелой лихорадки.

— Во всем этом я кое-как сам разобрался, — говорил Тариэль, — но в остальном, видно, одной моей головой не сообразить. Я не могу придумать, брат Михаил, что нам делать дальше. Вот мы установим военный порядок, но, все равно, мы будем слышать каждое утро, как в Сабокучаво поют петухи, и от этого, сам знаешь, на сердце скверно становится! Итти нам некуда... Пойти в имение Абхазава — там одной стражи вдвое больше нас. Ходить по селениям, собирать отряд, — опять-таки нас мало. — в любом селении Гунава или кто другой может поставить засаду, и мы все пропадем, как мухи. Да и, сказать по правде, слабая надежда, что мы таким способом соберем отряд! Так вот, я и думаю, брат Михаил, что же нам делать? Сидеть на этой горе нам долго нельзя. Никто этого не выдержит. Итти куда-нибудь? Не знаю, куда, да и что там делать... Ох, Михаил, не так это легко, оказывается, поднять народ!

Тариэль умолк и задумался. Преодолевая оцепенение, Михаил медленно выпрямил туловище, упираясь в колена затекшими, налитыми томительной слабостью руками. В ушах шумело так, словно вокруг выл ветер; земля тянула к се-

бе изнеможенное тело. Но он слышал все, что говорил Тариэль, и понимал, что необходимо ответить немедленно и поддержать этого отважного человека. Михаил знал, что сказать Тариэлю.

— Нельзя только терять бодрость духа, Тариэль... Ты очень хорошо говоришь на кладбище, но ты напрасно думаешь, что мы одни, своими силами можем поднять народ. Ведь вот никто не пришел к нам, как видишь...

В этот момент он замолчал, — слышном громким показался ему собственный голос. И верно, он почти выкрикивал свои слова. Немного погодя Михаил заговорил уже обычным тоном, торопясь сказать все, что нужно, до того, как его опять схватит неотступная Ужмури.

— Вот ты собрал полтора десятка человек и не знаешь, что с ними делать! Да как же ты народ поднимешь, Тариэль?.. Я тебе скажу, кто нас соберет и поведет. Это — большевики. Партия большевиков! Партия — это значит все равно что армия...

Михаил закашлялся и плотней закутался в свою чоху. Он дрожал, его начинало трясти.

— Но большевики, ведь, в России... — сказал Тариэль. — Как они нам помогут?

— Они здесь!.. — задыхаясь от озноба, прошептал Михаил. — Они здесь!.. Я пойду в Зугдиди... чтоб дать им знать... У меня есть там знакомый человек... Они здесь, Тариэль! Они собирают народ... И мы пойдем с ними... Иначе — погибнем!

Он замолчал. Тариэль снял с себя чоху, накрыл ею плечи Михаила и задумался. Густая темнота заливала все вокруг, огни светлячков тлели ярче. В долине глухо шумел ручей. Было тихо — молчали в эту ночь совы и шакалы.

— Может быть, пойдем к огню, Михаил? — спросил Тариэль. — Там тебе станет лучше, бедняга!

Михаил не отвечал. Тариэль опять задумался, глядя в темноту.

Прошло еще некоторое время. Потом наверху, в кустах, послышался шорох, посыпались вниз мелкие камешки. Тариэль быстро наклонился и ощупью схва-

тил собаку за затылок. Сверху осторожно окликнули:

— Ты здесь, Тариэль?

Тариэль узнал голос Арчила и ответил ему.

— Топурия пришел! — сказал Арчил. — И привел какого-то человека.

— ...а вы будете здесь, пока я схожу... — шептал Михаил, как бы продолжая разговор с Тариэлем. — Вы наблюдайте за дорогой в Сабокучаво...

— Помогите мне, Арчил! — сказал Тариэль, беря под руку Ганарджия. — Михаил заболел...

— Мне уже хорошо... — сказал Михаил, словно просыпаясь. — Я сам пойду.

Однако идти ему было трудно, и прошло много времени, пока, поднимаясь вверх, пробираясь сквозь колючую чащу шиповника и повитой диким виноградом алычи, спотыкаясь впотьмах, они подошли к поляне. Здесь, под старым, ветвистым буком, горел костер, двигались темные силуэты людей. Тариэль увидел Топурия, стоявшего под деревом рядом с каким-то высоким, худым человеком. На кривом суку, над головой Топурия, сушилась бурая козья шкура. Жесткая листва старого бука казалась на свету легкой, прозрачной. Поблескивало оружие, слышались оживленные голоса. По освещенной поляне мелькали тени. Вокруг стоял мрачный и темный, молчаливый лес.

Когда собака подбежала к костру, все стали вглядываться в темноту. Вскоре Тариэль с Арчилом, ведя под руку почти потерявшего сознание Ганарджия, вошли в круг света. Тариэль помог Михаилу лечь у огня и подошел к Топурию. В высоком, худом человеке Тариэль узнал однорукого Миха Коркия. Они поздоровались. Шум у огня стих.

Топурия взглянул на Тариэля, на Ганарджия, лежавшего у огня с закрытыми глазами, задержался взглядом на Миха, и по всему Тариэль понял, что старик сомневается: говорить ли.

— Ну, какие у тебя новости, Топурия? — спросил Тариэль, как бы отвечая на молчаливый вопрос старика. — Вижу я, ты нам нового воина привел? Или это наш гость? Все равно, мы ра-

ды. Садитесь, мои дорогие, вот здесь, где светлей.

Он усадил обоих у огня, а сам сел напротив, на толстый, могучий корень, выпиравший из земли. Оция Гвиция, который выстрегивал вертел, собираясь жарить свой охотничий трофей, прекратил работу и примостился рядом с гостем. Михаил оперся на локти, с усилием поднимая отяжелевшие веки. Остальные сели, кто где. Тариэль оглядел всех. Оция, которого он раньше обругал за выстрел, отвернулся. Он гордился своей добычей и сердился на Тариэля.

— А где Митрофан? — спросил Тариэль.

— Наблюдает за Нам-Дэви, — ответил Арчил из-за костра.

— Может быть, придет сегодня Элия, — добавил Сандро Бачилава, доставая головешку из огня.

Тариэль повернулся к Топурия. Но старик заговорил не сразу. Он словно подыскивал слова.

— В Сагвасалию приехал большой отряд, дорогие мои... — начал наконец Топурия. — Возможно, это целый полк, не знаю, как это называется. Они потравили конями луга, разнесли мой дом и увели в тюрьму Артема Коркия, отца вот этого молодого человека...

Все взглянули на Миха, и он никому не показался молодым. На лице у него лежали тени, подчеркивая морщины, а глубоко запавшие глаза блестели нездоровым блеском. Он склонил голову, рука его искала что-то на земле, нашла сухую ветку и изломала ее.

— Этим отрядом командует проклятая собака Гунава, дорогие мои друзья! — сказал Топурия, поднимая голову. — Промახнулась моя старая рука, месть миновала его, и он остался жить на горе людям. Он носит свою шакалью лапу перевязанной, но его звериное сердце осталось целым, вот наше горе!

Все молча переглянулись. Сандро Бачилава приподнялся, встревоженно посмотрел в темноту и снова сел. Ярко горел сухой хворост.

— Где они теперь? — спросил Тариэль.

— Остались в Сагвасалию... Мы при-

шли, чтоб сказать вам. У них есть ученые собаки...

— Они едва не поймали Топурия в огородах, — сказал Миха. — Я прятался в кукурузе и видел, как он убежал в болота. Я побежал вслед и нашел Топурия. Их собаки не пошли в болота, и сами они на это не отважились. Потом, вечером, мальчики нам сказали, что отца моего солдаты погнали по дороге, а в нашем доме пьянствует начальство... Там сестра Кетэ... О, горе!

Миха закрыл лицо рукой.

— Не нужно! — сурово сказал Тариэль. — Если ты пришел к нам и думаешь с нами остаться, держись, как следует. Мы воюем, Миха, у нас нельзя плакать!..

Миха быстро вскочил на ноги.

— Тариэль! — вскрикнул он, прижимая руку к груди. — Я трус?.. Я?.. Там отец мой!.. Там сестра!.. Прогони меня, Тариэль, у меня сердце рвется из груди... Но не упрекай в слабости, прошу тебя. У меня хватит сил перегрызть им горло, уверяю тебя!

Он сделал шаг вперед и наступил на теплый пепел. Все смотрели на него, очень тонкого и высокого, с неуклюже приколотым к боку широким пустым рукавом, и каждый прятал глаза, встречаясь с его взглядом. Но так продолжалось недолго. Сандро Бачилава приподнялся, прислушался и предупреждающе поднял руку.

— Кто-то идет по лесу... — с беспокойством сказал он.

Все, как один, сразу поднялись на ноги; даже Михаил Ганарджия встал, опираясь на винтовку.

— Отойти от огня! — приказал Тариэль. — Топурия и Миха, станьте за деревом.

Сжимая в руках оружие, кучка людей ждала, тревожно прислушиваясь. Но никто ничего не слышал. В лесу было тихо. Сандро Бачилава, склонив голову, стоял рядом с Тариэлем. Он один слышал далекий, приглушенный шелест шагов в лесу.

— Кто-то идет, — сказал он наконец.

— Не иначе, Митрофан... — прошептал Гвиция.

Это и был Митрофан. Собака почуяла своего хозяина и, виляя хвостом, повизгивая, прыгнула и исчезла в темноте.

— Митрофан! — убежденно сказал Сандро.

«Так не годится! — подумал недовольно Тариэль. — Сидим у огня, как подорожные старцы. Нужно ставить постовых...».

Его успокоило то, что люди, не доверяя даже хорошему слуху Сандро, отошли от костра и настороженно стояли до тех пор, пока Митрофан не вошел в круг света Митрофана встретили оживленным гамом. Гнетущая тишина, наступившая после разговора с Миха и Топурия, рассеялась, и настроение изменилось. Но ненадолго. Это была спокойная ночь, когда даже совы и шакалы молчали.

— На Нам-Дэви огонь! — коротко сказал Митрофан Бокучава, подойдя к костру и отирая рукавом свое вспотевшее, костистое, похуже на птичье, лицо. — Недавно его зажгли, я сразу пошел сюда, как только увидел.

И опять все притихли.

— Наверное, Элия... — сказал молчаливый Гуния. — Больше некому.

Кто-то дернул Тариэля за рукав. Это был Топурия.

— Послушай, Тариэль... — зашептал Топурия, когда они отошли в тень. — Нужно уйти отсюда. Не годится сидеть при ярком огне, хотя бы и в лесу. Элия недаром сегодня зажег огонь на Нам-Дэви... Должно быть, Гунава близко со своим отрядом. Может быть, они проехали по дороге мимо нас? Из долины они не могли нашего огня увидеть?

— Где там!..

— Ну, так вот что мы сделаем, — я пойду сейчас туда один, а вы потихоньку пробирайтесь за мной... Ждите меня — я на склоне горы. Я сойду в долину и с болота поднимусь на Нам-Дэви. Я хорошо знаю каждую тропинку в орешнике и пройду благополучно, хотя бы солдаты были и близко.

Тариэль оглянулся на костер. Там тихонько разговаривали, собравшись в круг.

Кроме Топурия, итти было некому: ночь темная, на Нам-Дэви — крутые и

запутанные тропинки, у подножья — непроходимая чаща...

— Нельзя медлить!.. — нетерпеливо сказал Топурия. — Если мы на каждой горе будем зажигать костер, нас живо найдут. Сейчас я приведу Элия...

— Ну, так иди, Топурия... — ответил Тариэль. — Только прошу тебя, будь осторожен...

Топурия молча прикоснулся к плечу Тариэля, и тотчас же его маленькая фигура исчезла во тьме. Только теперь Тариэль вспомнил, что у старика нет оружия. Верно, его ружье забрали солдаты.

— Топурия! — кликнул Тариэль.

Но Топурия не ответил.

Тариэль пошел к огню. Огня на этот раз не удалось попробовать дичи. Костер был раскидан, чадные головни шипели в траве, сплошной мрак окутал поляну. Люди молча собрались, и через минуту команда Тариэля, как он называл теперь своих односельчан, шла по лесу цепочкой.

Была страшная темень, и глаза, привыкшие к свету костра, почти слепли в ней. Люди спотыкались на каждом шагу, хватались за ветки, сталкивались друг с другом. Тариэль расцарапал щеку о колючий куст и сильно ушиб колено, налетев на скалу. Стало еще хуже, когда начался каменистый склон горы, поросший низким и густым кустарником. Шли довольно долго, спустились по крутому скату и, выйдя на отлогую поляну, увидели огонь на Нам-Дэви.

В глубокой тьме этой ночи яркой звездочкой светился маленький огонек.

В это время Топурия пересек уже долину и начал подниматься на Нам-Дэви. Он медленно шел в гору, чутьем угадывая крутые повороты тропинки, вытоптанной вепрями. Только гравий и мелкие камешки чуть слышно поскрипывали под его легкой ногой. Рукой он осторожно отводил от себя широколистные ветки орешника. Однажды он все-таки ступил на сухую ветку, слабый треск прозвучал в мертвой тишине, и Топурия, прежде чем пойти дальше, долго стоял на месте, напряженно вслушиваясь.

Нам-Дэви — обиталище злого духа Дэви¹, одно из взгорий на границе болот, — издавна пользовалось дурной славой в народе. На вершине кургана, на выжженной солнцем и высушенной ветрами поляне росла громадная липа. На ней люди различали следы древних жертвоприношений в честь духа болот и гор. Многочисленные засечки, гвозди, глубоко вбитые в дерево и вросшие в него, считались следами когтей и самыми когтями нечистой силы. Люди старались обойти Нам-Дэви, даже у подножья взгорья не было никаких тропинок, кроме звериных троп. Лишь один Топурия днем и ночью безбоязненно ходил на Нам-Дэви, где был приют многочисленной дичи. И вот, в который уже раз, всходит он на взгорье, но впервые так тревожно у него на сердце

Заросли кончились, сухая трава шелестела под осторожной ногой Топурия. Прямо перед глазами возвышался голый, черный курган Нам-Дэви, а на нем — темный силуэт дерева, освещенный костром. Топурия обошел куст алычи, росший на самой вершине взгорья, и увидел у огня Элия Бокучава. Топурия остановился и внимательно присмотрелся. Элия сидел боком к нему, закутавшись в чоху, нагнувшись на лоб шляпу, и о чем-то думал. Догорающие головни дымились, красный отблеск огня дрожал в воздухе. Элия окружали ночь, дремотный покой, тишина...

Опасности не было.

Топурия вышел из-за куста и направился к костру. Услышав его шаги, Элия вздрогнул и оглянулся.

— Элия! — обрадованно позвал Топурия.

И тогда случилось непонятное и страшное. Элия вдруг откинулся на спину и покатился по земле. Чоха свалилась с его плеч, и Топурия увидел, что тело Элия окручено веревками, а рот завязан платком. Чья-то черная стремительная тень промелькнула в кустах, Топурия отступил назад, хватаясь за нож, и оглянулся. В этот момент

¹ Дэви — великан о многих головах, сказочное чудовище.

из-за дерева выбежали трое с винтовками.

— У-ди-рай-те! — крикнул Топурия: во весь голос.— О-о-о-у!.. Кверкве-э-элия!

Мощный удар сбил его с ног. Но отчаянный крик Топурия подхватил эхо. Он проиесся над долиной, повторился в лесах, и Кверквелия с товарищами на скате соседнего взгорья услышали:

— ...У-ди-ра-а-айте!.. Кве-э-элия!

Огонь на Нам-Дэви замигал, — его заслонили. Потом он снова засветился, выглянул спокойной, яркой звездочкой во тьме этой страшной ночи. Кверквелия похолодел.

— Таризель! — тихо воскликнул кто-то вблизи. — Это Топурия!

— Молчать! — громким шопотом сказал Таризель. — Молчать, кому жизнь дорога!

Пятнадцать человек, охваченные ужасом, неподвижно стояли на отлогой поляне, напряженно прислушиваясь, вглядываясь во тьму. Огонек на Нам-Дэви оставался спокойным и ясным, словно не было зловещего крика Топурия, словно не совершилось там, во тьме, на мрачном взгорье, что-то непонятное и страшное.

Подул ветер, прошумели деревья, огонек мигнул, пропал и появился опять. Таризель слышал близко от себя прерывистое, взволнованное дыхание людей. Не отрываясь, смотрел он вперед. Кто-то дернул его за рукав.

— Я возьму собаку... — шопотом сказал Митрофан Бокучава, — псдойду осторожно, послушаю... Боже мой, Топурия погибнет!

— И я с тобой, — отозвался кто-то рядом. — Мы пойдем вдвоем — Митрофан и я...

Митрофан нетерпеливо дергал Кверквелия за рукав, ожидая ответа. Он очень удивился, когда сильная рука Таризеля до боли сжала его кисть.

— Еще одно слово!.. — угрожающе зашептал Таризель. — Я вам сказал — молчать! Я вам сказал — слушать команду! Ни одного шага без моего приказа! Слышали? Молчать — говорю я вам...

И он с силой откинул прочь руку Митрофана. Тот осторожно отодвинулся в сторону.

— Держи собаку, Митрофан! — услышал он шопот Кверквелия. — Если она хоть раз твякнет, погубит нас!

Митрофан нагнулся и взял за ошейник собаку, которая терлась у ног. Все молчали, слушали, вглядывались. Молчала тревожная ночь.

Тариэль Кверквелия неотрывно смотрел на огонек Нам-Дэви. Он догадывался, что Топурия попал в руки Гунава, что Элия Бокучава тоже, вероятно, в плену; был уверен, что часть отряда Гунава находится тут, внизу, в долине. Он не задумывался сейчас над тем, каким образом Гунава так удачно напал на их след, он не думал даже о том, как можно спасти Топурия. Он знал, что это сейчас невозможно, что Гунава только и ждет, чтобы Тариэль Кверквелия и с ним четырнадцать человек из Сабокучаво очутились в зарослях орешника на скатах Нам-Дэви. И он знал также, что опасно оставаться здесь. Тариэль Кверквелия молча стоял во главе остальных четырнадцати, которые сгруппировались в кучку за его спиной. В эту ночь он стал командиром. Он старался найти выход, разгадать дальнейшие планы Гунава, предусмотреть его ходы в этой смертельной игре.

А по ту сторону долины, на взгорье Нам-Дэви, стоял Акакий Гунава. Он стоял в стороне от костра, держа на поводке громадного пятнистого дога. Широкогрудый пес жадно нюхал сырой ночной воздух, порывался вперед и глухо рычал, стараясь раскрыть свою жаждущую намордником широкую пасть. Дога волновали запахи людей и зверей, он слышал много звуков, не доступных человеческому слуху. Вот он слышит, как перешептываются солдаты, лежащие цепочкой в долине, у подножья взгорья, его чувствительные ноздри раздражает запах конского пота (по ту сторону Нам-Дэви — конный отряд), его раздражает вонь машинного масла (два пулемета поблизости и два на дороге в долине). — все это мешает уловить и фазобрать еще какие-то запахи — не то

собаки, не то шакала — на соседнем взгорье.

Сзади захрустела сухая трава. Гунава оглянулся и в смутном свете узнал силуэт своего кривонного адъютанта. Следом за ним двигалась высокая фигура, закутанная в бурку. Это был непосредственный начальник Гунава — особа, командированная из центра. Дога зарычал. Гунава натянул повод.

— Вы здесь, капитан? — тихо спросил адъютант.

— Я! — шопотом, неприветливо ответил Гунава.

Адъютант подошел и стал рядом, потирая руки, словно был чем-то чрезвычайно доволен.

— Колючки, — раз'яснил он. — Споткнулся — и прямо в куст.

— Слушайте, капитан, — отозвалась особа в бурке, — мне кажется, мы даром теряем время.

— Мне тоже, — раздраженно ответил Гунава, — мне тоже это кажется... А жаль!.. Специальные условия, как видите...

Начальник молча засопел. Гунава передал повод адъютанту и подошел к начальнику поближе.

— Я просил бы вас на несколько слов, — уже более приветливо сказал он. — Пожалуйста!..

Они отошли на несколько шагов. Красные отблески огня тускло мерцали на спальной солнцем траве. Подул сырой, теплый ветер.

«Утром может быть дождь!» — с беспокойством подумал Гунава и шопотом спросил у начальника:

— Как вы оцениваете положение, уважаемый?

— Я его не знаю, — гнусава, сухо ответил тот. — У вас, мой дорогой, инициатива. Я тут гость.

Гунава улыбался. В голосе гостя проскользнуло нетерпение.

— Да, я здесь гость. У меня, так сказать, только отдельные впечатления... В частности, мне кажется весьма неудачным, что вы проломили череп этому старику. Он до сих пор без сознания, а мы могли бы у него что-нибудь узнать, мой дорогой.

БУДУЩНОСТЬ

— Что ж, рукоятка маузера — тяжелая вещь! — ответил Гунава. — Я не предполагал, что разбойник Бокучава найдет возможность его предупредить. Кто бы мог подумать, что этот мужик столь находчив? Признаться, я сразу не понял, почему он катится от костра... Я только тогда опомнился, когда старый бандит заорал, как резанный бык. Ну, и сгоряча не сдержал руки!.. Ничего не поделаешь.

Гунава ударил Топурия изо всех сил, хорошо зная, что после такого удара не встанут. И он ударил бы еще и еще, даже теперь... Но с начальником Гунава старался говорить об этом равнодушно, хотя пальцы здоровой руки сами сжались в кулак. Почувствовав жгучий прилив бешенства, Гунава, чтоб не сорваться и не крикнуть, замолчал. Начальник в буре угадал его настроение.

— Поквитаться с ним вы могли бы и после, мой дорогой... — сказал он недовольно. — Его показания были бы некоторой компенсацией за это... ну... за то, что он из-за нашей непредусмотрительности сумел их предупредить...

— Но у нас есть Бокучава, который находится в полном сознании, — ответил Гунава, постепенно успокаиваясь. — Можете быть уверены, что он не хуже Топурия знает, где они прячутся! Тем не менее... Гм... В том, что старый голово-рез перед смертью крикнул, я, в конце концов, большой беды не вижу. Во всяком случае мы теперь знаем, что они где-то близко. Мы еще ничего не потеряли. И, если мы сейчас не наделаем ошибок, наша экспедиция закончится успехом. Прошу вас, пройдем к огню, я расскажу вам все подробно...

Поддерживая своего начальника под руку, Гунава повел его к костру. У старой липы кучка солдат курила, пряча папиросы в кулаках. Увидев две фигуры в бурках, они потушили папиросы и замолчали.

— Подбросьте дров, — сказал Гунава.

Один из солдат отделился от кучки и побежал к груде хвороста, сложенной неподалеку.

— Прошу! — сказал Гунава. — На траву... по-походному...

Он скинул с плеч бурку и, ловко управляясь одной рукой, расстелил ее на земле, под ноги гостю. Неуклюже сгибая колени и все свое грузное тело, гость сел. Гунава устроился рядом. Солдат бросил в костер вязанку хвороста. Через минуту стало светлей, тьма вздрогнула, отступая дальше и ниже, в заросли. Под кустами, шагах в десяти от огня, стояло четверо солдат с винтовками. В дрожащем отсвете костра неподвижные фигуры солдат то появлялись, то исчезали. У их ног лежало что-то, какой-то бесформенный, большой узел. Гунава только однажды взглянул туда. Он знал, что это.

Начальник снял башлык с головы. Хотя в башлыке было и душно, однако он остерегался сырости, этого влажного ночного дыхания. У гостя были широкие плечи, обрюзгшее лицо, сплошь усыпанное веснушками, большой, мясистый нос и толстые, презрительно отвислые губы. Встретив сонный взгляд гостя, Гунава поспешно отцепил от пояса планшет и вынул из сумки карандаш. Он в душе проклинал себя за то, что не сдержался и огрызнулся на начальника, — сонные глаза смотрели на него недоброжелательно.

— Взявшись за эту операцию, — начал Гунава со всей мягкостью, на какую только был способен, — я не тешил себя мыслью, что они придут сюда все до одного и что мы возьмем их голыми руками... У меня уже есть опыт, и я убедился, что они действуют весьма осмотрительно. Поэтому планы свои я основывал на реальной вооруженной силе, находящейся в моем распоряжении, и только на этом. На счастливые случаи я не полагался, тем более, учитывая обстановку, в какой приходится... как сами видите...

Гунава широко повел рукой, показывая на границу света, где сгустилась тьма. Сонные глаза начальника на миг взглянули туда, потом опять устались на Гунава. Заспанное лицо не изменило своего кислого выражения. Сильно топая сапогами, солдат притащил еще вязанку хвороста и бросил в огонь. Хворост затрещал. Вихрастым столбом поднялись вверх искры и растаяли во

тьме. Ярко разгорелся огонь и снова у кустов блеснули стволы винтовок и обрисовались неподвижные фигуры солдат. Гунава подвинул к начальнику планшет. Тот неспеша взял его и положил к себе на колени. Но слюдяная крышка сильно отсвечивала и мешала видеть карту. Начальник отстегнула кнопки и вытащил карту из планшета. Вместе с картой на бурку вывалилась вчетверо сложенная бумажка. Начальник взял ее, развернул и, не спрашивая позволения Гунава, принялся неторопливо читать ее. Чтоб лучше видно было, он придвинулся к огню и повернулся к Гунава боком. Он читал, повторяя про себя слова и шевеля отвислой губой. Гунава кашлянул, стиснул зубы, но не проронил ни слова.

Начальник читал письмо Спиридона Ганарджия к Гунава, именно то письмо, которое не так давно веселый Хэту доставил в Потти. Показывать письмо начальнику Гунава не намеревался. Он был уверен в успехе сегодняшней операции и не хотел полностью раскрывать свои карты, предоставляя начальнику право догадываться, каким образом капитан Гунава в горных лесах, в темную ночь, попал на след, нашел и выловил вооруженную шайку бунтарей. Словом, Гунава не хотел делить лавры со старостой Спиридоном Ганарджия. Экспедиция должна была дать начальству неопровержимое доказательство его, Гунава, опытности и сообразительности. Он хотел представить дело так, что все от начала до конца продумано и исполнено им, Гунава. Теперь же лавры Ажакия Гунава несколько увянут. Начальник, прочтя письмо старосты, поймет, что все отданные уже Гунава распоряжения, как и весь заранее выработанный им план, который Гунава собирался сейчас раз'яснить со скромным видом талантливого и опытного стратега, от буквы до буквы подсказаны этой скромной бумажкой, письмом Ганарджия.

Начальник продолжал читать. Его заспанное лицо немного оживилось. Гунава молча сидел на краю бурки, глядя на бумажку поверх плеча начальника, и в нем закипала дикая злоба. Кончив

читать, начальник взял, ни слова не говоря, из рук Гунава карандаш и написал на бумажке несколько слов. После этого он положил ее в планшет и грузно повернулся к Гунава:

— Так... Я слушаю вас, дорогой капитан...

Гунава искоса взглянул на планшет. Он не знал теперь, с чего начинать. Его интриговала и беспокоила надпись, только-что сделанная начальником на бумажке.

— Вы говорите, — сказал высокий гость, закутываясь в бурку, — вы говорите, мой друг, что в основном полагаетесь на вооруженную силу. Разберем этот вопрос. Где, по-вашему, находятся эти разбойники?

Гунава понял, что ему теперь придется не рассказывать, а отвечать на вопросы.

— Я считаю, что они находятся на одном из ближайших взгорий. — Гунава показал пальцем пункты на карте. — По тропинкам и на дороге поставлены дозоры. Кроме того, на стыке дорог, в долине, — ручной пулемет, а над речкой, с той стороны соседнего взгорья, — второй, на тот случай, если они вздумают удирать в болота.

Начальник внимательно проследил за движением сухого, тонкого пальца Гунава, подумал и в знак согласия наклонил голову.

— Так... Если они на одном из этих двух взгорий, мы их можем захватить наверняка. Ну, а что, если они на третьем, вот тут, за три версты от нас? А что, если они после крика старика, послужившего им сигналом, незамеченными прошли мимо наших дозоров и теперь уже далеко отсюда? А? Вот в чем главное, мой дорогой...

— Господин полковник, — впервые назвал Гунава своего гостя по чину. — Мой отряд не может охватить всю Мингрелию! У них много дорог, у нас одна. Они убегают, мы догоняем их. Я предвидел и это, именно то, что они могут быть не в одном и не в другом месте, а в третьем либо в четвертом. Для нас важно то, что мы находимся в центре, в непосредственном соприкосновении с

ними. Они где-то здесь, близко, это мы знаем. И этого достаточно... Если они не наскочат ночью на наши дозоры и пройдут через окружение, на рассвете мы пустим собаку по следам. Вот и все. Дог, которого вы видели, имеет два международных приза, он специально тренирован на людях, ему цены нет. От него спрятаться невозможно. Я уверен: утром он приведет нас в логово этой банды!

Полковник сидел все в той же позе, не пошевелился ни разу, пока говорил Гунава, и даже закрыл глаза. Все же по некоторым, малоприметным признакам Гунава определил, что его гость доволен.

— Это ваша собака? — с оттенком интереса в голосе спросил полковник.

— Это собственность князя Дгебуадзе. Осведомившись в разговоре со мной об обстоятельствах этого дела...

— О каких обстоятельствах?

— Ну... что, скажем, эти бандиты шатаются по лесам и трудно отыскать их след...

— Ага!

— ...князь Дгебуадзе предложил взять дога. И гарантировал успех. Я обещал ему, что это сокровище останется в целости.

— Ну, разумеется! Так вы твердо уверены, капитан, в достоинствах дога?

— Бесспорно!

— Ну, что ж! Значит, они в наших руках. Оказывается, вы основывали свои планы, капитан, не только на реальной вооруженной силе... Х-ха! Я был худшего мнения о вас, мой дорогой... Только нужно помнить: когда ваш начальник с вами, он должен знать все, что знаете вы. Вы хитрец, капитан! Хитрец и честолюбец!

Полковник улыбался. Улыбка была такой же кислой, как и его обычная мина, но все же он улыбался. Гунава тоже улыбался, хотя ему стало ясно, что полковник сам возглавит эту экспедицию, потому что он видит ее бесспорный успех, а на долю его, Гунава, ничего не останется.

«Сукин сын! — с неистовой ненавистью подумал Гунава. — Он меня считает сопляком».

И все же он улыбался. Гунава был всецело в руках полковника. Спорить не приходилось.

— Теперь мы сделаем так, капитан, — сказал полковник. — Огонь должен быть ярким. Они следят за нами, это бесспорно. Костер интригует их, это бесспорно тоже. Если мы потушим огонь или если он будет слабым, они подумают, что мы оставили взгорье, и начнут отходить. Нам нужно, чтобы на предутренней заре были совсем свежие следы. Дальше: этих...

Полковник показал на куст, где стояли солдаты с ружьями.

— ...этих нужно отправить сейчас же. Они будут нам только мешать. Они больше нам не нужны... Ай-ай, мой дорогой! У вас тяжелая рука!

Полковник с шутливым упреком покачал головой, помолчал, вынул портсигар, размял толстыми пальцами папиросу и, чиркая спичкой, сухо приказал, взглянув на Гунава через плечо:

— Распорядитесь, капитан!

Гунава почувствовал, как гнев запенился у него в груди. Он встал и, не оглянувшись на полковника, который остался удобно сидеть на его бурке, пошел прямо на огонь, как слепой. Опомнился он только тогда, когда жаром дохнуло в лицо. Хриплым шопотом он позвал вахмистра из кучки солдат под липой. Мотая ножнами сабли, с громким звоном шпор подбежал тот самый долговязый вахмистр, который был с Гунава в Сабокучаво. Его длинная, неуклюжая тень легла на освещенную поляну во всю ее длину. Гунава коротко передал ему приказ полковника. Вахмистр отскочил прочь и пропал во тьме под липой. Там началось движение, слышались голоса. По краю поляны, по самой границе света, медленно шел адъютант, ведя на поводке дога. Гунава не обращал на него внимания. Он посмотрел на своего гостя. Полковник разлегся на бурке и спокойно курил. Гунава покусывал губу... Подумать только! Когда перед войной Гунава получил поручика гвардии, эта обезьяна была приставом в одном из полицейских участков на окраине Тифлиса!

— Распорядились, капитан? — спросил полковник, когда Гунава подошел к нему.

Гунава что-то пробурчал.

— Что с вами? — спросил полковник.

Гунава не ответил. Они помолчали. Потом гость пододвинулся ближе к Гунава.

— Обиделись? — спросил он тихо. — Недовольны начальством? Капитан!.. А?

— Что?

— Обиделись, говорю?

Гунава молчал, не зная, что ответить.

— Когда вы будете полковником, дорогой мой, — тоном назидания заговорил гость, — вы тоже будете отнимать инициативу у первого встречного, подчиненного вам капитана и распоряжаться, как вам понравится... На этом строится воинская система. Это называется су-бор-ди-на-ция! Прошу вас запомнить это, если хотите двигаться выше по службе. Однако я не из таких, как вы думаете, — я никогда не забываю о тех, кто работает со мной вместе. Вы еще не знаете всех обстоятельств этого дела. Видите ли... Хотите папиросу, капитан?

Гунава молча взял из портфеля гостя папиросу. Внезапно налетел ветер, теплый и сырой. Старая липа сонно зашумела, дым и пламя прибило ветром к земле, и Гунава закашлялся. Адъютант встал и ушел с собакой куда-то в темноту.

— Видите ли, в чем дело... — говорил дальше полковник. — Дело в том, что в высших сферах начинают очень нервничать. Ваш рапорт и еще некоторые известия из этих мест произвели сильное впечатление. Основания для этого, действительно, серьезные. Не дальше полутора лет тому назад большевики собрали здесь, в Мингрелии, две тысячи фронтовиков и... словом, вы хорошо знаете, чем это пахнет. Последнее время у нас были волнения в Осетии. Теперь пришли тревожные вести отсюда. И вот я прибыл сюда, капитан. У меня командировка со специальными полномочиями. Теперь скажите мне: прилично ли будет, если окажется, что капитан Гунава все сделал сам, а особа,

командированная высшими сферами, была только свидетелем его деятельности? Я думаю, что лучше представить дело в обратном виде. Это означает: я — начальник экспедиции, я возглавляю ее и доведу до успешного конца. А когда я пишу докладную записку, то не забываю указать: «при непосредственной и преданной помощи капитана Гунава, начальника местного особого отряда, благодаря отваге и инициативе которого...» и так далее... По рукам, капитан?

Полковник подал Гунава руку. Пожимая пухлые пальцы гостя, Гунава еще раз обдумал все и пришел к выводу, что иначе быть не может. Гнев его внезапно утих.

— Вот и хорошо, мой дорогой... — сказал полковник. — Люблю разумных людей...

Он далеко отбросил окурок и снова повернулся к Гунава, но в этот момент, держа руку у козырька, вытянувшись до последней возможности, словно изпод земли вырос перед ними вахмистр.

— Они не встают, позвольте доложить, — сказал он.

— Как не встают?

— Не могут... Старик совсем без дыхания.

— Положите на двучолку! — сказал Гунава. — Приставить конвой, и чтоб через пять минут здесь их духа не было! Только тихо, без шума.

Вахмистр скрылся.

— Да, да... — начал говорит полковник. — Таким людям я не имею обыкновения становиться поперек дороги. Можете быть уверены, капитан... Что это?

Снова подул ветер, и отдаленный гул послышался из глубины ночи.

— Гром! — сказал Гунава. — Я так и думал... Если до рассвета налетит дождь, он испортит нам дело... По дождю собака не найдет следов... Чорт!

Они прислушивались несколько минут, но кругом было тихо, ветер прекратился, черное молчание окружало Нам-Дэви. Ярко горел огонь. Солдаты, тяжело ступая, пронесли что-то мимо костра и скрылись. Зашуршали ветви, тихие голоса донесли откуда-то снизу, а потом все стихло.

— Сколько их может быть там? — спросил полковник.

— Ни в коем случае не больше двадцати человек.

— Мало... для рапорта мало... Однако это легко можно поправить... Видите, капитан? Я с вами говорю откровенно, как с другом!

— Я это ценю, господин полковник, — деликатно ответил Гунава.

Его продолжала беспокоить приписка полковника на письме Ганарджия. Но надиво пронизательный гость угадал и на этот раз мысли Гунава и вынул бумажку из планшета.

— Вот, чтоб не забыть... — сказал он, подавая бумажку. — Обязательно заплатите ему эту сумму, и сразу. Нужно поощрять людей... Мы должны иметь как можно больше друзей среди зажиточного крестьянства. Донос — это риск, риск нужно оплачивать.

Гунава прочитал резолюцию и удивленно поднял брови. Сумма была значительной.

— Ничего, ничего... — сказал полковник. — Деньги всегда сделают свое дело. И еще несколько слов: с этими личностями, что шатаются по лесу, разговор будет короткий. Нам хватит тех, которых уже захватили. Остальные нам не нужны! Понимаете, капитан? Это вы возьмите на себя. У вас с ними собственные и особые расчеты, вы поняли, капитан?

— Бесспорно!

— Вот и все... Это будет иметь надлежащий резонанс. А теперь, капитан, в знак согласия и для хорошего начала... Эй, Элизбар!

А на отлогой поляне, на взгорье, по ту сторону долины, все так же, в молчании, стояли тесной кучкой пятнадцать человек. Они смотрели на яскую звездочку на возвышенности Нам-Дэви. Таризель Кверквелия все еще раздумывал и не мог принять окончательного решения. Молчала ночь, тихая и тревожная. Один только раз низко, над головами людей, пронеслась какая-то ночная птица, жалобно вскрикнула и исчезла, и снова всюду стало тихо, только

шумели деревья, когда с болот налетал ветер.

Из рассказа Топурия Таризель знал, что у Гунава большой отряд. Значит, этот отряд здесь, поблизости. Гунава, наверное, догадается, где находятся Кверквелия и его команда. Отряд Гунава может охватить лес, скажем, на добрых полверсты. Как он расставил своих солдат? Вероятно, по тропинкам, ведущим на ближайшие взгорья, на дорогах в обеих долинах и на большаке, отрезая этим отступление с горы.

— ... У них есть ученые собаки... — вспомнил Таризель слова Топурия.

Да, собаки... Ученые собаки, идущие по следу человека. Так что же предпринять? В долине, у подножья взгорья, — наверное, солдаты... Направо, на дороге, идущей к плотине Сабокучаво, — тоже. И налево, на большак, путь опасен. Значит, нужно податься в болота — по той стороне взгорья, через ручей в долине. Но туда — нет иного пути, как через обрыв, и именно в том месте, где стоял на страже Михаил Ганарджия. Солдаты — на дороге, за ручьем, но их нет под обрывом. Они следят только за дорогой, так как через нее нужно перебраться, чтоб попасть в болота. Но солдат можно обойти, если спуститься с обрыва и брести вниз по руслу ручья, либо, прясая, итти берегом. Единственный выход — через обрыв. И тогда, берегом ручья или вброд по ручью, — в болота. В горы нельзя итти, ни в коем случае... Но почему они не покидают Нам-Дэви? Зачем они разжигают костер?

— Они разжигают костер для того, чтобы ты как можно дольше смотрел на него, как можно дольше стоял на месте, Таризель!

Кверквелия вдруг понял, что нельзя больше терять ни минуты, что надо оставить взгорье немедленно, и что нет сейчас никакой надежды спасти Топурия. Потом, когда они вырвутся из окружения, можно будет думать об этом. Но все же Топурия! Топурия!

— Назад! — сказал Таризель. — Идите за мной, только тихо.

В это время зашумел лес. Третий порыв ветра, намного сильнее прежних,

принес издалека отчетливый грохот грома. С моря, через низину Колхиды, надвигалась буря.

Пятнадцать человек медленно шли сквозь густые заросли, которые оплели каменистый склон взгорья. Первым шел Тариэль, за ним — больной Михаил Ганарджия, потом — Бокучава с собакой. Сзади продвигались остальные. Никто не спросил у Тариэля, куда он их ведет. Не говоря ни слова, все послушно пошли за ним. Бледный свет наступающего дня застал их на поляне, под старым буком, где вечером они раскладывали огонь. Тьма не была уже такой густой, как раньше. Сквозь сизый сумрак, похожий на туман, можно было даже различать фигуры людей вблизи. И еще одна перемена произошла в природе, — не было уже тишины. Лес шумел, не стихая, тревожно; ветер, упругий и крепкий, дул все с большей силой; гул далеких громов теперь приблизился, и отблески дальних зарниц часто освещали лес. Буря быстро приближалась.

Тариэль провел людей через поляну и снова вошел в чащу. Но теперь стало легче идти, — это был спуск, и скоро небольшой отряд очутился на скале, где вечером стоял на страже Михаил Ганарджия. Теперь они были на противоположной стороне взгорья.

Тариэль осторожно вышел на скалу. Заглушенный гулом леса, шум потока не был слышен здесь, на высоте. Тариэль постоял, обдумывая положение. Он никогда до сих пор не был здесь, не знал, есть ли тропинка, не знал, какой высоты эта скала. Он понимал только одно: именно тут нужно спуститься в долину, и это вдвойне опасно — скала может оказаться очень крутой, а, кроме того, под ней, внизу, могут караулить солдаты. В том, что они близко, Тариэль не сомневался. Нужно было узнать, не находятся ли они под самым обрывом. Но для этого кто-нибудь должен спуститься с обрыва, а это пока невозможно, — мрак еще покрывал долину, взгорья, возмущенные ветром леса.

Тариэль сошел со скалы и присоединился к своему отряду. Теперь он уже

различал каждого человека в отдельности.

— Когда станет достаточно светло, попробуем спуститься в долину... — сказал Тариэль. — Очень тяжело нам, братья, оставлять Топурия в плену, но мы бессильны сейчас помочь ему. Мы должны отступить, пока не поздно, а потом уже искать средства для спасения нашего славного друга. А теперь — слушайте, что я вам скажу...

И Тариэль рассказал, что нужно делать.

Как это всегда бывает в горах, рас-
светло сразу, неожиданно. Гунава, за несколько минут до этого приказавший солдатам подкинуть хвороста в костер, случайно взглянул мимо огня и сразу вскочил на ноги. Тьмы не было, ночи не было. В бледном сумраке, как в дыму, обозначались заросли, деревья; темная громадина соседнего взгорья маячила во мгле рассвета, теряясь вершиной в облаках.

Новый день рождался в тревоге. То, что Гунава принял за вершину соседнего взгорья, на самом деле оказалось тучей. Она всползала над горами огромная, черная, закрывая бледно-тусклое небо. Впереди тучи, выше и ниже ее, быстро мчались в бледном, задымленном, безрадостном небе круглые, темные облака. Белые молнии, взрезая тяжелую муть тучи, вспыхивали одна за другой, но гром гремел, как и раньше, вдалеке и неясно. Горное эхо еще не проснулось, буря бушевала в низине и не захватила гор.

Вдруг улегся ветер. Еще шелестели заросли, еще качались вершины деревьев, но ветер стих. Туча стала темносиней; в центре ее, отклонясь к земле, двигался темный столб. Гунава с детства боялся бури. И теперь какое-то неясное воспоминание тревожило и угнетало его. Вдруг, опалая край тучи, пробежала молния, вспыхнул ослепительный свет и оглушительно ударил гром. Гунава пошел назад, чтоб разбудить полковника. Но тот уже встал и застегивал бурку, равнодушно глядя на грозную тучу.

— Не стоит брать с собой бурку,

полковник! — сказал Гунава, подх-
дя. — Мне кажется, нам придется по-
бегать. Ну что ж... Начнем?

Полковник внимательно оглядел тучу
и бросил бурку на траву. Уже не остере-
гаясь, он крикнул хрипло и громко:

— Элизбар!

Из-за дерева выскочил солдат.

— Дога поведете вы, — обратился
Гунава к ад'ютанту.

Полковник осмотрел свой револьвер.
Гунава тоже вытащил из-за пояса мау-
зер, но быстро засунул его обратно.
Светлая деревянная рукоять с одной
стороны была измазана чем-то темным.
Такие же темные пятна Гунава заметил
у себя на пальцах. Он с брезгливой
гримасой потер руку о полу френча.
Пятна не сходили.

— Чорт с ними! — подумал Гуна-
ва. — Начнем? — обратился он к пол-
ковнику.

— Можно начинать... — ответил пол-
ковник. — Однакоже и погода!

В этот момент посыпались первые
крупные и редкие капли дождя. Туча
закрыла небо. В мутном, туманном по-
лумраке лица людей казались блед-
ными.

Солдаты сняли с плеч винтовки, мол-
ча проверили затворы.

— Пошли! — сказал полковник.

Ад'ютант повел дога вниз. Собака
упругим скоком, увлекая его за собой,
помчалась по крутой, извилистой тро-
пинке. По зарослям, по сухой траве, по
лугам долин уже шелестел дождь. Но
это было только начало. Вскоре гулкие
потоки воды, сбивая листву, срывая мо-
лодые побеги деревьев, покрывая водя-
ным туманом горы и долины, низрину-
лись на землю.

Часть солдат лежала в долине, в вы-
сокой траве. Мучаидзе со свистком в
руке стоял у куста. Ад'ютант, высоко
вскидывая ноги, пробежал с собакой и
скрылся в туманах дождя. За ад'ютан-
том бежали Гунава, полковник и четве-
ро солдат. Мучаидзе коротко свистнул
и побежал вслед. На ходу он оглянул-
ся. Около двух десятков солдат спешил
за ним.

Бежать было трудно. Но вот они уже
поднимаются на соседнее взгорье, цеп-

ляются за камни, лезут сквозь чашу.
Когда отряд очутился на отлогой поля-
не, поросшей редкими деревьями и низ-
ким колючим кустарником, дог остано-
вился, повертелся на месте и вдруг
скакнул вперед.

— Гав-гав! — услышали все. — Гав-
гав!

— След! — крикнул Гунава. —
Ад'ютант! Снимите с собаки наморд-
ник! Вот они где, мои милые!

Но ад'ютант допустил ошибку. Вме-
сте с намордником он отцепил поводок.
Дог с рычанием скакнул вперед и
исчез. Громкий лай раздался далеко
впереди.

— Не отставать! — кричал Гуна-
ва. — Не отставать!

Наконец они выбрались на другую
поляну, где под ветвистым буком черне-
ло круглое пятно погашенного костра.
И здесь обрадованный Гунава увидел
дога. Собака прыгала у покинутого
костра и, увидев людей, с хриплым ла-
ем рванулась вперед. Гунава с револь-
вером в руке, помчался за ней, скользя
по мокрой траве. Собака скрылась в за-
рослях. Гунава почувствовал, что начи-
нается склон, и стал, как вкопанный.
На него наскочил полковник. Хватаясь
за кусты, ломая ветки, тяжело дыша,
остановились солдаты.

— Близко! — прохрипел Гунава. —
Проверить оружие! Осторожно!

— Гав-гав! — раздалось впереди.

И вдруг дог взвыл во весь голос, по-
слышалось свирепое рычание, визг —
и все стихло. Через некоторое время
визг и рычание повторились. Дог на
кого-то напал.

... ..
Это оказалось не так просто —
спуститься в долину с обрыва. Арчил
Сидава и Оция, самые ловкие из коман-
ды Таризэля, долго ползли по краю
скалы и, цепляясь за сухие, ползучие
корни, ногами нащупывали выступы.
Но вот совсем рассвело; грозовая туча
взошла над взгорьем, и зашелестели по
лесу первые капли дождя, а Сидава и
Оция все еще не могли отыскать места,
где бы можно было отважиться на
спуск. Скала висела над долиной на вы-
соте нескольких саженей, внизу ничего

не было видно. Наконец Арчил, держась за корни, начал спускаться на руках. В тот же момент все стоявшие у края скалы вскрикнули. Раздался треск, пук сухих, переплетенных меж собою корней пополз из-под ног и исчез за обрывом. Посыпались мелкие камешки и гравий.

— Арчил! — крикнул Оция.

— Я здесь! — донесся снизу глухой голос. — Здесь тропинка... Широкая! Во! Пять шагов! Раз-два-три... Пять с лишним шагов... Идет прямо вниз, должно быть, к ручью... Лезьте сюда смело... Тут широко, я вам говорю... Дайте мне ружье!

Оция, не желая отставать от товарища, смело прыгнул прямо с обрыва. Опять послышался глухой стук, трескотня камней, потом снизу начали звать в два голоса:

— Прыгайте!

— Скорей! Только правее старайтесь! Тут слева осыпается...

В этот момент зашумел дождь. Долина сразу закрылась водяной завесой, скрылись деревья, прилегли к земле кусты. Была только мокрая скала, скользкие, обросшие мохом камни, — все остальное исчезло. Ветер налетал порывами — сильный и теплый. Молнии прорезали водяную муть, эхо громовых ударов, не стихая, рсело в долинах предгорья.

Взмахнув пустым рукавом архалука, как крылом, смело прыгнул вниз Миха Коркия. Много потеряли времени, пока спустили на поясах больного Михаила Ганарджия. После этого побросали вниз узлы, котомки, все походное хозяйство — и дело пошло быстрее. Лишь один Тариэль еще оставался на скале. Его ждал внизу Оция. Остальные сходили по тропинке к ручью.

— Скорей, Тариэль! — доносился из-под скалы голос Оция. — Все ушли!

Встревоженная исчезновением людей собака Митрофана бегала по краю скалы, заглядывая вниз, и скулила. Тариэль не хотел оставить ее здесь, на следу, и пробовал поймать, чтобы столкнуть вниз, но собака не давалась в руки.

— Скорей, Тариэль! Скорей! —

словно из-под земли доносился голос Оция. — Наших уже не видно.

Наконец Тариэлю удалось схватить собаку за косматый затылок, но в этот же момент в зарослях послышался глухой, монотонный лай.

— Гав-гав-гав!

Собака Митрофана встала, как вкопанная, и внезапно упругим прыжком рванулась вперед, оставив в руках Тариэля клок мокрой шерсти. Через миг она пропала в тумане дождя, в зарослях, темневших сверху, над мокрой грудой камней.

— Прыгай! — кричал Оция. — Наши уже далеко. Что ты там? Смелей! Здесь не больше двух саженей..

Тариэль быстро шагнул к обрыву, но остановился. Он собственными глазами хотел увидеть опасность.

Лай приближался. Потом раздалось рычание, визг, и Тариэль увидел большой ком, катившийся к нему сверху по скользким камням. Собака Митрофана рвала за горло большого пятнистого зверя. У обрыва собака отскочила в сторону, зверь бросился к ней, они схватились в дыбки, на самом краю скалы и сорвались вниз. Под обрывом загрохотали камни, послышался крик Оция. Шумел дождь. Вода струилась меж камней. Тариэль, наклонившись вперед, держа в вытянутой руке винтовку, прыгнул.

Оция подбежал к нему.

— Что это? — встревоженно воскликнул он. — Я от страха обомлел: думал, что ты свалился... Прямо вниз загремело мимо тропинки... Кто это?

— Потом скажу! Вперед!

Они торопливо двинулись вниз по тропинке. Вдруг наверху раздался голос. Тариэль поднял голову. У самого обрыва стоял человек. Он кричал что-то, оборачиваясь назад и размахивая рукой, в которой держал револьвер. Не более двадцати шагов отделяло его от Тариэля. И Тариэль отчетливо увидел: человек держал револьвер в левой руке.

— Стой, Оция! Стой, брат! — стонущим шопотом произнес Тариэль. — Это Гуава! Он!..

В следующее мгновение Тариэль поднял винтовку.

— Сюда! — кричал Гунава. — Собака соскочила с обрыва! Они там!..

Зыбкая завеса дождя покрывала долину, водяные туманы окутали землю, горы, весь мир. Больше ничего не увидел капитан Гунава. Мучаидзе и солдаты, скользя по камням, сбежали вниз к обрыву. В этот момент раздался выстрел, Гунава взмахнул рукой, уронил револьвер, пошатнулся и исчез.

III

Поздним утром того же дня к полустанку подошел поезд. Дождь бесновался. С плоских крыш вагонов ветер срывал воду целыми пластами; вода покрывала рельсы и шпалы, снося щебень с насыпи; на каменной платформе, в канавах, пенились ручейки. Низкое темное здание полустанка, несколько хилых деревьев, поваленный ветром забор — вот все, что могли видеть пассажиры. Но из пассажиров никто полустанком не интересовался. На платформу из вагона вышли только двое и, закутав головы башлыками, быстро пробежали к станционному помещению. Никудышный, затасканный паровозик свистнул, и голоса его никто не услышал за шумом воды; белое облачко пара появилось и тут же пропало под трубой. Вагоны медленно двинулись.

Один из приезжих, остановившихся под навесом, где висел станционный колокол, перекрестился.

— Это уже всегда так, — сказал он недовольно. — Как Симону Гамрекели приниматься за работу, сам черт ему наперекор... О, боже мой, опять гремит! Мне кажется, Гвадия, мы тут под этим проклятым колоколом добра не дождемся... Железо притягивает... Да брось ты курить! Как не задохнется человек!

Гроза была в самом разгаре.

— Чорт бы его забрал, начальника станции, — сказал Симон Гамрекели. — И не подумает людей под кровлю пригласить! Стой тут под колоколом, чтоб он по его голове звонил! Я такого мерзавца и за золотые деньги в духан не пустил бы... Знаешь, дорогой мой Гвадия?! Придется нам пробежать в поселок, к Самсону Кварацхелия... Только

помаленьку, ради бога... Говорят, если быстро бежать, то притягивает... Ах-ах!

Мутное небо взорвалось ярким огнем. Удар был страшный. Гамрекели выскочил из-под навеса и побежал, подпрыгивая. Молчаливый Гвадия шагал за ним с чемоданом.

В полуверсте от полустанка, если идти большаком вдоль насыпи, находился поселок. Здесь и были большая лавка и обширный дом Самсона Кварацхелия. Симон покрыл расстояние от полустанка до дома Кварацхелия в несколько минут и, оставив мокрый башлык и пальто на руках Гвадия в сенях, благополучно попал в гостеприимные объятия хозяина.

Скоро он сидел уже за столом, и толстобрюхий, грузный хозяин вел с ним беседу.

— Пять вагонов войска приехало, — говорил Кварацхелия. — Теперь этим разбойникам крышка. Из Тифлиса начальство... Важный такой, представительный начальник... Он сам повел войско, им теперь не выкрутиться... Поверишь, Симон, я уже стал беспокоиться... Может быть, оно и не так страшно, но языки правду на неправду множат, народ тревожится, голь задирает нос. Как-то на-днях пришел один давнишний мой клиент, от которого рубля за десять лет не дождешься, просить, чтобы я вексель его переписал. Говорю ему: не могу, человеце... Так что ты думаешь, дорогой мой Симон? Топнул он ногой, плюнул и вышел, грохнув дверью... Я посмотрел из окна, а он оглянулся и кулаки мне показывает, да на всю улицу бранится... Как ты думаешь, Симон, посмел бы он мне раньше кулак показывать?

Глаза Кварацхелия злобно блеснули, лицо потемнело. Грузно перегнувшись через стол, он подлил вина Симону. Симон вежливо молчал, давая высказаться хозяину.

— И я про тебя вспоминал, думал: столько труда человек положил, земли, виноградники приобрел, а теперь все прахом пойдет, потому что, говорят, в Сагвасалио — самое теперь гнездо разбойничье... Правда ли, нет, — так гово-

рят... Слава богу, войска поехали сразу туда, одного уже арестовали и отправили. Это некто Артем Коркия, у него сыновья к большевикам ушли...

— Арестовали Коркия?—живо спросил Симон. — Это правда?

— Хорошо не знаю, Коркия ли. А что арестован мужик, — сам видел. Высокый такой, мрачный, глядит исподлобья. Его увезли уже, ночным поездом. А на самом рассвете, перед дождем, еще двоих привезли. Один убит; другой, говорят, ранен. Тот, что ранен, на почте под замком сидит, а мертвого солдаты собираются закопать где-то у насыпи. Недавно у меня заступы брали. Говорят люди, войско всех до одного их переловило в болотах и мало кто жив остался.

Симон подбежал к окну и приткнулся к стеклу.

— Ай, интересно! — сказал он. — Интересно было бы посмотреть, кто такой... Я же там всех, по всей округе знаю... Но где тут! Такая непогода!

Симон заглянул в другое окно, потом вернулся к столу. Он сразу повеселел.

— Мне так думается, — сказал Гамрекели, — что раз Артема арестовали, то это, верно, его сын... Миха... Ну, ему следует! Злой, как зверь, — однажды меня едва не убил. Ты не поверишь, милый мой Самсон, сколько горя перенес я в этом Сагвасалио! Всегда сердце беспокойно, глядят на тебя исподлобья, готовы за десяток огурцов душу из тебя вытрясти... Но теперь их научат, как с людьми обходиться!

— Верно, что научат, — подтвердил хозяин, подвигая к Симону тарелку. — Тебе еще ничего, ты все-таки в городе живешь, а я здесь один... Прямо скажу тебе, — в завтрашнем дне уверен не был! Теперь же их успокоят... По всему видно. Крепко взялись — убитых так и везут... Так и следует лиходеям! Это что же? Не может как следует свой кусок земли обработать, так он идет в разбойники, на людей с топором бросается! Подождите, дорогие мои!

Лицо Кварацхелия стало сизым, его толстые пальцы барабанили по столу, он смотрел на Симона злыми глазами, словно тот был во всем виноват.

— Ай, хорошо, что этих Коркия забрали! — сказал Симон, потирая ладони. — Теперь покой будет на свете. Тех бандитов из Сабокучаво, наверное, уже всех перевязали? Где мужику против войска выстоять! А? Как ты думаешь, Самсон?

— Я так думаю, что если столько войска пришло, то, наверное, уже оставят им хорошую память.. А вот и хозяйка наша, Симон..

Дверь со скрипом открылась, дебелия жена Самсона вплыла в комнату, неся большое блюдо. Симон с жадностью посмотрел на принесенное и похвалил хозяйку. За едой они с Кварацхелия продолжали беседу, обсуждая свои дела и каждый раз возвращаясь к тому же самому — к событиям, происходящим там, в болотах, в селениях, к событиям, уже не страшным, так как прибыло много войска.

Именно потому и отважился Гамрекели приехать сюда. После последнего разговора с Гунава он просмотрел свои торговые книги за прошлые годы и подсчитал приход с хозяйства. Кроме того, прикинул, сколько выйдет за этот год и соответственно за будущий. Получалась сумма весьма значительная. Симон теперь и думать не хотел о том, чтобы продавать землю. Он потерял покой, слонялся у ворот Гунава, поднес ему в подарок седло, — правда, не совсем новое; дома хныкал, бранился и каждый вечер напивался в компании с Пачулия, все стараясь разузнать его секреты. Пачулия по обыкновению хитрил, рассказывал ему разные басни. Все валилось из рук Симона.

К счастью, приехало из Тифлиса начальство, и большой отряд двинулся в поход, а Гунава сообщил запиской, что Симон может выехать в Сагвасалио хоть завтра, снисходительно гарантируя абсолютную сохранность его особы. Симон выехал на следующий же день и на всякий случай взял с собой Гвация.

Теперь Гвация, с которым хозяин разговаривал по-панибратски всю дорогу, прел в мокрой одежде в темных сених, просушивая на ладонях сырой табак, а Симон наслаждался за гостеприимным столом, радуясь хорошим ново-

стям, которые пришлось услышать, и ожидая еще лучших.

К полудню дождь стал стихать, ветер с запада усилился, начало проясняться, выглянуло синее небо. Кварацхелия разбудил Симона Гамрекели, заснувшего после завтрака, и сказал, что Симон может посмотреть на убитого: солдаты закапывают его на лугу, за поселком. Симон немедленно помчался туда, схватив на ходу свой пиджак, который сушился на стуле у порога.

Симон, пробежав до конца всю поселковую улицу, издали заметил на лугу, под железнодорожной насыпью, фигуры людей в зеленом. Симон махнул через луг напрямик. Вскоре он мог уже различить, что четверо солдат копают землю.

Симон перескочил через узкую, полную мутной воды канавку и тихонько подошел к солдатам. Никто из них не поднял головы. Привычными движениями земледельцев, не разгибаясь, они молча засыпали плотными ломтями черной луговой земли узкую яму. Симон взглянул на суровые, мрачные лица солдат, молча исполнявших свое дело, и от этой молчаливой работы, от этой черной ямы и земли, тяжело пахнувшей перегорелым торфом, на Симона повеяло жутью смерти, тоскливым страхом. Впервые в жизни видел Симон Гамрекели, как просто закапывают в землю человека. Он вдруг притих, утратил свой обычный апломб и стоял, как вкопанный, неподалеку от ямы. Один из солдат искоса посмотрел на Симона и продолжал работать. Симон переступил с ноги на ногу. Он ясно почувствовал, что он лишний здесь, но не уходил.

Ему хотелось разузнать, кого хоронят. Это было необходимо для его спокойствия. Ему будет легче, если скажут, что тут лежит Миха Коркия. Что ж! Смерть найдет всех, все умрем, — кто раньше, кто позже, но живым нужно думать о жизни. Ему, живому, было бы лучше, чтоб в этой яме лежал мертвый Миха Коркия. А мертвому все равно, где лежать...

Солдаты окончили свою работу и воткнули заступы в землю.

— Гм! — произнес Симон, кашлянув

в кулак. — Нельзя ли узнать, кто тут вами похоронен?

Солдаты переглянулись.

— А тебе зачем? — грубо спросил один из них, по виду старший. Для чего это знать тебе? Человек тут похоронен!

— Видите.. так сказать... — Симон закашлялся. — У меня родня... и... так сказать, в эти беспокойные времена, гм... Это самое... Что касается меня, можете не сомневаться, я близкий друг господина Гуава, начальника вашего... Одним словом, мне это интересно... Пожалуйста, скажите мне!

Солдаты опять переглянулись, потом старший, с рябоватым, злым лицом, опираясь на рукоятку заступа, спросил еще грубей:

— Так ты что, свечку хочешь поставить?

— Я вам говорю! — повысил голос уже разгневанный Симон. — Я друг господина Гуава. Мне интересно знать! Ты смотри, чтоб я тебе не припомнил со временем твои шуточки! У тебя спрашивают, — ты отвечай, кислая шерсть!

— Что? — крикнул солдат, вытаскивая заступ из кочки. — А ну, прочь отсюда!

— Разгуливает здесь...—сказал второй более спокойно.

— Мы на службе, — добавил третий. — Начальник нашелся. Убирайся, не привязывайся! Ему интересно! Чортов боров!

Четвертый медленно отошел и поднял с кочки широкий поясной ремень. Он взял его только для того, чтобы подпоясаться, но Симон решил, что лучше всего убраться.

— Сгорите вы, такие люди! — сказал он, подаваясь в сторону. — Чтоб вас черти взяли! Чтоб вы пропали здесь, на этом болоте!

— Ну-ну! — крикнул рябоватый солдат. — Смотри, мы тебе посчитаем ребра!

Симон плюнул и ушел. Отойдя немного, он обернулся и увидел, что солдаты катят с насыпи белый камень.

«Памятник еще ставят! — подумал разгневанный Симон. — В конце-кон-

цов, мор на вашу голову! Если Артема забрали, то, верно, и однорукий чорт попался. Да это он и лежит там, потому что иначе с отцом отправили бы... Мне важно, чтоб его в селении не было. Отца увезли, так куда он мог деваться? Ай, глуп ты, Симон! Носишься где не нужно!».

Вернувшись в дом Кварацхелия, Симон узнал, что отряды разъезжают по селениям и наводят порядок, что теперь можно ходить и ездить, куда хочешь, и что от бунтарей и звания не осталось. После полудня он выехал из поселка в отличном настроении. Ехал он на линейке Кварацхелия. Гнедая кобыла шла резво, и скоро поселок скрылся. С левой стороны дороги была заросшая лесом низина, переходившая в болото; с правой — на плоском взгорье — чащи орешника и шиповника; одинокие скалы, овраги, в которых шумели ручьи. Симон прислонился спиной к плечу Гвадия. Ехать было приятно. Мягко грело солнце; теплый, ласковый ветер обвевал лицо. Куда девалась непогода, громовые страшные удары? Куда девались мысли, тревожившие его утром, когда он мокнул на полустанке?

«Я им скажу так... — думал Симон. — Я им скажу... Ну, что ж! Не хотели Артем с сыном жить, как люди, против закона пошли, — вот теперь и наказание по заслугам. И мне убытки, потому что кто теперь долги уплатит? И как вы, бедные женщины, без хозяйского присмотра, с маленьким этим мальчиком жить будете? Тут они, верно, раскиснут, начнут жаловаться, а я тем временем им и скажу... Идите, скажу, ко мне, работайте на моих виноградниках: я вас в беде не оставлю. Я о том забочусь, чтобы вы, бедные женщины, с ребенком с голоду не пропали. Бог это видит! Тут они снова в слезы ударятся, а я потом им скажу, что их землю беру себе в уплату долга, им все равно земли этой не обработать. А эта Кетэ — определенно красивая девушка!..

Гут мысли Симона приняли некое другое направление, и еще припомнились кое-какие особенности Кетэ, достойные внимания. Он тихонько за-

смеялся и снова вернулся к деловым мыслям, прикидывая и так, и этак. Наконец жара разобрала его, и он стал посвистывать носом. Гвадия время от времени настегивал кобылу, и купец Симон Гамрекели постепенно приближался к своим владениям.

По дороге за все время им встретился один только человек, — это был крестьянин, везший на ишаке две пустых корзины из-под кукурузы. Он подтвердил то, что слышал Симон от Кварацхелия, — в селениях много солдат, и они ищут тех, кто идет против закона. Проехав дальше, до перекрестка, Симон и Гвадия заметили на дороге, которая шла с низины в нагорье, множество конских следов. Симон решил, что здесь недавно, уже после дождя, прошел конный отряд, и в полном душевном покое опять приткнулся к плечу Гвадия.

Догадка Симона была правильна. Здесь прошел конный отряд во главе с полковником. Этот отряд вез тело Гунава. Второй отряд, пеший, под командой Мучаидзе, двигался по другой дороге в низине и вместо трофеев вез на двуколке дрессированного дога князя Дгебуадзе. У благородной собаки были поломаны ребра. После гибели Гунава полковник, весьма оберегавший свое здоровье, приказал отступить. Его воинственный пыл внезапно остыл. Он окружил себя конвоем и двинулся с отрядом прочь от этих несчастливых и опасных мест. Но ему нельзя было возвращаться с пустыми руками. Когда прекратился дождь и отряд остановился на отдых, полковник составил другой план экспедиции. Он решил разделить отряд на два и с этими двумя отрядами пройти через ближайшие селения и посмотреть, все ли там в порядке. За два часа до того, как на перекрестке двух дорог появился Гамоекели, отряды начали действовать. Об этом тотчас же разнеслись слухи от деревни к деревне, и некоторые из крестьян спешно оставляли свои дома.

Солнце медленно клонилось к западу, но грело еще сильно. Птицы в зарослях притихли. На дороге было пусто, больше никто не встретился, чтоб

порадовать Симона рассказом о войсках. На пустынной знакомой дороге, уже выходявшей в болотную низину, Симон чувствовал себя теперь не хуже, чем среди дня на улице Поти. Ему только надоел долгий путь, и он часто прикидывал:

— А ну, поддай пара этой чортовой кляче, Гвация!

И вот, когда Гвация поддал пара и линейка, вихляя по каменистым колеям, въехала на мостик через овраг, сбоку от дороги, на невысокой скале, поросшей шиповником, появился человек и что-то крикнул путникам. Гвация дернул вожжи, кобыла села назад, впереди слышался голоса.

— Ай! — слабым голосом произнес Симон. На дороге стояли вооруженные люди. В черных крестьянских обтрепанных чохах, подпоясанных широкими боевыми поясами, с винтовками в руках, с темными лицами, давно не бритыми и обветренными, в войлочных шляпах и башлыках, они стояли молча, преграждая дорогу, и вид их мог напугать человека, даже более отважного, чем Симон.

Из этой суровой, молчаливой толпы вышел вперед высокий, усатый человек с повязкой на голове и подошел к линейке.

— Вы откуда едете, люди? — спросил он, глядя в упор в мутные, ошалелые глаза Симона.

— Из По... По... — Симон судорожно вздохнул, — ...из Поти, батоно!

— Это он! — послышался голос сверху. — Гамрекели, собака. Попался, злодей, шакал, гадина!

Какая-то фигура мелькнула в воздухе, зашелестел кустарник, и Миха Коркия, соскочивший со скалы, очутился у самой линейки и встал между удивленным Кверквелия и обомлевшим Симонном. Свирепо горели черные глаза Миха, дрожали его побелевшие губы, в руке он держал большой револьвер, — и это было самое страшное. Симон застонал. Душа его готова была покинуть рыхлое, грешное тело. Миха Коркия поднял револьвер, целясь прямо в широкий лоб Симона Гамрекели. Гвация выкатился из линейки и отошел в сто-

рону. Симон всхлипнул и, закрыв глаза, почти без сознания, уже почти не живой, откинулся на спинку сидения. В животе у него громко забурчало.

Но Кверквелия положил руку на плечо Миха.

— Ты хочешь испробовать подарок Гунава? — насмешливо и спокойно спросил он. — Оставь! Мы не разбойники, чтоб перехватывать купцов на дорогах. Отдай мне пистолет, Миха! Слышишь? Что я тебе говорю?! Миха!

Он схватил Коркия за кисть руки, и револьвер упал на песок. Тариэль поднял его, обтер о чоху и заткнул за пояс. Миха дрожал всем телом, глаза его разбегались. Он смотрел то на Кверквелия, то на Симона, стараясь разорвать дрожащими, непослушными пальцами воротник своей рубахи. Остальные все так же молча ждали, что будет дальше. Гвация, умоляюще сложив руки на груди, столбом стоял на краю дороги.

— Братья! — крикнул Миха. — Братья!.. Ведь этот человек разрушил нашу семью... жизнь... погубил отца моего! Ах, Тариэль, Тариэль! Отдай!..

Лицо Тариэля нахмурилось, брови сдвинулись, он быстро взглянул на неподвижную тушу Симона и отрицательно покачал головой.

— Тариэль! — вскрикнул Миха. — Почему ты щадишь этого зверя?! Братья, заступитесь за меня! Именем отца прошу!

Кверквелия медленно повернул голову, взглянул на остальных, и никто из них не тронулся с места и не сказал ни слова. Тогда Миха вдруг громко заплакал и с протяжным стоном бросился на Симона.

— Ай! — громко крикнул Симон. — Ай-яй!

Гвация зажмурил глаза, а когда открыл их, то увидел, что высокий держит однорукого и тянет прочь от линейки.

— Спокойно, спокойно, Миха! — говорил Тариэль. — Спокойно, говорю тебе!

И вдруг Миха пошатнулся, вскрикнул и тяжело, всем телом, повис на руках Тариэля. Гвация видел, как подбе-

жали остальные, обступили их, и одно-рукого отнесли в сторону от дороги, в заросли. В следующий момент высокий стоял перед Гвацья.

— Скажи мне, ты кто такой? — спросил он.

— Слуга, батано! — прошептал Гвацья.

— Скажи мне, добрый человек: по дороге от станции вы не встретили солдат?

— Не встречали, батано... Только следы видели. Много следов...

— Оставь, какой я тебе батано! Я тебе — брат. Скажи мне, только правду скажи: ты не видел нигде военной арбы? На ней везли раненых крестьян...

— Не видал, батано... Но...

— Что?

— На станцию привезли двух крестьян. Один ранен, а другой умер... Его похоронили солдаты на лугу за поселком...

Гвацья заметил, как вздрогнуло лицо этого спокойного, сурового человека. Тариэль отвернулся от Гвацья и упавшим голосом сказал:

— Братья! Топурия умер... Его похоронили солдаты на станции...

Он склонил голову, стало очень тихо. И эта тишина, казалось Гвацья, тянулась очень долго. Болезненным стоном прозвучал одинокий крик орла в вышине, ветер качал гибкий придорожный орешник...

— Прикончить этого! — слышался вдруг из толпы грозный голос, и ропот прошел по толпе. — Сто их голов за нашего Топурия!

Тариэль поднял голову, и шум стих. — Спокойно, Оция! — сказал он, направляясь к линейке. — Спокойно!

Если б Симон побыл еще немного в таком состоянии оцепенения, если б его душе пришлось и дальше выдерживать такой натиск страха, то, наверное, утром попы пропели бы в Потти вечную память второй гильдии купцу Симону Гамрекели. Но чья-то рука приподняла его за воротник и посадила так легко, словно это не были шесть с половиной пудов купецкого мяса. Затем Симон услышал слова, от которых ему сразу стало лучше.

— Поезжай домой, ты, злодей! — сказал Кверквелия. — Поезжай и больше сюда не возвращайся. Не сносить тебе головы, если ты еще раз попробуешь стать ногой на наши земли. Это я тебе говорю, Тариэль Кверквелия! И никакое войско не защитит тебя, ни друзей твоих, толстая свинья! Езжай домой, Симон Гамрекели, и помни, что я сказал тебе!

Симон опомнился лишь тогда, когда вернулся к распутью, где он раньше видел многочисленные следы отряда.

— Бог нас спас, Гвацья... — сказал он растроганно. — Только бог рукой своей отвел от меня злую смерть... Ну, и напугался же ты, должно быть, Гвацья?

— Я никогда не обижал людей, — коротко ответил простодушный Гвацья. — Мне нечего пугаться...

IV

Несколько дней спустя, хмурым поздним вечером, Михаил Ганарджия вошел в узкую улочку на окраине небольшого городка Зугдиди. Он медленно шел по вязкой грязи мимо бесконечных заборов, внимательно вглядываясь вперед и избегая встречаться с людьми. На улице было тихо. За заборами кое-где мелькал огонек, иногда начинала лаять собака и сейчас же умолкала. Тьма, покой, тишина царили на улицах городка. Дойдя до темного двухэтажного дома, Михаил свернул в переулок и скоро очутился на огороде. Здесь, возле обвалившегося, наполовину разобранного плетня, он отыскал тропинку и, немного пройдя по ней, услышал впереди звонкий стук — далекие удары молота по наковальне.

— А! Стучит старик! — повеселел Михаил и пошел быстрее.

Из мрака выступила дерновая крыша кузницы-землянки. Запахло гарью, под ногами захрустел шлак. Удары молота стали громкими, потом прекратились, зашумел горн. Красный свет проникал сквозь щели закрытой двери. Михаил нащупал скобу и дернул к себе дверь. Она не поддавалась. Шум горна стих.

— Кто там? — спросил спокойный голос.

— Свои! — ответил Ганарджия, — отопри, Теофил!

Послышались шаги, брякнула задвижка, и дверь открылась. Жаром, чадом, издавна знакомым и приятным запахом раскаленного железа повеяло из кузницы. Там был полумрак. Тусклый пурпуровый блеск от груды пылающих углей лежал на обкуренных стенах, на земляном полу. При этом неверном свете Михаил сразу узнал своего давнишнего друга Теофила Габисония, который стоял в дверях, держа в руке молот.

— Гамарджоба, Теофил! — взволнованно сказал Ганарджия, переступая порог. — Все-таки довелось нам встретиться! Не узнаешь разве?

Теофил бросил молот.

— Ты? Михаил? — тихо спросил он. — Какой же это счастливый ветер занес тебя?..

Он шагнул навстречу Михаилу, широко раскрыв объятия. Друзья крепко обнялись.

— Вот сюда, ближе к огню... — говорил Теофил, ведя Михаила за руку. — Ну, дай я на тебя посмотрю... Это ведь четыре... нет, пять уже лет! Как время идет!..

Теофил быстро нагнулся, достал корзину с углем, вытряхнул ее в горн, раздул меха, потом принес пучок соломы и положил на угли. Он двигался быстро, слишком большой для этой маленькой кузницы, но все у него получалось легко и ловко. Михаил устало улыбался.

Угли разгорелись так ярко, что Ганарджия стал бояться, как бы кто-нибудь не пришел, увидев ночью в кузнице такой сильный свет. Он сказал об этом Теофилу.

— Никто не придет! — уверенно сказал Теофил, раздувая меха. — Спят без задних ног! Да если б кто и пришел, тебе что за беда! Разве ты не мой гость? Чего тебе бояться у Теофила Габисония под крышей?! О-о-о-о! Михаил! Ты постарел... На двадцать лет постарел! Что с тобой? Ты болен?

— Да! — ответил Михаил. — И

хворюю понемногу, — жизнь плохая и годы немолодые... А ты все еще орел, Теофил! Все такой же, как и был...

Михаил, растроганный, смотрел на своего старого друга. Задымленная, маленькая кузница напомнила те времена, когда они с Теофилом работали по вечерам в шумном кузнечном цеху, два закопченных парня, подручные-прибиральщики. Теперь Теофил был снова перед ним, его ровесник, попрежнему полный сил, искренний и веселый.

— Однако что же это мы? — сказал Теофил. — Гость сидит на наковальне, а хозяин ему под нос пеплом поддувает! Вот так порядки! Хватит сегодня работать! Идем, Михаил, ко мне домой, может быть, найдется, чем душу потешить! Ты разве уже был у меня? Тебя сюда послала Этери?

— Я пришел прямо сюда, — ответил Михаил. — Понадеялся, что застаю тебя здесь, помня твой обычай стучать молотом до полуночи. Кузню я знаю с тех пор, когда еще Кирилл работал... И хорошо, что застал тебя здесь, а то пришлось бы где-нибудь под кустом заночевать...

— Да, Кирилл, Кирилл! — вздохнул Габисония, пропустив мимо ушей последние слова Михаила. — Кончил свою работу Кирилл... Однако пойдем, довольню здесь угаром дышать!

При воспоминании о брате Теофил помрачнел. Он засыпал пеплом угли и взял за руку Михаила.

Они молча шли через огороды — Габисония впереди, Михаил сзади. В переулке Теофил, вспомнив то, что сказал ему Михаил в кузнице, спросил:

— А отчего бы тебе пришлось под кустом ночевать? Мой дом, правда, если некого спросить, трудно отыскать, но тут ведь есть заезжий двор... И даже не один...

— Э, заезжие дворы не для меня! — ответил Михаил. — А почему, я тебе потом расскажу.

Габисония остановился у забора, отодвинул доску и первый пролез в щель.

— Здесь ближе, — сказал он. — Иди вслед за мной, не то помидоры потопчем.

Дверь отперла им пожилая женщина, вдова старшего брата Габисония. Она не узнала Михаила, молча поклонилась и направилась в спальню.

— Сестра! — остановил ее Теофил. — Почему не приветствуешь нашего старого друга? Видишь, какого я тебе гостя привел?

Присмотревшись, женщина удивленно вскрикнула, потом заплакала и вышла из кухни.

— Называется, поздоровалась! — улыбнулся Теофил. — Вот так всегда: встретит кого-нибудь из старых знакомых Кирилла и начнет плакать. Так ты нам, сестра, приготовь чего-нибудь поесть: гость с дороги, — согреться чемнибудь дай! — сказал он, открыв дверь в спальню. — Свечи там есть?

— Там, — ответила женщина, плача. — На столе.

— Эх, женщины! — с упреком сказал Теофил, открывая дверь в свою комнату.

— Керосина нет! — проговорил он, зажигая свечку. — Темная жизнь, и свет темный, только душа светлая. Правда? Вот так смолоду живем. Разоблачайся, дорогой мой Михаил. Ты у себя дома!..

На стене Михаил увидел старое ружье, старинный кинжал — отцовский, а может быть, и дедовский, с потемневшей серебряной рукоятью и ободранными ножнами. Над столом, в застекленной раме висел большой портрет Шота Руставели, на полке лежали стопки книг, по виду часто читанных. Железная городская кровать и старая скамья, застланная ковром, стояли в углах комнаты. На эту скамью Габисония усадил Михаила.

Впервые за многие дни опасных скитаний Михаил вошел в дом, где спокойно живут люди. Неказистая, тесноватая комнатка показалась ему просторной и очень уютной. Ему стыдно стало за свою мокрую, грязную одежду, он отодвинулся на самый край скамьи, пряча под нее ноги, и закрыл глаза. И тотчас же зашатались перед глазами гибкие, мокрые вершины деревьев, дождь зашумел по лесу. Михаил увидел Тариэля Кверквелия.

— Топурия... Топурия... — говорил Тариэль, сжимая кулаки и поднося их к лицу.

К голосу Кверквелия присоединился еще чей-то знакомый голос. Потом Михаил увидел в чаше тоненький желтый огонек, маленький неподвижный лоскуток огня. Где-то трещал сверчок. Должно быть, в дупле старого бука.

Михаил открыл глаза, увидел желтую свечку на столе, темные стекла окна, фигуру Теофила, говорившего что-то. На стене тикали часы. Он опять закрыл глаза, и все опять изменилось. Снова был лес, теплый ветер, дождь и шум, шум. Кто-то знакомый спрашивал издалека:

— А где же твои вещи? Ты так и приехал?

— Что? — спросил Михаил, стараясь увидеть сквозь чащу, кто это спрашивает. Наконец он узнал Теофила.

— У тебя с собой ничего нет?

— Нет... — ответил Михаил. — Винтовку я спрятал... в лесу...

И откинул голову на спинку скамьи.

— Что? Что? — Теофил быстро подошел к столу и взял свечку. — Что ты говоришь? Винтовку? Откуда у тебя винтовка?

Михаил не ответил. Он спал.

«Сбился с ног бедняга! — подумал Габисония, осматривая Михаила. — И постарел же, постарел!».

Это лицо с острым подбородком, с ввалившимися щеками, с темными тенями под запавшими глазами, ничем не напоминало ни Михаила Ганарджия-юношу, ни даже того Михаила, которого видел Теофил в последний раз, пять лет тому назад.

«Спрятал винтовку! — думал Теофил. — Что это он, со сна?».

Габисония подложил под голову Михаила подушку и, осторожно ступая, вышел.

Проснулся Михаил в полночь. Габисония тряс его за плечи.

— Вставай, вставай, Миха... Нельзя спать голодному.

Через некоторое время они сидели за столом друг против друга. На столе стояла еда, графинчик с вином. Габисония, подливая Михаилу вина, говорил:

— Теперь как-раз время вспомнить старое, поговорить о новом. Ночь, тишина... Нам никто не мешает, и мы — никому... Пей и ешь, Михаил, — ты мой гость, которого я долго ждал...

Но Михаил пил мало, ел тоже мало. Он о чем-то думал, на вопросы отвечал коротко, сам ни о чем не спрашивал, а Габисония понял, что Михаил пришел к нему не просто в гости, что есть какое-то серьезное и важное дело, к которому имеет отношение то, что сказал Михаил во сне.

Однако Габисония не обнаружил никакого любопытства. Он радушно угощал Михаила, старался развеселить его, вспоминал разные истории из прошлого, рассказывал про свою жизнь.

— Вот делаю кочерги зугдидским мешаночкам... — говорил Габисония. — После смерти брата приехал сюда не надолго, а останусь тут, должно быть, до той поры, пока не скаман্দуют: «Стоп, машина!». Мне надоело жить без приюта, годы уже не те. Старуху свою я похоронил давно, дети разбрелись по свету, сам понемногу уже к земле клонюсь... Я сказал себе: Теофил, хватит таскаться по свету, хватит работать на толстопузых. Последнее время я работал на рудниках Симанава в Чиатурах, был машинистом... А здесь живу уже третий год, делаю кочерги... На жизнь хватает, к роскоши не привык... Возьми этот кусок, Михаил... И в стакан не забывай заглянуть!

— Спасибо, друг! — ответил Михаил, отодвигая свой стакан. — Не позволяет здоровье.

Через некоторое время Михаил встал, поблагодарил за угощение и сказал, что сейчас им нужно поговорить по очень важному делу.

— Так будем говорить за столом! — сказал Габисония. — По старому обычаю отнов... Садись, Михаил!

Но Михаил отказался.

— Дело такое, что не за столом говорить о нем... — сказал он с грустной улыбкой. — За столом — хорошее настроение. Веселые разговоры... А в этом деле — слезы и кровь. Совета и помощи пришел я у тебя просить, дорогой друг Теофил...

Михаил, волнуясь, рассказывал о событиях в Сабокучаво. Тикали старые часы на стене. За окном постепенно расходился черный мрак, бледный свет далекого еще дня проникал в комнату.

— Я пришел к тебе с просьбой, — сказал Михаил, заканчивая свой рассказ. — Помоги нам, Теофил, делом или советом. Мы знаем, что большевики в нашем краю собирают народ, что они враги тем, кто враг нам... Пусть они покажут нам дорогу, научат нас, мы пойдем и не пожалеем жизни, мы отплатим за все обидчикам нашим и — либо ляжем все, либо завоюем волю...

Габисония молчал, задумчиво вглядываясь в трепетный огонек оплывающей свечи. Михаил стоял у стола, ждал. На лице у старого кузнеца не было уже того настороженного внимания, как в начале рассказа Михаила, Теофил ласково и растроганно улыбался своим мыслям. Он встал и, пожимая Михаилу руку, сказал:

— Гамарджоба, Миха! Мы вновь встретились с тобой на старой дорожке! Я очень рад... очень рад... Что тебе еще сказать? Очень рад я, Михаил!

— Радостно думать, — продолжал Габисония, — что народ почувствовал необходимость борьбы. Это означает, что искра стала пламенем, что трудящийся народ победит. «Счастье в борьбе! Побеждает смелость!», — сказал наш учитель — Сосо Джугашвили, тот, кто учил нас, рабочих Батума, — борьба за свое рабочее право, за освобождение из вековечного рабства! Никакая вражья сила не сбросит нас с дороги. Если мы погибнем, сотни и тысячи новых борцов встанут на наши места. Михаил! Уже наступает день, мрак бежит перед яркой зарей. Вино стоит на столе! По обычаю наших дедов и отцов мы поднимем наши стаканы за свободу народа, за победу нашего кровного дела! В доме Сильвестра Ломджария восемнадцать лет тому назад, встречая новый год, наш вождь Сосо Джугашвили поднял стакан и сказал слова, которые зажгли души наши верой, надеждой и жаждой борьбы. Я помню, как сказал он это. Откинув рукой непокорные свои волосы, он

обвел всех нас ярким взором благородных глаз, с великой любовью заглянул в наши открытые сердца, дружески улыбнулся нам и сказал: «Вот уже рассвело! — сказал он. — Скоро встанет и солнце. Это солнце будет сиять для нас. Верьте в это, товарищи!». Михаил! Повторим слова учителя нашего... Теперь он во главе красных войск вместе с первыми помощниками великого вождя большевиков, Ленина! Он — правая рука Ленина, его лучший друг и ученик... Да, ученик, Миха! Он сам так себя называет... Мы не будем сидеть, сложа руки! Очистим нашу землю от меньшевистской нечисти!

Меньшевики! Лакеи и подхалимы, торговцы кровью народной, воры и палачи! Они в глаза не смели взглянуть нашему Сосо, когда он громил их — предателей, плутов и фарисеев — в Чинтурах. Они боялись показаться на рабочем собрании, когда там был Коба, наш Сосо, наш учитель... Они лаяли на него из подворотен тонкими собачьими голосами, боясь попасться ему под ноги!

Скрипнула дверь. Старая Этери заглянула в комнату. Габисония умолк.

— Всю ночь! — сказала она, с упреком качая головой. — Всю ночь! Теофил, пощади, — человек с дороги!

— Потому и всю ночь, что с дороги! — засмеялся Теофил. — Однако правда! Пожалуйста, приготовь нам полотенца... Мы пойдем умываться...

С полотенцами на плечах они через огород пошли по влажной тропинке. Солнце уже поднялось. Михаил вспомнил: когда-то в Батуме они так ходили к морю после ночной работы.

★

На рассвете следующего дня Михаил и Габисония шли лесной тропинкой. Они свернули с Зугдидской большой дороги, как только проглянул первый проблеск зари. В лесу было еще почти темно. Неподвижно стояли деревья, седые от росы, высокие травы клонились над тропинкой, холодными каплями осыпая ноги. Было тихо. Слышен был только шум далекого ручья.

На маленькой поляне кузнец, шедший первым, остановился. Шум потока приблизился. Тропинка стала шире: здесь, вероятно, пастухи прогоняли стада на водопой.

— Пойдешь дальше левым берегом речки, селение обойдешь лесом... — сказал Габисония, снимая шапку и вытирая рукавом вспотевший лоб. — А там речка приведет тебя к большой дороге; наверное, верст десять сэкономишь. Как увидишь поле, — забирай вправо, иди лесом по краю и снова к речке выйдешь. Пастухов издалека по колокольчикам услышишь, обойдешь, а больше никого, верно, не встретишь. Люди теперь в поле...

Они помолчали. Кузнец скручивал папиросу. Михаил снял с плеча винтовку, осмотрел ее, повесил на руку, вытащил из кармана трубку.

— Стонит меня со свету лихорадка... — угрюмо сказал он, и только теперь Габисония заметил, что Михаил дрожит и голос его изменился. — Вот уже опять принимается, чувствую...

— Пришлю тебе хины, — ответил Габисония. — Ничего... Справишься! Она меня трепала несколько лет, а все-таки извел хиной, проклятую... Затвор помнишь?

Михаил опять посмотрел на свою винтовку:

— Помню! И не хитро, а все же боялись!

— Когда не знаешь, то хитро... И хорошо сделали, что побоялись.

Сизый дымок таял над их головами, тянулся вверх, легкий, прозрачный. Откуда-то из лесу донесся далекий крик. Михаил с беспокойством посмотрел на кузнеца.

— Ничего... — сказал Габисония. — Петухи! В том самом селении, о котором я тебе говорил... Но все же медлить не будем. Времени мало... Я дальше не пойду. Договоримся здесь об остальном. Осталось же у нас, Михаил, самое важное.

Кузнец подошел к Михаилу вплотную. Он был гораздо выше Ганарджия, и тому пришлось смотреть вверх, чтобы видеть его лицо.

— Будет так... — сказал Габисония, а дальше продолжал совсем тихо: — Через

шесть дней, на седьмой, приходи на сто пятую версту железной дороги, к будке за разездом. Знаешь?

— Найду! — тоже вполголоса ответил Михаил.

— Хорошо. Там наш человек. Подойди вечером, осторожно, без оружия. Постучи в дверь, и если спросят: «откуда?», — тогда говори: «пришел из лесу». Если спросят: «кто там?» или «что нужно?», или молча дверь откроют, — попроси воды напиться или что-нибудь другое. Будь очень осторожен. Если заметишь подозрительное что-нибудь, лучше убирайся прочь, а потом приходи ко мне в кузницу. Подожди! Я не кончил еще. Если все будет хорошо, ты войдешь и увидишь кудрявого, темноволосого человека, ростом выше тебя, худого лицом. Это будет он. Он с тобой о наших делах не станет разговаривать до тех пор, пока ты не скажешь парол...

Габисония оглянулся еще раз. Договорившая папироса обожгла ему пальцы, он бросил ее в траву, быстро взглянул Михаилу в лицо, будто хотел отгадать еще что-то, потом сказал все так же тихо, но четко, разделяя слова:

— «Пусть живет тысячу раз» — таков пароль. Помни эти слова, Михаил! Не буду лишней раз напоминать тебе, что знать пароль, кроме тебя, никто не должен.

— Понимаю, Теофил...

— И еще: о тех бумагах, что я дал тебе. Когда считаешь своим, ты их зря при себе не держи. Попадутся грамотные люди, переписывайте, раздавайте крестьянам, читайте им. Ну, теперь, кажется, все. Попрощаемся, брат!

— Спасибо! — сказал Михаил, пожимая его широкую руку. — Я рад, что вспомнил о тебе в добрую минуту, и теперь спокоен. Спасибо.

Они попрощались, растроганные, скрывая друг от друга свои чувства. Габисония остался на месте, глядя вслед Михаилу. Вот он идет под гору, еще раз мелькнула за деревьями его темная фигура... И уже никого нет. Лишь кажется еще над тропинкой пышная, гибкая веточка...

В эту минуту первые лучи солнца упали на вершины деревьев, и теплый ветер пролетел над лесом.

★

По озеру Палеастоми, расположенному близ Поти, ходили гладкие, зеленые, шумливые волны. Вдали гремел морской прибой. Дул свежий ветер, над беспокойными просторами большого озера взлетали белые чайки.

Шумел прибрежный тростник, сгибались чахлые деревья, обтрепанные разбойными морскими ветрами. По тропинке на низком, отлогом берегу шли двое. Один из них, пожилой, худой и высокий, прятал лицо от ветра, придерживая рукой потертый воротник короткого, старого пальто, другой — широкоплечий и грузный — шел свободно, расстегнув свою кожаную куртку и подставляя ветру загорелую крутую грудь, обтянутую полосатой матроской майкой. На щеке у него было багровое пятно, рыжие волосы на непокрытой голове метались под ветром, падали на лоб и на щеки. Они шли молча. Смеркалось. Все больше крепчал ветер.

— Люблю ветер! — сказал тот, что был в полосатой майке. — Однажды, кажется, в тысяча девятьсот двенадцатом году, я служил тогда на яхте «Королева моря»... Чорт возьми, в Бискайском заливе наскочили мы на погоду!

Его спутник остановился.

— Теперь пойдем назад, — сказал он, оглядываясь на пустой берег. — И ты мне про Бискайский залив не рассказывай... Я должен тебе передать взгляд комитета на последний твой фортель, Константин! Комитет осуждает твою истерику! Кто тебя просил связываться с этим проклятым генералом? Срам! Ты, старый большевик, вместо того, чтоб работать, пропадаешь у капарчинских рыбаков! Ты что! Тебе было поручено поссориться с генералом? Это пошло на пользу? Генерал может быть вывел свои войска из Грузии?

Высокий вопросительно и насмешливо смотрел на человека в полосатой майке.

— Я не могу спокойно говорить с

убийцами Джапаридзе! — ответил тот. — Вот и все. Я сделаю, что нужно, — я выполняю каждое задание партии. Я не жалею себя. Но с убийцами Джапаридзе я не могу спокойно разговаривать... Знаю, что поступил плохо, но я человек, у меня есть сердце!.. Вот такая штука!

Высокий пожал плечами.

— Ну, ладно! Об этом оставим. Есть для тебя работа, Константин, и тут ты должен себя показать... — Он взял своего спутника под руку, и они пошли узкой прибрежной тропой, до ко-

торой долетала пена и тяжелые брызги прибоя.

— Слушай... В Одиши¹ начинается крестьянское движение... У нас есть подробная информация об этом... Комитет поручает тебе, Константин...

Они удалялись, медленно идя по тропинке. Бушевало Палеастоми, все свирепей налетал ветер с моря, громче бил морской прибой за песчаной косой, отделявшей море от озера, с жалобным криком взлетали и падали чайки. Смеркалось...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Наступила осень 1920 года. До зимы было еще далеко, но природа, истомленная плодородием, ждала отдыха. Спаленные солнцем взгорья уже не радовали глаз зеленой свежестью богатых пастбищ. Леса переливались золотом. В долинах пожелтели сады и виноградники. Осень ласково обнимала чудесный край, теплое море нежило его берега.

Но нерадостной была она для народа этого края.

I

Андрей Михайлович подошел к окну и снял приколотую кнопками газету, заменившую занавеску. В окно видны были разноцветные крыши домов, пожелтевшие деревья бульваров, темносиняя даль неба. На склонах гор, окружающих город, отчетливо вырисовывались руины древних стен и боевые башни.

Вокруг — тихие домики, глухие заборы, заросшая травой горбатая мостовая, старые деревья вдоль тротуаров. Обычную тишину изредка нарушает крик продавца зелени или грохот колес. Здесь, в переулках и улочках предместья, в тихих садах, раскинувшихся у подножья горы Давида, — дремотный покой. Гора тяжело нависла над этими улочками, высоко вознося на одном из своих выступов белую церковь, за оградой которой — могилы Ильи Чавчавадзе и Александра Грибоедова — место братского успокоения двух поэтов, убитых самодержавием, последний их приют...

Андрей Михайлович любил этот тихий уголок Тифлиса. Вот уже несколько месяцев живет он здесь, в тени горы Давида. Дни проходят в работе. Одинокие странствования по Колхиде пришлось оставить, — нехватило средств. Он неожиданно потерял службу, но своей большой работы не прекратил.

Теперь он разрабатывает материалы последнего дорожного блокнота. Значительный район центральной части болот — сердца приморской низины — обследован. На стене висит составленная Андреем Михайловичем карта низинной Колхиды. Древние каналы, курганы, мертвые болотные речки без течения, глухие озера показаны на этой карте с присущей его работам точностью. Появились наброски будущих каналов, дамб, водоемов, осушительных канав, новых русел рек — первоначальные контуры гигантского плана осушения Колхиды. Он работал, осуществляя мечту многих лет, стремясь к цели своей жизни. Когда он склонялся над столом, отмечая числа, вымеряя извилины существующих рек и вычерчивая линии будущих каналов, когда записывал пояснения к той или иной детали плана, — как бы распадались стены тесной комнатки; он видел перед собой неохватное пространство болот, легендарную Колхиду — гибкий, трепетный тростник, большие леса, курганы; он шел с Топурия; с ними беседовали скромные мингрель-

¹ Одиши — низменная часть Мингрелии.

ские женщины, угощая сыром и молоком; под теплым ветром качались стройные мингрельские тополя, и буйволы, важно неся разлогие рога, медленно тянули скрипучую арбу; звенели колокольчики стад; белое солнце Мингрелии плыло в мгlistом, знойном небе.

И новая картина открывалась взору Андрея Михайловича в минуту напряженной работы: будущая Колхида — спокойные светлые воды каналов; огромные просторы плантаций, где растут невиданные растения; богатство и красота дивного края, отвоёванного человеком у природы. Но эта увлекательная мечта приносила с собой тревогу и сомнения. Усилием воли он старался прогнать, отбросить ее, высмеивал ее перед самим собой, но это было неискренно. Мечта о новой Колхиде ведь и была самым дорогим для него, осуществление ее он и ставил себе целью жизни.

Приятель Андрея Михайловича — Валерьян Гогиберидзе не любил тешить себя надеждами.

— Оставь, Андрей! — говаривал он не раз. — Это смело, это гениально... Но именно потому и брось!.. Кто сейчас оценит твой труд и талант? Кто осуществит твои планы? Эта воровская шайка? Эти палачи? Чтобы осушить Колхиду, нужны силы всего народа, разум, энергия и энтузиазм настоящих вождей! Ты понимаешь это, Андрей?

— Понимаю! — отвечал Андрей Михайлович. — Но работы не оставляю.

— Чудак! — сердился Гогиберидзе. — Больше всего меня удивляет твое «стояние», как ты сам говоришь, над политической. Ты, ведь, не жилетку шьешь, а создаешь рабочую гипотезу осушения Колхиды! Разве ты из истории не знаешь, сколько погибло величайших творений мысли и рук человеческих вот при таких же обстоятельствах? Неужели ты серьезно думаешь, что твоя работа найдет у меньшевиков признание и, главное, применение в жизни?.. Андрей! Если власть возьмут большевики, — тогда можешь надеяться на успех. Если же Грузию превратят в колонию Антанты, прямо скажу тебе: твой труд — напрасный. Пойми: есть чиатурский марганец,

ткварчельский и тквибульский уголь, аллавердские медные копи, серебро и свинец, есть леса, шелк, табак, вино, скот, минеральные воды. Капиталисты стараются нахапать как можно больше и как можно скорее. Но даже в своей стране они не отважатся финансировать предприятие, которое может окупиться только лет через пятьдесят.

Скверно чувствовал себя Андрей Михайлович после таких разговоров. Гогиберидзе прав. Андрей Михайлович начинал грустить о семье, оставшейся в далекой Москве, — о жене, с которой прожил двадцать с лишним лет, о сыне, вступившем в Красную армию два года назад. Потом это проходило.

Вечер опускался на город. Здесь и там глянули первые тусклые огни, и первые звезды блеснули в небе. В окно дохнуло холодком.

На маленькой веранде послышались шаги. Вошел Валериан Гогиберидзе.

— Работаешь? — спросил он, крепко пожимая руку Андрею Михайловичу. — Пойдем в театр, друг души моей!.. «В вихре веселых забав растает тревога, и сердце попросится жить...».

Гогиберидзе вытащил из кармана плаща сверток газет, кинул их на стол, а плащ аккуратно сложил и повесил на спинку стула. Гогиберидзе был в сюртуке, темные волосы его гладко зачесаны, а пучок черных усов словно нарисован на верхней губе под горбатым большим носом. Ростом он был выше Андрея Михайловича и значительно шире в плечах. На лице — ни одной морщины; глаза смотрели молодо, живые, темные и блестящие. Однолеток Андрея Михайловича, он выглядел куда моложе его.

— В театр? — спросил Андрей Михайлович. — Что же, иди в театр.

— И ты пойдешь, — ответил Гогиберидзе, опускаясь на диван. — Довольно тебе сидеть в пещере... Погуляем сегодня! Жена письмо прислала: семья тихо живет в благословенной Кахетии. Кроме того, я жалованье получил, — угощу тебя наславу. Где твой парадный мундир, слуга падишаха?!

— Я не пойду, Валерьян, — решительно сказал Андрей Михайлович.

— Нет-с, пойдешь, — уверенно ответил Гогиберидзе. — У меня еще осталось немного терпения и почти час времени. Вот прочти-ка!

Он взял газету и сложил ее так, чтобы Андрей Михайлович сразу нашел нужную статью. Это было описание торжеств по случаю приезда в Грузию «руководителей европейского рабочего движения» и «отцов демократии», как называли в газетах Каутского, де-Брукера, Макдональда, Вандервельде и остальных лидеров II интернационала, которые теперь «пользовались гостеприимством грузинского народа». Описание поездок гостей на Казбек — для осмотра природных богатств и этнографических достопримечательностей — и в Кахетию — для пробы прославленных вин, а также стенограммы их тостов — ни в какой мере не интересовали Андрея Михайловича. Пропустил он также описание хевсурской джигитовки. Он сам был очевидцем двух парадов. Согнанные с гор, наряженные в свои средневековые панцыри, крестьяне голодной Хевсуретии, скакавшие по улицам Тифлиса на истощенных клячах, оставили жалкое впечатление.

В конце обширной заметки извещалось, что сегодня в театре оперы в честь гостей состоится торжественный концерт. Вход по пригласительным билетам.

— Два пригласительных билета добыты кровью и коварством! — воскликнул Гогиберидзе. — Надевай свою мантию, чародей, и пойдём. Ты подумай, это — история! Это же — Каутский, Вандервельде, это же — Второй интернационал! Пусть печальная, пусть грязная, пусть желтая, но история!

Гогиберидзе, довольный последней фразой, откинулся на спинку дивана и засмеялся. Андрей Михайлович посмотрел на него и неожиданно почувствовал раздражение.

— Еще совсем недавно ты эту самую историю подкрашивал в розовые тона, — сказал он насмешливо. — Очень быстрые у вас, политиков, повороты!

Улыбка сбежала с лица Гогиберидзе. Андрею Михайловичу стало неловко.

— Я всегда любил свой народ, землю отцов своих, — сказал Гогиберидзе, немного погодя. — Меншевики обманули меня так же, как и тысячи других. И тогда я стал их врагом. Можешь быть уверен, что не легки эти «повороты». Там, где я надеялся увидеть возрождение народа, его культуры, великих его сил, — вдруг открылась пропасть... Оставим это... Ты мне скажи, пойдешь или нет?

— Пойду! — ответил Андрей Михайлович, соглашаясь, чтобы не обижать друга.

Гогиберидзе тихо рассмеялся и, вдруг успокоившись, опять откинулся на спинку дивана. Он быстро переходил от гнева или грусти к веселости. Таким он был всегда — впечатлительный, искренний и простодушный. И, может быть, годы потому и не оставили на нем своих тяжелых следов, что всегда жила в нем веселость, счастливое наследство предков, карталинских крестьян.

★

Огромный, высокий, ярко освещенный зал был переполнен. В партере, ложах, на галерке — везде было движение и шум. Колыхались султаны в вечерних женских прическах, сияли настоящие и фальшивые драгоценности, блестящие гладкие лысины, откормленные щеки, отвислые затылки, прилизанные волосы, бинокли, лорнеты, ордена, пуговицы, погоны, газыри черкесок. Тяжелый запах духов насыщал воздух. Внимание зрителей привлекли важные чины заграничных военных миссий. Их встретил одобрителный гул и редкие, сдержанные хлопки. Аплодисменты дружно загремели, когда из ложи, задрапированной флагами, выглянул один из гостей. Андрей Михайлович успел заметить только розовую лысину и круглые, широкие плечи.

— Это — Вандервельде... — прошептал Гогиберидзе. — Вот, брат, оперетка!

Он умолк, встретив внимательный, косяй взгляд соседа, офицера «народно-гвардейца».

Вечер начался скучно. Ораторы однообразно приветствовали гостей; скупое раздавались в партере хлопки. Галерка

молчала. В самом патетическом месте речи одного из ораторов на галерке громко рассмеялись. Оратор запнулся, посмотрел вверх, покашлял. Кто-то, согнувшись, пробежал в проходе, и все пошло прежним порядком.

Во время антракта Андрей Михайлович и Гогиберидзе сидели в фойе. В центре всеобщего внимания была княжна из рода древних грузинских царей, заграничные генералы и какой-то старик в белой черкеске. Положив ладонь на золотую рукоять кинжала, он медленно проходил по фойе, величественно склоня голову, когда с ним здоровались. Оказалось, тоже князь, чуть ли не из более знатного рода, чем княжна с диадемой.

— Тупость сытости, блеск богатства... — говорил Гогиберидзе. Его глаза затуманились. С открытой злобой, кривя губы, он оглядывал проходящих мимо и сидящих за столиками. — В городе — голод, нищета, болезни. Страшная разруха уничтожает страну, а здесь...

Он швырнул окуроч на пол.

— Довольно, Валерьян! — сказал Андрей Михайлович, беря Гогиберидзе под руку. — По-моему, лучше действовать, чем рассуждать.

— Как действовать? Что делать? — спросил Гогиберидзе. — Вся беда в том, Андрей, что мы только жалуемся друг другу за бутылкой вина. Что еще мы можем придумать?

Партер заполнился. Под потолком погасли люстры. По краю сцены, грациозно ступая на носки, рысаком пронесся распорядитель. Занавес колыхнулся и пошел вверх. В душной тиши взвизгнули скрипки. Начинаясь концерт под названием: «Парад наций».

Как только поднялся занавес, оркестр заиграл германский гимн. На сцену вышли двое артистов в национальных немецких костюмах. Партер грузно встал, аплодируя. Офицеры, в английском хаки, большей частью недавние тифлисские гимназисты, стали во фронт. Немец и немка, кланяясь, прошли через сцену.

— Это они, видно, в честь Каутского, — тихо сказал Андрею Михайловичу Гогиберидзе. — Балаган! Позор!

Потом оркестр играл английский,

французский, бельгийский гимны, и на сцену поочередно парами выходили англичане, французы, бельгийцы в национальных костюмах. Затем с мягким шорохом упал занавес. Музыканты разложили новые ноты. Когда занавес взвился, все вытянули шею, а более нетерпеливые приподнялись. Сцена некоторое время была пуста. Движение и шум в зале не стихали, от прежнего торжественного и пристойного тона не осталось и следа.

Но вот всколыхнулась драпировка, и на сцену вышел мужик в красной рубахе и в лаптях. Почесывая свой рыжий парик, судорожно позевывая, громко шлепая лаптями, он вышел на середину сцены, сделал ногами залихватский выверт и громко притопнул. В ту же минуту дирижер поднял руки, и оркестр начал «Интернационал». Мужик, брыкаясь, пошел по сцене.

Партер громко захохотал, послышались редкие хлопки. Хотя дирижер вел оркестр умышленно небрежно, а скрипки фальшивили, мелодия покрыла шум и хохот и, суровая, величественная, заполнила зал. Гимн гремел, как гром, — великая песня борьбы, песня людей, шедших умирать за свободу и счастье.

...Вставай, проклятьем заклеименный...

Валерьян Гогиберидзе встал. Андрей Михайлович молча потянул его за рукав. Офицер-гвардеец шептал, дергая его за полу сюртука:

— Садитесь, садитесь! Что с вами? Разве вы не понимаете?

Гогиберидзе взглянул на него бешеными глазами. В этот момент высоко под лепным потолком, на галерке, чей-то звонкий голос подхватил гимн. Его поддержали, сотни людей пели, заглушая оркестр. Актер растерянно остановился посреди сцены.

— Вон паяца! — крикнули с галерки.

И тогда отовсюду послышались возгласы:

— Ваша, советская Россия!

— Партия большевиков, ваша!

— Долой желтых изменников! Вон из Грузии!..

Публика партера в смятении вскочила на ноги. Княжна высокой крови, опи-

раясь на руку итальянского певца, пробиравась к выходу. Гогиберидзе стоял бледный, прижимая руку к груди. Оркестр умолк, опустился занавес. Офицеры на ходу расстегивали кобуры, устремляясь в коридоры, к лестницам, на галерку. Гости покинули театр. Вокруг кипела возмущенная толпа, мелькали испуганные, перекошенные лица, растрепанные прически, вспотевшие лбы. Партер спешил к выходу. Внезапно потух свет. Истерически взвизгнула женщина, затрещали стулья. Толпа заревела. Лощенные мужчины толкали и давили роскошных дам, работая кулаками и локтями, как во время пожара. Вдруг опять вспыхнули лампы. Вверху, под потолком, стайкой белых птичек взлетели листовки и густо стали опускаться на ошалелую толпу.

В зале, в коридорах, в фойе стоял страшный шум. Трещала и ломалась мебель, плакали женщины, кто-то ругался последними словами. На галерке свистели и кричали: «Позор!». Туда, наконец, дорвались офицеры, и наряд полицейских, находившийся в театре для охраны порядка. Вскоре вокруг того места, где стоял Андрей Михайлович и Гогиберидзе, стало пусто.

— Пойдем! — сказал Андрей Михайлович своему другу. — В чужом пиру поемелье...

На лестницах, у дверей фойе, в начале коридоров уже стояла охрана. Выпускали только тех, кто по виду не вызывал подозрений. У остальных проверяли документы, некоторых отводили в сторону. В углу скопилась группа людей, окруженная особоотрядниками.

Гогиберидзе набросил на плечи плащ, надел шляпу и в таком виде мог итти хоть сквозь тройные кордоны особоотрядников. Он и Андрей Михайлович ждали, пока прекратится давка. К ним приглядывался издали молодой человек невысокого роста, с худощавым лицом, плохо одетый. Андрей Михайлович встретился с ним взглядом. Незнакомец устыбнулся.

— Простите, батону, — сказал он, пойдя. — Вы не узнаете меня или не хотите узнать?

Что-то знакомое было в его темных

глазах, в тонких чертах смуглого лица. Молодой человек искоса взглянул на Гогиберидзе и прошептал:

— Виссарион Коркия... Помните, вы попали в болото в Колхиде?

— Ах, это вы? — воскликнул Андрей Михайлович, пожимая руку Бесо. — Вы изменились, я не узнал вас! Валерьян, помнишь, я рассказывал тебе о случае в Колхиде? Ну, вот один из тех людей, которые спасли меня... Познакомьтесь. Инженер Валерьян Иванович Гогиберидзе.

Но у Виссариона Коркия не было времени для разговоров. Он оглянулся и сказал с беспокойством, глядя в лицо Андрею Михайловичу:

— Вы можете мне помочь?.. Попробуйте провести меня на улицу. У вас не станут спрашивать документы. Понимаете? — Он помолчал и опять оглянулся. — Я не успел вовремя выбраться отсюда...

Андрей Михайлович взглянул на Гогиберидзе. Тот, ничего не говоря, взял Коркия под руку и сразу двинулся в сутолоку. Андрей Михайлович, взволнованный и обеспокоенный, пошел за ними. Гогиберидзе медленно пробирался к дверям, ведя за собою Коркия, неумело державшего в руках помятую шляпу. Впереди шел старик в белой черкеске. Сбоку от двери, внимательно глядясь в проходивших, стоял особоотрядник в хаки. Двое других стояли на самом пороге. Подходя к ним, Гогиберидзе громко сказал на чистейшем французском языке, наклоняясь к Коркия:

— Это срам! Правительство не может обеспечить спокойствие даже в театре! Вы правы, мой друг, нужны более суровые законы! Что же подумают наши гости?

Коркия кивал головой, хотя не понимал ни слова из того, что говорил ему инженер. Но Гогиберидзе рассчитывал не на него, а на князя, и не ошибся. Услышав французскую речь, старик оглянулся и, увидев весьма приличную на вид, раздосадованную особу, сказал:

— Что ж делать, мосье! Что делать!..

Как только они очутились на ступеньках под'езда, Коркия сжал Гогиберидзе локоть и тихо сказал:

— Очень благодарен вам... Теперь нам вместе идти не стоит. Будьте здоровы, спасибо! Мы еще увидимся!

Он коротко поклонился им, сбежал по ступенькам и исчез в толпе. Андрей Михайлович и Гогиберидзе вышли на улицу. Дул прохладный ветер с востока. На темном небе горели яркие осенние звезды. Некоторое время друзья шли молча.

— Однакоже ты молодчина, Валерьян! — сказал Андрей Михайлович.

— Э! При чем тут я?.. — ответил Гогиберидзе. — Это он молодчина! Можешь быть уверен, он не последняя скрипка в этом концерте, и, что говорить, они славно сыграли! Хотел бы я заглянуть в ту минуту в желтое гнездо под флагами! Хамы! Несчастные балаганщики! Я твердо уверен сейчас — не быть Грузии колонией! Оказывается, не все обливают слезами жилетки своих друзей. Есть парни, которые берутся за работу другим способом... Что ж! Я приду к ним и скажу: Валерьян Гогиберидзе кое на что еще годен. И так должен сделать всякий, кому дорога будущность народа.

Кто-то шел навстречу. Гогиберидзе замолчал. Они шли по пустынной улице. Шумели деревья в городском саду. Беспкойный ветер метался над городом. Тусклыми зарницами вспыхивало небо. Падали яркие осенние звезды.

II

Осень пришла и в Потти. В садах снимали урожай. На рынке продавали мелкие орехи, каштаны, сочные дыни, виноград, гранаты, — не перечислить всего, что привозили крестьяне из окрестных деревень в базарные дни по праздникам. Илико за весь свой век, может быть, не увидел бы столько фруктов сразу, если бы оставался в Сагвасалио, а не учился торговать у Симона Гамрекели. Попадая на рынок, он шатался вокруг возов, стоял у лотков, приглядывался к пахучим, сочным плодам, но ничем не мог помочь потийскому рынку в повышении спроса на фрукты. В карманах его новых штанов и новой жилетки, перешитой из хозяйского пиджака, никогда не бывало ни копейки. Но все же шатания по рынку

иногда кончались удачей. Какой-нибудь крестьянин, увидев, что солнце склоняется к западу, а покупателей нет, не жалел для мальчика дыни с побитым боком, горсти мелких орехов либо разрозненной кисти винограда. И Илико, под завистливыми взглядами таких же стрелков, как он сам, гордо удалялся, неся подмышкой побитую дыню, в шапке виноград, а в карманах несколько горстей орехов. Этими лакомствами он делился с Маро.

У Илико с Маро была великая дружба. Она укрепилась с того дня, когда Симон избил Илико и мальчик отлеживался в чулане, а Маро ухаживала за ним. Теперь, когда Илико нужно было куда-нибудь идти, а Маро была свободна от работы, они всегда ходили вместе. Встречая на улице чужих мальчиков, Илико брал Маро за руку, хмурил брови и смело шел вперед. Его редко затрагивали. Было уже известно, что Илико всегда готов вступить в драку. После нескольких стычек его начали уважать, и если бы он только захотел, то был бы принят в самую избранную компанию. Даже рыбацкие мальчики приглашали его к себе. Однако Илико не присоединялся ни к кому. Он был всегда занят работой, лучше всего чувствовал себя на дворе с Гвацция и выходил за ворота усадьбы Симона, как в чужой мир. В нем еще жила природная деревенская диковатость.

Осень оказалась самой веселой порой. Мадам Гамрекели в начале лета выехала с Гио на дачу, куда-то в горы, где не было малярни. Оставляя хозяйство и духан на Гургена, Симон часто ездил туда проведать семью. В такие дни можно было ходить в сад, можно было вместе с Элисабеди, которая присматривала за домом, даже побывать в богатых хозяйских комнатах. Без хозяев было свободно и весело жить, хотя работы для Илико хватало всегда в полную меру: он помогал на кухне, ходил за продуктами для духана, днем был возле Гвацция (который, однако, не обременял мальчика работой), вечером до позднего часа крутил ручку шарманки в духане, играя «Ой-ра, ой-ра», «Гусарский марш» и «Полюби меня, пастушка!», а потом по-

могал женщинам убирать грязную посуду. Совершенно изнуренный, он падал после полуночи на свою подстилку в чулане и вставал с первыми лучами солнца. И все же Илико чувствовал себя неплохо, — быстро привык к новой жизни, ни на что не жаловался и, вспоминая Сагвасалио, уже не плакал, был доволен в работе и весел.

В доме Гамрекели стало тише с того дня, когда Симон избил Илико. Хозяин не так часто кричал на слуг, больше не трогал Илико, потому что Гвация, когда мирился с Симоном, сказал, что ноги его не будет в этом доме, если Симон еще раз хоть пальцем тронет бедного сироту. Илико сшили наконец долгожданную, но не шелковую, а ситцевую рубашку и чоху, переделанную из старого платья Симона.

Часто шли дожди, но не продолжительные. Вскоре открывалось небо, чистое и яркое. Обессиленные сады засыпали в такие дни, сбрасывая на теплую землю первую листву. Спокойное море задумчиво и тихо плескалось в берега.

В свободное время Илико ходил с Маро на берег собирать пестрые камешки. Илико любил, стоя у берега по колена в воде, дожидаться приближения самой большой волны и в последнее мгновение, с приятным замиранием сердца, убежать от нее, слыша за собой близкий шум и гул. Любил он с отлогого потийского берега глядеть в широкий простор моря, следить за белым парусом в далекой лазури. Тогда Илико чувствовал непонятную печаль и вспоминал почему-то Сагвасалио.

Иной раз Илико бегал в порт. В порту у причалов стояли корабли — большие, заржавленные транспорты. Илико уже знал, что они держатся на воде совсем не потому, что в них положили много сухого тростника. Он знал, что двигают их машины, и сам не раз видел, как за кормой бурлила вода под винтом парохода, вышедшего из потийской бухты. Известно было Илико, что за морем, за много верст отсюда, есть другие земли и иные моря.

Вместе с Маро слушал он сказки Саломэ. Из этих сказок он узнал много интересного, — например, почему у лас-

точки хвост похож на вилы. Оказывается, ласточка однажды высмеяла змею перед птицами и зверями. Змея рассердилась, подстерегла ласточку и схватила ее за хвост, чтобы проглотить. Ласточка вырвалась, но в пасти гадюки осталась середина ласточкиного хвоста. Сохранились только два пера по бокам. Так и живет ласточка с хвостом вилами, а гадюка потому облизывает жалом свою противную морду, что у нее в пасти полно перьев. Подумать только, как это приятно — иметь всегда во рту перья! Илико мог еще рассказать про скупого попа, который провалился под землю за то, что угостил свою родню вместо баранины жареной собачиной, — на том месте, где провалился скряга, теперь широкое озеро Попанчикири; мог объяснить, почему солнце называется именем молока; мог рассказать про мост Бамбуас-Хиди, что на реке Цхенис-Цхали, где сам Илико еще никогда не был.

Мир широко, по-новому, раскрывался перед Илико. Однажды, в воскресенье, Илико и Маро гуляли на берегу Риона, у руин старинной турецкой цитадели. На заросшем болотными травами берегу большой реки квакали жабы, напоминающая Илико далекое Сагвасалио. Мальчик сел под дерево, нагнув свою обтрепанную шляпу на лоб. Некоторое время он наблюдал за Маро, которая в прибрежных аллеях бегала за мотыльками, и незаметно заснул. Его разбудил испуганный голос Маро. Илико вскочил на ноги. Маро бежала к нему. А со стороны повитых диким виноградом руин приближался светловолосый, худощавый мальчик, на голову выше Илико. У незнакомца было круглое, усеянное веснушками, лицо и голубые глаза. Мальчик перешел дорогу и остановился, с интересом присматриваясь к Илико.

— Что тебе нужно, свинья? — сурово спросил Илико.

Мальчик улыбнулся, и тут обнаружилось, что у него нет двух передних зубов. Он был в широкой, видно с чужого плеча, рубашке, в коротких и широких штанах. Ничего плохого он пока не делал, а стоял поодаль и улыбался. Или-

ко смягчился. Даже пугливая Маро успокоилась и выглянула из-за дерева.

— Гамарджоба! — сказал наконец мальчик, старательно, по слогам, выговаривая это слово.

— Гагимарджос! — ответил Илико. — Ты откуда?

Мальчик повертел головой, показал на рот, улыбаясь, развел руками. Илико догадался, что мальчик не понимает языка.

— Ты мне дал сыру, когда я лежал на скамейке в саду, — по-русски сказал мальчик, но Илико тем же способом показал, что теперь он не понимает.

Тогда мальчик сделал жалкую гримасу, положил голову на ладонь, и Илико сразу вспомнил рыжего человека и иссохшего мальчика, который лежал в саду. Он улыбнулся и кивнул головой. Мальчик подошел ближе.

— Как тебя зовут? — спросил Илико.

Мальчик снова развел руками и показал на свои щербатые зубы.

Илико гулко постучал себя по груди: — Илико!..

Незнакомец кивнул головой и повторил имя. Потом, показывая на себя, сказал по-украински:

— Гордий! Гордий! Усаченко... Из села Сушковцы Бабаевской волости.

— Горди?!

Илико понял только одно слово. От удивления он открыл даже рот, но потом нахмурился.

— Это он не тебя, Илико, — сказала Маро, — это его самого так зовут...

И, правда, мальчик показывал на себя, все еще повторял слово, которое Илико понимал, как «горди»¹.

— Так не может называться человек!.. — строго сказал Илико. — Я никогда не слышал, чтобы человека называли таким поганым именем. Послушай, Горди (ему очень не хотелось произносить это некрасивое слово)... а где ты живешь?

Вопрос свой он пояснил так: положил голову на ладонь, словно заснул, потом начертил пальцем на песке дом. Горди понял.

— Я живу у Захария, — сказал он. — Захария работает в порту.

После этого он притронулся к рукаву Илико и указал на дорогу, приглашая пойти к нему. Любопытный Илико не отказался. Маро, неся в объятых свои куклы, шла сзади. Так они прошли через городской сад, повернули в узкий переулок и долго еще шагали мимо домиков на сваях, вдоль бесконечных заборов низинных огородов. Наконец Горди открыл калитку в каком-то сплошном заборе, и они неожиданно очутились в красивом саду. Желтая, аккуратно посыпанная песком дорожка вела к небольшому дому, стоявшему в глубине сада, за цветущими деревьями. Это был обычный домик на невысоких сваях, как и все дома на окраинах Поти.

Нагибаясь, чтоб не задеть цветы на деревьях, по саду шел человек с лейкой в руке. Он был без шапки, коротко подстрижен, лицо у него было какого-то бурого цвета, будто обожженное огнем. Илико снял шляпу и вежливо поздоровался. Хозяин ответил на приветствие и вышел на дорожку. Несмелая Маро на всякий случай спряталась за Илико.

— Ну, нашел себе приятелей? — спросил хозяин по-русски у Горди. — Что это за мальчик?

— Его зовут Илико, — ответил Горди, — это он дал сыр, когда меня нашел дядька Куридзе. Он не умеет говорить по-русски.

Илико, услышав свое имя, быстро взглянул на хозяина, на Горди, но молчал, держа в руке свою шляпу. Илико знал, как нужно себя держать среди незнакомых людей. Хозяину это, видно, понравилось. Он с улыбкой посмотрел на важного, надутого мальчика.

— Откуда ты, бичо? — спросил хозяин. — Это сестра твоя?

Услышав родной язык, Илико оживился. Он рассказал, что служит у Симона Гамрекели, что Маро — это дочка кухарки и что у него нет никакой родни.

Хозяин в ответ сказал, что он, Захария Имедашвили, рад принять гостей, и пригласил Илико пройти в сад. Там он усадил детей на скамейку и начал бесе-

¹ Горди — по-мингрельски жаба.

ду с Илико. Илико узнал, что бездетный Захария усыновил Горди, что Горди долго болел, да и теперь еще слаб, а когда окрепнет, то он, Захария, научит его уходу за садом. Тут Илико сказал, что Горди — некрасивое имя. Захария ответил, что по-русски оно красивое, но всего лучше называть Горди Георгием, а запросто — Гиго.

После этого Илико узнал, что Гиго — не русский, а украинец. Украинцы — большой и богатый народ, их земля очень хорошо родит хлеб, но там теперь война и всю Украину разорили. Мать Гиго умерла давно, а отца убили на войне. Гиго взяли в приют, но неприятель разрушил город, и дети разбежались. Гиго растерял по дороге своих товарищей и попал сюда, в Потти, за тридевять земель.

— Теперь ему будет хорошо у меня, — закончил Захария, — поправится парень. Одна беда, что трудно с ним сговариваться, потому что говорит он не то по-русски, не то по-украински. Моя старуха ни слова не понимает... Но ничего, мы его по-нашему научим...

Такова была коротенькая история Гиго. Захария понравился мальчику. Особенно большое почтение почувствовал к нему Илико, когда узнал, что этот человек умеет управлять пароходом, что это его служба. Вряд ли был в Потти еще мальчик, который имел такое знакомство! На жилистой, длинной руке Захария он увидел нарисованный синими красками пароход — такой большой, что начинался он чуть ли не с ладони, а конец его скрывался под засученным рукавом, у самого локтя. Пароход пускал синий дым.

Так они беседовали под цветущим деревом. Потом Захария встал, осторожно раздвинул ветки, и среди цветов Илико увидел желто-зеленый, довольно большой плод. Он очень удивился, потому что еще никогда не видел, чтобы дерево цвело и в то же время на нем были плоды. Захария снял плод и подал его Илико.

— Вот отведай потом, — сказал Захария. — И девочке дай, вы, наверное, еще такого фрукта не видели. Это очень полезно, особенно для вас, мышат... Де-

рево это называется лимон. Оно привезено из далеких стран и хорошо у нас растет. Он немного кислват на вкус, этот фрукт, но все же приятен. Видишь, какое диво? Тут тебе цветы, тут и плоды! Это уж такая особенность у этого дерева. На нем можно оставить плоды на зиму, и они будут держаться целое лето. Где ты еще такое чудо видел?

Илико должен был признаться, что не видел. На этом беседа прекратилась. Захария сказал, что сейчас ему некогда, и пригласил Илико приходиться, как только будет охота. Проводив гостей на улицу, он на прощанье опять заявил, что очень рад знакомству: Гиго одному скучно, а вот когда мальчики научатся понимать друг друга, они станут добрыми приятелями.

Отойдя несколько шагов, Илико оставил в кармане старый ножик, подарок Гвация. Он разрезал лимон пополам и один кусок подал Маро. Они разом, как по команде, поднесли лакомство ко рту. У Илико сразу скорчилась лицо, из глаз у Маро покатались слезы, и она выпустила из рук своих кукол. С минуту они смотрели друг на друга, потом Маро выплюнула свой кусок, и ей сразу стало легче. Но Илико мужественно разжевал кислое угощение Захария, проглотил и некоторое время стоял с разинутым ртом.

— Илико, у тебя язык побелел! — сочувственно сказала Маро. — Ай, ай, вытри под носом!

— Это полезно для здоровья, — ответил Илико, быстро мазнув рукавом по верхней губе. — Этот лимон нужно есть понемногу, потому что он очень кислый, я ведь тебе говорил... А ты сразу хочешь все съесть! Нужно еще для Гвация оставить.

Илико не говорил, что нужно есть понемногу, но Маро знала, что спорить не стоит. Она молча собрала свои куклы и за руку с Илико двинулась домой.

Потом Илико и Маро часто бывали в красивом саду Захария. Там их приветливо встречал сам хозяин или его жена, тихая, глуховатая женщина. И всегда им был рад Гиго. Захария учил его уходу за садом. Целые дни Гиго проводил на свежем воздухе, в зеленой тени, в ти-

шине сада. Он окреп, попрос, выучил-ся языку своих приемных родителей, и к осени они с Илико прекрасно понимали друг друга. Они подружились. Гиго оказался мастером на все руки: вырезал из дерева лошадок, приделал куклам Маро настоящие головы, руки и ноги из дерева, свил из конского волоса леску, и все лето они удили в бухте бычков. Просто нельзя было перечислить всего, что Гиго мог сделать! Захария же, для которого всего дороже был сад, хвалил Гиго за старание и, главное, — за любовь к растениям.

— Растение нужно беречь, — говорил он часто детям. — Оно приносит пользу человеку: очищает воздух так же, как морская чистая вода, украшает землю и приносит человеку богатые дары. А что сделает скверный человек, глупец и беспутник? Он сломит вершину молодого деревца, чтобы отогнать от себя комаров, он нарочно пройдет по траве, по цветам, чтобы очистить пыль с сапог, он вывернет сук, испортит дерево, чтоб достать плод... Если б так поступали все люди, на земле давно уже было бы повсюду голо, высохли б реки, поля б засыпало песком. А вот, если б каждый человек посадил хоть одно деревцо где-нибудь при своем доме, у дороги, у реки! Что было б здесь, где теперь мой сад, если б я годами не старался, не гнул спины, не копал канав, не ухаживал за своим садом? Дрянь одна, болото, вот и все. Учитесь беречь растения, ухаживайте за ними, они вам добром отплатят...

Он ходил под цветущими деревьями, нагибался над слабыми саженцами, привязанными к колышкам, пробовал, рыхлая ли земля, теплая ли она, достаточно ли в ней влаги. Он осторожно притрагивался к веткам взрослых деревьев, осматривал их, и белые цветы сверкали на его широкой ладони.

Таковы были новые друзья Илико. Знакомство с этими людьми было важным событием в первые месяцы жизни его в незнакомом городе.

Вскоре произошло другое событие, сильно повлиявшее на впечатлительную, жадную к познанию душу Илико.

Однажды Илико и Гиго сидели на молу, который шел далеко в море, отделяя от него потийскую бухту, и заканчивался маяком. Мальчики свесили ноги над водой, неподалеку разместились со своими куклами Маро. Неподвижно стояли у причалов заграничные транспорты, на их мачтах бесчисленно обвисали пестрые флаги. Посредине гладкой, как стекло, бухты, время от времени кувыркались дельфины. Сильно припекало солнце. Рыба не брала. Добрый час сидели мальчики, уставившись глазами в неподвижные поплавки. Белые лепестки медуз, то свиваясь, то развиваясь, проплывали мимо; стайки мелких рыбок крутились у берега; желтобокие крабы двигались по дну и быстро прятались меж камней. Проплывали и бычки, равнодушно обходя куриные кишки, щедро нацепленные Илико на крючки.

Рыба не бралась. Но вдруг поплавок Илико встал торчком, вздрогнул и быстро пошел вниз. От неожиданности Илико замешкался, потом изо всей силы дернул за удочку. Маро взвизгнула во весь голос, в воздухе мелькнул поплавок, но на крючке не оказалось ни рыбы, ни приманки. Гиго с упреком покачал головой.

— Это я нарочно дал ему с'есть, — живо сказал Илико, вытягивая из кармана длинную кишку. — Они войдут во вкус и будут потом брать, — только тащи! А ты, Маро, если будешь кричать, то лучше иди-ка сразу домой. Я тебе сто раз говорил, что рыба крика боится!.. Что ты думаешь, она такая же глупая, как ты?

Илико поплевал на вонючую приманку и вновь опустил ее в голубую глубину бухты. Однако бычки не входили во вкус. Поплавки оставались неподвижными. Вероятно, сорвавшийся бычок был единственным голодным во всей бухте, и теперь он, по милости Илико, подкрепился и залег под камень. Стало скучно. Солнце поднялось на полдень. Однообразно плескались волны за молом. Лениво махая крыльями, низко над водой пролетала истомленная зноем чайка. Кувыркались на середине бухты дельфины.

Илико захотелось спать. Вчера он допоздна крутил шарманку, играя «Ой-ра, ой-ра» для пьяных чиновников. Он подобрал под себя ноги, лег на горячую каменную плиту, подпер голову руками и сонно глядел на скучный, неподвижный поплавок. Вдруг он услышал какой-то тонкий звук, словно где-то звенел комар. Илико удивился, потому что комаров в такой зной не бывает. Он приподнял голову и прислушался. В самом деле, что-то звучало на высокой и однообразной ноте, но это был не комар. Гиго тоже прислушивался. Сильный звук приближался, и нельзя было понять, откуда он идет: не то из города, не то с безжизненных кораблей, стоящих на той стороне бухты. Через некоторое время Илико убедился, что звук доходит сюда с моря.

— Ераплан, — уверенно сказал Гиго и развел руками, показывая, как летит аэроплан.

— Айраплани? — шопотом сказал Илико. Сердце его затрепетало. Он вскочил на ноги.

Гул шел с неба, залитого нестерпимым солнечным сиянием. Что-то ярко блеснуло вверху, и сразу стала видна белая птица, которая, неподвижно распростерши крылья, круто снижалась прямо на бухту. Гудение стало грозным. Илико, торопливо сматывавший удочку, бросил ее, подбежал к Маро и схватил за руку. Грозная птица летела прямо на них с шумом, гулом и свистом. И тут, в эту страшную минуту, Илико увидел, что Гиго не боится. Гиго даже не встал с места, а, задрав вверх курносый облупленный нос, с радостной улыбкой следил за полетом белого чудовища. Илико мужественно стоял подле: убежать одному — позор!.. Маро, прижимаясь к нему, широко раскрыв глаза, со страхом смотрела на самолет, летевший над самой водой. Вдруг он коснулся поверхности своими голенастыми ногами; высоко взлетели белые брызги; испуганный дельфин выскочил из воды, перевернувшись в воздухе и скрылся. Белая птица, с красными кругами на боку и на крыльях, мчалась по воде, оставляя за собой широкую стену пены, поднимая волны в спокойной бух-

те. Ее свирепое рычание стихло еще до того, как она остановилась, и тотчас же раздался стук моторки. Маленький кораблик появился откуда-то из-за огромных пароходов и быстро пошел навстречу аэроплану. На спине птицы Илико увидел две темные фигуры.

— Люди вылезают! — воскликнул он. — Там люди!.. Он возит на себе людей!

Раз и второй ударила в стену гладкая волна, которая только теперь дошла до мола с середины бухты. Илико, не отрываясь, смотрел на аэроплан, который остановился под берегом. На большом белом пароходе появились люди. Они махали руками. Но тут неожиданно послышался плеск весел, и к рыбакам подехала лодка, в которой сидел рыжий человек в полосатой рубахе. Илико и Гиго сразу узнали его.

— Гамарджоба! — сказал Илико, как всегда снимая шляпу и кланяясь. — Скажите, пожалуйста...

— А, купец — сто бочек! — засмеялся Куридзе. — Ну, как торговля? Ловится ли рыба? — Он взглянул на Гиго и стал что-то говорить по-русски. Потом опять повернулся к Илико. — Я говорю ему, что он разжирел, как соборный поп! Ишь ты, какой стал! А ты лежал без дыхания на скамейке, и если бы я опоздал на полчаса, — пиши парня за упокой... А это что за ба-рышня?

— Это дочка нашей кухарки, — ответил Илико. — Ее зовут Маро. Скажите, пожалуйста...

— Маро? — спросил Куридзе, упираясь веслом в камень и подгоняя лодку под стену. — Хорошее имя Маро. Сколько у тебя кукол, Маро?

— Семь, — тонким голоском ответила Маро.

— Я так и думал, что не меньше! Подержите, ребята.

Он выбросил на мол канат. Мальчики дружно схватились за него, и лодка стукнулась о стену мола.

— Ну, вот и хорошо, — сказал Куридзе, вставая. — Что, купец, интересная штучка прилетела? Ты, должно быть, такой еще не видел? Может, еще и испугался?

— Я не испугался, — солгал Илико. — Только я не знал, что там люди... что она людей возит...

— Вот тебе и на! — сказал Куридзе. — А разве может машина без людей? Э, брат, я тебе не верю, что ты не боялся!

— Он боялся, — смело сказала Маро, любившая правду. — И я боялась...

— Правда ли это, — заспешил Илико, исподтишка дергая Маро за косы, — правда ли это, что он бросает такие штуки, которые рвут человека пополам? Об этом говорил Артем Коркия...

Куридзе принялся разжигать свою грубку. Он смотрел на бухту. Моторка шла к берегу. Ей отсалютовал английский транспорт. Гидроплан остался один, легкий и белокрылый на синей глади бухты.

— Может сбросить такую штуку...-- наконец сказал Куридзе, — и не одну, а несколько сразу. И они не то что надвое рвут человека, а прямо на мелкие кусочки. Только теперь им незачем бросать свои штуки: они и так голыми руками все забрали...

Куридзе повязал платком шею и сказал, отгалкиваясь от мола:

— Ну, не буду вам здесь мешать, купцы... Счастливого лова!

Он отъехал так же неожиданно, как и появился. Через некоторое время плеск весел стих, и когда через полчаса Илико взглянул вдоль мола, — лодки уже не было, она вышла в море. Бычки не брали, и вскоре рыболовы отправились домой. Когда они расстались с Гиго, Илико сказал Маро:

— На ней можно залететь на самое небо. Когда я вырасту большой, я сам буду летать на айраплани.

— А если свалиться на землю? — спросила осторожная Маро. — Ты лучше не летай, мы будем с тобой деревья сажать...

— Я полечу под самое солнце! — вдруг сказал Илико, и глаза его заблестели. — Что мне деревья, когда я буду летать высоко в небе! Пусть Гиго деревья сажает!

— А я? — готовая заплакать, спросила Маро. — А я останусь?..

— Я возьму тебя с собой, — великодушно ответил Илико.

Они пришли домой веселые. Илико долго рассказывал Гвация о том, как он будет летать на айраплани, когда вырастет. Гвация молчал, улыбался, и под его черными усами, как и всегда, курился окурок толстой цыгарки.

В это же лето у Илико произошла еще одна встреча. Илико послали утром на рынок к Габуния за мясом. И вот там, неожиданно, он лицом к лицу встретился с Макаром Чантурия, соседом из Сагвасалио. Старик обрадовался, увидев Илико, обнял его, очень растроганный, и даже заплакал. Илико держал себя, как взрослый, бывалый мужчина. Они стояли у старенькой арбы Чантурия. Облезлые буйволы, понурив голову, жевали жвачку. Илико узнал их: один был собственный Макара, другой — Уча Артема Коркия.

— Живы все и здоровы, — повторял Макар. — И Топурия-старик, и Ванно, и Артем, и вся их семья... Мы часто тебя вспоминаем, Илико, наш голубок... Беспокойно в нашем краю теперь: Сабочураво солдаты сожгли, мы очень боимся, чтоб и к нам беда не пришла... Я вот так далеко ехал, гоми привез, заплатил недоимки... Трудно нам, Илико...

Он жаловался Илико, как взрослому, и Илико это понравилось. Потом Илико вспомнил, что печь на кухне уже топится, и схватился за корзину. Наступила минута прощания. Макар как-то замаялся, потоптался на месте, потом поискал что-то на возу, нашел узелок и начал его развязывать. Он вынул оттуда сыр, оттер его рукавом и подал Илико.

— Вот тебе гостинец, сынок, — шептал он, суя в корзину Илико ломкий сыр. — Это сулгуни, ты его любишь, отведай потом... Может быть, тебя плохо кормят?

Вокруг толклись и шумели люди, где-то пели, пищади дудуки, бубнил доли-барабан, вблизи ссорились какие-то мужчины. Старик Чантурия молча стоял возле своей кривобокой арбы, во многих местах подвязанной веревочками, и с жалостью смотрел на Илико. И мальчик почувствовал, что вся эта большая

толпа с ее шумом, песнями, ссорами, с весельем и горем, — чужая ему, что он одинок в этом городе и что единственный родной здесь человек — это Макар Чантурия, близки ему и дороги старый буйвол и арба. Это все оттуда, из далекого Сагвасалио, по которому еще не перестала болеть детская душа. Он подбежал к Чантурия, обнял его и прижался лицом к его архалуку. Прошло порядочно времени, пока Илико успокоился и, не оглядываясь больше, скрылся со своей корзиной в толпе. Нужно было спешить. Как хотелось Илико поехать с Макаром по каменистым дорогам, по старым, трухлявым гатям, туда, где гибкие тополя качаются над серыми крышами!.. Но он знал, что этого не будет. Илико уже чувствовал на своих детских плечах гнет неволи... И долго после этой встречи он ходил мрачный, грустил, а добрая Саломэ вздыхала, украдкой глядя на него. Постепенно Илико забыл про встречу с Макаром Чантурия и снова стал веселым и шустрым мальчиком.

Он был еще ребенком... Он вырастал в тяжелой работе добрым, искренним и ласковым. У него были друзья — и оттого ему легче жилось. Пробуждались новые чувства, приходили новые мысли. Незрелым еще своим разумом Илико предчувствовал свое будущее и надеялся на него. «Когда я вырасту...» — всегда говорил он.

Так и остался Илико жить в теплом городе Потти. Он рос, мужал, набирал сил, чтобы в нужный час твердой ногой встать на свою дорогу.

★

С того дня, как Симон ездил в Сагвасалио, прошло три месяца. Его душевная рана постепенно затянулась. Уже не слышно стало грохота стульев, которые Симон подкидывал ногой. Уже не приходили знакомые торговцы, чтобы с горестной миной выражать ему сочувствие, а в душе потешаться, что срезался все-таки чортов проходимец Симон. Давно уже перестал Симон писать заявления в разные инстанции, —

это была бесполезная работа. Инстанции либо молчали, либо советовали «обратиться к местным властям». Местные же власти, в особенности Мучаидзе, учтя опыт податного инспектора и Гунава, и слышать не хотели ни про какие виноградники. Оставалась еще надежда, что к весне мужиков утихомирят. Но это была очень слабая надежда. И, когда приехал один из его батраков из Сагвасалио и доложил хозяину о положении дел, Симон мужественно выслушал его и сказал батраку, что отпускает его и других со службы. Симон узнал, что в Сагвасалио пришел Кверквелия со своей командой. Они стали хозяйничать на усадьбе Симона. Они закололи свиней, зарезали кур, выкатили из погреба бочки с вином, собрали всех жителей Сагвасалио и справили поминки по Топурия. Потом они роздали беднякам запасы гоми и кукурузы, которые Симон хранил с прошлого года. Некоторым предложили взять коз и коров, а когда те — из боязни — отказались, угнали стадо Симона куда-то в леса. Перед уходом Кверквелия разрешил всем брать огородную зелень и обещал разделить урожай винограда среди тех, у кого нет виноградников.

Таковы были дела на плантациях Симона. Люди, знавшие характер Симона, удивлялись, как он это перенес.

Симон не думал больше о Сагвасалио. Он решил сойтись с Пачулия, который из всех городских и окрестных купцов был наиболее достоин внимания.

Толстый Пачулия все лето просидел на своем крыльце, играя в нарды. Он не очень обременял себя работой. Иной раз выезжал из города на несколько дней, а потом опять целый месяц околачивался на крыльце, мало заботясь о своей торговле. Он сидел, насвистывая одну и ту же мелодию, вытирая платком лысину и коротким пальцем продвигая пешки на пестрой, украшенной перламутром, доске — «нардуми».

Он всегда был в хорошем настроении, этот толстый Соломон Пачулия. С ним можно было пошутить и помяться, но на этом и кончались его отношения с потийскими торговцами: никто из

них никогда не мог похвастать, что был в компании и заработал вместе с Соломоном Пачулия. Его окружала тайна наживы, ходили слухи о больших его спекуляциях нефтью, лесом, кожаными товарами.

Целый месяц Симон обхаживал Пачулия. Он приглашал его к себе в духан, сам ходил к нему в гости, играл с ним в нарды, присылал ему на дом подарки («свежая форель от Габуния, на здоровье, дорогой Соломо!»), а это стоило денег. Особенно много он проигрывал в нарды. Соломон со своими приятелями играл только на деньги, ставил большие ставки, обыграть же его никто не мог. Должно быть, сам черт не обыграл бы Соломона Пачулия ни в нарды, ни в карты, ни в другие игры, какие существуют на свете. Симон порядком истратился, а дело не двинулось ни на шаг. На все выразительные намеки Соломона Пачулия отмалчивался, либо начинал разговор о другом. Симон не отступал: он твердо наметил стать компаньоном Пачулия и выбирал только удобный момент, чтобы поговорить с ним откровенно. Но дело неожиданно испортилось: вмешались конкуренты Симона, для которых его заигрывания с Пачулия не были секретом. В лавках и духанах начали рассказывать, что Симон хвастает своим компаньонством с Пачулия, что они, мол, поедут в Тифлис за товарами и будут продавать их в Батуме. Судачили о том, что Гамрекели не раз пускал с сумой своих компаньонов, — как бы теперь не вышло чего-нибудь плохого и с Пачулия. Все знали, что все это сплетня, но каждый сочинял новые небылицы: уж очень хотелось потийским купцам поссорить Симона с Пачулия. Это оказалось довольно легким делом. В первый же день, как разнеслись эти новости, Пачулия, увидев подходившего Симона, сложил «нардуми» и ушел в дом, приказав передать Симону, что он, Пачулия, сегодня утром выехал из Поти. Симон, который только-что собственными глазами видел Пачулия, понял, что все пошло прахом, вскипел и ответил, что его это мало касается: Пачулия может отправиться хоть на тот свет, плевал он

на спесивых дураков. После этого, зная характер Пачулия, враги Симона могли быть спокойны.

Но спустя две недели Пачулия явился к Симону домой. Это было поздно вечером. Симон с Гургенем подсчитывали расходы — приближался один из больших осенних праздников. Вдруг кто-то постучал в дверь с улицы. Гурген пошел отпереть и привел с собой Пачулия. Купец остановился на пороге, неторопливо снял новый черный картуз и остался стоять с богато украшенной серебром тросточкой в руке, в хорошем, просторном сюртуке. Симон растерялся.

— Вот и я! — сказал Пачулия. — Что ж ты, Симон, не рад гостю?

— Дорогой Соломо! — заторопился Симон, хватая стул и пододвигая его к столу и в то же время подавая Гургену знак, чтобы тот убрался. — Как это не рад, — очень рад! Ах, боже мой, если б я знал... Садись, дорогой Соломо!

Пачулия степенно сел, картуз положил на стол, вытащил из кармана новый, чистый платок и обмахнул им свои седеющие усы.

— Нас тут никто не подслушает, Симон? — спросил он. — За этими стенами можно спокойно говорить?

Симон выбежал в смежную комнату, запер дверь, потом два раза повернул ключ в замке двери в той комнате, где они сидели.

— У меня дома, дорогой Соломо, смело можно говорить, о чем хочешь, — сдерживая себя, чтобы попасть в степенный тон Пачулия, ответил Симон.

— Так вот что, Симон, милый мой... — Пачулия опять вынул платок и опять вытер усы. — Вот что, дорогой мой: я пришел пригласить тебя в компанию. Что ты на это скажешь?

— Боже мой! — с радостью крикнул Симон. — Да что говорить! Я об этом сто ночей мечтал!

Пачулия кивнул головой.

— Я знал... С первого дня, как ты ко мне играть в нарды пришел, я о твоих намерениях знал. Ведь только дурак не догадался бы, с какой это стати Симону деньги проигрывать! Ну, так вот, мы с тобой подконец поссоримся.

лись, — заметь, нужно было: я не хотел, чтоб о наших делах другие знали; не люблю такой работы, когда тебе под руки лезут. Так что не обижайся, друг Симон!

— Боже мой! — сказал Симон, складывая руки. — Да какая же тут может быть обида!

— И теперь я к тебе с предосторожностями, в сумерки пришел. Не люблю дурного глаза и длинного языка остерегаюсь. Советую и тебе придерживаться моего правила. Так спокойнее.

— Да, да, да...

— Подожди, Симон, не спеши. Впервые, я скажу тебе, почему я к тебе пришел. Характер твой я знаю и не уважаю, не сердись: ты человек беспокойный, боязливый, иногда любишь лишнее хватить. Будем говорить прямо: мы оба не божьи ангелочки, — того, что ты меня об'едешь, я не боюсь. Еще тот, вероятно, на свет не родился, кто Соломона Пачулия об'едет. Больше всего мне не нравится твоя суетливость. Я люблю работать спокойно: выиграл — хорошо, проиграл — плакать не буду. И, кроме того, не люблю я по копейке зарабатывать. Глупо пяточки из рукава таскать.

Пачулия посмотрел на Симона. Симон слушал его внимательно, — не обиделся, разговор ему даже нравился.

— Вот как! — продолжал Пачулия. — А ты, брат, бобы продаешь, из-за рубля нервничаешь, мне это не по нраву. Мне известно, что у тебя порядочно денег. Только потому, что у тебя имеются деньги, я и пришел к тебе, Симон! Есть одно дело. Можно большой куш уовать, но и деньги нужны большие. Нужно золото, Симон, чистое золото. Мы оба кладем на стол поровну. Что ты скажешь, Симон, если эта работа будет стоить...

Он тяжело перегнулся через стол, и Симон услышал, сколько это будет стоить...

Ай! — крикнул Симон таким же голосом, как тогда на дороге, когда встретил Кверквелия.

— Зато — пятьсот процентов чистой прибыли на самом сиюотском рынке! — сказал Пачулия. — За это ручаюсь го-

ловой и всем, что у меня за душой! — Он смотрел Симону прямо в лицо. Глаза его заблестели, полнокровные щеки и нос стали сизыми. — Пятьсот процентов — это самое малое! Мы продадим еще дороже. Ну? Что скажешь, Симон?

Встретив твердый взгляд Пачулия, пылавший под кустистыми, нависшими бровями, Симон почувствовал слабость и стеснение в груди. Он быстро накинул пятьсот процентов на свою часть, — вышло чорт знает что...

Пачулия вытер лицо и, опираясь на трость, тяжело откинул туловище назад. Он ждал, важный, полный достоинства. Симон сидел боком к нему, уставившись в стену. Рука его безвольно лежала на столе, поросшие рыжим пухом пальцы дрожали.

— А... а какое это дело? — наконец спросил Симон, тяжело ворочая языком.

— Симон! — торжественно сказал Пачулия. — О деле этом ты не узнаешь, пока не положишь деньги на стол. Я их пересчитаю, выдам тебе расписку, доложу свои деньги, ровно столько же, копейка в копейку, и тогда расскажу тебе, что это за дело. Еще скажу тебе: если ты будешь стонать, спорить и проверять меня, — прекратим разговор сразу. После того как мы кончим работу и товар будет на складе, я дам тебе отчет по документам и поделюсь прибылью, как с родным братом. До тех пор хозяин я. И еще тебе скажу — это дело рискованное. Может выйти так, что оно провалится, и мы не то, что своих денег не вернем, а еще вдвое больше истратим, чтоб только сухими из воды выйти.

— Но как же это... не зная, деньги вкладывать! — пожал плечами Симон. — Да еще все пропасть может.

Пачулия встал и взял свой картуз.

— Куда ты? — вскочил Симон. — Подожди, посидим, поговорим... Я сейчас Гургена позову! Боже мой, тут ведь нужно подумать. Как же так!..

— Думать тут нечего! — отстраняясь от Симона, сказал Пачулия. — Я обо всем сам подумал. Если хочешь быть с Пачулия в компании, имей к нему доверие и иди ва-банк! Я никогда тыкванн

не торговал, для меня такой торговец — просто нищий. Что ты за купец, если своих денег боишься?.. Слушай, Симон: если бы был в Потти еще один человек, у которого такие деньги не были бы последними, я с тобой не связался бы! И если б не было риска, если б дело было верным, я тоже без тебя обошелся бы. У меня есть деньги, и я один эту сумму заплатил бы, и еще кое-что осталось бы. Но дело не совсем верное, может лопнуть. И тогда для одного это — чересчур. Послезавтра, в воскресенье, в этот же час, если надумаешь, приходи с деньгами, составим компанию. Если же отказываешься, не приходи в мой дом, пока я жив на свете!

С этим и ушел самолюбивый купец.

— Сумасшедший! — плакался Симон и, терзаясь, бегал из комнаты в комнату. — Игрок!.. Он и себе, и мне шею скрутит. На чорта мне твоя дружба, если я останусь без штанов! Ах, ах!.. Все же — отважный человек! И с головой, такой-то не очень промахнется... Глаза, как у дьявола, горят. Пятьсот процентов... Ай-яй-яй! Что делать, с кем посоветоваться, боже мой?.. У тебя, говорит, есть такие деньги, да и не последние. Сквозь землю видит, колдун проклятый! Пятьсот процентов — это ведь ошалеть можно! Вот как люди зарабатывают! А тут носишься по болоту, и каждый мужик готов тебе киркой голу пробить... Ах, боже мой!

Трудно было Симону пережить эту ночь. Он был бы счастлив, если б нашел в себе силу отбросить все это, отречься от дружбы и компаньонства с Пачулия. Но такой силы у Симона не было. Его тянуло к Пачулия, как мотылька на огонь.

На следующий день с самого утра моросил мелкий дождь. Симон слонялся по пустым комнатам, выписывая пальцем на вспотевших стеклах разные вычисления.

Вечером Симон напился с гостями в духане, спал до полудня, а когда проснулся, мучения начались снова. Вчера он мучился, что долго ждать до завтра; сегодня же ныл, что время идет быстро, и он еще ничего не придумал. Наконец

он решился, достал из потайного места заветное золото и отправился в угловую комнату. Тщательно заперев за собою дверь, он выгрузил из вместительных карманов пиджака слежавшиеся кожаные мешечки, которые получил перед войной из Русско-Азиатского банка.

Вечером, в сумерках, слабо переступая ногами и с неприятным холодком в животе, Симон добрался до дверей дома Пачулия. Он не постучал, а поскреб дверь одеревяненными пальцами. Она сразу же открылась, словно кто-то за ней ожидал Симона. Так оно и было. Приказчик Геху, кавалер с завитыми усами, кланялся, приветствуя Симона, и приглашал пройти в комнаты. Кепку Симона, похожую на растоптанный блин, он взял в руки с таким видом, будто это была чрезвычайная ценность. Тут Симон опомнился и, твердо ступая по мягким дорожкам, позвякивая на шагу каждым своим карманом, направился из передней в комнаты. Пачулия встретил Симона с лампой в руках. Геху повернулся на каблуках и исчез, а хозяин, держа гостя под руку, молча открыл дверь в небольшую комнату. Здесь Симон еще никогда не был. Пачулия усадил его в прохладное, обитое кожей кресло, лампу поставил на большое бюро красного дерева (очень тонкой работы, как заметил Симон), вынул из кармана ключи, все еще не говоря ни слова, подошел к стене, как-раз против того места, где сидел Симон. Раздался мелодичный звон пружины, открылась небольшая дверца. Пачулия отошел в сторону, и Симон при свете лампы увидел в нише желтые стопочки монет.

— Моя часть! — сказал Пачулия. — хочешь пересчитать?

— Нет... — Симон покашлял. — Не стоит...

— Ну, тогда не будем напрасно время терять, — сказал Пачулия, подкручивая фитиль в лампе. — Пожалуйста, кледи сюда, на бюро...

Все шло, как по маслу. Сперва хозяин аккуратно пересчитал деньги Симона, потом русско-азиатские мешечки очутились в нише. После этого Пачулия сел писать расписку и написал ее по всей форме, с оговоркой, что Симон

имеет право пред'явить ее ко взысканию только в том случае, если будет иметь документальные доказательства несомненной растраты компаньшном Пачулия доверенной ему суммы. Под этой оговоркой он попросил Симона подписаться. Симон подписался. Пачулия подал ему расписку, и не успел Симон сложить ее непослушными, дрожащими пальцами и спрятать в карман жилетки, как снова раздался тихий звон кассы.

— Ну, вот мы и договорились, мой дорогой Симон,— сказал Пачулия.— И не только договорились, даже половину дела сделали. А теперь послушай об остальном...

Через некоторое время Симон, который уже было успокоился, стал ерзать в кресле и раза два прервал Пачулия. Пачулия продолжал говорить. Спокойно, подробно он рассказал все от начала до конца и спросил наконец, что думает уважаемый компаньон? Симон в этот момент думал, что расписка, которую дал ему Пачулия, стоит столько же, сколько любой кусок измаранной бумаги и что, кажется, он, Симон Гамрекели, наконец попал в хорошее болото... Он ответил Пачулия, что минуту подумает. Тогда Пачулия встал и вышел из комнаты, сказав, что нужно распорядиться насчет ужина. Симон, оставшись один, хлопнул себя ладонью по лбу и остался сидеть неподвижно, глядя на стену, на то место, где исчезли замшевые мешечки.

Это была даже не спекуляция. Это была кража военного имущества, кража самая рискованная. Где-то в батумском порту стояла недовыгруженная стотонная баржа. Недовыгружена она была потому, что по интандантским документам товаров на складах оказалось ровно столько, сколько нужно. Баржу отвели от пристани и в каком-то месте поставили на якорь. Ее охраняла портовая стража, а интанданты искали покупателей. Они нап'ли Симона Пачулия, или, правильнее, Пачулия нашел их. План Пачулия был прост. Он выплачивает деньги интандантам согласно уговору, а те закроют глаза, когда ночью придет буксир забирать баржу. Буксир придет из потийского порта (у Пачулия там

есть хорошие знакомые), возьмет баржу, приведет ее к потийскому берегу, куда-нибудь подальше от города, и за ночь товар будет выгружен и свезен. Куда повезут товар, Пачулия не говорил. Симон догадывался, что для Пачулия такие дела не в новинку, так как он сказал, что выгрузить и спрятать товар — уже не работа. Товар был разнообразный: комплекты обмундирования, белье, сукно, офицерская обувь, ремни, седла, постромки, хромовые, юфтовые и подошвенные кожи, медикаменты, из которых всего больше было хинина, потом всякая мелочь — мясные, молочные, рыбные консервы, галеты, папиросы, — всего не перечислить, что лежало в чреве баржи, дожидаясь хозяев! Товар хороший, — заграничной работы; он не залежится, лишь бы только прибрать к рукам.

Когда Пачулия вернулся в комнату, озабоченный Симон все еще сидел в кресле и тер ладонью лоб. Пачулия снисходительно улыбнулся.

— Ну, как, Симон? — сказал Пачулия. — Подмазать нам и машиниста с матросами или и так обойдется?

Симон поднял голову, посмотрел на Пачулия и вдруг засмеялся неестественным, дрожащим смехом. Он встал, вынул расписку, которую выдал ему Пачулия, разорвал ее на мелкие кусочки и развеял по комнате.

— Молодец! — заметил Пачулия. — Ты, Симон, все-таки с головой.

— К какому дьяволу я с этой распиской ткнусь?! — с неожиданной для себя отчаянной веселостью сказал Симон. — Связала нас нечистая сила, она и развяжет... Ничего я не знаю — ни про машиниста, ни про матросов, как хочешь, так и делай.

— Подмажем, — сказал Пачулия. — А ты не бойся, это дело легкое. Были у людей и не такие аферы. По пять цистерн бензина пропадало, и никто не знал, куда они девались. На рельсах! Куда ты с рельсов соскочишь? Сзади станция, впереди станция, а здесь — что? Одного только нужно остерегаться, чтобы в море на какой-нибудь французский миноносец не наскочить, они у берега ежедневно плавают... Но если с

умом делать, то и это не беда. Теперь самое время, чтобы заработать, Симон. И люди зарабатывают, можешь мне поверить. Министры, и те крадут, да еще как! Ей-богу, я не удивлюсь, если напишут, что украден в Тифлисе самый важный дворец и министрам уже негде засесть. Ха-ха-ха! Так что, мы хуже людей? Погреем и мы руки, пока все наконец не растащили!

— Мне нужно за виноградники отыграться! — все с той же искусственной бодростью искренно высказал Симон давнишнюю свою думу. — Чорт их материл!

— Отыграешься! — сказал Пачулия, беря его под руку. — Пойдем, поужинаем.

И он повел Симона в другую комнату, где стоял уставленный разными яствами стол. Возле него суетился Геху, мастер на все руки. Тут кончились последние колебания Симона.

III

Ни Гогиберидзе, ни Андрей Михайлович, когда выходили из театра, не заметили в толпе щеголеватого, вертлявого, усатого человека в штатском. Это был шпик. С трудом Виссарион ушел от него.

В одном из переулков, на окраине, Виссарион остановился, долго прислушивался, озираясь и наконец постучал в запертый ставень небольшого дома. Когда в узких щелях блеснул свет, он с облегчением вздохнул.

...Виссарион Коркия жил в Тифлисе с конца весны. Он приехал сюда из Батума вскоре после того, как отец провела его с Сандро Габисония через болота к морскому берегу, а Куридзе взял их на парусный баркас. Всегда настороженный, часто голодный, без верного пристанища, постоянно рискуя попасть в лапы контрразведки, жил здесь Виссарион. И это был уже не прежний задир — фронтовик Бесо Коркия. Виссарион стал спокойным, вдумчивым, рассудительным, и лишь на рабочих собраниях с прежней силой проявлялся его горячий характер. Он учился: много читал, пробовал писать статьи, и их на-

печатали в «Коммунисте», работал в типографии, выступал на собраниях и митингах, точно выполнял партийные поручения, удачно избегал ловушек меньшевистской охранки. Наконец партийный комитет перевел его в другой район, со строгим наказом не рисковать. Виссарион продолжал работу уже в условиях полной конспирации. Это была высшая школа подпольщика-большевика. Так, постепенно, парень из глухой мингрельской деревни, недавно еще озорной солдатик кавказской армии, приобретал знания и опыт партийного борца.

Ненависть и любовь были его спутниками. Виссарион разделял людей на друзей и врагов, иных мерок не знал. Иногда, остановившись вечером на Головинском проспекте, он разглядывал роскошные экипажи, один за другим пронесившиеся мимо. Покачиваясь на подушках ландо, фаэтонов, автомобилей, ехали биржевики-спекулянты, их слуги — гвардейцы и правительственные чиновники, их любовницы — горделивые и откормленные аристократки. В сиянии фонарей, в белом свете фар кружился этот хоровод богатства. В их руках было все, чем должен был владеть народ... Виссарион задыхался от ненависти, оглядывая этот наглый парад врагов.

Партия большевиков работала, подготавливая освобождение великих народных сил, и Виссарион Коркия знал, что час освобождения близок.

Горели селения, подожженные карательными отрядами, пылали поместья, подожженные руками крестьян. Забастовки на фабриках и в мастерских, этапы высылаемых из Грузии, число самоубийств на Верейском мосту, аресты, переполненные тюрьмы, десятки тысяч безработных — все это приближало развязку, конец меньшевистского владычества.

После отъезда «дорогих гостей грузинского народа» в Тифлисе начали распространяться слухи о скором прибытии посольства РСФСР. Большевики, боясь ответственности за многочисленные провокации и авантюры против республики рабочих и крестьян, поставленные перед фактом полной победы пролетарской ре-

волюции в России, с весны хлопотали о заключении мирного соглашения с РСФСР. Соглашение было подписано. Советское правительство потребовало немедленного освобождения арестованных коммунистов и рабочих, легализации коммунистической партии Грузии, прекращения террора. Меншевики на это согласились. Стало известно, что из тюрем, действительно, выпускают коммунистов. Наконец-то Виссарион увидел номер своей партийной газеты без единой вымарки цензуры! Меншевицкая печать заверяла в «любви и уважении» к великой рабоче-крестьянской державе. Тревогой повеяло в богатых кварталах Тифлиса. Возросли надежды в сердцах тысяч обездоленных людей. Приезда посла РСФСР ожидали со дня на день с нетерпением и волнением.

Виссарион встретился в партийном комитете с первым своим учителем, Сандро Габисония, который четыре месяца отсидел в тюрьме и теперь выглядел скверно: желтое лицо, бескровные губы, запавшие щеки.

— Еду в уезд... — сказал он, сухо покашливая. — Ты как?

— Я ничего, — оживленно сказал Виссарион. — Теперь будет лучше. Слушай, Сандро, это правда, что в уездах парткомы работают открыто?

Сандро насмешливо взглянул на Виссариона.

— Э! Не готов ли ты уже поверить в честность меньшевиков? — Он оживился и, взяв Виссариона за борт пиджака, притянул к себе. — Ты смотри, заяц! Уже развесил уши? Тебе меньшевики политические свободы подарили! Не будь глупцом, Бесо, будь осторожен!

На этом разговор кончился. Через два месяца большевик Александр Теофилович Габисония был убит в Кутаисе, в Сагорыйском лесу, «при попытке к бегству».

★

Над городом пламенели отблески зари. На востоке, у подножья гор, легла густая тень. В этот вечерний час на балконе одного из домов по Артищевской улице стоял полномочный посол

РСФСР — Сергей Миронович Киров. Под легким ветром трепетал над крышей красный флаг. Площадь перед домом и ближайшие улицы были заполнены народом. Стоял глухой, несмолкаемый шум... Со всех концов Тифлиса спешили сюда рабочие приветствовать посла великого государства рабочих и крестьян.

Когда Виссариону удалось добраться до площади, Киров уже говорил. Виссарион остался на краю тротуара. Дальше нельзя было сделать ни шагу. Толпа гудела и волновалась, часто гремели аплодисменты и приветствия, и ни одного слова из речи посла Виссарион разобрать не мог.

Взволнованный и обрадованный, Виссарион, не отрываясь, смотрел на Кирова. Посланец победившего русского пролетариата, один из организаторов великой победы, выдающийся оратор и боец, стоял перед тысячами друзей и врагов, приветствуя поработанный грузинский народ. Он высоко поднимал руку и стремительно опускал ее, подчеркивая законченную фразу. Он наклонялся вперед, словно хотел увидеть в лицо каждого, кто аплодисментами и дружескими возгласами отвечал на его приветствия. С большей силой разражалась овация, и Киров, поправляя растрепанные ветром непокорные волосы, оглядывался и что-то говорил стоящим за его спиной на балконе. Потом поворачивался и ждал, пока стихнет шум.

Кто-то осторожно коснулся плеча Виссариона и тихо спросил:

— Скажите, пожалуйста, кто это говорит?

— Товарищ Киров, — не поворачиваясь, ответил Виссарион. — Посол...

И вдруг рука, вежливо касавшаяся плеча, изо всей силы сжала его. Удивленный Виссарион оглянулся. Он увидел выпуклые, злые глаза, усы, закрученные колечками, гладкий, круглый подбородок. Он сразу же подался в сторону, пробуя высвободить плечо. На него грузно надели сзади, сильные руки стиснули шею, как клещи. Виссарион задохнулся, перед глазами пошли круги.

— Пусти! — с натугой простонал Виссарион. — Товарищи!.. На помощь!

Его сильно ударили по голове, схватили за руки, куда-то потащили, потом толкнули вперед с такой силой, что он всем телом ударился о стену. Придя в себя, Виссарион увидел, что окружен незнакомцами. Среди них был шпик, от которого он так удачно избавился у театра. Виссарион стоял, прижимаясь к стене, — из расщелинной брови теплой струей стекала по щеке кровь. На тротуаре сразу стало пусто. Его сейчас же схватили под руки и потащили прочь. Томительная слабость вновь охватила Виссариона; он то опускал голову, то поднимал ее; моментами он видел толпу, улицу, дома, но потом все опять застигла мгла. В переулке, у забора, его обыскали.

— Ничего нет! — сказал шпик с закрученными усами. — Иди, собака, и не ускоряй шага... — Он показал маленький черный револьвер. — Мы из тебя решето сделаем! Попался, гадюка!

Они сошли вниз извилистым переулком, повернули направо и вышли на набережную Куры. Здесь повеял ветер, и Виссариону стало легче. Он осторожно дотронулся ладонью до шеи.

— Что, намяли затылок? — послышался сзади гнусавый голос. — Это только репетиция! Вот подожди, мы тебя заведем в парикмахерскую!

Особотрядники захохотали. Сгущался мрак, глухо шумела бурливая Кура. На противоположном берегу мрачно возвышались в вечернем небе черные башни тюремного замка Метехи. Виссарион с тоской смотрел на эти черные каменные здания, на высокие стены, на обрывистый склон Метехской скалы, под которой гремела и пенилась Кура. Он вспомнил насмешливый взгляд Сандро Габисония...

«...Не будь дураком, Бесо, знай: у них хватит духу надуть и нас, и русских товарищей...».

Виссарион заскрипел зубами. Удрать нельзя, поздно.

Внизу шумела Кура: они шли по мосту. Виссарион искоса глянул вниз, на вспененные волны, которые мчались во мраке, гремливые и свирепые... Спрыгнуть с моста — смерть, не выплыть никогда...

«Попался... — подумал Виссарион. — Попался... Заяц...».

И снова вспомнил он Сандро Габисония, своего друга и учителя, товарищей-подпольщиков, тесную, дымную комнату парткома, родные, близкие лица... Каждый из них готов riskовать жизнью, чтоб освободить Виссариона, и он готов отдать жизнь за каждого из них... Единство, боевая дружба, партийное боевое братство... Знают ли они, видел ли кто? Нет, конечно, потому что тогда не удалось бы взять его из толпы. Может быть, завтра или еще позже узнают товарищи об его аресте...

Мост кончился. Огромной черной скалой возвышался Метехи над узкой улочкой, которая круто поднималась вверх, обвивая подножье замка. Особотрядники, шедшие рядом, взяли Виссариона за руки. Третий чуть не наступал ему на пятки. Показалась обозная двуколка. Солдат, ведший мула в поводу, что-то крикнул, проходя мимо них. Особотрядники сильнее сжали руки Виссариону; он оглянулся и увидел редкие огни города за рекой и тусклую красную ленту зари на сине-зеленом горизонте над темными, мрачными взгорьями.

Они остановились у ржавых железных ворот, освещенных тусклой лампочкой. Один из особотрядников позволил, за решеткой отодвинулась заслонка. Кто-то выглянул оттуда, и железная калитка бесшумно открылась. Виссарион, споткнувшись о высокий железный порог, с бьющимся сердцем вступил во двор тюрьмы.

Когда-то, много лет назад, перешагнул этот порог Максим Горький, певец революционных бурь, пророк победы. Здесь шел Камо, и многие, чьи имена украсили историю великой борьбы, прошли этой дорогой за стены Метехи.

★

Осмотревшись в дымном сумраке камеры, Виссарион присел на край нар. Здесь было много людей, все они курили, разговаривали, в углу кто-то тихо напевал, какой-то армянин плаксивым, нудным голосом беспрестанно жаловал-

ся. Из разговоров Виссарион понял, что большинство здесь — воры и рыночные спекулянты валютой и наркотиками. На него никто не обратил внимания, только с верхнего яруса нар, из-под самого потолка, кто-то охрипшим голосом сказал:

— Свеженький!

Потом к нему подвинулся тот, кто жаловался.

— Это не я продавал, — говорил он. — Это брат привез мне порошок. Разве я знаю, какой это порошок? Приходит начальник, важный начальник, говорит: Аршак, дай понюхать. Что понюхать? Чтоб ты... Я не скажу, что понюхал... У меня семья — пять дочек, жена и теща Сатеник... Она у меня хозяйка... Я бедный человек, начальства боюсь и слушаюсь. Теща говорит: Аршак, он хочет понюхать порошок, возьми с него, сколько нужно... Я даю ему порошок, думаю про себя: нюхай, чтоб тебе ноздри разорвало, только заплати, потому что брат говорил — это денег стоит... Вай! Он понюхал — и берет меня за шиворот. Пропал, Аршак!

— Эй, замолчи! — крикнули сверху. — Пробью голову, надое!

Было темно, душно, стоял несмолкаемый шум. В камере находилось не меньше полусотни людей.

Наконец армянин отошел. Шум усилился. Каждый хвастал перед другими своей бодростью, веселостью и остроумием. Это было какое-то оголтелое, неестественное оживление.

Вдруг широко открылась дверь, и из освещенного коридора гулко крикнули:

— Виссарион Коркия, выходи!

— Эй, Коркия, мама зовет! — закричали на нарах. — Где этот Коркия? Ах, молодец Коркия, дайте посмотреть на него!

Виссарион встал и пошел к двери.

— Бесо! — вдруг услышал он сзади чей-то голос. — Бесо, подожди! Стой, говорю тебе!

Виссарион остановился. С нар слезал какой-то незнакомый человек, обросший бородой, в обтрепанном архалуке, босой.

— Бесо! Дорогой мой! — закричал незнакомец, хватая Виссариона за руки. — Это ты, Бесо?! Ну, что ты на ме-

ня смотришь? Я — Элия... Элия Бокучава! Мы же с тобой росли вместе, играли вместе!

— Элия?! — мог только сказать Виссарион. — Элия!

Никакого сходства не было между этим несчастным, страшно худым человеком и Элией Бокучава, каким помнил его Виссарион. Элия вдруг заплакал, закрывая лицо рукавом архалука, надетого на голое тело.

— Избили до полусмерти, здоровья лишили... — шептал он, всхлипывая, — теперь в тюрьмах гноят, вгоняют в могилу... Меня вчера привезли из Кутаиса, из тюрьмы! Конец мне, Бесо!

— Виссарион Коркия! — рывкнули в коридоре. — Выходи!

— Бесо! — сдерживая себя, уже твердым голосом сказал Элия. — Горестная, несчастная весть... Отец твой — Артем — умер на прошлой неделе, в пятницу...

— Что? Умер?

— В Кутаисе, в тюрьме... На моих руках умер...

— Виссарион Коркия! — кричали в коридоре.

На пороге появился надзиратель в зеленой английской шинели со связкой ключей в руках, а за ним солдаты. В камере притихли.

— Мы с ним три с половиной месяца стсидели в Кутаисе... — торопливо продолжал Элия. — Он ослабел и умер... Легко умирал, заснул... Тебя вспоминал, Миха, маленького Ваню... всех... Сабокучаво сжег особый отряд... Топурия убили... О, горе, Бесо! У меня больше нет сил... Выйдешь на свободу — прошу: иди к начальству, старайся, чтоб меня выпустили, а то я здесь погибну...

Чьи-то руки схватили Виссариона сзади за воротник, за плечи. Его выкинули в коридор, так что он едва удержался на ногах и сильно ударился о стену. В камере захохотали.

— Прощай, Бесо! — крикнул Элия, и дверь с лязгом закрылась.

— Ты что? — спросил надзиратель, подступая к Виссариону. — Хочешь, чтоб я тебя научил ходить, собачий выродок? А? Счастье твое, что начальство тебя зовет, а то я научил бы!

Солдаты повели Виссариона, который послушно шел с ними, не думая теперь ни о том, куда его ведут, ни о том, что будет дальше.

«... В пятницу на прошлой неделе, — еще звучали в его ушах слова Элия. — ... в тюрьме, в Кутансе...».

Они долго шли пустыми, гулками, грязными коридорами, потом надзиратель остановился.

— Стой! — сказал он Виссариону. — Сними шапку! Ох, я тебя научу!

Виссариона ввели в залитую белым светом просторную и богато обставленную комнату. За большим столом сидел человек в мундире; щеки, брови, усы, толстая нижняя губа — все как-то оплыло вниз на его кислом, одуловатом лице. Только глаза были очень живые и острые, с бегающими черными зрачками.

«Особоотрядник...» — равнодушно, как о чем-то постороннем, подумал Виссарион.

Его оставили перед столом, заставленным серебряными и бронзовыми приборами и телефонными аппаратами. Надзиратель и солдаты отошли к порогу. Особоотрядник, сложив руки на животе, откинув туловище на спинку кресла, полулежа, внимательно осматривал Виссариона, а тот равнодушно глядел на него. Ни малейшего признака беспокойства нельзя было заметить на смуглом худощавом лице арестанта.

— Фамилия и имя? — недовольно спросил особоотрядник, беря со стола папку с бумагами.

Виссарион ответил. Губа начальника отвисла, глаза закрылись. Он перелистал бумаги.

Послышались мягкие шаги и приглушенный пушистыми коврами звон шпор. Тонкий офицер с аксельбантами, с длинной, прилизанной головой, подошел к столу, придвинул большое кресло и сел, осматривая свои розовые ногти. От него сильно пахло духами.

— Вот что, Виссарион Коркия... — сказал особоотрядник, кладя бумаги на стол. — Разговор у нас будет короткий, но серьезный. Эй вы, там! Выйдите в коридор! — Он подождал, пока надзиратель с солдатами вышли, и встал. —

Если ты скажешь нам все фамилии, какие знаешь, все адреса и, главное, все ваши планы, известные тебе, можешь идти на все четыре стороны. И будь спокоен: мы не забываем людей, оказавших нам услугу. Если же нет, смотри, ничего хорошего не жди. По-военному — три минуты. Я жду, Виссарион Коркия...

— Спрячь часы! — сказал Виссарион, и его самого удивило, что сказал он это спокойным и ровным голосом.

— Что?

Особоотрядник, опираясь на стол, наклонился к Виссариону. Теперь Коркия совсем близко видел обрюзглое, морщинистое лицо с красными жилками на переноси. Маленькие глазки как бы тлели под тяжелыми веками. Офицер встал и, мягко ступая, подошел и остановился сбоку. Виссарион, готовый ко всему, твердо смотрел в искаженное злобой обрюзглое лицо.

— Ах, Коркия! — вдруг сказал особоотрядник, смеясь и опускаясь в кресло. — Да ты заядлый, Коркия! Ну, что ж! Поручик займется тобой; может быть, одумаешься...

— Мне надоело, полковник! — высоким, женским голосом сказал офицер. — Каждый раз одно и то же...

— Что же делать!.. — ответил полковник, вынимая из ящичка сигарету. — Что ж делать! Нужно постараться, чтоб уж больше не беспокоить уважаемого Коркия. Так вы собирайтесь, поручик, пожалуйста...

Он оглянулся на окно, закрытое шторой, и нажал одну из кнопок на столе. Вошел надзиратель с солдатами. Виссарион был взволнован, даже смущен: ненависть, которую разыгрывал перед ним полковник столь естественно, что Виссарион каждую минуту ждал выстрела или удара, странный разговор с офицером — все было фальшивым и непонятым. Виссарион настороженно смотрел на морщинистого особоотрядника. Тот, собрав бумаги, которые просматривал до этого, скрутил их в пучок и бросил в корзинку под стол.

— Вывести!

Виссариона вывели из освещенной комнаты в полутемный коридор. Здесь

его поставили в тупик, у забранного решеткой окна. Виссарион заметил, что конвойные украдкой смотрят на него, переглядываются и прячут глаза.

«Что за чорт! — подумал Виссарион. — Ну, допрос был для формы, это ясно: бумаги он бросил под стол, — должно быть, ничего из них не вычитал. Но что же дальше? И почему они переглядываются?..».

Но вот послышался звон шпор. Появился высокий поручик с женским голосом. Проходя мимо, он махнул рукой и исчез в дверях.

— Выходи! — сказал надзиратель.

Виссарион оглянулся. Чернобровый, смуглый солдат с сочувствием смотрел на него. Другой, постарше, с розовым шрамом на подбородке, нахмутив брови, показывал глазами на надзирателя.

«Что это? — подумал Виссарион. — Что они затевают? Он сказал: «Поручик займется тобой...».

Виссарион не хотел догадываться. Взвизгнула пружина двери. Стиснув кулаки, преодолевая холодную дрожь, Виссарион переступил порог.

Конвойные тесно обступили Виссариона. Мрачно возвышались черные стены, двор был темен и узок, как ящик. Виссарион поднял голову, и над каменными зданиями Метехи увидел звездное небо и бледный серп молодого месяца.

Послышались легкие шаги. Виссарион увидел трех солдат в шинелях и с винтовками. Где-то открылась дверь, луч света блеснул и исчез. Пришедшие разговоривали вполголоса, но, подходя, умолкли.

— В комендантскую... — услышал Виссарион отрывок фразы.

— Никодзе! — сказал один тоном приказа, вероятно, старший. — Иди в караульную, сменяться.. А ты пойдешь с нами. Привыкай к службе.

Старший закинул винтовку за плечо и исчез во мраке двора. Надзиратель тоже ушел, побрякивая ключами.

«В комендантскую? — сам себя спросил Виссарион. — Так что же, высылка?».

— Ну, пошли! — скомандовал старший. — В ногу итти, буйволы!

Виссариона повели. Он вновь увидел низкую железную калитку, лампочку за решеткой, мрачного сторожа. На коне подъехал офицер в бурке, — конь горячился, вертелся, натягивая повод.

— Шарикадзе! — пропел высоким голосом офицер. — Не отставать!

— Слушаю, господин начальник, — ответил фельдфебель. — Построиться! Два впереди, два сзади... Эй, ты! Ходи веселей, шагнешь не туда — заколю на месте! Марш!

Итти с горы было легко. На повороте улицы они догнали офицера. Тусклый отблеск месяца и звезд стался по мостовой и по крышам домов. Когда его вели сюда, тлела, угасая, печальная заря, а город лежал мрачный и темный, скрытый тенью гор. Теперь же в голубом сумраке, в дрожащем свете бесчисленных звезд легко взносились вверх дома и башни, поблескивали купола соборов. Зыбкий, бледный свет звезд и молодого месяца перебегал, трепещал, по мозаичному минарету мечети Османа и пестрым стенам прохода Орбелиани. Видны были на серых хребтах взгорий старые руины. Слово дым плыл над городом — то дремали в тихой ночи осенние сады. Дул прохладный ветер, громко шумела Кура в скалистых берегах...

Виссариону стало легче. Перед глазами был широкий мир, знакомый город, жизнь. Тоскливое чувство одиночества и беспомощности исчезло.

«Ну, что ж? — подумал Виссарион. — Высылка, так высылка... Через две недели опять буду здесь. Но тогда вы меня так легко не возьмете! Это мне наука!».

Они взошли на мост. Виссарион оглянулся на Метехи, который так счастливо и скоро оставил. И вспомнил Элия Бокучава отца. Тоска опять обволокла сердце. Внизу кружились и прыгали гремливые, вспененные волны. Мост прошли быстро, офицер оглянулся и быстрее пустил коня. Солдаты прибавили шаг.

«Что ж это?» — встревоженно подумал Виссарион.

Чтобы попасть на центральную улицу, где помещалось комендантское упра-

вление, нужно повернуть направо. Офицер поехал налево. Подковы чаще зацокали по мостовой. Улица поднималась вверх. Солдаты спешили изо всех сил, Виссарион — тоже. Все же они отставали от офицера.

Появилась догадка, но Виссарион отогнал ее... «Вероятно, они обходят оживленные улицы» — думал Виссарион.

Спеша за конвоирами, Виссарион неотрывно смотрел на высокую фигуру конного офицера: если он повернет теперь направо, — значит, его ведут окольным путем в центр города. Если же повернет в переулок налево, то...

Фигура офицера, качаясь в седле, поплыла налево.

Виссарион сошел с мостовой в узкий, пыльный переулок, сплошь огороженный глухими заборами. Виссарион знал теперь, куда его ведут, знал, что означали слова: «Надоело, каждый раз одно и то же». Знал, почему так сочувственно смотрел на него маленький солдатик и почему морщинистый особоотрядник бросил под стол бумаги... Вот уже маячит в звездном полумраке, на склонах горы, прославленное Коджорское шоссе, Голгофа многих.

«... Во время следования под стражей пробовал убежать и убит при попытке к бегству государственный преступник...».

Широкое шоссе, гладкое и серое, извилистыми полукругами шло вверх, скрываясь на поворотах и появляясь вновь на открытых склонах. Высоко над городом, на каменистой, плоской вершине горы, узкая, серая лента пропадала из глаз. Виссарион покорно шел за солдатами, подчиненный чужой воле, которая вела его на гибель. «Вот почему он сказал, что надоело, вот почему...» — проносилась мысль, и Виссарион, как во сне, все шел и шел вперед, не думая о том, что, может быть, недолго осталось итти. На повороте дороги, в долине меж гор, показался город. Виссарион вдруг опомнился. Его тяжелое оцепенение начало проходить.

Утомленные солдаты не заметили, как выпрямился, подобрался и осторожно оглянул их человек, молча и послуш-

но шедший за ними. Офицер же, для которого все это было привычной и надоевшей работой, не оглянулся ни разу с тех пор, как они вышли на шоссе: он полагался на служебный опыт фельдфебеля конвойной команды.

Поворот кончился. Отвесный выступ скалы скрыл город. Шоссе шло над крутым скатом, пропадавшим во мраке.

«Здесь!» — подумал Виссарион и, прежде чем подумал, толкнул плечом солдата и прыгнул в сторону. Сухое былье затрещало под ногой на краю дороги, сзади кто-то вскрикнул. Быстро и близко пролетала земля, ветер упруго шумел в ушах, — это продолжалось мгновение и кончилось ударом: сотряса мир, и звезды хороводом пошли перед глазами.

В следующий момент Виссарион почувствовал, что с'езжает куда-то, — колючий гравий, сухая трава сползали вместе с ним; катились мелкие камни, щелкая друг о друга. Вдруг ноги уперлись в выступ скалы. Виссарион удержался на нем. Наверху вспыхнули огоньки, и гром выстрелов прокатился в ночи, гулко повторяясь в теснинах окрестных взгорий. Виссариона осыпало брызгами камней, и пули рикошетом пролетели над головой.

«Пропал! — пронеслась тревожная мысль. — Увидели!».

Он всем телом прижался к земле. Но выстрелов больше не было. Виссарион ждал еще некоторое время. Искося, не поднимая головы, он смотрел на далекие огни предместья. Виссарион понял, что находится близко от подножья. Дорога шла по самому верху горы, — значит, он пролетел и прокатился не один десяток саженей.

«Удивительно, как жив остался!» — подумал Виссарион, глядя вверх.

Левая рука и плечо онемели. Он попробовал шевельнуть рукой и застонал: словно ножом, пронзило бок и плечо. Виссарион сел, не обращая уже внимания на то, что сверху могут стрелять. Ему казалось, что он ранен, что его подстрелили, когда он падал, но что он этого в горячке не почувствовал. Раны нигде не было, хотя бок болел так, что

Виссарион скрипел зубами, ощупывая его.

В эту минуту сверху раздался приглушенный крик, шум и грохот. Снова защелкали мелкие камешки, и темный ком, вертясь и подпрыгивая, мягко ударился о землю почти рядом с Виссарионом. Виссарион не успел даже двинуться. Присмотревшись к распростертой неподвижной фигуре, он по длинной, неуклюжей гимнастерке узнал чернобрового молодого солдатика, своего конвоира.

Он увидел винтовку. Она лежала у камня. Виссарион быстро схватил ее, положил на колено. Затвор шел туго. Виссарион выбросил пустую гильзу и загнал новый патрон.

«Ну теперь мы с вами иначе поиграем! — подумал он, сжимая в руках винтовку. — Нужно подсумок отобрать. Ишь ты, черт! Когда вел, чуть не плакал, а здесь бросается за мной сломя голову! Хотел медаль заработать, сволочь!».

Он, прихрамывая, подошел к солдату. Тот застонал и зашевелился, пробуя подняться.

— Лежи смирно! — грозным шопотом приказал Виссарион. — Отдай подсумок, гад, кишки выпущу! Выслужиться захотел, сопляк!

— Ой, кацо, большевик! — застонал солдат и сел, протягивая руки к Виссариону. — Не убивай!.. Я не хотел тебя ловить, я жалел тебя... Они меня сюда сбросили... Говорят: как увидишь, стреляй, — мы придем...

— Врешь, парень!

— Те сбросили... начальник, Шарикадзе сбросил... Чтоб меня гром убил, если я солгал! Они сказали: лезь, Хуцишвили, а то под суд... Начальник ругался, они толкнули меня в плечо, и я полетел... Они сказали: ищи! Найдешь — стреляй, мы придем. Зачем мне тебя ловить? Что плохого ты мне сделал? Сволочи... — продолжал солдат. — Водят людей расстреливать, потом пьют в духане на Авлабаре, начальник им деньги дает... Им человека убить — раз плюнуть... Ой, я, наверно, печень себе отшиб!

— Подожди, Хуцишвили... — сказал

Виссарион. — Что они думают делать, те, на горе? Ты не знаешь?

— Начальник в город за войском поехал, а Шарикадзе с солдатами приказал вниз по дороге бежать, чтоб ты шоссе не перешел... Ай-яй, я думал, душа из меня вылезет!

— Так вот что, Хуцишвили... — сказал Виссарион. — Ты хочешь мне помочь?

— Что я могу сделать?..

— Ты слушай: сойди вниз, беги в поле, подальше от горы, и, как отбежишь с полверсты, начни стрелять... Они прибегут к тебе на помощь, а ты им скажи, что я, хромая, убежал в поле, а ты догнать не мог, потому что сам сильно разбился. Понимаешь?

Хуцишвили встал, охая, ощупал колено и выпрямился.

— Пусть же он сдохнет, этот фельдфебель Шарикадзе, как он мне здоровье испортил! — сказал он. — Дай-ка мою винтовку, кацо! Я сделаю, как ты говорил.

— Я тебе отдам винтовку, Хуцишвили, — сказал Виссарион. — Но знай, что это я жизнь свою в твои руки отдал! Смотри — обманешь меня, кровь мою на свою совесть возьмешь! Я за таких, как ты, страдаю! Бери винтовку, Хуцишвили, и помни...

— Человек, который слова не держит, собаки не стоит, — ответил Хуцишвили, беря винтовку. — Так меня отец с детства учил. Ты не бойся, большевик, я сделаю все, как велишь...

Они осторожно сошли вниз, оступаясь в ползучем грунте. Когда кончился косогор, Виссарион попрощался с Хуцишвили, и остался ждать у подножья горы.

Виссариону стало страшно. Доверился человеку... доверился солдату, который мог предать его каждую минуту... Но далеко, на равнине, гулко грохнул выстрел, повторенный эхо. Сейчас же в ответ раздались выстрелы на шоссе.

Поддерживая больную руку, Виссарион начал подниматься вверх, чтобы выйти на шоссе поближе к горду.

★

«... Римляне переловили там столько фазанов, что над течением Фазиса и над его немymi берегами эти птицы больше уже не летают, а только ветры веют над дремучими лесами...».

Андрей Михайлович улыбнулся. И так, по свидетельству Петрония, древние купцы и колонизаторы были не меньшими хищниками, чем нынешние. Во время долгих странствований по Колхиде Андрею Михайловичу часто приходилось встречать окруженных слугами и проводниками особ в пробковых шлемах, с дорогами ружьями. Иностранцы гости охотились на огненно-красную птицу. Вкус у них был не хуже, чем у римлян. Но... «только ветры веют над дремучими лесами...». Однажды Андрей Михайлович и Топурия встретили в зарослях, на берегу речки, такую охотничью экспедицию. Впереди шли двое крестьян, которые поздоровались с Топурией, за ними денщики волокли на поводу ишака, нагруженного палаткой и разными свертками. Ишак вяз на болотной тропе и старался лечь. Солдаты тянули его и подталкивали сзади. Потом появились охотники в дорогих костюмах, запачканных грязью, в высоких пробковых шлемах. Один из них нес убитого фазана. Проходя мимо, он посмотрел на Андрея Михайловича, словно на пустое место, и притронулся пальцем к козырьку. Остальные проделали то же самое, в точности повторяя каждое движение первого. Это была сценка из приключенческого фильма: встреча природных иностранцев в джунглях. Когда спесивые охотники прошли, Топурия плюнул и отвернулся.

— Собаки! — сказал он. — У богатых людей нет совести.

Он долго не мог успокоиться. Вечером, на закате солнца Топурия повел Андрея Михайловича через чащу к одному из курганов и указал на одно из ближайших деревьев. Андрей Михайлович увидел на раскидистых ветвях, невысоко над землей, множество птиц. Их пестрое оперение переливалось яркочерными, темнозелеными, белыми, синими и бурными красками. Они непо-

движно сидели на ветках, освещенные зарей, охваченные ранним птичьим сном. Среди них Андрей Михайлович заметил порхунов, — они плотно прильнули друг к другу, окружая взрослых. Это были фазаны, несколько выводков.

Топурия улыбался, очень довольный. Когда начало темнеть, они ушли с поляны, и Топурия, идя по тропинке и собирая сухой хворост на распалку, что-то бурчал про себя.

Они не пошли в селение, заночевали на кургане, Топурия сидел у огня, смотрел на закоптелый котелок и о чем-то думал. Потом он прилег на локоть и посмотрел на Андрея Михайловича.

— У богатых людей нет совести... — сказал он. — У них даже ума нет, батона. Вероятно, для того, чтобы нажить богатство, не нужно большого ума. Они уничтожают и портят все, лишь бы потешить свое чрево. Так поступает свинья, глупая и жадная скотина. Но она, хотя и давит все под ногами, зато и жрет все, что только зацепит рылом. Богатые люди хуже свиньи, они портят в десять раз больше, чем могут проглотить, а от этого большие несчастья. Вот они убили птицу, сегодня в полдень. Она водила выводок, двенадцать пискуннов. Пришли богатые и глупые люди и убили ее. А пискунны теперь пропадут: выводок поздний, и их зарежут звери и унесут коршуны. И мне их жаль, зря пропадет столько красивых птиц! Разве плохо было бы, если б на каждом дереве сидела красивая птица?! И вот я думаю... Почему им не жалко того, чего жалко мне? Я ведь, если бы захотел, мог бы жить одними фазанами. Для меня в лесу ничего скрытого нет. Да что фазаны! Дикий индюк — индоури, который живет в горах, на самой высоте, осторожный, хитрый и быстрый, от меня никогда не спрячется... Эти обжоры дали бы за индоури столько золота, сколько он сам весит! Но я этого не желаю, пусть живет все живое и красивое, что тешит человеческое сердце! Так скажи мне, батона, почему они топчут и уничтожают все? Почему богатый человек так глуп и жаден?

Андрей Михайлович не помнит, что он ответил Топурия. Старик долго вздыхал, грустно глядя на угасающий костер.

Так тысячелетиями ходят по этой зачарованной стране алчные к ее дарам чужеземные гости. И гневными взорами встречали и встречают их хозяева.

... Заскрипела дверь, и в комнату заглянула заспанная тетка Елена.

— Батоно! — встревоженно сказала она. — К нам кто-то стучит, какой-то человек стоит на улице, у ворот...

Андрей Михайлович встал.

«Валерьян? — подумал он. — Поздно... Кто ж это может быть?».

Он вышел в сени, потом во двор. За тусклыми стеклами веранды маячило лицо испуганной тетки Елены. В калитку еще раз тихо постучали. Андрей Михайлович подошел и молча отодвинул задвижку. Калитка открылась сама собой. Опираясь плечом на ограду, стоял незнакомый человек без шапки, со всклокоченными волосами. Лицо у него было ободрано и в грязи.

— Что вам нужно? — холодно спросил Андрей Михайлович.

— Вы меня не узнали... — прошептал человек. — Я Виссарий Коркия... Позвольте зайти во двор. Здесь, на улице, опасно...

Андрей Михайлович молча отошел в сторону, вглядываясь в лицо Коркия. Тот переступил порог и закрыл за собою калитку.

— Больше не могу... — шопотом сказал он.

— Что с вами? — спросил Андрей Михайлович тоже шопотом.

— Прошу вас... мне бы только... голову приклонить... дождаться утра...

Андрей Михайлович, ни слова не говоря, взял Виссариона под руку. Но Коркия, сделав шаг, остановился.

— Нужно запретить калитку... — прошептал он.

Андрей Михайлович, не выпуская руки Виссариона, повернулся и задвинул задвижку. На дворе Виссарий почувствовал себя лучше и сам взошел по ступенькам. Тетка Елена встретила их на веранде и едва не выронила лампочку, увидев окровавленное лицо Висса-

риона. Андрей Михайлович привел его в свою комнату и усадил на стул.

— Вам плохо? — спросил Андрей Михайлович, и Виссарий с усилием посмотрел на него угасающим взглядом.

— Видите... — сказал он хриплым голосом. — Все было хорошо, пока я не перешел шоссе... Когда я прошел шоссе, меня стало бросать из стороны в сторону... и слабость... Колени подгибаются... Бок болит...

Какая-то мгла застлала его взор. Он медленно склонил голову на грудь. Андрей Михайлович оглянулся на дверь. Тетка Елена, стоя в дверях, внимательно следила за тем, что делается в комнате.

— Принесите в тазу воды, тетка Елена, — тихо сказал Андрей Михайлович, — и чистую простыню...

Туфли тетки Елены быстро прошлепали от дверей. Андрей Михайлович снял с себя пиджак, вынул из комода походную сумку-аптечку и раскрыл ее на столе. Когда Андрей Михайлович отодвигал от стены диван, Виссарий быстро поднял голову.

— Андрей Михайлович! — сказал он более крепким и уверенным голосом. — Когда я прыгнул за вами в болото, я не раздумывал, кого я вытащу... врага или друга. Вы себя показали другом, когда мы с вами встретились в театре... Я раздумывал, идти ли к вам сейчас, или нет?.. Вы человек посторонний в наших делах... Но мне некуда идти... Мне необходимо переждать до завтра...

Виссарий замолчал, глядя на Андрея Михайловича лихорадочно блестящими глазами.

— Но я должен вам сказать, — продолжал он. — Я большевик, вы это знаете... Но мало этого... сейчас я... убежал из-под расстрела... Если меня найдут здесь... вам это дорого обойдется...

В эту минуту тетка Елена принесла таз с водой. Она поставила его на пол. Взглянув на Андрея Михайловича, она тотчас же вышла, но осталась за дверью, с интересом присматриваясь к тому, что делается в комнате.

— Вот что, мой друг... — сказал Андрей Михайлович Виссариону. — Вы поступили, как честный и смелый человек, предупредив меня. Вам никуда нельзя уходить ни завтра, ни в ближайшие дни. У вас разбито лицо и, кроме того, что-то серьезное с плечом. А теперь попробуем снять пиджак и рубаху.

Андрей Михайлович перевел его на диван. Все это Виссарион воспринимал неясно, — все было, как в тумане. Его очень удивило, что над ним потолок, а не звездное небо. Но он очнулся только на момент. Услышав плеск воды, он вдруг увидел вспененные волны, ночное море, хлопнул парус под ветром и с треском разорвался, а на пустом берегу, там, где кипел прибой, он увидел одинокую, неподвижную фигуру, — это был его отец, Артем Коркия... Мрак заслонял море, вздымались волны, и одна из них с шумом накрыла Виссариона. Все сразу исчезло... Он вздохнул и очнулся.

Андрей Михайлович обмывал ему губкой лицо.

— Однакож и мускулы у вас, дорогой мой! — сказал Андрей Михайлович и бросил губку в таз. — А на вид вы не сильный. Вам легче? Ну, так вот что: дело серьезное. Вы вывихнули плечо, как я и думал. Ребра целы. Бок... Неплохо, если б здесь был доктор. Но он для нас недоступен. Посмотрим, что скажет Валерьян Иванович, тот самый, что вывел вас из театра. Он немного знаком с медициной. Плечо ваше попробую вправить сам. У вас шея опухла...

— Огобоотрядники душили... — ответил Виссарион.

Андрей Михайлович что-то пробурчал про себя, отходя от дивана. Тетка Елена в сенях энергично орудовала ножницами, готова бинты.

Когда больной с туго забинтованным плечом и обвязанной головой заснул, Андрей Михайлович вышел на кухню.

— Тетка Елена, — сказал Андрей Михайлович. — Вы понимаете, что нужно молчать?

Тетка Елена приложила палец к губам.

— Разве я не понимаю!.. — сказала она. — Когда мой Валико был жив и ездил на паровозе... Ой, горе мне, я знаю, как нужно молчать!

Когда Виссарион проснулся, было утро. Лежа, он видел через окно розовое небо, облака, деревья сада. Гнетущее чувство исчезло, мысли были ясные. Сознание, что он смело прошел через страшные и мучительные испытания, что воля к жизни победила и он спасся от гибели, наполнило все его существо.

Подошел Андрей Михайлович. Виссарион попробовал подняться, и ему это удалось.

— Я уже здоров! — сказал он. — Простите, натворил я вам забот.

— Какие заботы! — улыбнулся Андрей Михайлович. — Нужно лежать спокойно. Вот вечером придет Валерьян Иванович, тогда посмотрим... Ну, а теперь, пока будет готов завтрак, расскажите мне все, что с вами случилось.

Вчера, направляясь сюда, Виссарион немало думал над тем, как встретит его Андрей Михайлович, этот на вид суровый, суховатый человек. Виссарион понимал, что достаточно было и той услуги, какую инженер ему уже оказал в театре. Но итти было некуда. О своей квартире и думать не стоило, искать приюта у товарищей — невозможно. Вероятно, не за одним Виссарионом следили вчера особотрядники. Кроме того, он мог привести за собой шпиков.

И Виссарион решил рискнуть — отыскать квартиру инженера. Адрес он помнил с того дня, как они расстались в Колхиде — это было хорошее правило, какого посоветовал держаться Виссариону Габисония: ничего не записывать и ничего не забывать. Когда Виссарион рассказал Андрею Михайловичу от начала до конца происшествия вчерашнего дня, он увидел, как взволновался этот человек. Он сидел, склонив свою седеющую голову, и тер ладонью лоб. Потом он посмотрел на Виссариона, и что-то удивительно мягкое и ласковое было у него в глазах.

— Из сотни людей, — сказал он, — девяносто девять, наверное, погибла

бы при таких обстоятельствах, мой друг. Кроме смелости, вам помог случай. Этот солдат мог и не оказаться добрым человеком.

— Тогда я прикончил бы его! — ответил Виссарион. — Винтовка была у меня в руках, и я, наверное, пробился бы в город. Случай, Андрей Михайлович, от нас самих зависит.

Они смотрели друг на друга, как старые приятели.

— Приятно... — тихо сказал Андрей Михайлович. — Приятно смотреть на человека, который избежал смерти. Вот этого восхода солнца вы могли уже не видеть...

«Друг!» — подумал Виссарион.

Вечером они сидели вместе у окна. Андрей Михайлович рассказывал историю Колхиды, излагал свой проект осушения колхидских болот. Виссарион потом часто вспоминал эту беседу: она оказала немалое влияние на его жизнь.

Виссарион спросил:

— Андрей Михайлович, а для кого вы делаете проект?

— Как для кого?

— Ну... Вам фирма какая-нибудь заказала или, может быть...

— Никто не заказал, — сухо ответил Андрей Михайлович. — Грубо говоря, — на свой счет и риск. Эта работа — плод многих лет исканий, единственная цель моей жизни... Я никому ее не продам...

Но Виссарион не успокоился на этом, хотя и ясно видел недовольство Андрея Михайловича.

— Вы закончите проект... — сказал он. — А потом что?.. Нужно, чтобы кто-нибудь организовал работы! Тысячи рабочих рук, машины, огромнейшие расходы... Андрей Михайлович, ни один капиталист, ни одно буржуазное правительство вашего проекта использовать не смогут.

Андрей Михайлович молчал.

IV

Еще летом, после отъезда карательной экспедиции, среди повстанцев появился Константин Куридзе. Его привел Михаил Ганарджия. Окруженный повстан-

цами, Куридзе стоял посреди поляны и курил трубку. Он понравился всем — широкоплечий, лобастый, с огненно-рыжим чубом и смешливыми, спокойными глазами.

— Серьезные хлопцы! — сказал он Кверквелия, осматривая рослых, суровых крестьян с винтовками в руках и в черных архалуках, опоясанных широкими поясами с подсумками. — С этими парнями можно хорошего грома задать. Только вы, по-моему, напрасно в лесу сидите. Что же о нас люди подумают? «Вот, — скажут, — хитрая работа! Убежали в лес, свои семьи побросали, а над ними враги издеваются...».

Повстанцы стояли молча, глядя себе под ноги.

— Мы пойдем прямо в Сабокучаво и там останемся, — говорил Куридзе. — Выберем командира отряда, помощника, установим правила. Без военной строгой дисциплины нас вороны поразнесут.

Куридзе не мешкал. Когда были приняты его предложения, в Сабокучаво послали Оция. Он вернулся вечером. В селении тихо и спокойно. И через несколько минут отряд оставил поляну. Шли по лесу редкой цепочкой. Сзади Миха Коркия и Митрофан Бокучава гнали коров и коз, — стадо с фермы Симона Гамрекели. Куридзе шел рядом с Кверквелия и Михаилом Ганарджия.

— Много сгорело дворов в Сабокучаво? — спросил Куридзе.

— Двадцать три двора, — ответил Кверквелия.

— Строятся?

— Где там!

— Почему не строитесь? Может, теплую зиму ждете?

— Средств нет. Лес — помещичий, покупать у людей — денег нет.

— А для чего у нас винтовки? — Куридзе смотрел насмешливо. — Оружие в руках, мужчины, как дубы, а чужого дяди боятся! Кто у вас помещик?

— Абхазава... — тихо сказал пристыженный Кверквелия. — Князь.

— Хотя бы и граф! Мы его в момент разжалуем. Нужно быстрее поврачиваться. Если мы будем только пря-

таться, а войска будут жечь селения, преследуя нас, мы до того крестьянам осточертеем, что они нас людьми считать не будут. Сами нас еще поубивают!

— Проклятый этот Абхазава... — сказал Кверквелия. — Еще в десятом году отсудил от нас лес и луг за самым селением. У нас немногие коров держат, все больше коз. Пасем на болоте. Очень обижен народ этим князем! Но у него челяди втрое больше, чем нас, и войско близко, что тут поделаешь!

— Ничего, что-нибудь да сделаем!

На следующий день Куридзе собрал в Сабокучаво сход: Над домом Михаила Ганарджия, на тонкой жерди, трепетал красный флаг. Куридзе говорил просто и спокойно. Здесь, в селении, поместится штаб революционных повстанцев. Повстанцы будут защищать селение, особеннорядники и чиновники не осмелятся ткнуться сюда, потому что их ожидает смерть. Все могут спокойно работать и жить, как жили. Погорельцам нужно ехать в лес за бревнами и строиться. Когда Куридзе кончил, крестьяне долго молчали. Потом из толпы раздался тихий голос:

— Ты, должно быть, не знаешь, батоно, что леса у нас нет, лес помещичий?

— Я не батоно, — ответил Куридзе. — Я ваш друг и товарищ, мы с вами одной крови люди. Разве помещик вырастил этот лес, и разве лес не был раньше вашим? Подумайте!

В толпе прошел шум. Вперед вышел старый Коча Мелиава, самый старший в селении после покойного Гуджу.

— Этого нельзя делать, добрый человек, — сказал он. — Если наше селение сожгли, когда мы ни в чем не виноваты, то что же будет с нами, если пойдем против закона и возьмем помещичий лес? Нас в землю живыми закопают!

Старика дружно поддержал весь сход. Куридзе посмотрел на толпу, потом глянул на пепелище и понял, что уговорить крестьян не удастся.

— Ну, хорошо, братья, — сказал он. — У вас нет духа итти против ба-

рина. Но вы поедете в лес, если сам князь разрешит?

— Почему бы не поехать! — ответил кто-то, и все засмеялись.

На этом и кончился первый сход в Сабокучаво, созданный штабом отряда повстанцев. А наутро Куридзе появился в поместье князя Абхазава. Старый дом, окруженный садом, стоял на пригорке. Абхазава, выходец из Абхазии, кичились родом и богатством. При меньшевиках князь пользовался всеми землями и лесами, которыми владел и при самодержавии, даже тем лесом и лугом, которые он захватил у крестьянской общины десять лет назад. Куридзе знал, что князь был когда-то ротмистром гвардии, служил в царском конвое, славился отвагой и очень вспыльчивым характером.

Куридзе направился к дому по старым буковым аллеям, и заросшая травой дорожка привела его на широкий двор. Высокий, грузный мужчина с длинными усами, с длинным чубуком в руках, в халате, расшитом шнурами, и в туфлях на босу ногу стоял у веранды. У его ног вертелись борзые щенки. Он удивленно смотрел на подходившего к нему незнакомого человека в матросской майке, в старом пиджаке и сапогах с высокими голенищами. Не понравилось усатому, что у человека не было шапки и что из кармана штанов выглядывала деревянная ручка большого револьвера.

— Славные собачки... — сказал человек, подходя. — Это вы — Абхазава?

— Я — князь Абхазава!

— Меня мало трогает, что князь... — заметил незнакомец. — Нам с вами нужно обмозговать одно дело...

— С кем имею честь? — спросил Абхазава.

— С Константином Куридзе...

— Это мне мало говорит!..

— Сейчас заговорит! — сказал Куридзе. — Я — командир отряда революционных крестьян-повстанцев. Говорю для того, чтоб вы знали, с кем имеете честь... А теперь вот что: лес по правой стороне дороги в Сабокучаво и луг возле селения вы считаете своими?

Полное, красное лицо Абхазава посинело. Он вытаращил глаза и поперхнулся.

— Какой командир? — наконец вскрикнул он. — Какого отряда? Это что? Разбой?..

— Тише, тише! — сказал Куридзе. — Потом узнаешь, какой отряд! Так вот что: завтра, около двух часов дня, просим оказать милость — прибыть в Сабокучаво и передать крестьянам на руки документ за собственной подписью. В документе напишете, что помещик Абхазава отказывается от пользования лесом и лугом, которые он захватил у крестьян Сабокучаво, считает эти угодья их собственностью и предоставляет им право распоряжаться этими угодьями по своему желанию. Поняли?

Глаза Абхазава, налитые кровью, вылезли на лоб. Вдруг его прорвало.

— По какому праву?! — гаркнул он зычным басом, замахаясь чубуком на Куридзе. — Разбой? Эй, Панте!

Они стояли теперь лицом к лицу.

— Слушай, ты! — сказал Куридзе, с холодной ненавистью глядя в глаза Абхазава. — Палач, сукин сын! Если ты завтра не приедешь в селение, эта твоя родовитая курятня пойдет дымом в первую же ночь! Я собственной рукой пробью твой бараний череп! Ты меня своими холоуями не страши! Не зли меня, мне тебя не за что жалеть! Понял?

Из всех окон нижнего этажа выглядывали нечесанные головы челяди; с балкона смотрели дочери Абхазава. На веранду выбежал немалою роста дядя и остановился, переступая с ноги на ногу. Куридзе положил руку в карман, и Абхазава обмер.

— Прогони холоуя! — приказал Куридзе.

— Панте, убирайся прочь! — слабым голосом сказал Абхазава.

— И не вздумай мне здесь засаду устраивать! — тем же тоном продолжал Куридзе. — Имей в виду, мы с тобой еще по-человечески разговариваем... Так вот — завтра чтоб в Сабокучаво был документ насчет леса и луга по всей форме! Больше повторять не стану! Остальное сам знаешь! До

свидания, светлейший батоно Абхазава!

Князь Абхазава стоял, глядя вслед Куридзе до тех пор, пока тот не скрылся за поворотом дорожки.

Ждать барской милости крестьянам Сабокучаво пришлось недолго. Абхазава послал своего приказчика кружной дорогой на станцию, и тот отправил две телеграммы, текст которых был написан собственной княжеской рукой. До полуночи пришли ответы. Мучаидзе советовал князю «временно итти на уступки». Из Тифлиса писали: «Обратитесь к местным властям...». Князь, не спавший всю ночь, встретил приказчика на веранде, прочитал телеграммы и, порвав их на мелкие клочки, сказал, что лучше застрелиться, чем уступить мужикам. Но он не застрелился. В полдень приказчик поехал в Сабокучаво и передал Куридзе письмо от князя Абхазава. Куридзе прочитал письмо князя и удивился:

— Не верю! — сказал он. — Просто глазам своим не могу поверить! Князь Абхазава дарит крестьянам луг и леса! Ай-яй, какой хороший у нас барин!

Собрали сход, и приказчик прочитал крестьянам письмо Абхазава и засвидетельствовал, что оно, действительно, написано самим князем. В этот день много толков было в Сабокучаво. Никто не мог понять, почему помещику пришло в голову отречься от угодий, за которые судились столько лет и которые стоили помещику немалых, розданных на взятки, денег.

И вот по всей округе пошли слухи о том, что в Сабокучаво крестьяне рубят барский лес, косят луга, которые раньше были княжьими, что князь Абхазава сам от них отрекся в страхе перед повстанцами, которые живут в Сабокучаво под красным флагом. Рассказывали еще, что у повстанцев есть стадо коров и коз, отобранное у богачей. И что они раздают скот бедным и вдовам. В Сабокучаво стали приходиться люди из окрестных селений. У пепелищ лежали вывезенные из лесу бревна. Погорельцы принимались строиться. Жена Митрофана Бокучава показывала зна-

комым большую, бурую, удойную корову, которую дал ей отряд. На лугу посюду стояли колышки, над крышей Михаила Ганарджия развевался красный флаг. Слышался стук топоров, разговоры, песни. Распоряжался человек, которого звали Константином Куридзе. Он встречал ходоков из соседних селений, и все видели, что это умный и добрый человек. Сначала не верили, что большевики удержатся в Сабокучаво. Шли слухи: скоро придет новый отряд, и князь Абхазава покажет себя тем, кто рубил лес и косил луга. Но прошел месяц, отряд не показывался. Тогда народ повалил в Сабокучаво гуще, особенно по праздникам. Командир повстанцев, товарищ Куридзе, рассказывал про кровавые дела меньшевиков, про Шамхор, где меньшевики расстреляли несколько тысяч русских солдат, возвращавшихся с турецкого фронта, про расстрел митинга в Александровском саду, про то, как наживается буржуазия и терпят голод и холод рабочие. Куридзе сообщил, как хозяйничают в Грузии «союзники», которые вывозят все, что только можно вывезти, бесстыдно грабят все, что попадает под руки, издеваются над народом, а в это время по стране гуляют и голод, и бедность, и смерть. Он говорил о том, что поднимается народный гнев и скоро придет решающий час. Тогда, — говорил Куридзе, — нужно будет дружно и смело пойти за большевиками, ударить на помещиков и отвоевать землю и право на жизнь.

— Партия большевиков позовет вас на борьбу, — говорил Куридзе, — и тогда все, как один, встаньте в боевые ряды!

Понемногу начинала волноваться вся округа, до того времени тихая, напуганная пожаром Сабокучаво и убийствами. В конце лета стало известно, что в каком-то далеком селении люди вышли на помещичье поле, собрали и свезли с него кукурузу и гоми, а помещик и его слуги не посмели носа высунуть. В Сагвасалио, когда пришло время собирать виноград, крестьяне распределили между собой урожай с плантаций Гамрекели. Помещики забрасывали началь-

ство письмами и телеграммами, прося и требуя помощи. Начальство советовало «итти на уступки».

Куридзе знал все это. Но он не был беззаботным. Днем на дорогах и возвышенностях стояли караулы повстанцев. Куридзе понимал, что, если на них внезапно нападет отряд правительственных войск, их разобьют и захватят всех до одного. Больше всего опасался Куридзе измены. Бокучава и Топурия не случайно попались в руки особотрядников! Когда однажды пришел к нему староста Спиридон Ганарджия, Куридзе, увидев его сладкое, краснощекое лицо и встревоженные, блуждающие глаза, сразу подумал:

«Он... подслушал где-нибудь, гадина!».

— Я к вам, ваша милость, — сказал староста, кланяясь. — Я просил бы... выдайте мне бумагу в том, значит, что я уже не староста... И власти никакой не имею.

— Зачем тебе бумага?

— Для начальства, ваша милость... Я человек тихий, боюсь гнева начальства.

— Ты больше не староста, — ответил Куридзе. — Но бумаги я тебе не дам. Как хочешь, так и выкручивайся перед начальством. Садись, поговорим.

Староста несмело сел бочком, притормозив улыбаясь. И вдруг увидел, как в светлых глазах Куридзе вспыхнул страшноватый огонек, и почувствовал, как могучая рука тяжело легла ему на плечо.

— Ну, староста! — сказал Куридзе. — Скажи мне: за сколько продал Бокучава?

Староста пожелтел, как мертвец, и согнулся под рукой Куридзе.

— Что вы!.. — зашептал он. — Ваша милость! Я тихий человек. Я столько горя натерпелся, боже мой!.. Пожар был... Начальство меня, как собаку, гоняло... Ой, горе мне! Пусть будет проклят день, в который я родился...

Староста вился, как уж, замирая и вздрагивая от голоса Куридзе, но он понял, что тот не знает, а только догадывается о его предательстве. А Куридзе был уверен, что в гибели двух пар-

тизан виноват Ганарджия. Он мог бы прикончить его здесь же без всякой жалости и укоров совести. Но у него не было доказательств вины Спиридона Ганарджия, и это спасло старосту.

— Ну, вот что, — сказал Куридзе, оставляя уже надежду дознаться чего-либо от старосты. — Ты, вихлявый, собачий хвост, слушай: если хоть раз ты или кто-нибудь из твоих домашних выйдет из селения хотя бы до моста, без моего разрешения, — мы тебя расстреляем! Понял? Я знаю, что ты, не кто другой, продал этих людей. Убирайся вон, плюгавая собака, и попробуй только через плетень перелезть, высунуться за селение...

Стеная, как тяжело больной, Ганарджия сошел с крыльца и побрел по улице.

Время шло. Наступила осень, пожелтели поля и леса, чаще стали дожди.

Однажды Макар Чантурия, бывший в Сагвасалио за старшего, увидел на улице своего селения страшилище, которое с гулом медленно лезло на пригорок по размокшей глине. За ним продвигался отряд конных солдат.

«Беда! — подумал Макар, прижимаясь к плетню. — Пропали мы все!..».

Броневик выбрался на пригорок и, пошатывая зеленой своей башней, помахая по сторонам тупоносим стволом пулемета, приближался к Макару. Макар все же успел заметить, как быстро пробежала по огородам стройная и легкая Кетэ Коркия и скрылась в саду.

В броненике открылось оконце. Выглянул знакомый Макару начальник — Мучаидзе.

— Ты старший, кажется? — неясно спросил он из глухого нутра броневика.

— Я, батона... — ответил Макар.
— Растаскали, бродяги, хозяйство Гамрекели? — крикнул Мучаидзе. — Раббойники, мерзавцы!

Открылась железная дверца, и Мучаидзе вылез из броневика. Следом за ним вышел человек в военной форме. В передней части машины приподнялся щит, и Макар увидел лицо шофера. Макар стоял навытяжку.

— Что? Теперь поджал хвост? —

злбно спросил Мучаидзе. — Вероятно, сам первый лез, крошил и ломал, чтоб награть побольше! А? Где разбойники и убийцы?! Не знаешь? Ты что, не мой?

Он поднял руку. Густо покраснев, Макар уклонился от удара.

— Я старый человек, батона, — сказал Макар. Что-то мрачное и затаенное блеснуло у него в глазах. Мучаидзе опомнился, оглянулся на солдат. Они, избегая его взгляда, смотрели в сторону.

— Оставьте, капитан! — брезгливо сказал офицер, стоявший у броневика.

— Смотрите у меня! — сказал Мучаидзе Макару уже без прежнего напора. — Принести мне список подлежащих призыву и согнать сюда всех до одного!

— Слушаю, батона! — ответил Макар, повернулся по-военному и быстро пошел, почти побегал по улице.

«Чтоб вам пропасть, погореть вам всем! — думал Макар по дороге. — Когда же вы над народом издеваться перестанете, когда же наше горе выдохнет?».

Вскоре у броневика собралось население Сагвасалио. Перед толпой стояли выстроенные в ряд новобранцы — десять парней, напуганных и печальных. Женщины плакали, мужчины стояли молча, глядя себе под ноги.

— Вы должны в указанный день и час прибыть на пункт, в воинское управление, — говорил военный, приехавший с Мучаидзе уездный комиссар. — Дезертиров найдем везде, где бы они ни прятались.

Уездный комиссар отошел к броневику и стал там, лениво опираясь на зеленую стенку. Тогда вышел вперед Мучаидзе.

— Эй, вы! — сказал он. — Может быть, вы ждете, что за вас заступятся лесные бродяги? Напоасно ждете! Попробуйте бунтовать! Вот, смотрите!

Рука Мучаидзе, державшая смятую перчатку, показывала на башню броневика, из которой торчал пулемет. Стало очень тихо.

— Вы уплатите батона Гамрекели убытки, которые он потерпел от вашего

разбоя. Я научу вас уважать закон, вонючие свиньи! А ты, старший, головой ответишь, если эти недоросли хоть на час опоздают на пункт. Поехали!

Начальники влезли в броневик, грохнула железная дверца, внутри щелкнул замок, зеленое чудовище зарычало и медленно двинулось вперед. За броневиком двинулась конница, перемешивая глинистую грязь по улице Сагвасалио. Когда все это исчезло и рассеялся вонючий дым, кто-то из селян сказал, показывая на извилистую, глубокую колею, в которой остался шероховатый след от шин броневика:

— Смотрите, люди: словно большая гадина проползла через наше селение...

— Пусть бы уж лучше гадина, — ответил ему Макар Чантурия. — Эй, когда же наше горе высохнет...

— Тогда высохнет горе, когда высохнет море, — вздохнул кто-то.

— Так лучше тогда не жить нам, братья...

— Что сделаешь. Родился — живи... Смерть сама придет.

Крестьяне расходились. За новобранцами шли их матери и сестры, голоса, как над покойниками.

Броневик проезжал одно селение за другим и везде повторялось то же, что и в Сагвасалио. В Сабокучаво Мучаидзе почему-то не поехал сразу. Куридзе, узнавший о броневике, сказал Кверквелия:

— Бойтся нас господин Мучаидзе. Сабокучаво ему обойти нельзя, а захватить боязно.

О том, что произошло дальше, долго говорили в селениях низинной Мингрелии.

Мучаидзе перед тем, как ехать в бунтарское селение, навестил князя Абхазава. Князь, обиженный недавним равнодушием Мучаидзе, принял его холодно. Но Мучаидзе заверил его, что перестреляет из броневика всех голодранцев, которые осмелятся ступить на княжье поле. Абхазава смягчился и показал гостям свое широкое гостеприимство.

Обед кончился только под вечер. Мучаидзе и комиссар, не совсем твердо ступая, вышли на веранду. Солдаты,

держа лошадей за поводья, пасли их на пожелтевшей, затоптанной траве у забора. Это было ошибкой Мучаидзе. Он не подумал о том, что люди и кони голодны.

Из кухни выбежал вахмистр, за ним шофер. Они подкрепились не хуже начальства. Солдаты, утомленные походом, с открытой ненавистью смотрели на них. Вахмистр звучно икнул, прикрывая ладонью рот, скомандовал «по коням», шофер полез в броневик. Отряд построился. Мучаидзе попрощался с хозяевами и, чувствуя на себе взгляды многочисленных княжен, ловко вскочил в броневик. За ним последовал комиссар.

— Полный ход! — скомандовал Мучаидзе, как только броневик двинулся. Броневик зарычал и с грозным гулом помчался через парк. Солдаты стали отставать, хотя гнали, сколько могли. Когда отряд миновал парк, броневик был уже на мосту, быстро пролетел его, повернул в заросли и скрылся. Вахмистр скомандовал: «Марш-марш!», хотя отряд шел полным карьером. Проехав мост, вахмистр увидел, что отряд растянулся по дороге и лошади скачут из последних сил. Под горой, за речкой, отряд выдохся вконец, кони вспотели. Отряд пошел дальше мелкой рысью.

В это время броневик летел полным ходом по извилистой дороге в Сабокучаво. Мучаидзе сидел за пулеметом, держась за ручки. Через щель бойницы он видел узкую дорогу, отклонявшуюся то вправо, то влево, видел заросли, сплошной зеленой стеной пролегавшие по обеим сторонам. Броневик качался из стороны в сторону, упругие рессоры подбрасывали тяжелую броневую корбку, гулко рычал мотор.

«Сразу — огонь! — думал Мучаидзе, все более пьянея от бешеной скорости и княжьего вина. — Пролечу улицей, кто встретится — смерть на месте! Дотла разорю гнездо!».

Однако бешеная гонка внезапно оборвалась. На крутом повороте дороги шофер увидел свеженакиданную землю, а справа и слева — глубокий узкий ров.

Он выключил мотор и затормозил, но было поздно. Броневику подбросило вверх, земля и бревна с треском осели под колесами, страшный удар оглушил шофера. Броневику лежал на боку в узком овраге, а мутный ручей кипел и пенился вокруг, заливая машину. Из оврага потянулся легкий сизый дымок.

Куридзе, лежавший в кустах рядом с Кверквелия, встал.

— Так, — сказал он. — Приехал господин Мучаидзе! Солдаты, должно быть, отстали!

Повстанцы молча лежали, цепочкой растянувшись в придорожных кустах. Тариэль заметил, что Миха Коркия поднимает свой маузер.

— Стрелять только по команде, — сказал он. — Не горячиться! Миха, ты слышишь?

— Слышу... — ответил Коркия.

Отряд появился. Кони бежали трусцой, солдаты держались близко друг к другу. Вдруг вахмистр и солдаты увидели разрушенный мост, взрытую землю, бревна, и в овраге — сброшенный зеленый броневику. Вахмистр осадил коня. Всадники, наезжая друг на друга, сбились в тесную кучу. Вахмистр соскочил с коня и, спотыкаясь, побежал к мосту.

Внезапно кусты закачались, раздался треск веток, там и тут замелькали темные фигуры, и какой-то человек, подняв большой револьвер, вскочил на обомшелый камень над оврагом, у ручья.

— Ни шагу дальше! — грозно крикнул человек. — Винтовки и сабли в канаву, подсумки тоже! Не вздумайте убежать: позади вас пулемет, вы окружены!

Вахмистр первый сорвал кобуру и бросил ее на песок.

Солдаты, не слезая с коней, торопливо снимали винтовки и подсумки, отстегивали сабли. Все это затем, бряцая и грохая, катилось по откосу дороги в канаву, падало на песок.

— Кверквелия, — крикнул человек, — сюда!

Кусты вдоль дороги раздвинулись, солдаты увидели людей в черных архаиках с карабинами в руках. Те, что

замешкались, теперь рвали с себя подсумки, сабли и бросали в канаву. Отряд обезоружился не больше чем в две минуты. Вахмистр, бледный и остолбенелый, стоял над оврагом. Куридзе перескочил с камня на дорогу и поднял его револьвер.

— Слезай, ребята, с коней! — спокойно сказал он солдатам. — Отвоевались!

Солдаты послушно соскочили на землю.

Пять повстанцев собирали винтовки и сабли. Остальные держали карабины наготове.

— Не тужите, ребята, — сказал Куридзе. — Хорошо, что не пролилась братская кровь. Если бы вы не сдали оружия, началась бы меж нами драка. Зачем нам убивать друг друга, зачем итти брату на брата. Хорошо, что кончили миром, — кончена война.

— Пусть она сгорит, такая война! — сказал один из солдат. — От рассвета до ночи — в седле. Сами голодные и кони голодные!

Куридзе ответил:

— Можете в селение заехать — и для вас кое-что найдется, и для коней.

Солдаты стали переговариваться между собой. Потом один из них спросил:

— А мы не пленные?

— Ха! — засмеялся Куридзе. — Пленные! Куда же я вас дену? Кто хочет, садись на коня, — путь свободен. А кто не хочет, — просим в гости.

Куридзе повернулся и, не оглядываясь, пошел к мосту. Повеселевшие солдаты заговорили меж собой, сводя коней, а потом поодиночке и группами побежали вслед за Куридзе. У моста стоял вахмистр. Он исподлобья взглянул на Куридзе и сошел с дороги. Куридзе, не обращая на него внимания, сошел вниз, к ручью. Вода шумела и пенилась у броневика, валом перебрасываясь через него. Машина, закиданная бревнами, лежала на боку: передние смятые и поломанные колеса упирались в берег. Вся задняя часть ее корпуса, сокрушив сваи, осела в воду. Куридзе стоял на броневике, постукивал рукоятью револьвера по стенкам баш-

ни, по дверце, заглядывал в прорез бойницы, слушал.

— Что там? — дружно спросили солдаты.

Куридзе молча развел руками. К нему подошел Кверквелия.

— Пусть Оция сядет на коня и — в селение, — сказал Куридзе. — Кузнеца сюда с зубилами и молотом... Пусть придут люди с веревками.

Оция провел коня через ров и, ловко вскочив в седло, ускакал. Куридзе заметил, что солдаты опасаются вахмистра, умолкают, когда он смотрит на них, стараются отойти подальше. Он подошел к вахмистру. Тот отступил на шаг, блеснув глазами.

— Ты не страши меня, вахмистр! — сказал Куридзе. — Я шутить не люблю, — сейчас же меня злость берет. Отойди отсюда, барабанная шкура! Эй, Миха, сюда! Верно, доставалось вам от этого рябого чорта, ребята?

— Пусть он повесится! — сказал кто-то из солдат.

Подошел Миха Коркия. Вахмистр, увидев у него в руке маузер, затрясся всем телом, глаза у него забегали. Солдаты молчали. Какая-то тревога охватила их.

— Миха, — сказал Куридзе. — Отведи этого дядю под караул. Чтоб он не убежал от тебя, посади на дорогу, пусть сидит. И если что, — долго не думай. А вы, ребята, не бойтесь; кони ваши при вас останутся.

Солдаты смотрели вслед вахмистру. Когда Миха, отойдя шагов двадцать, остановился, а вахмистр, подгибая длинные ноги, неловко сел на песок, они дружно захохотали.

— Вот так... — сказал Куридзе. — Пусть посидит, холуйская морда.

Солдаты смеялись. Куридзе угостил их табаком. Эта мелочь как-то сблизила их. Солдаты обступили Куридзе, с интересом присматриваясь к нему. Куридзе стал расспрашивать их про службу.

— Раз'езжаем, людей пугаем, — ответил один из солдат. — Сами голодные, кони голодные, по суткам с седла не слезаешь. Что это за радость, когда тебя народ, как чорта, боится?

— Так, так, ребята! — сказал Куридзе. — Вот об этом и думайте.

Вскоре на дороге появилась толпа крестьян с жердями, ломами и веревками. Со всех ног мчалась детвора. Двое мужчин рысью гнали буйволов, запряженных в арбу. На эту арбу потом сложили оружие и под конвоем, под наблюдением Кверквелия, увезли в селение.

Вытащить броневик не удалось. Тогда сбили клепки на дверце, отогнули ударами ломов броню. Первым вытащили мертвого шофера. Вслед за этим, к удивлению всех, из дверцы выглянула голова. Это был уездный комиссар. Он сильно разбил себе лоб. Его подняли на дорогу, и он стоял там, опираясь на плечо крестьянина, и стонал. Куридзе влез в броневик и ощупал ноги Мучаидзе. Труп вытащили на берег.

Толпа двинулась к селению. Вместе с крестьянами, ведя коней, шли солдаты.

Поздно вечером на майдане ярко горели костры. Для солдат приносили еду из каждого дома, а Спиридон Ганарджия, по приказу Куридзе, доставил на майдан бочку вина. На майдан собралась молодежь.

Куридзе ходил по майдану, разговаривал то с теми, то с другими. Кубки ходили по рукам, веселье нарастало, уже затянули песню, устроили широкий круг, и Оция лихо прошелся несколько раз под ритмичный всплеск ладоней. Появились музыканты. Заиграли дудки, загремел барабан, зазвучала веселая лезгинка, и даже старики начали хлопать в ладоши. Тогда в круг выскочил молодой солдат, бронзоволицый кахетинец, и прошелся раз и второй, глядя на девушек горячими глазами. Он шел почти не касаясь земли. Черноглазая Тация, раскинув руки, вспорхнула, как птичка, и полетела по кругу. Тогда человек закружился на месте, топнул ногой, и все увидели, как танцуют в веселой Кахетии!

Куридзе заметил в толпе Кверквелия. Они отошли от света на темную дорогу.

— На плотине и на мосту стоят двое... — сказал Таризель. — У погре-

ба с оружием сам Михаил, его сменил Оция. Комиссар лежит в доме у Гвазава. Лошади пасутся на лугу. Солдат положим спать в саду, и, возможно, нужно будет их постеречь. Вахмистра мы накормили и заперли в погреб к Бокучава.

— А сколько оружия? — спросил Куридзе.

— Пятьдесят пять винтовок, три револьвера, пятьдесят шесть сабель, а патронов не счесть.

— Еще шесть ящиков пулеметных... — сказал Куридзе, — и пулемет. Мы к нему как-нибудь станок пристроим.

На следующий день все селение проводило на кладбище убитого шофера, и женщины Сабокучаво поплакали над ним. Тогда же отправились во-свояси вахмистр с комиссаром, не переставшим стонать. Их повез батрак Спиридона Ганарджия. На возу была неприятная поклажа — тело Муцаидзе.

— Нам некуда итти, — сказал уполномоченный от солдат. — Нас всех под суд отдадут, под арест посадят, будем гнить в тюрьме. А если и выпустят, то опять — собачья жизнь. Принимай нас к себе!

Весть об этих событиях взбудоражила Мингрелию. Народ из ближних селений толпами шел в Сабокучаво, чтоб посмотреть на броневик в овраге и на солдат, помогавших строиться погорельцам.

Куридзе понимал, что, когда о всех этих событиях узнают в центре, может повториться история Верхней Осетии, доглы сожженной карательной экспедицией Джугели. Большевики не останутся перед тем, чтобы послать сюда отборные гвардейские войска.

Куридзе решил отправиться в Поти, в партийный комитет: просить совета и указаний. Не мешкая долго, он ночью дошел до станции и, дождавшись товарного поезда, вскочил на платформу, груженную марганцем. Утром, весь черный от марганцевой пыли, он слез с платформы в порту.

Партийный комитет долго обсуждал доклад Куридзе.

Секретарь парткома сказал:

— Я вот что думаю... Большевики могут повторить у нас то, что было в Верхней Осетии. У нас нет оружия, чтобы противодействовать им. Поэтому сделаем так: пусть товарищ Куридзе соберет лучшие силы, на которые может опираться восстание, и выведет их оттуда. Большевики от репрессий воздержатся, им это уже боком выходит, а мы сохраним боевые кадры. В нужное время эти резервы сделают свое дело.

— А куда их вести? — спросил Куридзе.

— А хотя бы маршрутом фронтовиков в восемнадцатом году, — ответил секретарь. — Еще не поздно.

С этим все согласились.

Заночевал Куридзе у своего приятеля Захария Имедашвили. Когда Куридзе уже засыпал на своей кушетке, Захария сказал:

— Слушай, Котэ! Сегодня был у меня интересный разговор.

— С кем?

— С одним купцом. Есть такой, Пачулия... Мне на послезавтра выписывают путевку в Батум. Я там должен взять баржу и привести сюда. Баржа — для Пачулия. Мне велели поставить ее под выгрузку там, где укажет купец, а пустую доставить назад в Батум.

— Так что ж такого?.. — пробормотал Куридзе, погружаясь в сон.

— А вот что такое... — донеслось до него издалека. — Золото...

— Какое золото? — спросил Куридзе, просыпаясь. — В барже золото?

— Я говорю, купец обещал мне золото, если я сделаю ему маленькую услугу. А именно: подойти возможно тише, неслышно взять баржу и не давать гудков. Он обещал всем заплатить золотом.

— Ой, ты, дядя! — сказал Куридзе и сел на кушетке. — Разве ты не понимаешь, что они хотят украсть баржу? С какой стати купец хочет золотом твой гудок заткнуть? Чем гружена баржа?

— Откуда я знаю... — ответил обиженный Захария.

— А где она стоит?

— Раньше была у интендантских пакугазов. Баржа номер семь. Стотонная.

— У интендантских? Ой, Захария!
И — никому ни слова?

— Я сегодня хотел сказать в парткомитете, да потом раздумал; может быть, пустяки какие-нибудь...

— Пустяки? А если эти пустяки окажутся оружием? Оружием, которое нам так нужно?..

— Ну, будут купцу оружие возить!

— Купцы все могут возить.

Куридзе стал одеваться.

— Ой, Захария, старик! Завтра утром пойди к купцу и запроси у него вдвое. Часть денег теперь, часть — после работы. Купец поморщится, можешь уступить сколько-нибудь. Он успокоится. Он, конечно, в сговоре с твоим начальством. А когда пойдешь в рейс, — перед лортом, в открытом море, дай два гудка. Тут мы к тебе и пристроимся. Посмотрим, что у него в барже. Понял, Захария?

— Понять-то понял, но куда ты ночью идешь?

— Диво мне ночью ходить, мой дорогой! Пойду на Капарчу. Там у меня приятели-рыбаки: транспорт нужен! Еще раз говорю: Захария, не промахнись!

— Не промахнусь, будь уверен!

Шаги Куридзе раздались в сенях, скрипнула дверь, и все стихло. Захария долго не мог заснуть, обдумывая, как лучше подойти к купцу. Но сколько он ни думал, все больше убеждался, что надо придерживаться совета Куридзе.

А Куридзе в это время был уже далеко, на окраине города. Вскоре он шел берегом Капарчи. В полночь, взобравшись на пустую платформу, он оставил Поти, потом слез на маленькой станции, шел всю ночь и на заре пришел в Сабокучаво. На восходе солнца Куридзе вышел из Сабокучаво с Оция и группой повстанцев.

★

Симон Гамрекели с приказчиком Геху добрался в Батум на буксире. Пачулия был там со вчерашнего дня. Маленький буксир с погашенными огнями подошел к барже, зацепил ее тросом и

малым ходом пошел прочь. Баржа, с вечера стоявшая без якорей, медленно двинулась за ним. Немного погодя, к буксиру подошла лодка, и Пачулия, кряхтя, перелез через низкий борт. Лодка тотчас исчезла. Постепенно уходили во мрак город с тусклыми огнями, гористый берег, корабли, стоявшие в бухте. Только с французского крейсера на рейде долго и ярко светили им огни, и Пачулия, не отрываясь, смотрел в их сторону. Наконец и эти огни скрылись. Шумел винт за кормой. За буксиром шла баржа, на ней маячила неподвижная фигура Геху. Все в порядке.

— Есть наш бог на небе, Симон! — сказал Пачулия и сел рядом с компаньоном на круг канатов. — Гладко вышли из Батума. Через три-четыре часа будем на месте.

За мачтой темнела неподвижная фигура рулевого матроса. Время от времени он крутил штурвальное колесо, и по барже, в желобах, с глухим клекотом ползли цепи.

Когда обозначился во мраке низкий потийский берег, на буксире зашипел пар и вдруг, оглушая, гулко заревел гудок. У Симона зазвенело в ушах. Пачулия побежал к будке машиниста.

— Эй, ты! — крикнул он, наклоняясь над люком. — Ты что, ошалел?!

— Пару много набралось, — раздался снизу равнодушный голос. — Машина портится.

— Пусть она сгорит, твоя машина! О чем мы договаривались? Спускай свой пар хоть себе за пазуху, чорт! Дурак!

Из люка высунулась голова.

— Ты не кричи на меня, толстобрюхий! — угрожающе сказал Захария. — А то я тебя выкупаю!

Пачулия, отплевываясь, ушел на корму.

— Ой, не нравится мне этот машинист! — сказал он Симону.

Симон молча заерзал на канатах. В пустынном просторе моря он вдруг заметил парусный баркас. Симон застонал и втянул за живот. Пачулия побежал к машинисту.

— Эй, кацо! — крикнул он в люк. — Полный ход!

— Ты что, на лошади едешь?—спросил снизу машинист.— Дал по хвосту и полный ход? Я с грузом иду!

Пачулия вспотел.

Баркас приблизился, идя наперерез курсу буксира. Симон примерз к канатам и тихо скулил. Пачулия бегал по палубе. Баркас обошел буксир у самого его носа, круто повернул и подошел с правого борта. Пачулия увидел с десяток людей с винтовками и без винтовок. Кто-то перескочил с баркаса на буксир.

— Стоп! — крикнул он в люк.— Приехали!

Винт за кормой стих. Тросы ослабели и тяжело упали на воду. Баржа двигалась по инерции. Все это Пачулия видел, как в тумане. Человек подошел к нему.

— Кто здесь хозяин? — спросил он.

— Что за люди? — нашел в себе еще силы Пачулия.— Документы свои покажите...

— Потом! — сказал.— Мы спокойные люди... Так себе, прогулка на яхте с барышнями... А вы что, баржонку свистнули из Батума? Похвально! Чем она нагружена?

Здесь Пачулия показалось, что он понимает, с кем имеет дело.

— Слушай, друг! — сказал Пачулия, поддвигаясь к незнакомцу.— Отступись с третьей части. Тебе—особо... А?

— Если везешь соль, так не беспокойся,— ответил человек.— А если что-нибудь нам подходящее, то придется, купцы, попортить дружбу.

Он крикнул машинисту, чтоб стоял на месте, иначе будет стрелять, и прыгнул в баркас, который тотчас же отошел. Пачулия видел, как люди с баркаса лезли на нее и как по ней метался бедняга Геху. Подул свежий предрасветный ветер, волны плескались о борт, палуба легко колыхалась под ногами. Пачулия закрыл глаза рукой.

— Что делать? — прошептал он.— Что делать?

К буксиру опять подошел баркас. Среди вооруженных сидел Геху.

— Пять человек на буксир!—скомандовал незнакомец.— Эй, купцы, сюда! Сюда, пожалуйста!

— Добрые люди! — уже без всякой

надежды сказал Пачулия, едва не плача.— Отступитесь с половины!

— Не отступимся,— ответил незнакомец.— Слезай, купец. Ты слышишь, что я говорю?! Ребята, помогите купцу!

Пачулия не упирался, когда сильные руки перекатали его через борт и спустили в баркас. Таким же способом пересадили и обомлевшего Симона. Пачулия, как сквозь сон, слышал голоса, плеск воды,— его охватила слабость. У борта со всех сторон появились другие баркасы.

Перед купцами на скамейке сидели два молчаливых вооруженных человека. Они выглядели страшно—усатые, суровые. Симон неумолчно хныкал. Ему стало плохо.

— Куда вы нас везете? — спросил Пачулия.

Усатые молча взглянули на него и не ответили.

«Выкуп,— подумал Пачулия.— Оберут до нитки».

Но выкупа никто не потребовал. Пачулия, Симона и Геху высадили на пустом, заросшем колючими, низкими кустами берегу. Саженой двадцать им пришлось пройти по холодной воде. Начинался рассвет. Море угрюмо и монотонно шумело. Пачулия побрел сквозь кусты, сам не зная куда; Геху пошел за ним. Сзади, шатаясь, плелся Симон.

— Соломо! — захныкал он, отойдя с версту.— Нужно селение поискать, нанять подводу, в город ехать. Может быть, что-нибудь еще спасем. Горе мне!

Пачулия остановился и со злобной улыбочкой взглянул на него.

— Ты совсем рехнулся, Симон!—сказал он, кривя губы.—Куда ты пойдешь? Хочешь, чтоб из тебя последнее вытянули?

— А кто вытянул? — вдруг закричал Симон.— Ты и вытянул, толстый боров, собака!

Пачулия, не владея собой, подошел и толкнул его в грудь. Симон упал на землю и завыл. Пачулия поморщился и часто махая рукой, быстро пошел прочь. За ним зашагал Геху. Они отошли далеко и остановились, поджидая Симона, который долго еще катался по

земле и ревел без слов. Так оплакивала жадная душа Симона замшевые мешочки из Русско-Азиатского банка.

В полдень буксир приволок в потийский порт пустую баржу номер семь. Машинист Захария Имедашвили, он же и капитан, доложил портовому начальству, что какие-то люди напали ночью на буксир, ссадили купцов, загнали команду в числе трех человек в машинное отделение. Один из напавших стал за штурвал и приказал ему, машинисту, итти полным ходом. Баржу выгрузили где-то далеко не то у берега, не то в открытом море. Больше они ничего не знают. Команду отпустили, но машинист был уволен с работы.

На этом и кончилась история с баржой.

В селениях читали воззвание штаба революционных повстанцев имени Джапаридзе:

«Наступает срок! Довольно помещикам сидеть на мужичьей шее. Мы призываем в свои ряды тех, кто готов вступить в бой за власть рабочих и крестьян. Товарищи новобранцы! Идите и вы к нам! Мы победим под стягом большевистской партии. Мы прогоним кровососов с нашей земли, и под ярким солнцем новой весны свободно вздохнет народ. Да здравствует советская власть!».

На следующий день более тридцати человек явилось в Сабокучаво. Через несколько дней большой отряд двинулся в дальнюю дорогу, через горы, к линии расного фронта.

Наступал срок. Приближалась зима. Большевик Константин Куридзе вел свой отряд потайными горными тропинками. Трудная дорога!.. Но люди были одеты в новые шинели, имели ватные куртки, хорошие сапоги, никто не отстал и не заболел за весь этот тяжелый поход.

Наступал срок...

У

Приближалась развязка... Вслед за Азербайджаном подняла флаг советской власти Армения. Большевики встали

лицом к лицу с грозной опасностью. Вся страна дышала, как вулкан. Ни террор, ни красноречивые уговоры не помогали. «Ноев ковчег» неустойчиво несло на грозные скалы.

В начале плавания «ноева ковчега» Андрей Михайлович был равнодушен к пышным праздникам меньшевистской власти.

Теперь же он с радостью чувствовал конец авантюры. Он видел, как мечется меньшевистское правительство в поисках новых друзей. Друзья находились. В октябре в Тифлис приехал «верховный комиссар Франции и Грузии» — Шевалье, а в Батум — французский адмирал Дюамениль. Пока господин Шевалье дипломатничал с меньшевиками, адмирал Дюамениль отправлял во Францию, с ведома и согласия меньшевистского правительства, захваченные российские суда. Большевики свели на-нет свои обязательства перед Советской Россией в надежде, что их примет под крылышко Антанта. Они не пропускали в Советскую Армению поездов с хлебом, шедших из РСФСР в Азербайджан. Господин Шевалье говорил о том, что Грузия «нужна Европе, как большой и естественный путь на Восток», и неясно намекал на то, что меньшевиков, возможно, поддержат. Возникли проекты о занятии Батума Англией под видом долгосрочной аренды. Много надежд возлагалось на французскую эскадру в Черном море и на то, что дашнаки свергнут советскую власть в Армении..

Шныряли шпики. Из переполненных центральных тюрем наиболее опасных для меньшевиков людей пересылали в застенки Западной Грузии, целыми эшелонами высылали в Азербайджан.

Старый рабочий был двадцать лет меньшевиком. На собрании во время выборов в ноябре, он подал свой голос за коммунистов, а когда меньшевистские лидеры спросили у него, почему он так делает, он распахнул свой пиджак: «Вы видите, до чего я дошел?..». Пиджак был надет на голое тело. Образ этого обманутого рабочего говорил о многом. Это был голос катастрофы, от которой не могли уже спастись меньшевики.

Гневом дышали улицы городов, грозно гудели селения...

Миновали первые месяцы зимы. Уже дыхание весны чувствовалось в воздухе, хотя все еще кружила над горами снежная метель. В эту предвесеннюю пору события захватили и Андрея Михайловича.

Однажды тетка Елена вошла в его комнату, держа в руках маленькую карточку и удивленно рассматривая ее.

Андрей Михайлович взял карточку.

«Леон Рубо, коммерсант» — было написано каллиграфическим шрифтом на французском языке.

Андрей Михайлович улыбнулся и вышел из комнаты. Посреди кухни стоял хорошо одетый человек: светлые пушистые усы, кудрявые волосы, моложавое лицо и голубые глаза. Он поклонился.

— Пожалуйста! — сказал Андрей Михайлович. — Прошу вас!

Коммерсант вошел в комнату, Андрей Михайлович пригласил его сесть.

— Я пришел к вам по поручению нашей фирмы, — на хорошем французском языке сказал гость. — Мы интересуемся культурой цитрусов и еще некоторыми растениями, скажем — рами. Знаете? Китайская крапива. Весьма ценное растение. Замечательные ткани. Фирма поручила мне подыскать в Грузии нужные площади. Я остановился на некоторых пунктах западного побережья. Весьма благоприятный климат, нормальные осадки, высококачественная почва. Но часть этих площадей заболочена. Мы можем взять концессию. Шефы посоветовали мне найти специалиста для консультации и организации работ и указали на вас. Нам известно, что вы разрабатываете проект осушения Колхиды, этой легендарной страны.

Гость помолчал, осматривая тесное помещение инженера. Он сделал сочувственную мину, когда заметил под диваном у печки охапку дров. В Тифлисе — кризис с топливом, и, наверно, инженеру приходится нелегко. Неспеша он перевел взгляд на Андрея Михайловича и улыбнулся.

— Условия наши: оплата по соглашению, и, кроме того, вам будет выдан пакет акций. Я жду вашего слова, мсье.

— Я не согласен, — ответил Андрей Михайлович. — У меня другие цели.

— Может быть, они отвечают интересам фирмы?

— К сожалению, они не отвечают интересам фирмы, — ответил Андрей Михайлович и встал.

Француз тоже поднялся.

— Жаль, — сказал он тихо. — Мы не рассчитывали, что вы откажетесь!

Андрей Михайлович проводил его до порога, а потом долго ходил по комнате раздраженный.

Поздно вечером зашел Виссарион.

— Я на одну минутку, Андрей Михайлович, — сказал он сразу же, как вошел. — Пришла пора нам расстаться.

— Почему? — обеспокоенно спросил инженер, вставая. — Уезжаете? Надолго?

— Через час, не позже. А надолго ли, — кто знает!

Они некоторое время сидели молча. Была какая-то неловкость. Виссарион хотел начать разговор, но ничего не выходило. Он думал только о важном поручении, с которым выезжал из Тифлиса. Андрей Михайлович молча смотрел на него через очки.

«Когда он в очках, он кажется очень старым...» — подумал Виссарион и тут увидел на столе визитную карточку французца. Он взял ее и стал рассматривать.

Андрей Михайлович коротко рассказал о французе и его предложении. Виссарион выслушал его и положил карточку на стол.

— Светлые волосы, говорите? — спросил он. — Среднего роста? И пышные усы? Ну, вот... Он такой же француз, как мы с вами греки... Это шпик, Андрей Михайлович!

— Что вы!.. — Андрей Михайлович развел руками.

— Шпик, — убежденно сказал Виссарион. — Высшего класса. Он может быть и французом, и англичанином, и чортом из самого ада. Он раньше служил в полиции в Петербурге. Вот кто такой ваш гость, Андрей Михайлович.

Виссарион встал.

— Мне нужно идти, — сказал он. — Я не оставил бы вас одного, но у меня важное партийное поручение, Андрей

Михайлович! Вы пошли с нами,—идите до конца. Мы еще увидим с вами новую Колхиду! Если же я не останусь в живых, не забывайте, что мы вдвоем с вами о ней мечтали.

Андрей Михайлович встал, хотел что-то сказать, но губы у него задрожали, и он, подавая руку, отвернул лицо.

— Счастливо...— сказал он.— Счастливо...

Дойдя до порога, Виссарион остановился.

— Слушайте, — тихо сказал он. — Если у вас есть что-нибудь такое... к чему они могут придраться,— сожгите либо выбросьте вон. Не спрашивайте, приходил. Прощайте, Андрей Михайлович.

Виссарион вышел. Инженер стоял, нагнувшись над столом, и комкал в руках обрывок бумаги. Так стоял он долго, потом сказал вслух:

— Далека дорога в Колхиду... Ох, далека, Виссарион, друг мой!..

Утром Андрея Михайловича арестовали. Весь день его держали в комиссариате, за деревянной перегородкой, в большом, задымленном зале, переполненном арестованными. Вечером его вызвали на третий этаж. За столом сидел носатый человек с очень длинной шеей.

— Фамилия, имя, звание... ну, профессия,—сказал он и вобрал свою длинную шею в узкий воротник. Андрей Михайлович ответил. Чиновник подбежал и положил перед начальством бумажку.

— Высылаются из Грузии в административном порядке,—сказал полицейский чиновник через нос и подписал бумажку.— Все.

— Можно узнать, на каком основании? — спокойно спросил Андрей Михайлович.

— На общих. В двадцать четыре часа.

— Простите, в чем моя вина?

— Вы прятали у себя государственного преступника, и, благодаря вам, он избежал того, что заслужил. Это доказано.

— Я и не отрицаю. Я не считаю этого человека преступником.

— Вот именно потому вас и высылают. Следующий!

Тут только важный чин поднял на Андрея Михайловича свои тусклые глаза.

— Не надейтесь,—сказал он, и складка на его щеке вздрогнула, означая улыбку.— С конфискацией имущества! Я забыл вам сказать.

Андрей Михайлович взволновался.

— Слушайте! — сказал он и сделал шаг к столу.— Там мои бумаги, работа!.. Материалы, которые я собирал много лет!

— Ваша работа, насколько мне известно, касается территории Грузии,—холодно сказал чин.— Здесь мы — хозяева. Следующий!

В сумерках Андрея Михайловича вели вдоль товарного эшелона, окруженного стражей. Потом его втолкнули в темную теплушку, набитую людьми. Андрей Михайлович нащупал в темноте необструганную доску. Дверь закрыли. В вагоне стало совершенно темно. Через некоторое время поезд тронулся.

Андрей Михайлович тяжело молчал. Он думал о своей, зря пропавшей, работе, вспоминал Гогиберидзе, Виссариона, тетку Елену, которая, ломая руки, выбежала во двор, когда его уводили; вспомнил свою тесную комнатку, тихие минуты раздумий... Тяжело было на сердце.

Эшелон шел более суток. К Пойлинскому пограничному мосту прибыли на рассвете. Когда отодвинулась дверь, люди с радостью увидели горы, светлую ленту зари, покрытую туманами бурливую Куру. Выйдя из вагона, Андрей Михайлович жадно вдохнул свежий воздух. Неожиданно он увидел Гогиберидзе, стоявшего на краю насыпи.

«Он ехал в другом вагоне» — подумал Андрей Михайлович, радуясь и удивляясь тому, что и это испытание пришлось им пройти вместе. Обрадовался и Гогиберидзе.

— Ба! Андрей! — закричал он и пошел навстречу.— Попался, разбойник, в руки судей, и вырвали свиноего еодце из груди... Отчего ты мрачный? Это ненадолго! За каких-нибудь два месяца с нимч будет кончено.

Долго разговаривать им не пришлось. После перекички высылаемых постави-

ли по четыре в ряд, и Гогиберидзе очутился впереди Андрея Михайловича. Потом их развели по группам, и они долго ждали перед каким-то баракком. Взошло солнце и спряталось в светлую тучу, неподвижно стоявшую на горизонте. Дул холодный ветер. Андрей Михайлович заметил на маленьком кусте алычи светлозеленые почки: развивались первые листочки. Наступала весна. Многие смотрели на тот берег Курры. Там, как и здесь, высились серые взгорья, насыпь шла от моста прямо вверх, а вдали видны были крыши станции Пойлы.

Наконец скомандовали итти первой группе, в которой был Андрей Михайлович. Уходя, он поискал глазами Гогиберидзе и не нашел. Шли широкой тропинкой вдоль полотна железной дороги и вскоре подошли к мосту. Полноводная Кура бушевала внизу. На середине моста офицерик забежал вперед и, кланяясь, показывая рукой на тот берег реки, с иронией, на какую только был способен, пожелал всего хорошего.

На том конце моста, в самом его начале, стояли двое: командир в коротком полушубке и красноармеец в длинной шинели.

★

С Гогиберидзе Андрей Михайлович встретился вечером, когда кончились все формальности. Оказалось, что поезд придет только утром, так как река где-то размыва насыпь. Друзья направились по тропинке за стационарный поселок. Вечер был тихий, прохладный. Редкие тучи плыли невысоко над землей.

Гогиберидзе сказал:

— Не знаю, что чувствуешь ты, Андрей, но мне чрезвычайно горько. Обидно, что выгнали из Грузии. Знаю: выгнали мерзавцы, которых ненавидит народ, знаю, что я не сделал ничего против народа, за который готов умереть, и все же очень обидно и грустно...

Гогиберидзе не договорил. Столб огня вдруг поднялся над поселком, освещая горы и тучи. Страшный взрыв потряс воздух, задрожала земля, тяжело

вздохнули горы и, падая во мрак, несказанной силы грохот обвалился на землю.

— Идем! — сказал Гогиберидзе. — Взорвали мост.

Они быстро сошли к поселку. Догадка Гогиберидзе подтвердилась; взорвали Пойлинский мост, но, кто это сделал, было неизвестно.

— Знаешь, нам не стоит ехать в Баку, — сказал Гогиберидзе. — Мы поедem, вероятно, в Тифлис.

Ночь прошла тревожно. Всюду стояли патрули, в темноте разносились слова команды и топот проходивших красноармейцев. Утром специально посланный красноармеец пригласил инженеров на чай. На огородах стояли походные кухни. Красноармейцы были гостеприимны и приветливы. Стало известно, что мост взорвали меньшевики: в Грузии поднялось восстание. Большевики выслали свои надежные войска. Гвардейцы сжигают селения, расстреливают крестьян, но уезды восстают один за другим. Коммунистическая партия Грузии руководит восстанием. Повстанцы обратились к Красной армии с просьбой помочь им в борьбе, так как могут вмешаться союзники меньшевиков — войска Антанты — и утопить восстание в крови. Большевики стягивают силы в район восстания. Идут жестокие бои. Возможно, уже сегодня восстали города, а рабочие Тифлиса дерутся на баррикадах.

Гогиберидзе смотрел на дальние взгорья за Курой, в раскрытых глазах стояли слезы. Его взволнованность передалась Андрею Михайловичу.

Вечером пришел первый воинский эшелон. Красноармейцы разместились за станцией. Вторую ночь Андрей Михайлович и Гогиберидзе без сна просидели на соломе, прислушиваясь к тому, как войска проходили по улице, а потом, тяжело грохоча, пронеслась через поселок артиллерия.

— Красная армия! — сказал Гогиберидзе. — Теперь меньшевикам крышка...

На рассвете они заснули, но не надолго: на том берегу застучал пулемет, пачками рвались винтовочные выстре-

лы. Гогиберидзе выбежал из-под навеса, за ним — Андрей Михайлович. Утренний туман окутывал Куру и взгорье. Над берегом виднелись темные нагромождения. Стрельба прекратилась. За поселком двигались в тумане фигуры красноармейцев: они шли цепью, один за другим, исчезая за пригорком.

На станции они узнали, что Красная армия и партизанские отряды идут на помощь повстанцам, что скоро начнутся работы по восстановлению Пойлинского моста, что красноармейцы заняли позиции над рекой. Говорили, что из Баку приезжает представитель ЦК партии большевиков — Серго Орджоникидзе, который возглавляет военные операции.

— Ну, теперь у меня будет, что делать... — обрадованно сказал Гогиберидзе.

В полдень прибыли саперы. Потом, один за другим, подошли два бронепоезда и остановились за станцией. Войска прибывали всю ночь, а утром разнеслись слухи, что Серго Орджоникидзе и штаб уже здесь и вскоре начнутся работы. Гогиберидзе пошел посмотреть на мост. Андрей Михайлович остался на станции. Он присел на скамейку, под забором. У него сильно болела голова. Мимо пронеслась дрезина с военными. Везде было много народу, стоял несмолкаемый шум, грохали колеса повозок и артиллерии. Где-то за станцией выгружались войска.

Гогиберидзе пришел озабоченный.

— Неудача! — сказал он. — Орджоникидзе только-что осмотрел мост и уехал назад на дрезине. Придется итти к нему в вагон, может быть, будет занят, не примет. Вагон, говорят, где-то за станцией. Жалко, я мог бы с ним там, на мосту, поговорить... А мост разнесли, как следует! Взрывать-то они, оказывается, умеют...

На запасном пути, вдоль состава, прохаживаясь, разговаривали двое в длинных шинелях. У вагона стоял часовой. Гогиберидзе спросил у него, где найти Орджоникидзе. Часовой показал на людей, ходивших по шпалам.

— Вон товарищ Орджоникидзе. Если

по важному делу, то можете итти, а нет, — подождите. Он говорит с начальником штаба.

Гогиберидзе решил подождать. Военные повернулись и пошли назад. Один из них снял шапку, и ветер растрепал пышные, темные волосы.

— Который без шапки, — товарищ Орджоникидзе, — сказал часовой.

Орджоникидзе шел, наклонив голову. Одной рукой он держался за борт шинели, в другой нес фуражку. Начальник штаба что-то доказывал ему, оживленно подкрепляя свои слова жестами. Когда они подошли, Гогиберидзе поклонился, назвал свою фамилию и сказал, что выслан меньшевиками из Грузии, что он инженер-мостовик и предлагает свои услуги, если они нужны.

— За что выслали? — спросил Орджоникидзе.

— За то, что мы с приятелем прятали человека, убежавшего из-под растрела. Он был большевиком.

— Что ж, его захватили?

— Нет, товарищ Орджоникидзе... — ответил инженер. — Мы все-таки спасли его.

Орджоникидзе весело улыбнулся. В уголках глаз появились морщинки, и оттого его глаза стали необычайно добрыми. Небольшие черные усики вздрогнули, верхняя губа насмешливо приподнялась, и свежо блеснул ряд белых, чистых зубов.

— Ага! — сказал Орджоникидзе. — Вы провели их, а не они вас!

— Провели, товарищ Орджоникидзе! — засмеялся инженер, чувствуя себя хорошо и просто в присутствии полковода, который недавно взял Баку, а теперь вел грозные войска на грузинскую контрреволюцию.

— Что же касается моих знаний и опыта, — добавил Гогиберидзе, — то, по мнению многих, я не хуже своих собратьев. Пятнадцать лет назад я с золотой медалью окончил инженерное училище в Париже, потом работал за границей и в России.

— Как вы думаете, сколько времени нужно, чтобы восстановить мост? — спросил Орджоникидзе.

— Я осмотрел мост, — ответил Гогиберидзе, — по моему мнению, минимум четыре дня, максимум — шесть. При очень интенсивной работе.

— Вот это лучше всякой медали, — сказал Орджоникидзе. — Теперь видно, что вы действительно инженер. А знаете, меньшевики рассчитывают, что мы задержимся здесь на семь-восемь недель...

— Мы их приятно удивим! — ответил инженер. — Мы поставим мост в четыре дня.

— Идите к начальнику работ, — сказал Орджоникидзе. — Мы его уведомим. И работайте! Помните, что мост для нас — это все! — Он подал руку. — До свиданья!.. Желаю успеха.

Отойдя, инженер оглянулся. Серго Орджоникидзе поднимался по ступенькам в вагон.

Он быстро пошел к станции и до той минуты, когда первый бронепоезд вошел на мост, работал, не покладая рук, не давая себе отдыха.

Когда отряд Куридзе прибыл на станцию Пойла, заканчивались работы на мосту. Отряд построился и спешным маршем пошел к реке. Вблизи моста стояли бронепоезда. Жерла их пушек были наведены на тот берег. Выходило солнце. Большевистская батарея и их бронепоезд из-за горы обстреливали мост и станцию. Стреляли плохо: снаряды рвались на каменистых берегах, по обеим сторонам моста. Изредка им отвечали пушки с этого берега, и тогда на некоторое время канонада стихала. Бой еще не начинался. Большевики, оголившие Пойлинский участок в надежде, что мост будет отремонтироваться не менее двух месяцев, теперь стянули свои силы.

Отряд Куридзе обошел бронепоезда. Первым стоял «Шаумян Джапаридзе».

— Снова я встретился с другом своим, — сказал взволнованно Куридзе, показывая Кверквелия на бронепоезд. — Он умер, но живет его имя, и сам я с этим именем иду в бой. Так покажем же сегодня, Тариэль, нашим врагам и силу нашу, и отвагу!

Куридзе скомандовал отряду рассы-

паться. Они залегли в неглубоком, наспех вырытом окопе. Справа и слева лежали красноармейцы. Куридзе оглядел своих. Рядом был Тариэль Кверквелия, за ним Михаил Ганарджия, Оция, старый Митрофан Бокучава, Михаил Коркия.

Взошло солнце. Ветер сгонял последние клочки туманов. Холодная роса блестела на камнях и кустах. Где-то высоко в небе звенел самолет. Вражеская батарея за горой была, не стихая, снаряды начали рваться недалеко от окопов. Огонь первой батареи поддерживали бронепоезд и еще две батареи. Взлетали вверх земля, осколки камней, где-то застал раненый. Тогда загремела артиллерия с этого берега. Оглушая всех, ударили пушки «Шаумяна Джапаридзе», и все увидели, как тронулся с места бронепоезд и пошел вниз, к мосту.

— Серго!.. Серго Орджоникидзе!.. — пронеслось в цепи красноармейцев.

Куридзе оглянулся. На пригорке стояла группа военных. Впереди них — человек в длинной шинели. Он смотрел в бинокль на тот берег. Ветер откинул полы его шинели, из-под фуражки высовывались темные волосы.

«Вот он, Серго! — подумал Куридзе и увидел, как Орджоникидзе сделал рукой жест. Тотчас же раздалась команда. Еще раз прогремели пушки «Шаумяна Джапаридзе». Бронепоезд взшел на мост. Вслед за ним двинулся второй — «Гром».

Куридзе и партизаны встали с суровыми, просветленными лицами. Грузия, родина, была перед ними, за этим взгорьем. Она звала своих сынов в трудный час борьбы, омытая кровью, охваченная пожарами...

★

В ночь с 11 на 12 февраля 1921 года началось восстание в Борчалинском уезде. 16 февраля коммунистическая партия Грузии организовала в городе Шулавери, того же Борчалинского уезда, революционный комитет. Через несколько дней восстание охватило города и села Грузии. Войска меньшеви-

ков полками сдавались в плен, и только — меньшевистский оплот — «народно-гвардейцы» свирепо обороняли подступы к Тифлису.

Горячо встречаемая населением городов и сел, шла им на помощь Красная армия. В Тифлисе на вокзале толпился удиравшая буржуазия. Гремели пушки на Коджорских высотах. «Патриоты» лезли в поезда, давя друг друга, стремясь вывезти награбленное. Последний поезд с убогавшими ушел под утро 25 февраля. В просторных залах тифлисского вокзала остались горы всевозможных вещей, которых не могли захватить с собой беглецы. На рассвете передовые отряды Красной армии заняли последнюю станцию перед Тифлисом — Навтлуг. Их встретили делегации рабочих с красными флагами. «Народно-гвардейцы» спешно отходили на Батум. Туда же мчались груженные буржуазией и ее пожитками поезда. С этим сбродом удирали Ной Жордания и его оруженосцы. В Батуме их ждал итальянский крейсер.

25 февраля 1921 года Красная армия вошла в Тифлис. Пешие отряды двигались по улицам, окруженные радостными толпами. Люди снимали с плеч красноармейцев походные мешки и бережно несли их на руках. Играли оркестры, развевались красные флаги. Люди пели, плакали, обнимались, поздравляли друг друга, кричали «ура» и «ваша».

Это был радостный день.

В этот день вышел из Метехского замка Элия Бокучава, в этот день Виссарион Коркия встретился с Тариэлем Кверквелия, а обрадованная тетка Елена снова увидела Андрея Михайловича и Гогиберидзе. Это был радостный день для многих героев этой хроники и для всего трудового народа Грузии.

Радость многих тысяч людей, биение их взволнованных сердец, безграничное ликование народа выразила телеграмма Серго Орджоникидзе, посланная в Москву, в Кремль.

«Витают над Тифлисом красный флаг советской власти. Да здравствует Советская Грузия!».

Июль 1936 г.—февраль 1938 г. Минск.

Рассказы о военных топографах

КИРИЛЛ ЛЕВИН

ГОРНЫЕ БУДНИ

На вокзал меня провожают жена и сынишка. Жорке семь лет. Он уже привык к моим летним путешествиям и, когда в прошлом году я задержался на камеральных работах, спросил меня с искренним удивлением:

— Что же ты, папа-топограф, ленишься у меня? Разве все труды сделал?

Папа-топограф — это ласкательное прозвище. Так он называет меня, когда хочет подчеркнуть свою любовь. На вокзале он не отходит от меня и даже не требует, как всегда, чтобы его повели осматривать паровоз. Он залезает в купе и заботливо щупает мое сиденье — достаточно ли оно мягкое. После второго звонка глаза у него затуманиваются, и он тихо шепчет:

— Ну, езжай, папа-топограф. Опять редко писать будешь? Я уж знаю.

Да, Жорка все знает. Из глуши, откуда не только до железной дороги, до ближайшего селения надо пробираться десятки километров, не очень распишешься. Достанешь на привале у костра карточку с его милой рожицей и подолгу смотришь на нее. Представишь себе его, жену, всю маленькую мою семейную пристань, и чувствуешь себя так, точно получил из дому письмо.

И вот, поезд движется, жена и Жорка, ускоряя шаг, идут по перрону и машут мне руками. Прощайте до осени! А сейчас только конец апреля.

Ехать по железной дороге приятно. Присматриваюсь к соседям. Слежу за

пейзажем и при этом по привычке отмечаю ориентиры, мысленно произвожу съемку.

На третьи сутки я на месте. Являюсь к командиру топографического отряда, начальнику района работ. Полковник Папашвили уже не молодой человек, с живыми глазами на узком смуглом лице, с седыми висками. Он крепко жмет мою руку, бегло спрашивает, как я доехал, и сейчас же осведомляет меня, какие пункты мне придется наблюдать и когда надо выехать на место работ.

— На плане легко, на месте трудно, — улыбаясь, говорит он, — наши горы не любят шуток. Хорошо подготовиться значит сделать половину работы. Впрочем, я сам все проверю. Обедаете у меня.

За обедом он шутил, рассказывал о гражданской войне в горах и, между прочим, сказал, что придет опытного альпиниста, который даст мне нужную консультацию. Из нашего разговора я понял, что Папашвили долго вынашивал и разрабатывал план наших работ. Моя наблюдательная партия должна выехать через два дня. За это время мы должны принять и проверить все снаряжение, все инструменты, все подготовить к экспедиции. Работа так засосала меня, что я не мог отправить домой очередное письмо. На мгновение представил себе укоризненное личико Жорки (...опять будешь редко писать..) и сейчас же забыл о нем. За две ночи спал

только три часа, но зато утром третьего дня все было готово.

В моей команде представители шести национальностей. Некоторые совсем плохо знают русский язык. Это увеличивает работу с ними, придется чаще проводить занятия по политучебе, по выработке у бойцов сознательного отношения к армейской дисциплине. Прибыв на базу, мы приступили к занятиям. Надо было создать хороших гелиотропистов — податчиков световых сигналов на наблюдаемые пункты. Двое оказались очень способными, и я решил, что они будут моими основными работниками на гелиотропе. Сначала я знакомил ребят с устройством гелиотропа и техникой подачи света. Потом перешел на учебный полигон, и занялись изучением кода. Каждый получил экземпляр кода на своем родном языке. Мои красноармейцы старались изо всех сил. У нас наладились хорошие отношения, — главное, не было между нами никакой отчужденности. Они приветливо на меня смотрели, и я понемногу научался понимать их. Горячев, один из моих товарищей, служивший в царской армии, рассказывал мне, как угнетали там националов, как не позволяли обучать их на родном языке. Я невольно вспоминал его рассказы, занимаясь с красноармейцами. Врач осмотрел нас, выясняя способность каждого переносить трудную жизнь в горах. Между тем тренировка моих гелиотропистов была закончена, все они были разбиты на группы. Старшими я назначал людей, лучше других усвоивших технику работы на гелиотропе. Они должны быть и инструкторами, обучать отстающих.

В последний раз проверяю громоздкое наше снаряжение. Тут и обычное красноармейское обмундирование, и теплое белье, и шерстяные перчатки, и ватные телогрейки, и спальные мешки — словом, все необходимое для долгого пребывания в горах. Кроме этих вещей, надо было принять продовольствие, а также инструменты.

Только в середине мая попали мы в горы. Вьючные лошади и ишаки потащили наше имущество. Здесь не место рассказывать, как трудно перевозить

точные инструменты в горах. Они не переносят ни тряски, ни толчков. И вот эти вещи, более хрупкие и нежные, чем грудные дети, начали труднейшее путешествие по извилистым горным тропинкам, по узеньким карнизам над пропастями.

И вот наконец мы на месте. Хочу скорее начать работы — и не могу. Соседняя наблюдательная партия, с которой тесно связана моя работа, еще не закончила постройку пункта и, следовательно, не может мне сигнализировать. В установленные сроки подаю гелиотропом сигналы на другой пункт к северу и, хотя видимость превосходна, не получаю ответа. Пока упорно отыскиваю нужные нам направления, стараюсь обнаружить вежи и тур, который уже должны были построить мои соседи, и не могу их отыскать.

Волноваться нельзя, да и не стоит. Знаю, что скоро все наладится, что с соседями установлю связь, и все пойдет хорошо. Но пока у нас самые трудные дни. Примерно, такие дни бывают на пуске больших предприятий: все как будто налажено, в новеньких цехах ждут готовые машины и станки, а начинать работу нельзя — мешают какие-то досаднейшие пустяки. Начинаю справляться по карте. Надо выяснить положение промежуточного пункта и, стало быть, установить на нем вежу с флагом, обеспечить оттуда подачу световых сигналов. Туда пойдет Саваджиев, мой старший гелиотропист, а сам я подымусь на гору Жепиху, чтобы оттуда установить световую связь с другими пунктами.

Наш путь лежит через два селения, а затем через глухие горы. Лошадь под пятипудовым вьюком идет хорошо, берет крутые под'емы. Погода свежая, мы еще полны нерастроченных сил и чувствуем себя прекрасно. Проводник уверяет, что на нашу гору может проехать даже арба, но вскоре мы убеждаемся, что он великий фантазер. Тропа, ведущая на вершину, суживается до таких размеров, что наша лошадь скребет правым вьюком скалу, а левый вьюк висит над обрывом. Проводник невозмутим. Когда я замечаю ему, что тут

и лошадь проходит с трудом, он с веселым пренебрежением оглядывает меня.

— Видал в Сванетии? — сказал он, — там тропинка только боком пройдешь, а теперь автомобиль ходит. Почему же у нас автомобиль не пойдет? Большевик-совет скажет — и пойдет. Понял теперь?

Конечно, я понял. Приятно слышать, что этот простой сын гор так непоколебимо уверен в силе нашей власти.

Жепиха полностью оправдала мои надежды. В бинокль я легко отыскал наш промежуточный пункт — самый высокий из окружающих гор — и на нем веху с флагом. Значит, Саваджиев уже выполнил задание — молодец! Я запел от радости — первая часть задачи была решена. Теперь надо доставить наш универсал на гору Штавлер, самую трудную и опасную по под'ему, и там, на высоте четырех тысяч метров, построить тур для наблюдений.

Жажда работы охватывает меня. В тот же день мы уходим с Жепихи и лишь на полчаса задерживаемся в селе. Мне надо скорее на соседнюю гору — она высотой в две тысячи шестьсот метров — для того, чтобы установить сектор видимости с нее. Эта гора выше и недоступнее Жепихи. На вершину не доставить инструменты व्यюком. Под'емы трудны, несколько раз нам приходится пробираться над обрывами по карнизу не более полуметра ширины. Облака стали сгущаться, закрыли вершину. А до нее осталось всего каких-то триста метров. В досаде смотрел я вверх, ожидая, что облака рассеются. Проводник покачал головой.

— Сегодня не жди, — спокойно сказал он, глядя на гору, — ночь переночуют тучи на горе, утром уйдут.

Пришлось и нам ночевать. Спустились вниз и развели в лесу костер. Вскрыли банки с консервами, сварили вкусный суп. Я вспомнил тайгу и порадовался здешним условиям работы. Там бы нас заел гнус — мелкая мошка, а тут — благодать. Проводник посидел у огня, куря трубку, потом завернулся в бурку и уснул. Горная ночь была тиха. Ярко и выпукло горели вверх звезды. Лишь

изредка потрескивало дерево, да издали-ка донеслось к нам мяуканье. Здесь водились дикие кошки, — проводник подтвердил это.

Утром облака уплыли с вершины. Я весело подымался по трудной тропе. От далеких скал медленно отрывались беленькие, с розовым отблеском тучки. Было очень красиво: точно парусные яхты отплывали из заливов. На вершине сильный ветер едва не сбил нас с ног: укрыться было негде, и я с трудом произвел свои наблюдения. Опять набежали облака, и более трех часов я терпеливо ожидал минуты, когда можно будет в просветы между облаков увидеть нужные мне вершины. Во всяком случае, положение казалось достаточно ясным. Группа гелиотропистов, по моему приказу, отправилась на вершину Жепихи. Через три дня они уже были на месте и подали свет для наблюдений на вершину горы Шетал. Близость моря мешала нам. Влажный морской воздух образовывал плотные облака, закрывавшие горы. Наблюдать можно было только урывками. Ночью погода бывала лучше. И мы проводили ночи на вершинах, принимая с соседних пунктов узкие, яркие снопики лучей, посылаемые нам гелиотропами. Звезды сверкали в темном небе, смутно проступали контуры соседних гор, а мы спокойно работали при свете наших верных фонариков — «летучих мышей».

В одну такую ночь, спускаясь к нашей палатке, расположенной метров на пятьсот ниже вершины, я заблудился. Я помнил, что возле большого камня, похожего на голову собаки, надо взять вправо, прошел немного и вдруг почувствовал странное беспокойство. Мне показалось, что в двух шагах от меня пропасть. Ночь была черна, слабое мерцание звезд не проникало ко мне. Я нащупал спички, зажег две сразу, осторожно шагнул вперед. Передо мной, действительно, зиял обрыв, глубину которого невозможно было определить. Я попятился, начал забирать вправо. Вдруг какое-то существо метнулось от меня, мелкие камни посыпались за ним. Я удивился, что животные водятся на такой высоте. Ориентируясь по накло-

ну местности, я через час добрался до палатки. На следующий день я проходил мимо своего «обрыва» и в досаде выругался. Вместо обрыва было простое понижение тропинки глубиной около метра.

Окрестные вершины понемногу наблюдались нами, связь с соседней партией была установлена. В солнечные дни работали под зонтом, не пропускавшим солнечных лучей. Когда работа наладилась и все мы были счастливы, вдруг пошли проливные дожди. Мы сидели, как суслики, в своей палатке и угрюмо поглядывали вокруг. Плотные и непроницаемые облака закрывали горы. О наблюдениях нечего было и думать, и я проводил беседы с красноармейцами. Среди них было два осетина, один грузин, один балкарец, один украинец и один русский. Этот маленький интернационал жил товарищески-дружно. В своем бытовом дневнике я отвел ему большую запись.

Жизнь наша была далеко не легкая. Нам приходилось терпеть лишения, часто мы подвергались опасностям, которые нередки в высоких горах. И вот в таких условиях мое «содружество народов», как я называл свою группу, ни разу между собой не ссорилось. Вечерами в палатке пели песни на разных языках — от русских до осетинских и балкарских. Бойцы учились русскому языку, я учился у них наиболее употребительным словам их языков. Однажды мы спели «Интернационал» — каждый по-своему. Пели в дождь, в маленькой палатке, заброшенной в горах, где было тесно и нельзя стоять во весь рост. Но никогда наш боевой гимн не производил на меня такого мощного впечатления. Точно впервые почувствовал я настоящую силу и значение этих слов, этой музыки, к которым мы так привыкли.

Дождь прекратился, и мы могли закончить наши работы. Надо было перебраться на новые места. По горной тропе двинулся наш маленький караван. Предстояло перевалить через Апшара — гору, которая считается опасной. Снега уже не было на перевале, но грозил камнепад, очень неприятная штука. По-

сле того, как стает снег, с гор часто срываются огромные камни. Они катятся вниз с все возрастающей быстротой, сбивая на своем пути выветрившиеся скалы. Такой камнепад мы встретили, и только своевременное предупреждение проводника спасло нас. Поспешно он отвел нас в сторону, под защиту огромной скалы. Он недоверчиво осмотрел ее, даже несколько раз ударил палкой, чтобы убедиться в том, что она не выветрилась. Глухой шум доносился сверху. Он нарастал, переходил в грохот. Иногда раздавались гулкие удары, похожие на выстрелы орудий. Я почувствовал, как задрожала скала, и не мог превозмочь стихийного страха, подавившего меня. Я выглянул из-за скалы. Зрелище, что представилось мне, было ужасно. Мне показалось, что падают горы, и все мы сейчас погибнем. Большая скала летела сверху, рушила и дробила все на своем пути и, натываясь на препятствия, делала страшные прыжки, еще более увеличивавшие силу и стремительность ее падения. Целый град более мелких камней сопровождал ее, как стая мелких зверей сопровождает крупного хищника. Вся эта лавина пронеслась мимо нас с оглушительным шумом. Но еще несколько минут нельзя было выйти. Камни еще катились сверху, один из них рикошетом залетел в наше убежище. Проводник сказал, что уже много лет не было камнепада такой силы и разрушительности.

Наконец мы могли продолжать наш путь. Я был возле лошади, перевозившей инструмент. Три человека сопровождали ее. Двое поддерживали ящик с инструментом, третий держал лошадь за повод. На крутых спусках мы держали лошадь за хвост, тормозя ее движение. Ведь гибель инструмента сорвала бы нашу работу. На северном склоне хребта еще не стоял снег. Я решил снять инструмент и нести его на руках, хотя проводник говорил, что ручается за свою лошадь. Мы вчетвером несли тяжелый ящик, отдыхая каждые несколько шагов.

Мы вышли к водопаду горной реки, где на берегу была разбита красноармейская палатка, служившая подбазой

группе топографов. Здесь всюду лежал еще не растаявший снег. Нам предстояло подняться на вершину и на руках перенести инструмент. Лошади не могли подняться туда. Мы решили нести его на носилках, сделанных из круглых крепких палок. Десять часов ушло на подъем в два с половиной километра. У нас не было кошек, что доставило много хлопот. Деревянной лопатой и палками мы выбивали в снегу ступеньки, по которым поднимались носильщики. Потом мы попали на каменную осыпь. Она оказалась опаснее снега, так как камни осыпались под ногами, а ступенек нельзя было вырубить. Красноармейцы-осетины, привычные к горам, в самых опасных местах брали инструмент и тащили его. Было уже темно, когда мы достигли вершины. У нас едва хватило сил разбить палатку. Ужина не готовили — хотелось скорее отдохнуть, уснуть.

Всю ночь меня мучил кошмар. Мне казалось, что скалы раскачиваются от небывалого ветра и сейчас обрушатся на нас. Я встал. Палатка тряслась, глухой шум доносился снаружи. За палаткой, прижавшись спиной к скале, сидел дежурный. На вершине горы бушевал ветер, краем задевавший нашу палатку. Дежурный доложил мне об этом. От смертельной усталости он едва шевелился. Я послал его спать и сам отдежурил до утра. Два дня прошли впустую, так как вершина горы была в облаках и нельзя было производить наблюдения. Потом облака снизились, закрывая равнину. С раннего утра я начал работу. Я наблюдал вершины соседних гор, низкие облака не мешали мне. Надо мной сияло чистое, синее небо, светило солнце. Я работал под широким белым зонтом. Видимость была прекрасная, зубчатые вершины гор четко проектировались в прозрачной, голубоватой дымке.

Одно беспокоило меня: тяжелый инструмент нельзя было оставлять на ночь на вершине. Надо тащить его в палатку. Но добраться до палатки можно только по скалам, где и без груза легко сломать шею. Выручили красноармейцы-осетины Тенгизов и Кочиев. Мы про-

звали их «горные черти» за их изумительную ловкость. Они лазили, как обезьяны, взбирались на самые крутые склоны, проходили над пропастями по незаметным карнизам. Кочиев — высокий, стройный боец с серыми глазами, скорее похожий на русского, чем на горца (горского в нем было — широкие плечи, тонкая талия, узкие бедра), пришел ко мне и, застенчиво улыбаясь, попросил разрешения перетаскивать инструмент на вершину из палатки и обратно. С трудом подбирая русские слова, он говорил:

— Тенгизов, я может, гора знает. Вода несет — не разольет. Спокоен... машина твой целый была... э-ва. Другой понесет — трах.

Он выразительно показал, как падает на камни универсал. Пришлось ему довериться, и я не пожалел об этом. Вдвоем, подвесив тяжелый ящик с универсалом на толстую круглую палку, они перетаскивали его на вершину, а вечером, как кошки, спускались с ним вниз. Оба хорошо плясали, и часто при свете костра они поражали нас удивительной легкостью движений в пляске.

Спустя два дня мы свернули палатку, погрузили имущество и двинулись в путь. Крепкая горная лошадака с тяжелым выюком бодро зашагала по тропе. Мой универсал был прочно упакован, и я поручил Тенгизову и Кочиеву наблюдать за инструментом. Нам предстояло одолеть опасные подъемы и спуски, но я думал, что они будут не труднее прежних. На второй день встретили узкую горную речку. Тенгизов и Кочиев, весело напевая, свалили дерево так умело, что оно упало поперек реки, образовав мост. Перенесли инструмент на другой берег, балансируя над бурно текущей водой. Ночевали в лесу. Дымный огонь костра отбрасывал тени, похожие на невиданных, пляшущих в лесу зверей. Где-то долго кричала дикая кошка. Хорошая шоссежная дорога от Аккармы подняла наше настроение. Мы шли с песнями, чувствовали себя, как на прогулке. Тем тяжелее был следующий день.

Мы спускались к реке. Каменистая тропа с мелкими, осыпающимися под но-

гами камнями не казалась нам опасной. Она была узка, но мы знали и более узкие тропы. Опытная горная лошадь, на которую был навьючен инструмент, спускалась спокойно, поджимая задние ноги и с'езжая на них, как на салазках. Тенгизов и Кочиев, как всегда, были около нее; ничто не предвещало катастрофы. Я шел впереди. Вдруг хриплый крик донесся до меня. Я бросился назад. В этом месте тропа делала поворот. Лошадь, осторожно переступая, начала заходить, и ее задние ноги ступили на край тропы. Земля, размокшая от дождей, подалась, и лошадь, со своим семипудовым грузом, потеряв опору, сорвалась и осела на грудь. Она сделала отчаянный рывок и несколько секунд, держась только передними ногами, висела над обрывом. Тенгизов бросился вниз. Лошадь быстро сползала с тропы, а он был под нею, стараясь упором всего своего тела поддержать ее. Сейчас она покатится вниз и увлечет его за собой.

— Назад, Тенгизов, назад, — закричал я, бросаясь к нему.

Но уже вся группа бежала на помощь. Люди схватили лошадь, в безумной смелости повисали над обрывом. Но лошадь бешено рванулась, стала почти вертикально и опрокинулась под тяжестью выюков. Мы видели, как она катилась вниз, как полетели выюки, наскакивая на камни. Тенгизов был отброшен в сторону, и это спасло его. Он встал, ошеломленный падением, кровь текла по его лбу. Отерев ее рукавом и хватаясь за кусты и камни, он бросился за лошадью. Ящик с трубой застрял в кустах недалеко от места падения лошади. Нижняя часть инструмента, пролетев около пятидесяти метров, свалилась в реку. Красноармейцы вытащили на берег разбитый ящик. Стиснув зубы, я осмотрел его. Повреждения были значительны. Инструмент мы погрузили на запасную лошадь, осторожно упаковали его. Состояние у меня было подавленное. Сзади послышался выстрел. Это прикончили несчастную лошадь, сломавшую при падении передние ноги. Я мучительно думал над тем, удастся ли отремонтировать инструмент. С потерей

его прекращалась наша работа, срывалось выполнение задания. В пути ко мне подошел Тенгизов, лицо его выражало глубокое отчаяние. Он что-то бессвязно сказал мне, в волнении путая родной язык с русским. С трудом я понял его: он считал себя виновным в происшедшем несчастье. Я объяснил ему, что его вины здесь нет, сказал, что он вел себя самоотверженно, как подобает бойцу Красной армии. Он покачал головой.

Прошло несколько тяжелых часов, пока мы наконец достигли селения. Я попросил отвести мне отдельное помещение и сейчас же начал осмотр инструмента. Труба оказалась в хорошем состоянии. Сместились призмы, что можно было исправить. Нижняя же часть инструмента пострадала больше. Порвались нити биссектора, погнулись рычажки, винты, два зеркала уровней. Была сбита преломляющая призма, нарушена центровка, погнулись оси. Отправив инструмент в Тбилиси, мы обратно получили бы его не раньше, чем через месяц. Это означало срыв работы. Я решил своими силами исправить инструмент, хотя не имел на то права не в лабораторных условиях. Но другого выхода не было.

И вот: широкий, чисто обструганный, непокрытый стол. В моих руках отвертки разных размеров, плоскогубцы, ключи, мягкие тряпки. Я разбираю инструмент на части и заботливо, как больного ребенка, рассматриваю каждую часть отдельно. Я полон яростной энергии и гоню ядовитые сомнения:

— А чем заменишь поврежденный микроскоп? Как поставишь на место преломляющую призму? Как произведешь регулировку?

— Ладно, — отвечал я, — все будет сделано. Не так мы воспитаны, чтобы раскисать от поражения. Погодите!

Мне надо закончить наблюдения на горе Гомарда. Всего несколько дней работы. Неужели из-за несчастья с лошадью пропадет тяжелый труд первой половины лета?

Неласково отсылаю людей, зовущих меня поесть. Я очищаю части инструмента от проникшей в них влаги, смазываю их. Взамен поврежденного ми-

кроскопа горизонтального круга ставлю уцелевший микроскоп вертикального круга. Хозяйский мальчонка лет девяти пробирается в комнату и с диким любопытством смотрит на сверкающие части универсала. Вспоминаю своего Жорку, ласково улыбаюсь мальчонке и выпроваживаю его, — не мешай, родной, не до тебя! Терпеливо стараюсь поставить преломляющую призму в положение, которое она занимала до аварии. Часами проверяю взаимное положение частей, завертываю и отвертываю винтики. Когда сложный организм универсала понемногу начинает принимать обычный свой вид, с трудом сдерживаю безумное желание закричать, пройтись по комнате кубарем, протанцовать какой-нибудь марсианский танец.

Наступление вечера я замечаю по тому, что вносят керосиновую лампу. Я придвигаю ее вплотную, она дает слабый свет. Наконец инструмент собран, и я начинаю его поверку и регулировку. Измеряю контрольные углы. Наблюдения удаются — значит, можно наблюдать горизонтальные направления. Не верю себе, глубокая радость заливает меня. Входит Тенгизов на цыпочках, вносит вторую зажженную лампу. Тихо ставит ее на стол и смотрит на меня с безмолвным вопросом в черных глазах.

— Товарищ Тенгизов, — говорю я и показываю на собранный инструмент, — все в полном порядке. Завтра выступаем.

Секунду он смотрит на меня с недоверием. И вдруг одним прыжком вылетает из комнаты. За дверью я слышу его дикий гортанный крик. Происходит шум, несколько голосов кричат, заглушая голос Тенгизова, и громкое «ура» доносится до меня. Это мой интернационал, мое «содружество народов», празднует победу. А все дни, что я возился над инструментом, они ходили, как пришибленные.

Итак, мы выступаем. Это было радостное выступление. Горные тропы, шоссейные дороги, реки, крутые подъемы и спуски. В опасных местах Кочиев идет впереди и ощупывает тропу на каждом шагу. С тайной тревогой приступил я к наблюдениям. Инструмент работает хо-

рошо, и я тороплюсь нагнать упущенное. Терпеливо переживаю туманы, зато при ясной погоде работаю во всю силу. Переходим на другой пункт. Движемся вдоль реки по тропинке, заваленной камнями. Ночи становятся холодными. Часто на вершинах не найти места для палатки. Тогда ложимся прямо на камни, тесно прижавшись друг к другу. Дежурный сидит у костра. Костер в холодные ночи отгребаем в сторону, и на теплое место ложатся красноармейцы. Пока земля держит тепло, они лежат спокойно, потом начинают ворочаться — донимает холод. Забираемся в узкие расщелины, укрытые от ветра. Однажды наткнулись на прекрасную пещеру. Палаткой завесили вход и очутились в уютном помещении — настоящем каменном дворце. Пещера переходила в узкую щель. Тенгизов пополз туда с горячей ветвью в руке и притащил круглый череп какого-то животного с острыми, желтоватыми клыками. Кочиев горячо уверял, что это череп барса, другие спорили с ним. Череп был старый, чистый, точно препарированный. Видно, много лет пролежал в пещере. Мы бросили его, — груз и так давил нас. В пещере жили двое суток. С вершины, расположенной над нею, наблюдали ночью, используя электрические фонари: Цейса.

Ночью горы имеют удивительный вид. Кажется, что эскадра огромных кораблей, загнанная в тесную бухту, стоит, тесно сбившись. Шум деревьев: похож на шум моря. Темно, ни одного огонька кругом. И вдруг далеко сверкает яркая, белая точка, похожая на звездочку, заблудившуюся в горах. Это нам подают сигналы, и мы отвечаем на них. Есть своеобразная прелесть в такой работе ночью в горах. С трудом представлял я себе далекую Москву, ее шумные улицы, миллионы людей, живущих на небольшом пространстве. Другой мир! А тут темнота, безмолвие, хаос первобытных каменных гор. Но я знал, что оба эти мира крепко связаны между собой. Мы создадим карту гор, пройдут в скалах дороги, на горных реках возникнут гидростанции, придут новые люди.

На следующий день нам пришлось проходить суровыми, дикими местами, казавшимися непроходимыми. Но вдруг проводник вывел нас на дорогу. Прорубленная в скалах, она проходила над левым берегом горной, быстро текущей реки. Проводник рассказал нам, что тут прежде не мог пройти человек, а теперь проходит арба. Много труда положено было на постройку этой узенькой дороги, а сколько их уже построено и сколько еще будет построено!

Развалившаяся сторожевая башня встретила нас на берегу. Несколько веков простояла она тут, с маленькими, угрюмыми окошечками, в которых уцелели ржавые решетки. Река текла бурно и стремительно. Мшистые камни высовывались из воды. Тропа привела нас к самому берегу. Висячий мостик, подвешенный на тросах, представлял собой единственную переправу. Противоположный берег круто и высоко подымался вверх. Красивые водопады с шумом низвергались в реку. С сомнением смотрел я на мостик. Две жиденькие доски составляли весь его настил, ветер раскачивал его. Проводник сказал, что без местных жителей трудно будет переправить по мосту груз. Они же люди привычные — перенесут что угодно, переведут и лошадь. Я не мог поверить этому; казалась, и человеку опасно пройти по хрупкому этому сооружению. Но не было другого выхода: надо переправляться. От нашего движения мост стал сильно качаться. Только двое одновременно могли ступить на него, остальные ждали, пока эти двое не достигнут берега.

С ужасом следил я за своим универсалом. Тенгизов и Кочиев не доверили его никому и перенесли по частям. Наконец я сам вступил на мостик. Он раскачивался так сильно, что пришлось идти медленно, держась за веревочные перильца. Река страшно ревела далеко внизу. Доски гнулись и плясали под ногами. Я вздохнул с облегчением, почувствовав под ногами твердую землю. Последней переводили по мосту лошадь, сняв с нее вьюки. Она храпела, долго не хотела идти. С осторожностью ставила ноги на доски, пугливо косилась на ре-

ку. Достигнув берега, рванулась вперед, отбежала от воды.

В небольшом селении нас приняли хорошо. Мингрельцы очень гостеприимны. Здесь я решил оставить часть своих людей и инструментов, а самому с двумя красноармейцами и проводником-мингрельцем двинуться в горы. Проводника звали Джота Пипия. Я узнал, что все до одного жителя этого селения носили ту же фамилию — каждый из них был Пипия. Тропа, по которой мы шли, заросла зеленью, поражала дикой красотой. Она то круто подымалась, то шла вниз почти обрывом. Она вилась по лесу, потом по густому кустарнику и неожиданно вывела нас к речке. Берега высокие, скалистые. На порядочной высоте перекинута круглое бревно дюймов десяти в поперечнике, служившее мостиком. Пипия весело прошел по нему и с того берега пригласил нас последовать его примеру. Я пожал плечами, делать было нечего.

Тропа стала все больше забирать вверх. Было трудно шагать по мелким камням. Я задыхался, сильнее опирался на палку. Пипия объяснил, что будем подыматься до пастухов и у них заночуем. Он был радостен, напевал песенку. Было похоже, что ночевка у пастухов была ему приятна.

Мы увидели их издали. Высокий, сухой старик в бурке стоял, величественно опираясь на длинный посох. Он важно наклонил голову, приветствуя нас. Второй пастух, смуглый, красивый юноша, с любопытством оглядел нас, зубы у него были чудесные, черные кудри вились из-под башлыка. Старик сказал по-мингрельски длинную фразу и повел нас к своему жилищу — круглой каменной пещере. Посредине — углубление для костра, у стен — доски, покрытые бараньими шкурами. В этом первобытном жилище было удивительно хорошо. В почерневшем горшке молодой пастух принес мацони — кислое молоко. Старик скрылся и скоро вернулся с освеженным барашком. Спали у костра. Ночь была холодная, холод пробирал нас.

Утром я залюбовался острыми, зубчатыми вершинами Красной горы. Пасту-

хи объяснили нашему проводнику, как лучше добраться туда. Мы вышли, полные бодрости. После нескольких километров пути ослепительный блеск снега встретил нас. Итак, мы вступили в область вечных снегов. Надели кошки и синие очки. Продвижение сразу сделалось трудным. Скаты были крутые, скользкие. Пришлось обвязаться веревкой. Мы вышли к озеру. Темный, почти черный лед покрывал его — снег не успел еще покрыть льда. Отдохнули и полезли выше. Кошки скользят, нас вырывают ледорубы. Проводник что-то кричит и энергично машет рукой. Лицо у него сердитое. Оказывается, выше, по его мнению, нельзя лезть. Очень опасно. Надо возвращаться. Я долго уговариваю его. Он машет рукой с таким выражением, точно прощается с жизнью, и — идет с нами. Мы лезем выше. Я начинаю понимать, почему проводник не хотел продолжать подьем. Обледеневшие скалы почти отвесно поднимаются вверх. Всюду широкие расщелины, дна не видно. Каждое неосторожное движение грозит смертью. Мои красноармейцы замолчали, они еле движутся вперед, подолгу отдыхают. Не только подыматься — удержаться на ледяном склоне становится невозможным. Вдруг Джота Пипия подымает руку, переходит на шопот. Перед нами отвесная снеговая стена.

— Зашумишь, на нас упадет, — отрывисто шепчет Пипия, — тихо, тихо идем.

Мы осторожно ползем вниз. Снеговой обвал в любую минуту может мгновенно покончить с нами. Приходится возвращаться ни с чем. Одиннадцать часов сурового труда пропали даром. Зато спуск был превосходен. Пипия упер рукаятку ледоруба в снег, сел на палку верхом и стрелой понесся вниз. Мы последовали за ним. Это опасная забава, но она доставляет изумительное ощущение. Скоро мы опять были у пастухов и заночевали у них.

Но работа не ждала. Я решил обследовать соседнюю гору. Старый пастух рассказал, что вершина горы, на которую мы безуспешно подымались, острая; значит, на ней нельзя построить ни пи-

рамидки, ни тура. Гелиотропистам нельзя там работать. Придется, стало быть, искать другую вершину.

Опять началось путешествие по горам. Продовольствие у нас кончилось; два дня, пока проводник с красноармейцем не вернулись с базы, пришлось поголодать. Отдохнув, двинулись вверх. Кошки и ледорубы опять пошли в дело. Ночь застала нас вблизи вершины. Ночевали прямо на снегу. Холод донимал нас. Утром прыгали, стараясь согреться, позавтракали и продолжали подьем на вершину. За нами подымалась колонна местных жителей, нанятых для переноски груза. Привычные к горам, они свободно несли за плечами по двадцать килограммов. Мы ушли вперед, торопясь достигнуть вершины первыми. Как быстро менялись перед нами картины гор!

Выступая из селения, мы шли густым лесом. Там росли гигантские буки, грабы, развесистые липы и каштаны с темнозелеными листьями. Некоторые деревья — настоящие гиганты. Помню старый бук, больше метра в диаметре. Его нижние ветви по толщине походили на стволы деревьев. Многие деревья умирали, дупла зияли в их стволах, как глубокие раны. Шум горных речек был слышен издалека. Прозрачная, серебристая вода бежала по камням, брызгами разлеталась вокруг. На десятки километров тянулся этот лес. Непогода точно ждала нас за его опушкой. Горы скрылись в сплошных облаках, повалил мокрый снег. Подымаемся выше, становится холодно, а наши носильщики легко одеты. Подходит один из них и заявляет, что дальше идти им в такую погоду нельзя — замерзнут. Груз они сложат здесь, а сами вернутся домой. Я должен подняться на вершину и найти место, куда нести груз. Потом послать за ними, и они понесут вещи. Меня ошеломило это заявление. Все мои попытки уговорить носильщиков ни к чему не привели.

Старший носильщик с упреком посмотрел на меня и сказал:

— Разве хочешь, чтобы люди умерли? Не можешь так хотеть. Ну, прощай!

Пришлось сдаться. Взял с них слово, что они вернутся по первому моему требованию, и с грустью смотрел, как они исчезали за скалами.

Итак, мы остались вчетвером под занесенной снегом скалой, с грузом в триста килограммов. Начинается снежная метель, ветер жестоко простегивает нас, снег пробирается в сапоги, покрывает одежду. С трудом развели костер и поддерживали его. Ночевали, крепко притиснувшись друг к другу.

На следующий день метель стихла. Одного красноармейца оставляю с винтовкой у вещей, а с двумя остальными иду на вершину. Взяли с собой гелиотроп, немного продуктов. Портит дело туман. Густой, вязкий, он оседал на скалах, на деревьях, мешал идти. Кочиев уже бывал в этих местах — он вел нас. Мы пробирались по берегу узкой речки, проваливаясь в глубоком и рыхлом снегу. Иногда берега были непроходимы, и мы огибали их, карабкались по скалам. Снег лежал нетронутый, удивительной белизны. Кочиев часто оглядывался, снег сбивал его, и он доложил, что не может ориентироваться. Мы все же пошли, стараясь нащупать правильный путь. Наконец мы попали в ущелье, из которого не было выхода. Я достал карту и компас. Не было сомнения — мы заблудились. Между тем темнело, надо было решать: возвращаться обратно или ночевать здесь. Не хотелось опять терять время, да и вечером опасно было идти — можно сорваться в пропасть. Ночевали под скалой, сидя, прижавшись друг к другу. Утро обрадовало нас. Сияло солнце, снег сверкал нестерпимо. Надели темные очки и, совершенно заочневшие, двинулись дальше. Я выяснил по карте, что мы взяли слишком влево. Рыхлый снег покрывал прежний наст. Кочиев оступился, покатился вниз, за ним ринулся снежный ком, увеличиваясь с необычайной быстротой. На наших глазах ком превращался в лавину, увлекавшую все на своем пути. Мы бросились вниз, встревоженные судьбой Кочиева. Вдруг шевельнулась снежная куча, и вылез Кочиев, весь белый. Ему повезло — он наткнулся на камень, задержавший его падение.

В полдень добрались до небольшой седловинки. Здесь можно было ставить палатку. До вершины оставалось метров двести, не больше. Я поднялся туда один, отыскивая место для постройки пирамиды и тура. Всюду из-под снега торчали острые камни, и я в отчаянии думал, что придется, видно, искать третью вершину. Вдруг нога моя скользнула, я упал, ударившись грудью. Но я не чувствовал боли — радость охватила меня. Я лежал на ровном месте, на маленькой площадке. Приподнявшись, я осторожно очистил ее палкой ледоруба от снега. Места было достаточно для постройки тура. Счастливый, я вернулся в седловинку. Быстро достали гелиотроп и опять пошли на вершину. Только теперь увидел я, какой великолепный вид открывался оттуда. На севере тянулись сплошные хребты гор со знакомыми очертаниями вершин. С какой радостью я узнавал их!.. С южной стороны виднелась долина, затянутая серо-ватой дымкой. Бинобль показал неясные пятна домиков, узкую ленту реки. И вдруг что-то сверкнуло на одной из вершин. Бинобль задрожал у меня в руках — это был сигнал гелиотропа! С лихорадочной быстротой начали мы устанавливать свой гелиотроп. В нетерпении я сам навожу его и подаю сигнал — «плохо видно». Там повторяют сигнал. Даю второй сигнал — «поставить диафрагму». Опять повторяют сигнал, значит связь установлена. Чувство глубокого счастья охватывает меня — о нем не расскажешь! Ведь не установи я здесь связи, пришлось бы исследовать Чита Гбела, труднейшую для подъема гору, две острые вершины которой, как два штыка, подымались прямо перед нами. Хочется петь, обнимать всех, кто находится рядом. Дикая, скалистая вершина кажется мне родной, уютной.

Бросаюсь опять к гелиотропу и сигнализирую:

«Пункт отрекогносцирован, начинаю строить».

Облака сгущаются над горами. Ветер метет сухой, твердый снег. Внизу лето, зеленеет трава, теплый пар подымается над землей. Скоро оттуда подыметесь к

нам караван рабочих с грузом, а мы уже очищаем на вершине место для постройки тура. В седловине уже стоит наша палатка, прячась под скалой. Все ушли вниз за вещами, последнего оставшегося красноармейца я послал за продовольствием. Он вернется только завтра. Я один на вершине, но не чувствую одиночества. Со всех сторон меня окружают могучие горы Кавказа, и знакомые мне вершины мерцают на севере, юге и востоке матовым, белым блеском. Там, на этих вершинах, мои товарищи, и я непрерывно подаю им световые сигналы, стараясь завязать связь. Некоторые пункты отвечают мне, другие молчат. Особенно занимает меня Зугиди, где должна быть вторая партия нашего отделения. Я свечу туда долго и упорно, до боли в глазах, стараюсь разглядеть ответные вспышки. Увы, их нет... Что же, подождем. Мы научились терпению. Бывало, три дня ждешь на вершине, закрытой облаками, одного ясного часа, в течение которого можно производить наблюдения.

Темнеет... Надо кончать работу, спуститься в седловинку. В сумерках беру немного вправо и вдруг срываюсь вниз. Как пуля, пролетаю крутой склон и попадаю в кучу снега. Радостно поднимаюсь — цел. Бреду к своей палатке. Одному немного скучно, огня нет. Нахожу под скалой узкую щель и расстилаю свой спальный мешок. Долго не засыпаю, жена и Жорка стоят перед глазами. Широкая каменная лестница, почтовый ящик на двери, рога сохатого в передней на стене. Я тихонько снимаю шинель и крадусь в комнату — хочется застать Жорку врасплох. Вдруг с грохотом падает дверь из ванной, и поток воды хлещет оттуда. Неужели лопнула водопроводная труба? Я бросаюсь туда, и в лицо мне бьет вода и снег, слышен из ванной шум и вой.

Я вскакиваю, растерянный, мешок мешает мне, все лицо у меня мокрое, вой не стихает. Темно, я ничего не вижу. Жалкая моя палатка сорвана ветром, одна ее сторона сейчас улетит. С трудом вылезая, стараюсь закрепить палатку. Потом наворачиваю на себя все, что есть под рукой, и так сижу,

с'ежившись, чувствуя, как мокрый снег понемногу проникает за шею, как медленно коченеют ноги. Все же засыпаю. Утром тихий голос будит меня. Кочиев стоит возле и улыбается. Бури как не бывало, желтые солнечные лучи заливают все кругом, и мое мокрое одеяние точно вымывается.

— Думал, что плохо может быть, — сказал Кочиев, — гром ужасный, молния внизу дерево разбила.

Странно — я не слышал ударов грома. Он гремел, очевидно, в часы, когда я спал. Кочиев доложил, что продовольствия принес всего на два дня. Я спросил у него, не видно ли там, внизу, наших рабочих с грузом? Он с сомнением покачал головой.

— Погода плохая, — сказал он, — могут не притти. Вести надо.

Я показал ему на безоблачное небо. — Опять гроза будет, — спокойно сказал он. — Они знают, не пойдут.

Это совсем скверно. Тур надо построить как можно скорее. Кочиев пристально смотрел на меня, в глазах у него было колебание.

— Вы хотите что-нибудь сказать? — спросил я.

— Если товарищ командир, — застенчиво предложил он, — если один в горах останетесь, я пойду навстречу, скорее приведу...

Я крепко пожал ему руку. Это было прекрасное предложение! Он отказался от завтрака и собрался в путь. Уже уходя, с беспокойством посмотрел на небо и предупредил:

— Надо осторожно. Сильный гроза будет.

Небо синело, ни одного облачка не видно, и я как-то не поверил в близкую грозу. Наскоро позавтракал и отправился на вершину сигнализировать. Несмотря на скверную ночь, настроение у меня было превосходное, и я только ждал прибытия вещей. Распевая во весь голос, — ведь никто не мог слышать, как плохо я пою, — я карабкался вверх. Оглянувшись — хорошо ли развесил на солнце мокрые мои вещи, и сейчас же забыл о них. После дождя в воздухе легкая дымка стелется, как синий дымок, и мешает видимости. Я сигнализи-

рую и не получаю ни одного ответа. Но это меня не очень огорчает — вернее всего, дымка мешает разглядеть мои сигналы. День проходит незаметно. В промежутках между работой любуюсь чудесной панорамой гор. Нигде, даже в море, не ощущается так грандиозно и величественно сила природы, как в горах. Строишь долго, и вдруг начинает казаться, что находишься среди колоссального каменного города, который построили титаны по дикому, но подавляющему вас своей мощью, плану. Вон высится двухсотэтажный замок готической архитектуры. Две его башни стоят несимметрично, но это не портит красоты здания. На севере поднимаются целые кварталы домов с зубчатыми, неровными крышами.

Проходит день. В горах темнеет рано, и, взглянув на небо, вижу, что плотные тучи неподвижно висят над вершинами. Наученный вчерашним днем, мчусь вниз к своей палатке. На рейке, прибитой гвоздями, полощется красный флаг. Он вселяет в меня бодрость. Тщательно закрепляю палатку, встряхиваю спальный мешок. Вспарываю банку мясных консервов и сажусь ужинать, пользуясь последним светом уходящего дня. Наступает грозная тишина. Вдруг снаружи ко мне доносится характерный треск, какой дают электрические разряды. Сразу становится совсем темно, и тут же ослепляющая молния вспыхивает возле самой палатки. Одновременно гром ударяет с чудовищной силой. Я бросаю консервы и быстро лезу в свой мешок, последнее мое убежище. Начинается нечто ужасное. Гром не прекращается, его удары следуют один за другим, а молнии бьют в снег, точно рядом с палат-

кой. Я не шевелюсь в своем мешке. Глаза у меня закрыты, но я чувствую каждую вспышку молнии. Ощущение такое, точно лежишь под ураганным артиллерийским огнем. Хлынул дождь. Он обрадовал меня: я надеялся, что с ним прекратится ужасная гроза. Но гроза продолжалась всю ночь. Все же я уснул: привыкаешь к самым необычным условиям!

Утром опять было синее небо, но долины скрыты в облаках. Мой флаг лежал поваленным перед палаткой. Шапки гвоздей были оплавлены молнией. Я поставил флаг на место. Время тянулось медленно. Около полудня внизу послышались крики. Я побежал к краю седловинки. Далеко внизу по снегу ползли черные маленькие фигурки. Я вернулся в палатку за биноклем. Вот мои красноармейцы, вот носильщики с тюками за спиной. Они идут длинной цепью, и до меня слабо доносятся их голоса.

— Э-э! — громко кричу я, — здравствуйте, товарищи!.. здравствуй-те...

Они отвечают мне громко и нестройно. Одна фигура выделяется и быстро идет вперед. Это Тенгизов. В бинокль мне ясно видно его радостное и, вместе с тем, озабоченное лицо. Не выдержав, я бегу вниз навстречу идущим. С разбегу налетаю на Тенгизова. Мы крепко жмем друг другу руки. Тенгизов смотрит на меня сияющими глазами.

— Все в порядке, — докладывает он, — будем строить!

— Да, — отвечаю я, — будем строить, товарищ Тенгизов.

И вместе с ним мы поднимаемся наверх — готовить место прибывшим.

ПРОБИВАЕМСЯ ЗА ОБЛАКА

Командира нашего отделения я знал около двух лет. Это был невысокий, чуть сутуловатый человек, удивительно спокойный по характеру. Помню, мы жестоко беспокоились о команде воентехника второго ранга Кошелева, ушедшей в экспедицию и долго не подававшей о себе вестей. Предполагали самое

плохое: район работы команды был очень трудный, совсем не исследованный. Лишь командир отделения не вызывал беспокойства. Он был ровен и говорил, что все будет в полном порядке. Я тогда даже сердился на него, считал, что он равнодушен к судьбе своих подчиненных. Потом, когда Кошелев

благополучно вернулся, выяснилось, как заботится наш командир о людях. Прежде всего, кошелевская команда была великолепно снабжена, и люди ее хорошо подготовлены. Затем, сам Кошелев прошел подробнейший инструктаж у командира.

— Что же зря беспокоиться? — суховато объяснял командир. — Если я посылаю кого-нибудь в ответственную экспедицию, я верю в него. Верил я и Кошелеву и знал, что он справится со всеми трудностями, которые неизбежно встретятся на его пути.

Экспедиция, порученная мне, тоже была очень трудна, и я подумал не без гордости: если командир доверил ее мне, значит, я стою этого. Это подымало во мне уверенность в своих силах. Я пришел по вызову командира с готовым планом и думал, что задержусь у него лишь несколько минут. Но он продержал меня два часа, и, только выходя от него, я, считавший себя опытным топографом, понял, как много важных мелочей я упустил. Он ничего не навязывал, а наводил меня самого на самостоятельные решения и высказывания. И это больше всего понравилось мне в нем.

— В горах не с кем будет советовать, — негромко сказал командир, без улыбки поглядывая на меня. — Хорошо заранее знать: всякая трудность трудна лишь до тех пор, пока не решил, что преодолеть ее надо и можно. Крепкий дух всегда побеждает.

И вот я подбираю людей и снаряжение. Никогда, может быть, эта работа не казалась мне столь важной. Я сам проверял все до последней ниточки. Со мной шла малая мензула, дорожный универсальный теодолит, буссоли, анероид, хронометры, шагомеры и гипсотермометр. Брали мы также фотоаппарат, бинокль, другие нужные вещи. Пришлось считаться и с тем, что в некоторых пунктах будем производить астрономические наблюдения.

Первые дни прошли быстро. Вот и глухая станция Кара-Су; в углу платформы, под навесом, лежит наш багаж, заботливо упакованный. Долго торгуюсь с арбакешей. Наконец он везет тюки на своей скрипучей, неуклюжей арбе, а мы

шагаем рядом по густой мягкой пыли. Прибываем к сборному пункту, а там идет обычная суматоха, синий дым костров тянется к горам, бегают люди. Сейчас жарко, а приходится думать о теплых вещах, — ведь через несколько дней мы будем высоко в горах, а затем достигнем зоны ледников и вечных снегов.

Горная река Талдык с шумом катится в скалистых своих берегах. Путь наш пока пролегает по ее руслу. Уходим все выше в горы. Вот Солнечная долина, где недавно мы изнывали от жары, далеко позади. Когда садится солнце, мы подумываем о теплых куртках — холодно. Подолгу стоя на одной точке за зарисовкой рельефа, начинаю по-настоящему замерзать. А ведь ледники, в которых придется работать, еще впереди. Работа пока идет хорошо. С инструментами обращаемся, как с грудными детьми: бережем их от малейших толчков, укутываем в одеяла. Одолели перевал. Картина сразу резко изменилась. До перевала мы проходили по склонам гор, покрытым густой, свежей травой. Нам встречались стада баранов и яков, принадлежавшие кочевникам-киргизам. А за перевалом вошли в ущелье. Высокие его стены подымались, сближаясь друг с другом и, казалось, готовы были обрушиться на нас. На вершине голой скалы мы увидели горного барана. Он смотрел на нас, наклонив рогатую голову, и вдруг без разгона перелетел через все ущелье и пропал из глаз.

Ясные дни проходят в с'емке и наблюдений. Ревниво стережем солнце, стараемся поймать каждый солнечный час. Облачные дни считаем мертвыми. Забираюсь на вершины и работаю, пока не онемеют пальцы. Подую на них и продолжаю работу. Наш маленький коллектив живет дружно. Каждый ровно делает свое дело. Вечерами у костра или в палатке ведем беседы и проводим занятия. Слово «родина» получает здесь особое значение. Мы видим ее могучие горы, через которые мы пролагаем пути, подходим к ее пределам, за которыми стерегут наш край враги. По-новому звучат для нас сообщения о пограничных столкновениях с диверсантами и

шпионами, — мы не так далеко от мест, где эти столкновения происходят. Ночами часовой дежурит, не выпуская из рук винтовки, зорко вглядывается в темноту.

Высота дает себя знать. Труднее дышать, скорее утомляешься. Долго взбирался на вершину для наблюдения. Она показалась мне необычайно высокой и крутой. А когда оказался наверху, удивился: преодолел я невысокую и довольно пологую гору.

Солнце становится очень ярким, приходится надевать темные очки. Как-то работал без них, и в глазах появилась резь и мелькал целый дождь черных точек.

Пришли в большой кишлак в Алайской долине и попали на киргизский праздник байгу (козлодрание). Несколько сот человек съехалось из окрестностей. Зарезали барана, и вот сотни конных киргизов бросаются толпой на него, отбивая друг у друга. Надо схватить барана, не слезая с лошади и прорваться с ним к судье. Это очень трудно: на того, кому удастся схватить барана, наваливаются толпой, вырывают добычу, толкают лошадьми. Победителем оказался юркий, совсем молодой киргиз, почти мальчик. Когда нас познакомили с ним, я с удивлением заметил на его халате кимовский значок. Мальчик с трудом говорил по-русски. Все же мы поняли, что в его кишлаке комсомольская ячейка состоит из трех человек и ведет большую работу.

Тщательно приготовил планшет, еще раз проверил инструмент. С радостью почувствовал, что начинаю приспосабливаться к высоте. Работы прибавилось. Я начал снимать реку Джанайдер с ее недавно открытым ледником. Работал спокойно, решил отдыхать как можно меньше. Не уходил от инструмента, ел тут же. Иногда попрыгивал от холода, бил себя руками по бокам и продолжал с'емку. Перед нами высится Заалайский хребет. Он величественный и неласковый. Темные тучи укутывают его вершину, и мы ждем, когда они опустятся в долину. Увы! Прошло много времени, прежде чем суровые скалы с белыми просветами между ними пред-

стали перед нами. Показалось солнце, и вершины, покрытые вечными снегами, ослепительно засверкали. За хребтом, очень далеко, в прозрачной дымке видны вершины Памира. Наш путь лежит к ним.

За хребтом начинается спуск в безрадостную долину. Недаром ее прозвали долиной смерти: она лежит глубоко, мрачная, желтоватая от покрывающих ее песков. Тропинка извивается, камни сыплются из-под наших ног. И вот мы в долине. До чего же она мрачна! Песок, песок, валяются кости животных. Киргиз, провожающий нас, уверяет, что тут и летом бывают снежные метели, причем с окружающих гор обрушиваются глыбы смерзшегося снега, хороня под собой все живое. Верно ли это? Во всяком случае, пейзаж неважный, рога погибших архаров торчат из песка. Посреди долины киргиз кричит, чтобы мы остановились. Он встревожен. Рукой он показывает то на развалины, виднеющиеся невдалеке, то вперед, на край долины. Оттуда с ветром движется что-то темное, странное, некое подобие крутящегося столба, широкого у своего основания.

— Да ведь это смерч, товарищ командир! — кричат бойцы Я вынужден с ними согласиться. Мертвая долина в горах Памира встретила нас смерчем, точно мы находились в африканской пустыне.

Изо всех сил спешим к развалинам. Оттуда выскакивает шакал и ленивой рысцой уходит от нас. Смерч приближается с глухим, шестящим шумом. Мы смотрим не без страха: в первый раз пришлось увидеть его. Он выросал по мере приближения к нам, затемняя небо. Едва успели укрыться, как свистящая гора песка врывается в развалины, засыпая их, ветер ураганом пронесится мимо нас. Песок проникает в рот, в глаза, в одежду, мы отплеываемся и отряхиваемся. Переглядываемся, ошеломленные. Только киргиз равнодушен и приглашает итти дальше.

На середине долины ветер усиливается и начинает крутить песок. Лошади отказываются итти против ветра. Приходится вести их в поводу, спотыкаясь

на каждом шагу, задыхаясь от песка, залепляющего рот и глаза. С трудом выбрались из этого проклятого места!

Мы под'езжали к озеру Каракуль. Но озера не было. Его занесло песком. Ровная песчаная долина расстилалась на его месте. Мы направили в нее лошадей, но они хрпели и не шли. Повозившись с ними, мы вынуждены были ехать в обход, намного увеличив свой путь. Между тем стемнело. Сгущался мрак, и я с тревогой думал о ночевке в этой долине, насквозь продуваемой ветрами.

— Пожалуй, придется здесь ночевать, — сказал я.

— Переночуем, товарищ командир, — спокойно ответили бойцы.

Я объяснял им, что ночевка представляет много неудобств и не совсем безопасна: нас может занести песком. Мне хотелось проверить их мужество, я ловил выражение их лиц. Вот Сидоров, речник, художавый, с синими глазами, колхозник. Он проворно отвязывает палатку, ловко потрошит вьюк. Сразу видно, что он думает только о своей работе. Млечин, рабочий из Свердловска, комсомолец, снимает инструменты — самое драгоценное наше имущество. Ноги его широко расставлены для упора, тяжелый вьюк он кладет на песок так осторожно, словно в его руках маленький ребенок. За палаткой, с наветренной стороны, ставят лошадей, чтобы они своими телами защищали палатки от ветра. На колышки наваливают тяжелые вещи, чтобы сделать палатки устойчивее. Нет, никто из бойцов не думает о неудобстве нашего ночлега! Я гляжу на них с любовью и гордостью. Люди узнаются в тяжелых испытаниях. Только Рыбаков немного малодушничал, но ребята поддерживали его, особенно Млечин. Мне приходилось наблюдать, как Млечин, видя, что Рыбаков устал, брал на себя часть его груза, несмотря на то, что Рыбаков стеснялся, отказывался от помощи. Он бывал угрюм, особенно после утомительных переходов. Товарищи относились к нему внимательно, облегчали, как могли, его работу, подолгу с ним разговаривали. И сейчас Рыбаков, за которым я наблюдаю больше, чем за

другими, держится молодцом. Правда, он с опаской поглядывает в черную ночь, но, когда я шутливо спрашиваю его — не страшно ли ему здесь ночевать, — он смеется и отвечает:

— Да все же вместе здесь, — чего же страшного?

Приказываю ложиться и остаюсь сторожить. Все затихает. Небо черное, бархатное, и звезды кажутся необычайно высокими. Ноги мои по щиколотку уходят в мягкий песок. Ветер дует ровно. Как на корабле, в море, я боюсь, что он усилится. Когда порывы его становятся сильнее, песок сухо шуршит о стены палатки. Хочется спать и, чтобы прогнать сон, начинаю думать о доме. Достая портрет Нины, жены, и смотрю на него при свете фонарика. Потом прикрепляю его булавкой к наружной стене палатки, отхожу на два шага и освещаю портрет фонариком. Странное чувство охватывает меня — портрет как будто висит на стене комнаты. И вдруг ко мне доносится издали не то стон, не то плач. Зорко слушаю, заряжаю на всякий случай винтовку. Стон ближе. Напряженный слух ловит шорох песка. Кто-то идет к палатке. Всматриваюсь — и вижу близко от земли какие-то бледные искры. Жду, держа палец на спуске. Искры сверкнули зеленоватым блеском, опять послышался плач, тоненький, похожий на детский. Я засмеялся — сколько тревоги из-за ничтожного шакалки! Из палатки бесшумно возникает темная фигура. С удивлением узнаю Рыбакова.

— Ложитесь, товарищ командир, — тихо говорит он, — я покараулю.

★

Вчера нас засыпало песком, а сегодня заметает снегом. Перед нами, горя на солнце, лежит ледник. В бинокль ясно видны извилистые, глубокие трещины. Посредине ледника (как огромен он!) протекает река. Всюду ледяные бугры, крутые, скользкие скаты. Высоко торчат узкие ледяные пики, на которые не взберешься ни с веревками, ни с ледорубами, ни с кошками. Сразу видно: трудно будет взять его, этот ледник!

Взял мензулу и все нужное для бусольной с'емки. Провел беседу с бойцами. Сейчас наступают самые трудные дни, и я не скрыл от них этого. В глазах Рыбакова прочел тень неуверенности и тоски. Улыбнулся ему.

— Вас оставим в палатке, товарищ Рыбаков,— сказал я,— смотрите, кормите нас хорошенько—будете главным поваром.

Пошли. Двигаться приходится с величайшей осторожностью. Ищу хотя бы небольшой возвышенности для наблюдений. Сидоров бодро карабкается со своими рейками, Млечин старается не отставать от меня. Взираемся на ледниковый «стол» — любопытное явление: на ледяной ножке, похожей на хрустальную, держится массивная плита. Всё это вышиной до трех метров и выглядит очень причудливо. Я с тревогой оглядываюсь на бойцов и предупреждаю, чтобы были осторожнее: споткнешься — и с'едешь вниз по льду, черт знает куда!..

Дорогу на вершину приходится прорубать. Пошли в ход ледорубы, веревки и кошки. Млечин просит разрешения лезть первым и с удивительным хладнокровием продвигается вверх. Скоро он бросает нам веревку. Рассчитываем каждый шаг. Особенно трудно тащить малую мензулу. Млечин работает ледорубом, и алмазные брызги летят во все стороны. Расчищается маленькая площадка. Долго устанавливаем мензулу. Теперь можно работать. В перчатках неудобно: не чувствуешь поворота винта, получается грубо, неточно. Записывать тоже неудобно. Сбрасываю перчатки. Винт кажется липким оттого, что рука примерзает к нему. Дую на пальцы и стараюсь работать как можно скорее. Видимость прекрасная, даже обычная в горах дымка рассеялась... Картина, расстилающаяся перед нами, так хороша, что не расскажешь, — надо самому видеть. Ледники поднимаются, как стальные, серо-голубые стены не виданной людьми крепости. Над стенами рванулись ввысь острые, готические зубцы пиков. И все это могучее нагромождение тянется на многие километры во все стороны, подавляя своей грандиоз-

ностью и титанической мощью. Болят концы пальцев.

Наконец можно спускаться. Я замечаю что-то странное в движениях речника Сидорова. Он топчется на месте, беспомощно вытягивает шею, как слепой. И вдруг срывается и летит вниз. Мелькнула на повороте его шинель и исчезла. Мы с Млечиным стоим, ошеломленные. Мгновенно складываем инструменты, мешки на лед и ползем вниз. Громко кричим. Ничего не видно и не слышно. Вот на острой льдине клок рыжеватого сукна. Вероятно, из шинели Сидорова. Здесь его повернуло и понесло вправо. Перед нами крутой скат. Предлагаю привязаться и спуститься вниз. Так и делаем. Скат прерывается маленькой ложбинкой, там что-то темнеет. Молча спускаемся, отчаянно цепляемся кошками, ледорубами. Сидоров лежит на боку, свернувшись. Хватаю его за голову, подымаю. Лицо бледное, щека рассечена, глаза закрыты. И вдруг он говорит, не раскрывая глаз:

— Ничего как будто, не расшибся я... Вот ослеп только. Поэтому и упал...

Мы ощупываем его. В самом деле, ни одного перелома.

— Ну, и везет тебе,— ворчливо говорит Млечин, — напугался, небось?

— Напугался, — честно признается Сидоров, — главное, падаю и ничего не вижу. Думал, каюк мне!

Больше часу проходит, пока мы выбираемся наверх. Сидорову пришлось плотно завязать глаза — он жаловался на сильную резь в них. Я остался с ним, а Млечин побежал к палатке за помощью. Два дня мы оставались на месте, пока не прошли боли у Сидорова. С тех пор никто из нас не выходил на работу без предохранительных очков.

Запасы продовольствия, как ни экономно мы их расходовали, быстро иссякали. Рыбаков грустно поглядывал на меня и вздыхал. В выразительном его взгляде я читал:

— Как же дальше будет, товарищ командир? Последнее доедаем!

Вопрос этот мучил меня страшно. Прерывать работу, проводимую с такими трудностями, нельзя. Район этот так труден, что, добравшись до него и втя-

нувшись в работу, мы поступили бы непростительно, если бы бросили ее. Крепя сердце, я приказал уменьшить паек. Никто не выразил недовольства. Рыбаков со строгим лицом встречал нас по возвращении с работы и ставил обед. Из одной коробки мясных консервов он варил суп на всех. Из этого водянистого супа и двух сухариков на каждого и состоял наш обед. Потом пили чай без сахара и старались скорее лечь: здорово донимал холод. Вылезти утром из спального мешка стоило героических усилий. Ко всему этому прибавились новые трудности. Трещины на ледниках начали расходить, а миновать их нам никак нельзя. Мы строили снеговые мосты через них. Мосты были ненадежны. Когда один из нас переходил, остальные стояли на берегу, держа веревку, к которой был привязан переходивший.

Однажды во время работы со стороны палатки послышался выстрел, а через несколько секунд второй. Я встревожился, быстро прекратил съемку и бросился к лагерю. Я терялся в догадках, по какому случаю мог стрелять Рыбаков? С разбегу взял снежный мостик, второпях, не дождавшись веревки, сел на задку с крутого ската, бегу к палатке. Все тихо и мирно, но Рыбакова нигде не видно. Громко кричу ему, и откуда-то снизу слышу его отклик.

Осторожно пробираюсь к Рыбакову. Лицо у него сияет, рукой он показывает мне на что-то, лежащее у его ног.

— Все теперь в порядке, товарищ командир, — радостно докладывает он, — продовольствием обеспечены до конца работы.

Гляжу на великолепного горного барана, неведомыми путями забредшего сюда на наше счастье, и крепко жму Рыбакову руку. Едва сдерживаюсь от радостных криков. Возвратившись, ничего не говорю Сидорову и Млечину, предвкушая, как будут они обрадованы неожиданно сытным обедом. Когда в сумерки идем в лагерь, я вздыхаю и говорю:

— Эх, надоело голодать! Надоели проклятые консервы! Да и осталась-то

одна банка на четверых. Сейчас бы жареного архара поесть!

Они смотрят на меня с удивлением — командир предается таким ненужным, мягко говоря, в данной обстановке расуждениям.

Рыбаков, посвященный в тайну, встречает их с заговорщическим видом, но вдруг Сидоров судорожно нюхает воздух и растерянно бормочет:

— Жареным мясом пахнет!.. Провалиться мне, пахнет!..

Мы с Рыбаковым хохочем. Появляется жареный архар, и начинается роскошный пир. На несколько дней мы обеспечены пищей; работу можно спокойно кончать.

Но кончился запас керосина в нашем примусе, а топлива на ледниках не было никакого. Приходилось питаться холодной бараниной, пить ледяную воду. У меня из десен начала сочиться кровь. К счастью, у бойцов самочувствие было еще хорошее; они не жаловались и упорно, из последних сил, работали. Мы пробирались все дальше, проникая в самое сердце ледника. Вид у нас был неважный: жутко было, вероятно, глядеть на нас со стороны! Как-то Млечин наедине со мной сказал, — на лице его было ожесточенное выражение:

— Товарищ командир, пускай, что ни будет, а, пока не кончим, не уйдем!

— Трудно, Млечин, — ответил я, — мы с тобой еще выдержим, а как остальные?

— И остальные выдержат, — упрямо сказал он. — Я уже говорил с ними..

Я был очень благодарен ему за поддержку. Для себя я твердо решил, что работу закончу, но не мог не считаться с силами и выносливостью бойцов.

Предстоял еще один, может быть, труднейший этап — пробраться в северную, самую недоступную, часть ледника. Мы попытались обойти отвесную стену, — ничего из этого не вышло. Дорогу преградила морена, взять ее не было никакой возможности. Оставалось форсировать стену высотой около пятидесяти метров. План был составлен такой: я полезу первым, вырубая во льду ступени, на веревке поднимем инструменты, а

потом подымутся бойцы. Млечин попросил разрешения подыматься первым. Я без колебания отказал ему. Хорошо отдохнувши, приступил к под'ему. Чтобы подбодрить себя, начал спокойно, стараясь не напрягаться, даже насвистывая синими, потрескавшимися губами. Никогда в жизни я не думал, что пятьдесят метров — такое большое расстояние. Я вырубал ступеньки, отдыхал и двигался дальше. Сильнее всего донимал холод. На узенькой ледяной ступеньке нельзя было сделать ни одного размашистого движения, и я медленно замерзал. Я чувствовал, как все медленнее, точно застывая, обращалась кровь во мне, как немели руки, как сильнее клонило ко сну. Снизу я услышал бодрый голос Млечина, без сомнения, заметившего мое состояние:

— Совсем мало осталось, товарищ командир, — метра четыре, а то и меньше!

Голос его подбодрил меня. Я взял себя в руки и принялся рубить. Только четыре метра! Это больше, чем четыре мили по ровному месту... Когда добрался до вершины, лег и долго не мог встать. Чтобы согреться, я стал топтаться на месте, а потом спустил вниз веревку. Скоро все было наверху, и мы медленно двинулись дальше. Какими маленькими казались мне трещины в леднике после этого под'ема!

Мы были на высоте более четырех тысяч метров. Сухой воздух мешал снегу таять — снег сразу обращался в газ, и, когда мы пытались оттаивать его в кружке, на дне оказывалось лишь несколько капель воды.

Теперь все наше имущество — инструменты, палатка, оружие и продовольствие — было с нами. Целью нашей был перевал, откуда надо было делать с'емку. Ремни резали плечи, ноги скользили по льду. Шли гуськом, упираясь палками в лед. Семь километров отняли около трех часов. Перевал откоился внезапно. Вид с него был дикий и злоеущий: узкие, глубокие ущелья, в которых клубились облака и как копыя торчали каменные зубцы. Красноармейцы совещались, где разбить палатку. Они выбрали место под скалой, где на снегу

были рассыпаны камни. Камни показались мне подозрительными. Несомненно, это — следы обвала. Я приказал бойцам перенести палатку в другое место. Они неохотно выполнили это: место под скалой защищало от ветра. Ночью нас разбудил сильный грохот. Я выскочил из палатки, за мной — остальные. Ночь была темна, высокие звезды почти не давали света. Грохот продолжался со стороны скалы, потом затих.

— Обвал, — сказал Рыбаков, — оглушил прямо.

Делать нечего. Пришлось ждать утра. Мы забрались в спальные мешки и скоро опять уснули. К чему только не привывает человек!

Утром мы увидели грозные следы большого обвала. Он обрушился недалеко от скалы, где мы хотели ночевать.

— Вот и заночевали бы, — укоризненно сказал Млечин, — эх мы!..

Он, смешно прищурясь, оглядел своих товарищей, и все засмеялись.

Я начал работу. Видимость была прекрасная, и я подбодрял бойцов, чтобы не терять дорогих минут. Все было бы хорошо, если бы не ветер. Он дул непрерывно и сильно, не давая ни минуты отдыха. Вернулся я с оковеневшими руками. Мечтал о тепле, но в крошечной нашей палатке (рассчитанной на двух человек, а жили в ней четверо) было зверски холодно. Ветер усиливался, жалкая палатка ходила ходуном. Вдруг что-то зашуршало о верх палатки, точно ее осыпали песком. Млечин выглянул и сообщил: началась снежная метель. Мне было так холодно, что я ни о чем не мог думать. Хорошо бы сейчас стакан горячего чая, но у нас не было ни капли керосина, ни одной щепочки для костра. Залез в спальный мешок и пытался уснуть. Я знал, что утром проснусь бодрым, и жаждал поскорее забыться.

Проснулся я от воя и сильного шороха. Высунул голову и увидел, что лежу под открытым небом.

— Лежите, лежите, товарищ командир, — послышался голос Млечина. — Пустяки, палатку ветром сорвало, сейчас мы это ликвидируем.

Они подкладывали, что было тяжело-го, под бока палатки, потом сами навалились на полы. Метель не утихала всю ночь. Я был, как в забытьи, меня трясло, боялся, что заболел. Однако все обошлось. Утром засыпали палатку с боков снегом, пытались утрамбовывать его. Но получалось плохо — снег сухой и рассыпчатый, — ничего с ним нельзя сделать. Позавтракали холодной бараниной, а запить нечем. Снег совершенно не утоляет жажды, а воды нет. Несколько минут бежал и топтался по маленькой нашей площадке. Согревшись, приступил к работе. Писал я, как начинающий школьник, — законченные пальцы не слушались. Машинально работал, поворачивал мензулу и вдруг с ужасом почувствовал, что не могу бороться с вялостью и равнодушием. Это было самое страшное, чего я боялся. Я вскочил, полный тревоги, стал ходить по площадке. Ко мне подошел Млечин, и я поделился с ним своими опасениями. Он посмотрел на меня внимательно и грустно и сказал:

— Думаю, что у вас начинается горная болезнь, товарищ командир. Апатия, вялость — одни из первых признаков. Не тошнит вас?

После полудня опять поднялась снежная буря. Небо обложили тяжелые, плотные, как камень, тучи. Работа на этой точке была закончена, и я решил, что безрассудно оставаться здесь, где мы легко могли погибнуть. С трудом свернули одеревяневшую от мороза палатку, плотней закутались в промерзшую одежду и двинулись в обратный путь. С первых же шагов обнаружили опасность. Свежий снег покрыл ледяные трещины. В одну из них провалился я, шедший впереди. К счастью, при выступлении мы связались одной веревкой. Меня вытащили. Буря усилилась, мы едва видели друг друга. Млечин предложил укоротить веревку, чтобы держаться ближе один к другому. Так и сделали. Теперь я шел третьим и с трудом мог различить Рыбакова (он шел вторым), а первого — Млечина — сквозь бурю уже не было видно. Чтобы не сбиться с пути, я направлял передних строго по азимуту, который был у

меня записан при с'емке ледника. Несмотря на трудность продвижения, мы шли быстро, стараясь согреться в движении и торопясь засветло достигнуть места, где можно было бы провести ночь.

Знаю, что люди смертельно устали, сам едва держусь на ногах, но бодро повторяю:

— Вперед, вперед, товарищи, — здесь останавливаться нельзя!

И мы идем, согнувшись под ветром и под тяжестью снаряжения. Вдруг — остановка. С трудом шевеля замерзшими губами, Рыбаков передает, что меня прит Млечин. Пробираюсь к нему. Он молча показывает на отвесную скалу, преграждающую нам путь. Как ни холодно мне, я почувствовал, что холодею еще больше. Значит, я ошибся при проверке азимута, дал неверное направление. Это страшно. Но еще страшнее растеряться в подобном положении.

— Возьмем скалу, — весело говорю я. — Я иду первым.

И вот я врубаюсь ледорубом, цепляюсь за лед кошками, стараясь показать, что у меня в запасе большие силы. А сил нет, — сам не знаю, что движет мною, что заставляет руки подыматься, ноги — двигаться. Не помню, как я очутился наверху. Вижу за собой синее, помертвевшее лицо Рыбакова, крепко обнимаю бойца и спрашиваю:

— Трудно, товарищ Рыбаков?

— Трудно, — шепчет он, — да что же делать?

— Еще немного, — весело говорю я. — Сейчас доберемся до укромного места и устроим привал.

Наконец можно разбить палатку. Все устали, никто не думает об еде. Залезаем в спальные мешки, плотно прижимаемся друг к другу и засыпаем. Утром высовываю голову из мешка — холодно, ничего не видно. Снег лезет в рот, в глаза, в уши. С трудом выдираюсь наружу. Край палатки отвернут ветром, снег засыпал нас. Не видно товарищей, только ровная пелена снега над ними. Под снегом было тепло — чувствую по себе. Бужу, тормошу товарищей. Они вылезают, как тюлени, и все мы весело

сеемся. Как дорог смех в такие минуты!

Наскоро завтракаем холодной бараниной. Пожевали снег и пошли. Двигаемся так: делаем шаг и ледорубами прошупываем снег. Все же проваливались несколько раз и много усилий тратили на то, чтобы вытаскивать упавших. В полдень увидели клочок голубого неба. Меня тревожит Рыбаков. Хочу взять у него часть поклажи, но Млечин сделал это раньше меня. Какой золотой парень!

— Давайте мешок, Млечин, — отрывисто говорю я.

И в первый раз за все время он не подчиняется мне.

— Товарищ командир, — глухо просит он и смотрит на меня с ожесточением, — разрешите мне донести... совсем не тяжело...

И у меня нет сил повторить приказание. Скорее бы база...

Когда показался синий дымок, мы не выдержали, закричали «ура» и побежали. С восхищением смотрели мы на желтоватое, почти прозрачное в дневном свете, пламя костра. Так, должно быть, смотрели на огонь первобытные дикари.

РЕКА БЕЖИТ МЕЖДУ СКАЛ

Над лесом прошла туча. Ветер медленно гнал ее к реке, и на минуту туча отразилась в воде. Быстро текущая вода изломала ее, — казалось, что туча распалась на куски. Капитан Березов с завистью смотрел на широкое русло реки, на ее воды, из которых не высовывался ни один камень. Тайга подступала к самым берегам. Но берега были пологи, — можно свободно пробираться вдоль них, — а что будет дальше!.. Он ясно представил себе реку на своем участке. Скалистые берега все больше сжимают ее, течение становится стремительнее, пена клокочет на перекатах. Черные каменные клыки торчат из воды — нехорошо лодке наткнуться на них. Капитан бросил в воду папироску и машинально смотрел, как быстрое течение ее уносило. С таким течением благодать... Плыви и плыви себе, мож-

Какой роскошной показалась нам маленькая хижина базы! Настоящий дворец культуры! Там есть настоящий стол! Есть даже койка! Можно помыться из жестяного умывальника, можно написать письмо у стола. Первым делом набрасываемся на горячий чай. Только сейчас чувствуешь, как трудна была работа в горах.

Понемногу все приходит в норму. На другой день принимаюсь за первичную проверку и обработку моих с'емок. Добытые с таким трудом, они оживляют передо мною суровые картины ледников и высоких гор.

На базу прибывают новое снаряжение и запасы одежды. Скоро итти в новый поход. Встречаю Рыбакова. Вид у него прекрасный, будто и не было того тяжелого, что мы перенесли вместе с ним. Сообщаю о том, что скоро опять иду в горы. Он радостно кивает головой.

— А Млечин и Сидоров тоже пойдут? — спрашивает он. — Разрешите и мне готовиться, товарищ командир!

Пожимаем друг другу руки и расходимся.

Через три дня мы выступаем.

но даже петь песни, можно и о доме подумать.

Он повернулся к деревьям, под которыми уже заканчивались приготовления к походу. Тяжелая лодка стояла у самого берега, вторая, чуть поменьше, была вытащена на песок. Запах свежей смолы шел от лодок — недавно бойцы заново просмолили и проконопатили их. Березов медленно прошелся вдоль лодок, заглянул в них; проверил, хорошо ли уложены вещи. Все инструменты, все продовольствие и носильные вещи хранились на этих двух суденышках. Сейчас оттолкнуть их от берега — и поплывет его, Березова, команда в те места, где долго не встретят они никого, где топорами и пилами будут прокладывать себе дорогу. Он весело посмотрел на старшину, кивнул ему головой — они понимают друг друга без слов.

Сборы продолжались недолго. Старшина доложил, что все готово, и лодки тронулись в путь.

Была середина лета. Значительная доля работы была уже сделана. Та часть участка, что требовала нанесения ее на план, была самая трудная. Большая лодка плыла впереди, вода пенилась за ее кормой. Бойцы гребли сильно и дружно, брызги летели с весел. Рыба выпрыгнула из воды, с правого борта, и все проводили ее глазами.

— Не уйдешь, — пробормотал старшина, — не тебя, так сестру твою поймаем, много здесь вашего племени.

Уже через три часа после начала похода река стала другой. Попрежнему тайга стояла по ее берегам. Но берега подымались выше и неровными мысками врезались в воду. Они теснили реку, и она, сердясь, бежала быстрее, точно искала простора. Его не было. С каждым километром берега сдвигались теснее, становились скалистее и суровее, душили реку. Вода уже не шумела, а редела. Черные коряги выступали кое-где у берегов, рыжеватая пена скоплялась между ними. Старшина стоял на носу, заботливо смотрел в воду. Он повернулся к капитану и рукой показал вперед:

— Видны перекаты, — доложил он. — Пойдем, товарищ капитан?

Березов поднял бинокль. Через сильные стекла он увидел белую, курчавую пену, сильные всплески воды. Лодка была тяжело нагружена, — а вдруг не проскочит? Он посмотрел на берега. Изрезанные, скалистые, сплошь заросшие лесом, вряд ли позволяют они проташить лодку. Лицо старшины было сосредоточено: он, наклонясь вперед, изучал перекаты.

— Ну, как вы думаете, Козлов, — вполголоса спросил Березов, — пройдем?

— Надо пройти, — спокойно ответил Козлов. — Берегом не проберешься.

Березов принял решение.

— Крепче весла держать! — приказал он. — Тут нужна точность.

Расставив ноги, старшина поднял дощатое весло. Он резко опустил его в

воду, согнул спину. Теперь было важно не дать лодке повернуться, направить ее в середину переката.

— Правее, правее, — громко, чтобы заглушить шум реки, закричал Березов, — правее держать!

В этом месте река делала небольшую излучину. Ее воды стремительно ударились в берег и, отброшенные оттуда, снова бросались на середину реки. Получалось как бы боковое течение, и оно подхватило лодку. Нос повернулся к берегу, и сейчас же волна захлестнула ее с борта. Березов и Козлов бешено забирали веслами. Кто-то вскрикнул. Перекат ревел совсем близко. Лодка, взяв правильное направление, врезалась в него.

Вода и пена ослепили всех, борта лодки скрылись в брызгах. Перекат был пройден. Козлов, точно ничего не случилось, отложил весло и обернулся к перекату, куда подходила вторая лодка. Березов стоял во весь рост, смотрел назад. Вторая лодка с необычайной быстротой летела к перекату. Она была легче первой и высоко подпрыгивала на волнах. Коренастый красноармеец Буреев, вятский колхозник, стоя на носу, отчаянно работал веслом. Против излучины лодку толкнуло в бок, и она стала бортом к течению. Видно было, как работали весла, как, напрягаясь, рвал воду своим веслом Буреев. Лодка медленно принимала правильное направление. Вдруг Буреев выпрямился. Вода сломала у него весло, он поднял над головой обломок. Козлов глухо вскрикнул — вторую лодку бортом швырнуло в перекат. Она скрылась в нем, за шумом воды не было слышно криков.

— Вышла, вышла! — радостно закричал кто-то с первой лодки.

Действительно, вторая лодка вылетела из переката. Но в тот момент, когда она миновала перекат, сильным течением ее швырнуло к берегу, к черным корягам, и перевернуло. Мелькнуло просмоленное, блестящее днище лодки, и через минуту вниз по реке поплыли вещи, показались из воды головы людей. Козлов сбросил сапоги, прыгнул в воду. Березов скомандовал грести к перевернутой лодке. Но Козлов плыл в дру-

гом направлении. Он увидел то, чего не заметили другие. Гиматулин, маленький, смуглый татарин, плыл по середине реки. Он барахтался, неумело вскидывал руками. Старшина плыл кролем. Гиматулин скрылся под водой, потом показалась его рука, и Козлов схватил ее. Теперь он плыл на боку, поддерживая Гиматулина, и скоро ухватился за корягу. Люди ловили всплывшие вещи, Буреев толкал к берегу перевернутую лодку. Березов угрюмо подводил итоги. Часть провизии погибла, — был ли он виноват в этом? Он еще раз посмотрел на берег.

Нет, он поступил правильно — берегом нельзя было пробраться.

Сколько еще таких перекатов встретится им в пути? В конце-концов то, что случилось, было лишь рядовым происшествием в трудной топографской жизни. Надо будет только сделать некоторые выводы, усилить команду второй лодки, ближе держаться к ней. Он влез в воду, вместе с другими вылавливал вещи. Перед собой он увидел расстроенное лицо Буреева. Буреев стоял у берега и что-то говорил старшине. Козлов сердито стягивал через голову мокрую гимнастерку вместе с рубахой. Размашисто шагая, он направился к Березову.

— Маленькое несчастье, товарищ капитан, — нахмурясь, доложил он, и по его тону Березов понял, что несчастье совсем не маленькое.

— Кипрегель утонул, — угрюмо сказал старшина и, оглядываясь на раздевавшегося Буреева, добавил: — Разрешите, товарищ капитан, поныряем за ним.

Березов молчал. Он был в жестоком колебании. С одной стороны, опасно нырять вблизи переката, с другой — нечего и думать вести дальнейшую работу без кипрегеля, необходимого инструмента. Он внимательно посмотрел на старшину.

— Как же вы его достанете? — с сомнением спросил он. — Ведь кипрегель в ящике, с ним не вынырнете.

— С веревкой будем нырять, — объяснил старшина, — под водой перевяжем его.

Березов ничего не ответил. Выхода не было. Он решил тоже принять участие в поисках. Между тем лодки вытащили на берег. Тайга подступала к самой воде. Пришлось рубить деревья, чтобы расчистить маленькую площадку для лодок. Запылал костер, вокруг него сушились люди. Вбили в землю колышки, на них развесили одежду. Березов попробовал пройти вдоль берега. С трудом карабкался он на скалы. В некоторых местах свалившиеся деревья делали путь непроходимым. Тут не пробрался бы человек, где уж пронести лодку! Нельзя провести ее и бечевою, так как сквозь нагромождения скал и поваленных деревьев человеку не пройти. Он вернулся к костру. Старшина с Буреевым определяли место, где затонула лодка.

— Когда доплыву до этого места, — объяснял старшина, — подашь мне сигнал — подымеешь руку. Понял?

Буреев повторил его слова. Старшина взял в правую руку свернутую кругом веревку и бросился в воду. Он плавал прекрасно и в несколько взмахов достиг намеченного места. Буреев поднял руку. Старшина глубоко вобрал воздух и скрылся под водой. Он пробыл там так долго, что на берегу забеспокоились. Только Буреев был спокоен.

— Ныряет, как нерпа, — пробормотал он, — чего о нем беспокоиться.

Над водой показалась голова Козлова. Он провел рукой по волосам, отфыркиваясь, как тюлень, полежал на спине, отдыхая, и опять нырнул. Через полчаса, измученный, он вылез из воды. Его сменил Буреев. И этот ничего не добился. Березов приказал прекратить поиски. Собрав бойцов, он вместе с ними стал определять, где перевернула лодку. Он набросал план реки, поставил на нем точки, соответствующие показаниям отдельных красноармейцев, и наметил центр среди всех этих точек. Потом разделся. Медленно плыл он берега силы. Обернулся к берегу и, когда старшина поднял руку, нырнул. Глубина достигала трех метров. Дно было каменистое. Скорчившись, Березов схватился за камни и, держась за них, пополз по дну. Когда нехватало дыха-

ния, подымался на поверхность и отдыхал. Нырря в четвертый раз, нащупал кипрегель. Хотел перевязать его веревкой, но нехватило дыхания. Он вынырнул, вобрал воздух во всю глубину легких и нырнул. Затянув на ящике узел, захватил конец и вынырнул. Через полчаса инструмент был на берегу. Заблудившись Березов открыл ящик. Инструмент был в полной исправности, его тщательно вытерли тряпками.

На берегу ночевали, утром поплыли дальше. Еще два раза встречали перекаты и благополучно одолевали их.

Через несколько дней доплыли до порогов. Всюду кипела на реке пена, торчали из воды острые камни. До участка оставалось около сорока километров. Казалось, все пути туда были преграждены. Река не пускала, тайга была непроходима. И все же она оставалась единственным путем. С двумя бойцами Березов отправился на разведку. Они пробирались вдоль берега, на своем пути валили деревья, рубили ветви, карабкались по скалам.

Пройдя около двух километров, — на что ушло более трех часов, — Березов с грустью убедился в невозможности протащить здесь лодки. Он решил оставить лодки здесь, как базу, и с группой двинуться в глубь тайги, на участок. При лодках достаточно оставить двух человек. За день построили нечто среднее между шалашом и избушкой. Оставшиеся должны были постепенно достроить его, пока же он мог служить им убежищем. Березов следил за упаковкой грузов. Брали мензулу, кипрегель, другие инструменты. Захватили большой запас продовольствия. Группа медленно двинулась в путь. В последний раз оглянулся Березов на лодки, на шалаш, на людей. Он был тверд, хотя смутное беспокойство сосало его. Но как только берег скрылся за деревьями, беспокойство оставило Березова. Надо было идти на участок, вести группу, и ничто другое уже не занимало его. Трудно подвигаться вперед. Не было тропы. Часто не найдешь места, куда поставить ногу. Каждую минуту приходилось пускать в дело топоры, а иногда и пилы. Люди были тяжело нагружены, а здесь

и налегке едва можно было пробраться. Первые часы Березов невольно думал, что, если так пойдет и дальше, придется искать какой-нибудь героический выход. Но тайга не давала возможности других решений. Надо бороться с ней.

Каждые два часа делали короткий привал. Несмотря на усталость, люди держали себя хорошо. Буреев обвел кругом рукой и негромко сказал, точно подумал вслух:

— Вот где партизаны воевали! Про эти места, должно быть, и песни сложены.

Никто не ответил ему. Молча все смотрели на дремучий, суровый лес. Они двинулись дальше. Старшина, шедший впереди, доложил взволнованным голосом:

— Тропа, товарищ капитан! Только давнишняя. Давно по ней не ходили.

Узкая, едва различимая тропа вилась между деревьями. Куда вела она? Кто проложил ее? Может быть, протоптали таежные звери, а, может быть, здесь много лет назад пробирались бородатые партизаны. Медленно пошли по тропе. В некоторых местах она была так узка, что мешки за плечами цеплялись за деревья. В других местах тропа терялась, шли наугад. Скоро она завернула вправо, стала подыматься. Они очутились на скале высоко над рекой. Потом тропа увела их от реки и неожиданно петлей вернулась к берегу. Она обрывалась на пологой скале, точно уходила в воду. Зоркий старшина увидел ее продолжение на другом берегу. Река в этом месте была неширока и, стиснутая каменистыми берегами, текла стремительно. Березов молча смотрел на реку. Тропа вела на его участок, и нельзя было бросить ее: люди ли, звери ли ходили здесь, но, где проходили они, там не могут не пройти он и его товарищи. Все это казалось ему простым и ясным.

Буреев внимательно посмотрел на командира.

— Плот будем строить, товарищ капитан? — спросил Буреев.

Глубокая радость охватила Березова оттого, что красноармейцы угадали его мысль и разделяют ее. Да, надо скорее строить плот. Люди проворно сбрасы-

вали тюки. Умелые руки старшины и Буреева взмахнули топорами. Появились веревки. Березов рассчитывал на скорость течения. Он боялся, что бурные воды реки могут унести плот, и указал, куда надо держать. Летели на землю сучья. Стволы соединялись вместе. Прикручивались к ним тюки. Скоро были готовы длинные шесты.

Старшина сурово оглядел бойцов.

— Берегите инструменты, — наставлял он. — Человек из воды всегда выберется, товарищ поможет, а инструмент на дно идет. Разрешите начать переправу, товарищ командир?

Новая мысль пришла в голову Березову.

— Шестов может нехватить на всю глубину, — сказал он, — тогда придется грести. Надо приготовить весла.

На это ушло еще около часа. Грубые подobia весел были готовы, плот спущен на воду. Березов стоял на носу.

— Дружно! — командовал он. — Эй дружно, товарищи!

Шесты уперлись в дно, плот резким толчком бросило вперед и сейчас же течение подхватило его. Бойцы попеременно перехватывали шесты, так как без их опоры плот сейчас же унесло бы вниз. Двадцать метров, составлявших ширину реки в этом месте, казались непреодолимыми. Вблизи от берега сломался один шест, и Березов изо всех сил начал грести. Плот завертелся. Два бойца спрыгнули в воду — она была по пояс — и начали толкать плот к берегу. К вечеру переправа была окончена. Тропа вилась в прежнем направлении, — тут она проходила явственнее, чем на противоположном берегу. И вдруг пропала, иссякла, как иссякает источник или ручеек. Попрежнему стояла перед ними непроходимая тайга, каждый шаг приходилось брать с бою. Иногда они карабкались по голым, острым камням, иногда перебирались по поваленным деревьям, не касаясь земли. С грустью видел Березов, как у бойцов рвется обувь, как зловещие трещины проходят по подметкам. Ночевали на земле. Красное пламя костров тянулось к вершинам тайги, при их неверном свете выступали могучие стволы пихт и сосен.

Однажды сухой треск в лесу обрадовал их.

— Неужели люди? — сказал Козлов. — Вот счастье бы!

Треск приблизился и вдруг оборвался.

— Смотрите, смотрите — сохатый!

Огромный олень стоял неподвижно, с глубоким удивлением всматриваясь в людей. Ясно была видна его крупная голова с ветвистыми рогами, черные, блестящие глаза. Взмахнув рогами, сохатый с легкостью, неожиданной для его веса, прыгнул и исчез. Запоздалый выстрел грянул ему вслед.

— До чего ж досадно, — сказал Буреев, — давно свежего мяса не ели, да и панты у него дорогие. Все в тайгу убежало!

Наконец-то они достигли границ своего участка. Березов ожил. Теперь шли, работая по рейке. Было трудно карабкаться с мензулой на уступы скал. еще труднее вести ход через тайгу, где самому надо создавать ориентиры. Он вел ход, ставил вехи. Часто направление держал по компасу, но, при всей своей энергии, мог делать в сутки только по одной точке. Труднее всего было отыскивать возвышенные пункты для установки вех. На крутой горе Березов решил вырубить у вершины все деревья, оставив одно, с обрушенными ветвями, вместо вехи. Эта работа отняла полтора дня; но зато он имел теперь хорошую командную высоту, которая облегчала работу. Он вздыхал, глядя на тайгу. Как помогла бы ему хоть одна просека — один ясный ход в этой проклятой, дремучей пустыне! Между тем продовольствие приходило к концу. Нечего было и думать доставить его по реке. Вечером Березов советовался со старшиной, кого послать к лодкам. Козлов немного помолчал. Березов полюбил этого спокойного, исполнительного человека, который все делал основательно и без шума. Лицо у Козлова заросло рыжеватой бородой, щеки впали.

— Не иначе, как меня послать, — задумчиво сказал старшина. — Бойцов страшно посылать — заплутаются.

— По засечкам и пойдете, товарищ Козлов, — сказал Березов. — Осторож-

нее только через реку переправляться! Плот, наверное, под деревьями и лежит. Жду вас.

С Козловым пошли два бойца. Вот, все трое в последний раз мелькнули между деревьями и скрылись. Как всегда, беспокойство перешло у Березова в жажду работы. Он бросился в нее, как в бой, с яростным напором. Перед ним лежала высокая, трудная гора, которую он решил взять сегодня. Он отправился с одним красноармейцем, остальных послал ставить вехи на возвышенных точках, намеченных ранее. Подъем был труден. Изорванные сапоги плохо защищали ноги, и Березов подумал, что всей его группе не обойтись без моршней — местной обуви из сырой оленьей кожи, которой пользуются охотники в тайге. Небо хмурилось, видимость была небольшая. Хороший спортсмен, Березов подымался легко, часто оглядываясь на красноармейца, с трудом поспевавшего за ним. Он отметил точку и решил поставить веху. Острый топорик пошел в дело. Каменистая земля неохотно приняла веху.

— Устали, товарищ Рудин? — весело спросил Березов.

— А вы, товарищ командир, — с обидой в голосе отозвался Рудин, — вы-то не устали же?

Березов улыбнулся. Ему нравилась эта черта у бойцов — равняться на тех, кто больше других может работать и с кого можно больше требовать. Они продолжали подъем. Отвесная скала возникла перед ними. Вершину горы закрыл туман. Справа виднелся неясный просвет. Сильный ветер на минуту разогнал туман, и Березов невольно отшатнулся: массивный утес выдвинулся из-за тумана страшно, как океанский пароход, вынырнувший перед маленьким суденышком, которое он грозит раздавить. Его острая вершина клонилась вперед, точно готовая обрушиться. Березов оглянулся на Рудина. Тот смотрел на утес расширенными глазами, лицо его побледнело.

— Вот страшилище, товарищ командир. — сказал Рудин.

Между тем Березов искал направления, которого следовало держаться. Они

пробирались все выше. Иногда Березов присаживался на камень, снимал план. Ему хотелось достигнуть вершины. Это удалось после долгого, утомительного под'ема. Тайга лежала перед ними, гористая, замкнутая в себе. Вершины ее стлались внизу, как плотный зеленый дым без единого просвета. Березов долго и упорно смотрел в бинокль, отыскивая какой-нибудь ориентир. Далеко на севере он увидел горный хребет. Он лежал в синей, туманной мгле, даже контуры его нельзя было определить.

А день приходил к концу. Сумерки наступали быстро, и Березов заторопился обратно. Держа направление по компасу, он решил идти напрямик, но отвесные скалы часто заставляли его и Рудина менять направление. Опять пошел дождь, косые, холодные струи насквозь промочили гимнастерки топографов. Вдруг перед ними оказалась промоина, и они с трудом стали пробираться по ее дну. Оба тяжело дышали, голод и усталость мучили их. Они едва различали предметы вокруг себя. Было совсем темно.

— Держитесь за мной, товарищ Рудин, — приказал Березов.

Сплошная чаща не пускала его вперед. Несколько раз он менял направление, но прохода не было. Тайга взяла их в плен. Тогда он остановился. Бесполезно метаться в темноте. Березов слышал за собою прерывистое дыханье Рудина.

— Придется ночевать здесь, — сказал Березов, — в темноте не проберемся.

Рудин не отвечал. Зубы у него стучали. Березов выбрал место под деревом, наломал веток. Дождь не переставал.

— Пойдите сюда, товарищ Рудин, — мягко сказал Березов. — Вы продрогли.

— Немного есть, — стараясь казаться бодрым, ответил Рудин. — Главное, все мокрое — сапоги, одежда.

Они сели рядом под деревом, прислонились к широкому стволу с сухой его стороны.

— Сяльте ближе, — сказал Березов, — будем греть друг друга.

Он почувствовал плечом дрожавшее от холода плечо Рудина. Достал папиросы, и оба закурили.

Попробуем развести костер, — предложил Березов.

Они долго бились над мокрыми ветвями. Ветви шипели, пускали пузырьки — не горели. Со вздохом Березов прекратил попытки. Он снял плащ.

— Наденьте плащ, товарищ Рудин.

— Товарищ командир! — голос Рудина умолял. — Пожалуйста, оставьте плащ себе. Мне он не нужен.

— Возьмите плащ, товарищ Рудин, — сухо приказал Березов.

Рудин взял плащ.

— Разрешите попросить вас, — тихо сказал он, — плащ я взял по вашему приказанию, разрешите мне поделиться плащом. Мы сядем рядом. Не могу же я, чтобы вы дрогли... Разрешите, товарищ командир...

Теплое чувство охватило Березова. Молча он сел на ветви, прижался к Рудину. Они натянули плащ на головы, покрыли им спины. Ветви потрескивали под ними.

— Досадно, что мы ничего с'естного не взяли, — заговорил Березов. — Ведь здорово есть хочется, товарищ Рудин?

— Потерпим, — спокойно ответил Рудин. — Ведь на войне такое всегда может случиться.

Они разговорились. Березов спросил у Рудина об его доме, когда получил он последнее письмо. Рудин ответил. У него была сестренка шестнадцати лет. Этой осенью поступала в техникум, уезжала в районный город.

Березов под плащом достал бумажник и зажег спичку. Огонек на минуту озарил женское лицо на фотокарточке и рядом с ним головку ребенка. Спичка потухла у самых пальцев.

— Жена и дочка, — догадался Рудин. — А я вот еще не женился.

Березов рассказал о книге «Таежные походы», которую он прочел недавно. Подробно говорил о Сергее Лазо, о захвате японцами Владивостока, о том, как зверски сожгли белые живьем в паровозной топке доблестного бойца.

— Вот какие люди были, — тихо сказал Рудин. — Сколько мук претерпели, а не сдавались.

Сидя тесно, они согрелись. Ночью Березов проснулся от холода. Рудин спал, по-детски сопя во сне. Капитан хотел расправить онемевшие члены, но жалко было будить бойца. Вдруг ему почудился отдаленный звук выстрела. Он прислушался. Выстрел повторился. Бойцы искали его и Рудина. Он осторожно отодвинулся, встал. Рудин проснулся.

— Ищут нас, подают сигналы, — объяснил Березов.

Он достал револьвер, выстрелил. Подождал минуту и выстрелил вторично. Ответный выстрел донесся ближе. Они встали, принялись громко кричать. Чуть слышно донесся ответный далекий крик. Потом мелькнул огонек. Березов достал ветви, высушенные их телами, и попытался зажечь. Они загорелись. Скоро костер пылал под деревом. Рудин с наслаждением примостился к огню, временами издавал протяжные крики. Плышался треск ветвей, ближе показался огонь. Буреев и еще один боец вступили в свет костра.

★

Прошло четыре дня. Козлов все еще не возвращался. Припасы кончились, хотя со времени ухода старшины все сидели на половинных порциях. Из последней коробки мясных консервов сварили суп, основное содержимое которого составляла вода. Березов похудел, весь день он проводил на с'емке. Буреев рыскал по тайге, в поисках дичи. Ему было жалко командира и товарищей, которых мучил голод. Он старался брать на себя самую тяжелую работу, таскал тяжелые инструменты, ходил на самые далекие пункты. Когда миновал шестой день со времени ухода старшины, — а его все еще не было, — Буреев решил во что бы то ни стало найти выход из положения. Он хорошо ориентировался в тайге и теперь ушел на несколько километров от стоянки.

«Если сегодня ничего не найду, — подумал он, — попрошу разрешения итти навстречу Козлову».

Продвигаясь вперед, он на всякий случай делал засечки на деревьях. Находил грибы, клал их за пазуху: на худой конец можно сварить. Он бродил долго, не сделал ни одного выстрела и уже собирался обратно. Настроение было свирепое, и он сердито шаркал ногами по земле. Послышался хруст: кто-то тяжело и неторопливо шел ему навстречу.

«Неужели за мной послали?»—с досадой подумал Буреев.

Из-за ствола большой ели вышел медведь. Он с удивлением посмотрел на человека, мотая лобастой, треугольной головой. Потом фыркнул и пошел обратно.

В первую минуту Буреев оцепенел, потом бросился за медведем. Ведь медведь уносил с собой несколько пудов мяса—питание на две пятнадцатки для всей группы!

— Постой, постой, куда ты? — с искренним огорчением закричал Буреев, срывая с плеча винтовку. Но медведь не хотел ждать. Его темная шкура мелькала между деревьями, и Буреев выстрелил наудачу. Послышался глухой рев, медведь побежал и скоро скрылся в тайге. В отчаянии Буреев направился к стоянке. Веселый дым потянул ему навстречу.

«Вот разожгли, — ворчливо подумал он.—можно подумать, быка жарят!».

Приближаясь, он услышал смех. Красноармейцы хлопотали у костра, на свернутой палатке сидел старшина и курил.

Несмотря на продолжавшиеся трудности таежной жизни, почти всем казалось, что жизнь сделалась немного легче. Они голодали, но вот пришел старшина со своими бойцами и принес продовольствие. Сначала было невыносимо тяжело карабкаться на скалы, прорубать себе дорогу в тайге, но теперь научились так действовать топором и пилой и так карабкаться по скалам, что и это казалось легким. Самое главное: все работали дружно и знали цель и смысл своей работы. Один только Горбов, как выражался старшина, «немного портил» группу. Горбов был толстомясый, краснолицый парень с маленькими, глубоко сидящими глазками. До

призыва в армию он служил буфетчиком в ресторане и привык к спокойной сидячей жизни. Он не любил двигаться, не любил трезог и лишений. С угрюмым неодобрением смотрел он, как весело и легко работают его товарищи, как спорится работа в их привычных, ловких руках. Ходил он медленно, и из-за него группа должна была задерживаться. Тайги боялся и ни за что не соглашался идти туда без товарищей. К тому же он совсем не умел ориентироваться и однажды, в нескольких сотнях метров от стоянки, не узнав направления, сел под деревом и сидел до тех пор, пока его не отыскали товарищи. Когда не было продуктов, он хныкал и два дня отказывался ходить на работу, уверяя, что совсем ослабел от голода. Березов приказал отдать ему последние сухари, которые берегли на непредвиденный случай. Горбов размочил их в горячей воде и жадно поедал, чавкая и повольчи поглядывая на товарищей, точно боялся, что они отнимут у него пищу. Товарищи не любили его, едко его высмеивали. Старшина был сдержан, особой неприязни к Горбову не показывал, даже одергивал бойцов, иногда резко выговаривавших Горбову за нетоварищеское отношение к работе. Березов все это видел, но пока молчал. Однажды он взял с собой Горбова в качестве речника. В тайге, во время короткой передышки, Березов сказал ему:

— Сядьте, товарищ Горбов. Я хотел у вас спросить: чувствуете ли вы себя сознательным человеком?

Горбов смотрел с недоумением, часто моргая.

— Вы понимаете мой вопрос? — мягко спросил Березов.—Чувствуете вы себя гражданином нашей страны, бойцом Красной армии?

Горбов нахмурился, засопел. Вдруг его точно прорвало.

— Разве это жизнь?—горячо сказал он.—Мука это, а не жизнь... Так люди не живут... Что я, двуличный, что ли, товарищ командир?

— Как вы полагаете,—спокойно спрашивал Березов,—для чего вы, я, наши товарищи здесь? Для забавы? Для чего мы снимаем план местности? Знаете?

Наконец для чего существует Красная армия, знаете?

Он говорил с ним долго, не жалея времени. Спросил Горбова об его отце, о прежней жизни отца. Отец оказался бывшим сторожем на железнодорожной станции; теперь не работает, получает пенсию. Горбов сопел, смотрел исподлобья, видимо, ждал, что командир потеряет терпение, и как будто даже хотел этого. Но Березов не сердился, терпения у него было достаточно. Он говорил дружески:

— Я вижу, вам трудно. Возможно, что вы плохо подготовлены к условиям жизни в тайге. Давайте вместе обдумаем, как помочь вам.

В этот день работа капитана не намного продвинулась вперед, но он не жалел о потерянном времени. Вечером, у костра, он проводил с бойцами беседу. Он рассказывал им о подпольной жизни Сталина в царское время. Говорил о том, как в тюрьме и в ссылке Сталин не переставал бороться и в самых трудных условиях не падал духом. Рассказал и о Ворошилове. Привел случай, когда Ворошилов привез на вокзал большого города тюк оружия и товарищ, который должен был его встретить, не пришел. И вот, под взглядом жандарма, Ворошилов спокойно вышел из вокзала и несколько часов бродил со своим опасным и тяжелым грузом по городу, пока не нашел места, где его спрятать. Он мог попасться каждую минуту, но даже не подумал, о том, что оружие, нужное партии и доверенное ему, можно бросить.

Березов говорил для всех, но беседа была задумана главным образом для Горбова. В маленьких глазках Горбова светилось напряженное внимание. Он ближе придвинулся к капитану.

Впоследствии у Березова было еще немало хлопот с Горбовым. Он часто брал неуклюжего бойца с собой на съемку плана, и малоподвижный Горбов втянулся и полюбил эти походы, во время которых много разговаривал с командиром. Однажды оба чуть не погибли. Неловкий Горбов оступился и полетел с крутой скалы. С силой отчаянья и страха он схватился за выступ и повис

на нем. Выветрившийся камень стал поддаваться под тяжесть Горбова. Березов быстро спустился к нему, осторожно схватил за пояс. Но у него не было опоры, и оба поползли вниз. Горбов с ужасом посмотрел на командира; сейчас отпустит он руку и — смерть. Березов перехватил его взгляд. У него хватило мужества улыбнуться.

— Не бойтесь,— сказал он, — выберемся.

И они выбрались. В последнюю секунду капитан уперся ногой в маленький камень и страшным напряжением всех сил удержался. Несколько минут потребовалось, чтобы осторожно, не делая резкого, губительного движения, выбраться наверх. У Горбова осунулось лицо, стало серым, землистым. Он дышал, широко открывая рот, недоверчиво ощупывал себя. Потом с каким-то странным выражением посмотрел на Березова. Березов уже взялся за планшет и весело кивнул Горбову.

— Когда оправитесь, товарищ Горбов, будем продолжать.

Еще два раза ходили к лодкам за продовольствием. В третий поход, к общему удивлению, вызвался идти Горбов. За начальника пошел Буреев. Он недоверчиво глядел Горбова, сомневаясь, можно ли его брать, но, встретив напряженный и встревоженный взгляд Горбова, молча пожал плечами. Они пробыли в дороге восемь дней. Березов кратко спросил Буреева, как себя держал Горбов.

— Не хуже других, товарищ командир, — отрывисто ответил Буреев. И, замаявшись, решительно сказал:

— Разрешите доложить. Горбов — хороший боец. Я о нем плохо не думаю.

Березов не мог удержаться от улыбки. Значит, и бойцы заметили, что Горбов стал лучше, и хотят ему помочь.

На следующий день по возвращении Буреева группа двинулась дальше, стремясь достигнуть верховьев реки.

Исполинские кедрь стояли в тайге. Мохнатые ели жались к ним. Не всегда увидишь здесь небо. Деревья загораживали его, скупно пропускали солнце.

Попали в глубокую, заболоченную падь. Подземные ключи, не имея сил

пробиться наружу, пропитали всю землю. Березов шел впереди, прыгал с кочки на кочку. В одном месте попал в болото и провалился по пояс. Бойцы медленно подвигались за ним. Было неудобно итти — мешал груз. Старшина шел последним, подбадривая отстававших. Вдруг он остановился, долго всмагивался, потом, прыгая через кочки, побежал к командиру. Березов выслушал его, приказал остановиться. Вместе со старшиной они взяли вправо, попали на давно нехоженную тропу. Березов молча показал старшине на деревья: на стволах были видны старые, потемневшие затысы.

Они вышли на крошечную полянку, — широкие пни срубленных деревьев показывали, каким путем образовалась она. На полянке стояла полуразвалившаяся избушка. Рядом с нею возвышалась круглая деревянная труба, хорошо сохранившаяся. Они вошли в избушку. Здесь, видно, давно не жили. Связка белчих шкур висела на стене, деревянная чашка валялась на полу возле жалкого ложа. На нарах лежало что-то длинное, узкое, формой своей напоминавшее человеческое тело. Старшина осторожно коснулся истлевшего тряпья. Открылся человеческий скелет, скудно покрытый сгнившими клочьями одежды. Оленьи морщины валялись в ногах. Коротенькая трубочка торчала в сжатых челюстях.

— Давно уже лежит, — сказал Козлов, — китаец это.

Что произошло в этой одинокой фанзе, заброшенной в тайге? Вероятно, охотник, живший тут, заболел или был изранен зверем и одиноко умер на своем ложе. Пепел еще сохранился в его трубочке.

— Похоронить надо, — сказал Березов. Подошли остальные. Вырыли могилу, топорами вырубая корни; закутали тело в старое одеяло, опустили в могилу. Под ложем нашли старую берданку с разбитым прикладом Березов решил заночевать в фанзе. Круглая труба возле фанзы служила для выхода дыма. Затопили камелек, стало жарко, уютно. Поужинали, выпили чаю. Все эти дни ночевали на земле в тайге. Фанза после

этих ночевок показалась им роскошным помещением. Березов провел с бойцами политбеседу. Он говорил об окраинах Советского Союза, об их богатствах и о значении, которое имеет для народа освоение этих богатств. Говорил о молодом городе Комсомольске, построенном в тайге, о том, с каким чудесным энтузиазмом строила комсомольская и советская молодежь этот город. Комсомолец Буреев был в нем, и Березов предоставил ему слово. С порозовевшим лицом встал Буреев и начал рассказывать. На диком берегу Амура стояла тайга, рыскали звери. Первые люди, которые пришли туда, жили в землянках, жгли костры. Спали, не раздеваясь, терпели большие лишения. А теперь сквозь тайгу проложена железная дорога и вырос настоящий город. В нем есть школы, кино, четырехэтажные дома, он освещен электричеством.

Здесь, в глухой тайге, в разбитой избушке, рассказ живого свидетеля удивительных, большевистских дел звучал свежо и сильно. Ведь там в таких же трудных условиях шли отважные группы красноармейских топографов, разведывая первые пути, снимая планы суровых мест. И вот ожили те места, великолепные плоды дала их работа! Горбов сидел на полу перед камельком, подставляя под себя шинель. Пламя отсвечивало в его маленьких глазах; обычно тусклые, сейчас они светились одушевленно и тепло.

Эту ночь спали крепко. Утром выступили в поход. Шли попрежнему без тропы, не оставляя затысов. Для ориентировки Березов взобрался на встретившуюся им гору. Его сопровождали Рудин и Горбов — два бойца, которые нашли себя в трудном походе. Горбов пыхтел под тяжелым инструментом, но не показывал виду, что устал. Гора оказалась высокой. Величественный вид открылся с ее вершины. Березов обрадовался — гора давала хорошую ориентировку. Он долго работал, измерял азимуты. Потом стоял, спиной опираясь на высокий, узкий камень, похожий на древнее каменное копьё. Горы подымались над тайгой, но все они были ниже этой вершины. Далеко, в дымке гори-

зонта, синели вершины перевала. От большого хребта, извиваясь, отходили боковые отроги. Казалось, все видимое пространство покрыто густой, темнозеленой травой, но Березов знал, что это — тайга, дремучая, непроходимая, еще ждущая своего исследователя. В бинокль он видел как бы черные морщины на склонах гор. Это были пади, темные и болотистые, откуда вытекают потоки, образующие многоводные таежные реки.

Березов все еще медлил спускаться. Он дополнял в своем воображении то, чего не видел отсюда, — весь заданный ему участок лежал перед ним. Он ясно видел его план, его контуры. Подсчитывал время, нужное ему для завершения работ. Как трудно было начинать, каким неясным казался путь, когда он высадился с лодки на берег, когда непроходимая тайга преграждала им путь. А теперь многое осталось позади. Вот даже такие слабые бойцы группы, как Рудин и Горбов, выправились, и на них можно положиться. А Козлов, а Буре-ев, а остальные? Он сроднился с ними, он знает, что это смелые, яростные в работе люди! Он почувствовал себя завоевателем этого дикого уголка своей родины, командующим маленькой армией, наступающей на тайгу, на горы, на порожистые реки.

Он бросился вниз, напевая, прыгая через камни, точно торопясь закрепить то, что видел с вершины горы, спеша продвигаться все дальше, все вперед.

Красноармейцы с трудом попевали за капитаном.

Порожистая река скоро опять преградила путь.

Она бежала между скал. От течения, подмывавшего их, от ветра, от времени скалы крошились и принимали порой причудливые формы. На противоположном берегу стояла скала, похожая на башню. Верхний ее зубец, плоский и широкий, был похож на каменный флаг.

Теперь переправа никого не смущала. Сбросив тюки, они начали рубить деревья. Старшина осторожно перенес на плот кипрегельный ящик и уже не упускал его из виду за все время переправы. Горбов, зажмурив глаза, осторожно вошел на плот и сел, для устойчивости

расставив ноги и крепко держась руками за бревна. Рудин ревниво стерег мензулу. Правил старшина и Буре-ев. На середине реки, к счастью, неширокой в этом месте, бурная, сердитая вода захлестнула их, но, крепко упираясь шестью, бойцы осилили течение и, мокрые, весело смеясь, вылезли на берег. Березов сейчас же попробовал взять скалу. Несмотря на крутизну, она оказалась доступной. Выветрившийся камень образовал ступени, по которым он взобрался на верх скалы. В одном только месте пришлось ему пройти по узенькому карнизу. Внизу редела река, осклизлые, мшистые камни торчали из воды. Он прошел боком, спиной упираясь в скалу. Вид был чудесный. Ветер разогнал тучи, и на много километров вокруг открылась перед ним страна, в отрогах гор и зеленой тайге. Невдалеке он различил яркозеленые вершины старых кедров, дальше темнели пади. Он достал план, руки его дрожали от нетерпения. Видимость отсюда была так хороша, что он решил не уходить отсюда, пока не снимет плана. Но ему нужна была мензула. Как доставить сюда инструмент? Он вспомнил про опасный карниз.

— Все равно, — вслух подумал он, — без нее нельзя. Придется втащить ее сюда.

При спуске карниз показался ему менее опасным, чем при подеме.

— Товарищ Козлов, — сказал он, — надо доставить мензулу на вершину скалы. Но там есть опасный карниз. Понимаете?

— Есть, доставить мензулу на вершину скалы, — повторил старшина. — Разрешите мне с Буре-евым осмотреть подъем и карниз, товарищ капитан.

... Два человека спойно начали свое трудное дело. Березов знал, что может на них положиться, но и сам не представлял себе, как можно пройти с мензулой по карнизу. Он видел, как старшина и Буре-ев, вернувшись с осмотра скалы, совсались между собой, как взяли драгоценный инструмент и понесли его.

Березов вскочил, бросился к подему. Он столкнулся с Буре-евым. Буре-ев приложил руку к козырьку.

— Явился по приказанию старшины, — сказал он. — Старшина приказал доложить вам, товарищ капитан, что ваше приказание выполнено. Мензула находится на вершине горы. Старшина ожидает вас там.

Эту ночь провели в тайге, неподалеку от реки. Только один человек остался на стоянке, готовя обед; остальные, разбившись, работали. Обед был скудный: мука и консервы. Все тосковали по хлебу, но его нигде было печь. Из муки готовили лепешки. Буреев ухитрился спечь калачи. Их ели с восторгом, хвалили пекаря. В вечных скитаниях трудно было устроиться хорошо, до базы слишком далеко. Старшине удалось застрелить дикого кабана. Пуля перебила ему спинной хребет, и, осев на задние ноги, он злобно оскалил клыки, покрытые кровавой пеной. Вторая пуля прикончила зверя. Вечером на стоянке был большой праздник. Жареная свинина казалась необыкновенно вкусна, суп был наварист и жирен. Оставшееся мясо взяли с собой — его хватило на четыре дня.

Утром продолжали поход. Держались течения реки, но иногда отходили в сторону. Часто реки не видели, только слышали ее глухой шум. В некоторых местах задерживались — итти мешал бурелом, болотистые пади, у которых шумели подземные ключи. Ночи становились холоднее. Ставили палатку, спали на нарубленных ветвях, тесно прижимаясь друг к другу. Утрами на траве оседал игольчатый иней. Обувь почти у всех развалилась, сменить ее было нечем. В один из самых трудных дней они встретили людей. В этой глуши недалеко от реки был расположен маленький нанайский колхоз. Лодки лежали на берегу днищами вверх. Когда Березов вошел в маленькую избушку и увидел на стене портрет Сталина, горло у него сжалось. Ему показалось, что он уже дома, что не было страшных переходов по тайге без дорог, без троп, холодных ночевок. Здесь был кусочек родины, как форпост, выдвинутый в этом диком краю. Уже два месяца не видел он никого, кроме своих красноармейцев. С глубоким волнением, с жадностью всматри-

вался он в лица колхозников, расспрашивал об их жизни. У председателя оказалась газета месячной давности, и капитан с трепетом взял ее в руки. С глубоким наслаждением читал он сообщения о ходе сельских работ, о достижениях промышленности. Пущена новая домна. Дневная добыча угля по Союзу поднялась на десять тысяч тонн. Погрузка на железных дорогах выполнена с превышением. Декрет Совнаркома за подписью Молотова. Родина, родина — каким теплым дыханием пахнула она на него! Что из того, что тысячи километров отделяют его от родных мест. Кажется, совсем недавно писали о том, что волей партии создается Урало-Кузнецкий металлургический комбинат, а он дает уже стране миллионы тонн стали и чугуна! Недавно, как будто, сообщали газеты о первых выпущенных автомобилях, а теперь цифры их выпуска измеряются многими десятками тысяч. Как бегут годы! Как много перемен приносит они! Он читал газету вслух, бойцы тесно обступили его. Потом газета пошла по рукам. Держали ее бережно, как святыню, радостно улыбались.

Колхозники приняли бойцов тепло. Березов спросил, нельзя ли достать для команды моршни. Председатель пообещал достать. Звал обедать. Колхоз был молодой, существовал с прошлого года. Председатель подробно и с видимым удовольствием рассказывал, какую прекрасную снасть они получили, какой выгодный договор на поставку рыбы заключили с государством, какой ожидают улов.

После обеда он с торжеством оглядел гостей и достал патефон.

— Я один умею играть, — объяснил он, — вот посмотрите.

«Песня о Каховке» огласила своды нанайской избушки. Приходили нанайцы, курили трубочки, слушали с глубоким вниманием. Не удержавшись, Березов стал подпевать, и бойцы подхватили. Потом спели песню о родине. Нанайцы слушали их, одобрительно кивая головами. Председатель подошел к Березову, взял за руку.

— Да, — сказал он, — один родин есть, один Сталин. Вот, правда?

Из маленького сундучка он достал сложенную газету. Осторожно развернул ее и показал Березову и бойцам. Газета была старая, пожелтевшая, напечатанная на грубой бумаге.

— Читай, — сказал председатель, — вот здесь читай.

И он кивал головой, слушая, как Березов читал. Нанайцы сосредоточенно слушали, хотя и плохо понимали по-русски. Да, в газете написано все, как было. Пятнадцать лет прошло с тех пор; но люди не могут забыть этого времени. Приходили бородатые, угрюмые казаки и японцы, злые от холода, с поднятыми меховыми воротниками. Вот здесь, на этом самом берегу, убили они девять партизан. Они ночевали здесь, а утром их захватили партизаны, приведенные нанайцами. Был большой бой, вот о нем и писали в старой, пожелтевшей газете. Ни один японец, ни один казак не ушел. Река унесла их поганные тела, а оружие их пошло в дело. Вот до сих пор служит честно эта японская винтовка. И председатель, улыбаясь, снял со стены старую винтовку и показал ее бойцам.

— Да, теперь больше не придет сюда... Теперь не пустят... Один родина есть, один Сталин. Вот так, товарищ, правда?

На следующий день нанайцы достали моршни. В тайге эта неуклюжая обувь служила хорошо. Красноармейцы весело шутили, пригоняя их к ногам. Вся команда была оборвана, лица у всех густо заросли, но глаза светились весело и бодро. Распростились с нанайцами и двинулись дальше. Тайга опять приняла их. Потекла будничная жизнь: с'емка участка продолжалась. Чем ближе

продвигались они к концу своей работы, тем холоднее становились ночи. Однажды ночью Березов проснулся от холода. Поеживаясь, вышел он из палатки. Палал снег. Крупные белые бабочки бесшумно садились на землю, и земля стала белой. Березов задумался: «Неужели зима? Или это случайный ранний снег?». Но он хорошо знал тайгу, ее суровый, изменчивый климат. Надо быть готовым ко всяким неожиданностям, как на войне. Дебри на то и существуют, чтобы их одолеть. Известно, что дешево они не даются людям, преследующим в них.

Одного за другим он перебрал в памяти своих верных товарищей. У каждого, помимо обычных его качеств, есть какая-нибудь хорошая черта. Старшина Козлов, красноармейцы Бурсев, Гриматулин, Рудин, даже Горбов, все они — советские люди, рабоче-крестьянские бойцы. Их братья, их товарищи, во всем подобные им, на границах становятся героями, не задумываясь, отдают за родину жизнь. Сегодня они бьются с тайгой, завтра страна пошлет их против живого врага, и они пойдут твердо и решительно.

Костер пылал перед палаткой. Дежурный, задумавшись, смотрел на огонь. Винтовка лежала у него на коленях, снег таял на его шинели.

— Ложитесь спать, товарищ Рудин, — тихо сказал капитан, — я подежурю за вас. Идите.

Он проводил глазами Рудина, скрывшегося в палатке, и присел к костру.

Так он сидел долго, подбрасывая сучья в огонь. Снег перестал, небо над тайгой понемногу светлело.

Начинался новый день.



Скульптура из стали работы В. И. Мухиной на Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке (Фото А. Тулес)

Неузнаваемая страна

ОЧЕРК

НИКОЛАЙ НЕЗЛОБИН

★

СТОЛБОВОГО БАРИНА БЫК

Наше место в селе называлось Вылетовкой. Здесь, на вылете из села, находились кузница и постоялый двор. По Вылетовке проходил из Лебедяни в Рязань и Москву старинный большак тридцати сажений в поперечнике, обсаженный ветлами. Когда-то это были могучие широкошатровые деревья, но проезжие торгошники, гуртовщики и цыгане обрубали и обломали их сучья на костры, в иное дерево шарахнула молния, расщепив его вдоль и обуглив, иное хлестнула сналету степная буря, — и от ветел остались одни лишь сухие дуплянки; они стояли по обочинам большака, как страшные идола древней Руси, в них гнездились сычи и летучие мыши.

На этом большаке летом в голодный год насмерть загнал наш сосед Никанор Зайчиков лошадь. Жуткие слухи ходили тогда по селам. Будто свету коонец близко, будто антихрист пришел на землю. Сухо и знойно было в поле. От голода, зноя и духоты чумел человек. Оглянулся Никанор и видит бежит за ним анчутка и так дивно: бежит быстро, а сам будто сидит, однако ногами проворно перебирает, — до того проворно, что под пятками искры блестят. Ударил Никанор по лошади кнутом и пошел вскачь, но анчутка не отстает. Хлещет Никанор кнутом, пылит без оглядки к селу; под селом лошадь грянула о землю и — пар вон. И анчутка

тут-как-тут: пиджак и штаны тонкого сукна, вроде барин, а под ногами два колеса стальных.

Наш кузнец все людям подробно объяснил впоследствии: не анчутка это был, а землемер, а два колеса, на которых он ехал, — машина такая есть, велосипедом ее зовут, или, попросту, самокаткой. А кто ее видал, машину-то, коли от нас до железной дороги было — сто двадцать верст?

Однажды у постоялого двора собралась пестрая толпа мужиков, баб и ребятшек. Кто посмелее — забрался на самый двор, окружив диковинную повозку, запряженную шестеркой лошадей. Это была целая изба на колесах. Сверху крыша, по бокам загородка; внутри — всю повозку стоял привязанный двумя цепями бык, седой с палевыми пажинами, брдастый, широколобый и лупоглазый. Тупая его башка обмотана была сиромятной уздечкой с ясным кольцом и медным набором.

— Ишь, везут дурака — чисто царя... — озорно сказал кто-то из мужиков.

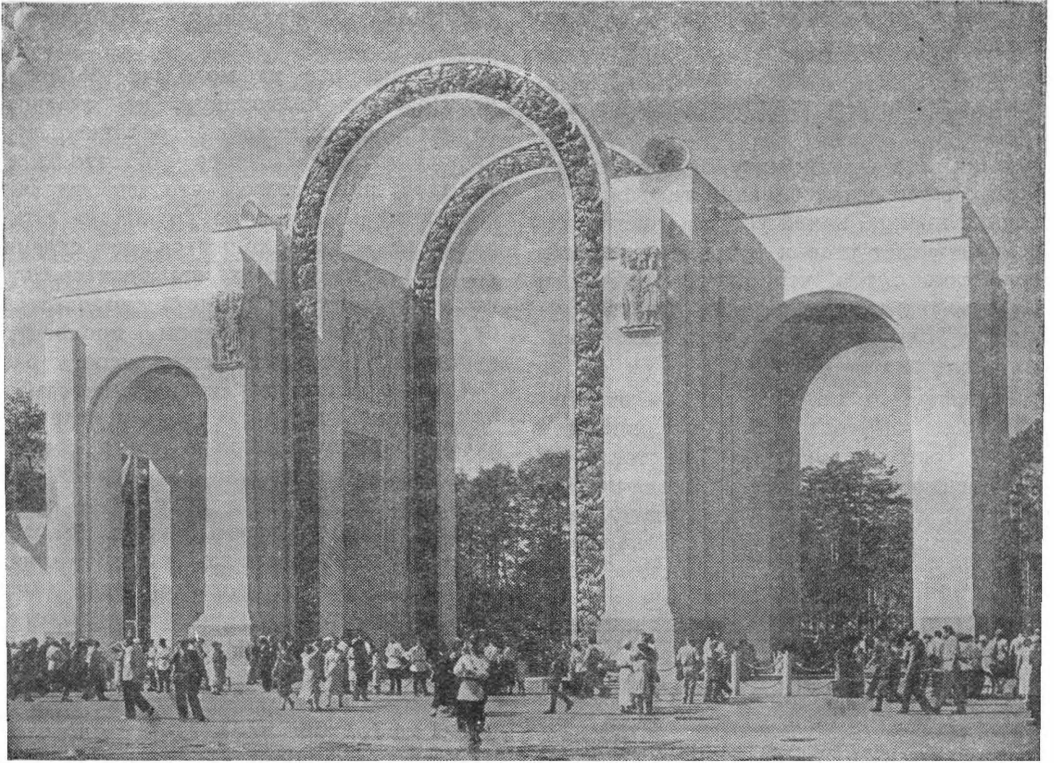
— Потихе, чорт, урядник вон...

— Где-е?..

— Знамо, урядник. Вон усы-то...

Быка сопровождало несколько верховых сотских и урядник на кожаных дрожках.

Молодой малый в бархатной безрукавке стоял на запятках редкостной повозки и весело горланил, помахивая ременным кнутом.



Главный вход на выставку

— Отойди, говорят, олухи царя небесного! Вам говорят? Как есть ничего особенного, обыкновенно везем в Москву на всемирную выставку тележка...

— Такого чорта и в быках не найдешь, — выругался кто-то в толпе.

— Помолчи! — погрозил малый кнутом. — Не имеешь полного права выражаться так на животное, потому что оно столбового дворянина, господина Худякова, собственной породы, чистых барских кровей...

— О-го! Ужли барин-то ваш тоже с рогами?

— Молчи, неломань! Из имени породы господина Худякова, который, говорю вам, не бык, а чистый теленок, притом семи месяцев, и следует в Москву на всемирную выставку. Дураки!

Это был первый выставочный экспонат, которого мне довелось видеть в жизни. А еще мать купила курицу. Тоже барина Худякова и тоже, говорят, с выставки. Продал матери курицу ка-

кой-то забулдыга чиновник и рассказал про эту курицу целую повесть. Одним словом, уговорил. Курица была рябая, белоухая. Выступала она на дворе важно, русских простых кур била снадолба в темя и отгоняла от корма. Сразу видна была барская порода.

Приходил наш кузнец посмотреть на курицу.

— Несется? — подмигивал он матери хитро.

— Нет, нынче без яйца...

— Так, так. А вообще?

— Который продавал, говорит, круглый год несется, потому что худяковская.

— Круглый год и по два яйца в день, — усмехнулся кузнец.

— Ну, по два! по одному бы, да если круглый-то год, и то куда как хорошо...

— Нет, такие должны по два, — не унимался кузнец, — да еще по семь гривен денег... Кши, барское отродье!—

отпугнул он курицу и вышел, сердито захлопнув калитку...

ПЕРВАЯ ПАНОРАМА

Какими жалкими и уродливыми кажутся теперь этот барский теленок и белоухая курица, какой убогой и невежественной встает старая русская деревня в сравнении с тем, что видишь сейчас, в тысяча девятьсот тридцать девятом году, на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке!

Путешествие по выставке — это путешествие по совершенно неизвестной стране; это проникновение не только в ее географические пространства, но и в исторические даты, в замечательнейшую летопись населяющих ее народов, в живую книгу их социалистического бытия.

Трамваи 17-й линии, украшенные флажками, которые подобно огненным струйкам лопочут на каждом переднем вагоне, между лобовыми фонарями, друг за другом идут по празднично-чистому Ярославскому шоссе. Здесь, на асфальте, в звоне трамваев, в низких взгудах троллейбусов, автомобилей — еще Москва. Но вот трамвай сворачивает с шоссе в сторону. Справа открывается панорама выставочных предместий. Прямые, как стрела, аллеи, идут вдоль трамвайных путей. Особой свежести, точно умытая, зелень окаймляет их правильные линии. Но это не просто зелень. Вы уже догадываетесь, что это вышли встречать вас зеленые представители лесов и садов вашей родины, всей необъятной нашей страны. Вон рябина с кистями, висящими, как ветви плакучей ивы, вон ива, вся словно закутанная в серебристую сетку, вон крапива, — листья у ней бархатные, черно-лиловые с красной обводкой, как глухарина бровь.

А где же ворота, где вход? Вы ищите в этой разнообразной зелени главные ворота, знакомые по газетным снимкам, и вдруг замечаете, что прямо с аллеи идет к вам навстречу, летит в каком-то крылатом порыве знакомая группа.

— Вот она, скульптура Мухиной!

Смотрите, ах, вот она! — кричат со седи.

Вы смотрите на молодого рабочего, на молодую колхозницу, на стальное олицетворение молодой рабоче-крестьянской страны. Оттого ли, что идет трамвай, или оттого, что так удалось искусному мастеру, но группа не стоит на месте, — она движется, она стремительно летит вперед, вы боитесь, что не успеете ее разглядеть, торопитесь, будто мимо вас вихрем пронесится курьерский поезд и нужно успеть разглядеть в одном из его вагонов самого близкого, самого дорогого вам человека.

Белые ворота главного входа, составляющие три полукруга — средний высокий и два боковых пониже — очень скромны, очень просты, но в близости их и в линиях есть такая необычайная легкость, в середину их кромок с лицевой стороны так искусно вплетены золотые узлы полновесных хлебных злаков советского урожая, чистосортного золота колхозных владений, они так необычайны на голубом небе, где высоко чуть угадывается самолет, — что нетерпение поскорее очутиться на заветной территории на минуту отступает; вам хочется задержаться у ворот, чтобы еще раз полюбоваться искусством социализма, созданием советских мастеров.

Наконец вы переступили порог, — перед вами широкая ровная аллея, обрамленная тою же свежешумною всеююзною зеленью — деревьями, травами и цветами. Цветов здесь так много, они так разнообразны, красноречивы — их язык чувствуешь, как язык живых существ. Они первые говорят вам нежно и неопровержимо, что социализм — это не только нефть, уголь, руда и домы, огонь и дым, не только борьба и машина, но это и духовитая, прогретая солнцем земля, это сады, птицы, чистый воздух и дыхание самых пышных, самых лучших на свете роз...

БАШНЯ ОДИННАДЦАТИ ДЕРЖАВ

Выше сосен, выше всех павильонов поднимается к небу одиннадцать ярусов этой башни, одиннадцать золотых

венков, тонко сплетенных из полных колосьев пшеницы, ржи, ячменя и овса, из стеблей спелых хлебов; будто сами поля, будто земля республик подымается к солнцу и там, наверху, откуда видно Москву, страну, мир, — гордо и радостно держат над головой первый колхозный сноп мужчина и женщина, хозяйка своего добра, работяги и передовики, лучшие звеньевые стомиллионного полеводческого звена.

ЧЕЛОВЕК В ТАЙГЕ

От башни вы сворачиваете вправо. Идете без путеводителя, — его на выставке очень трудно достать, — но это ничуть не огорчает, наоборот, даже интересней: все возникает, как в сказке, неожиданно и сразу. Бронзовая статуя пограничника с собакой появляется из-за высоких сосен. Он стоит здесь, как в правдашной тайге — зоркий и неустрашимый. Рука его крепко сжимает винтовку. Острые уши овчарки чутко настроены. Пограничник стоит у входа в неприступную крепость; карниз ее напоминает кремлевские зубцы. На белой стене сверкают слова Сталина: «Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому».

По другую сторону входа — карта хасанских боев. Это павильон Дальнего Востока. Москва — далеко, за десять тысяч километров. Но и здесь, в тайге, на песчаных сопках Приморья белеют грозно четкие кремлевские зубцы, и страшны они кому-то, скосившему на них глаза из-за океана...

Вы входите в павильон.

«Так жил до революции кочевник Данзанов Тогочи» — читаете вы на стене. Перед вами тесная решетчатая конурка, прикрытая с одного боку облезлой шкурой. Это юрта, жилье кочевника Данзанова Тогочи. На земляном полу юрты бедное одеяло из вылинявшей цыновки, старое седло, котел, корытце, деревянная чашка, несколько деревянных идолов, собачья кормушка и кнут. Нищета, приниженность и грязь, которые подавляют. И вот напротив другая надпись: «Так живет те-



Скульптура пограничника у павильона Дальнего Востока

перь тов. Данзанов Тогочи, колхозник-стахановец с.-х. артели им. Тельмана, Селенгинского аймака».

В просторной и чистой квартире тов. Данзанова Тогочи — никелированная кровать с белым покрывалом и кружевными наволочками, электрическая лампа над письменным столом, электрическая лампа над обеденным столом, накрытым белоснежной скатертью, стулья, патефон, радиоприемник, книжный шкаф, перед шкафом — бюст Карла Маркса, над столом — портрет Сталина.

Глубокая пропасть лежит между былым кочевником и нашим колхозником!

Вы чувствуете, как в вас поднимается гордость за этого бывшего нищего, бесправного и приниженого кочевника Селенгинского аймака. Он ваш товарищ — Данзанов Тогочи, он стал человеком, он так же, как и вы, работает, читает, пишет, слушает радио и любит свою и вашу — нашу родину.

А вот и самый колхоз имени Тельмана Селенгинского аймака, где работает стахановец Данзанов Тогочи. Нарядные домики с резными, как в волжской деревне, окнами, оседлые, крепко сидящие на своей земле; вон школа, вон клуб, машина идет по улице мимо столбов с электрическими проводами. На выезде, за поскотинкой, рассыпалось стадо, дальше, в зеленой степи, — другое, а за стадами — горы, небо и облака.

В колхозе имени Тельмана 153 хозяйства. Закреплено навечно земли за колхозом 8 952 га. Пастбищ — 6 100 га. Колхоз хочет похвастаться перед страной своим овсом — «Золотой дождь». Овес красуется здесь же полными снопами — на стебле, немолоченный, усатый, тяжеловесный, «якористый», как говорят знатоки, — и зерном в мешках.

Рядом — такой же колхоз «Галын-Очи» Джидинского аймака.

Большая, во всю стену, картина, написанная народным художником Бурят-Монгольской АССР орденоносцем Сампиловым — «Бурят-монгольские партизаны». Всадники в козьих шубах и краснотонных папахах лавой идут по заснеженной степи в атаку на белых. Так завоевывалась культурная жизнь Данзанова Тогочи, которой теперь можно гордиться на весь мир.

ДАЛЕКИЕ БЕРЕГА

В следующей комнате этого же павильона, где показаны фотографии сурового старика, таежника Трефила Устиновича Ковалева и его сына Константина Трефиловича, знатных людей из колхоза «Луч тайги» Читинского района, добившихся на раскорчеванных займищах, в условиях вечной мерзлоты, не только вызревания, но и обильного урожая ржи и овса, — в этой комнате

вы вдруг, внезапно встрепенувшись, быстро подходите к стене и с волнением читаете:

«В глухое таежное село Новая-Уда царским правительством в 1903 году был выслан Иосиф Виссарионович Сталин».

На фото — светлоголовая гурьба ребят-пионеров.

«Наше село, — пишут они товарищу Сталину, — уж не такое, каким Вы видели его 30 лет назад...».

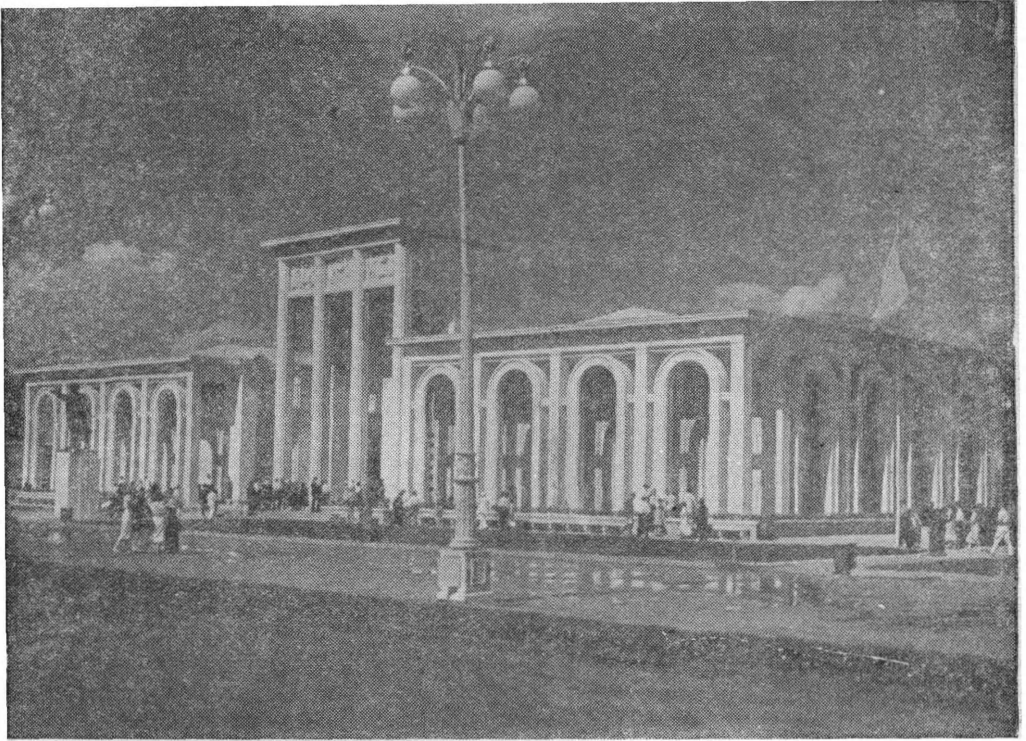
Это трогательно до слез, и в то же время и величественно, и необычайно просто. И Сталин отвечает им. Тут же рядом, за прозрачной пленкой слюды, находится его письмо, где он извиняется перед ребятами за некоторую задержку ответа, передает им привет от товарищей Молотова, Ворошилова и Кагановича и сообщает, что посылает в подарок радиоприемник, патефон — пластинками и книги.

Рядом из-за стены на вас надвигается льется сверху ливень зерна, золотистого, крупного. Зерно искусно наклеено на покато поставленный щит, но кажется, что оно бушует, сыплется сверху из гигантского ковша. Это зерно собрано евреями Биробиджана. Царские погромные манифесты, указы об угнетении, с «черте оседлости», о невыдаче паспортов — страшные раны былого — отошли в проклятое прошлое, и свободные евреи на свободной земле пахут и сеют, ловят рыбу, сажают сады, разводят свиней, коров, овец и лошадей, раскорчевывают тайгу и управляют комбайном.

Дальше — необозримая тундра Якутской АССР, глухая тайга, Ледовитый океан, но по тайге и тундре идут советские вездеходы, во льдах океана дымят советские ледоколы, в небе летят советские самолеты. Здесь мрамор — розовый, голубой и белый, здесь золото и пушнина — труды шахтеров с Бодайбинских приисков и охотников Вилюйского зимовья.

ОСВОЕННЫЙ БОЛЬШЕВИКАМИ

С площади, от павильона Севера где представлены Ленинград, Архан-



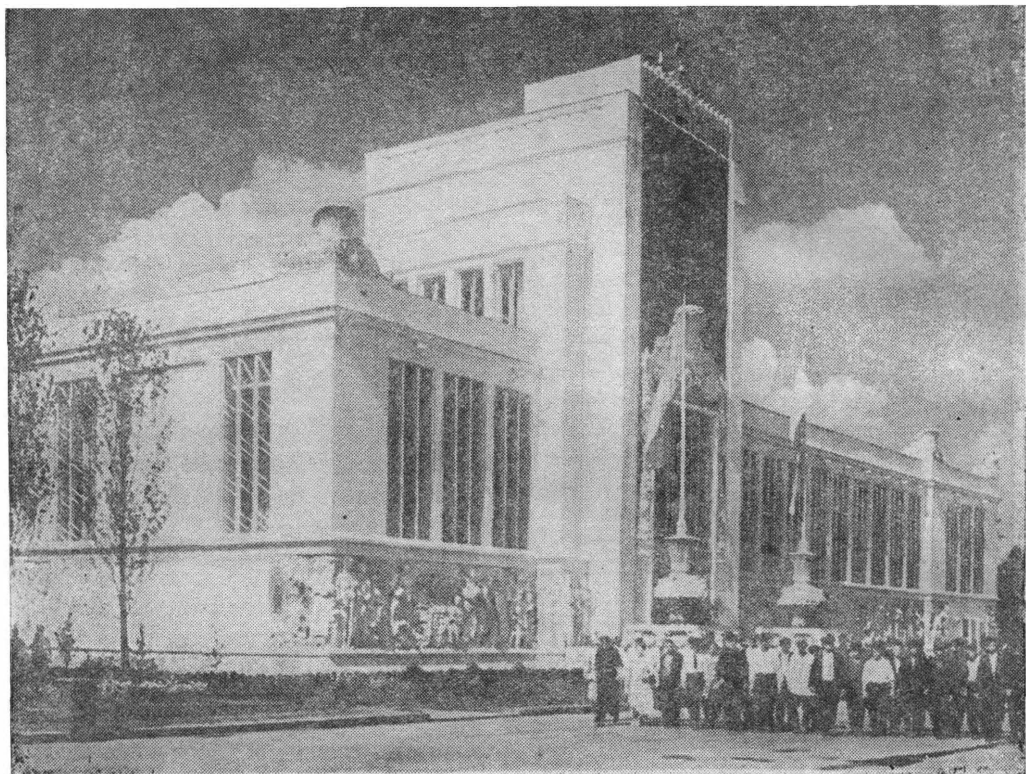
Павильон Ленинградской и Северной областей

гельск, Карелия, Кировская область и область Коми, — на вас смотрит с высокого постамента Сергей Миронович Киров. Тяжелая бронза запечатлела быстрые движения живой его фигуры. Пальто распахнулось и колеблется на ветру легкими складками, на подпоясанной туго ремнем гимнастерке закладываются косые сборки, крепкие мышцы выпирают из-под нее возле грудных карманов, на крутых скулах играет, проступая сквозь бронзу, улыбка, чудесная, забываемая улыбка Сергея Мироновича.

«В Ленинграде остались старыми только славные революционные традиции петербургских рабочих, все остальное стало новым...» — читаете вы его слова в главном зале павильона и думаете, что он вошел сюда, вместе с вами, его присутствие чувствуется здесь везде и всюду. Вы видите модель северного комбайна, изобретенного колхозниками-орденоносцами Ю. Я. Ан-

вельтом и М. П. Григорьевым, и знаете, что чертежи этого комбайна долго и вдумчиво рассматривал Сергей Миронович. Вы любуетесь лучшими в Союзе сортами льна, ячменя и вспоминаете, сколько усилий и большевистской настойчивости проявил он для освоения или улучшения этих культур на севере. А дальше, где начинаются карельские озера и горы, где расстилается Мончегорская тундра, приближаясь к апатитовым месторождениям, возле Хибин, он уже присутствует незримо в каждой точке, он шагает, смеется и говорит: «Нет такого места на земле, которое нельзя было бы поставить на службу социализму».

Белая, будто осыпанная северной порошей, группа украшает павильон: охотник с лайкой и лесоруб с пилой. А по серовато-синему потолку словно по весеннему дымчато-синему небу летят гуси, казарки, лебеди, утки, летят станицы птиц — на север, на наш,



Павильон Московской, Тульской и Рязанской областей

на Советский Север, освоенный большевиками.

ГДЕ ШУМЯТ КОЛОСЬЯ

Хочется отдохнуть, посидеть. Солнце палит, на небе — ни облачка. Пирамидальные тополи выстроились, как зубчатая серебристо-зеленая стена, ясень, яблоня, кусты инжира и цветы, цветы... а за ними — опять деревья. Но за деревьями вдруг открываются поля, хлеба стоят на корню, как в настоящем поле; вы раздумали отдохнуть и идете к ним, к пшеницам, к овсам, ко ржам, к ячменям, просам и гречихам. Здесь каждый сорт растет отдельно. Вы встречаете здесь многолетнюю рожь, которая в первый год после посева дает всего один колосок, во второй — пятнадцать-двадцать, а в третий, раскустившись, — чуть не целый сноп из одного гнезда, из одной первоначальной былки; здесь вам показывают

всевозможные виды высокосортных гибридов — хлебов, луговых трав. Воробьи стаями носятся над хлебами, наскоро обживая незнакомые раньше места, и не боятся людей. Птица очень скоро осваивается в новых условиях. Всем, конечно, помнится обычная картинка: весна, пахарь идет за сохой по свежей борозде, а за ним — стайей грачи и скворцы. Теперь сколько раз любовался я весной, как за фыркающим в поле трактором деловито шагают грачи и скворцы, а некоторые, как бы устав, даже присаживаются где-нибудь сбоку на гудящую машину.

В КОРОВНИКЕ

Миновав поле, мы входим в длинную улицу конюшен, коровников, свинарников, силосных башен, загонов. Это — территория, известная на выставке под названием «Новое в деревне». Мы по-

падаем на нее не с центрального входа, а сзади, прямо с поля, и прямо с поля заходим в коровник. Светлое чистое помещение, с огромными полуоткрытыми на две стороны окнами. Это — коровник колхоза имени Молотова Смоленской области, — здесь представлены лучшие экземпляры из его молочного стада, насчитывающего 153 головы симментальской породы.

Серовато-палевые, голубоглазые носительницы молока стоят возле кормушек, с шумом опыхая теплым дыханием незнакомых людей. Над каждым стойлом сверкает дощечка с указанием имени коровы, возраста, породы, веса и годового удоя. Женщины-скотницы, одетые в синие халаты, разносят по стойлам вечернюю дачу корма. Крайняя к нам корова понюхала принесенную ей охапку сена и отвернулась: что-то там не понравилось. Скотница переложила сено в другую кормушку, а ей принесла свежего. Корова опять понюхала и принялась есть. На второе ей принесли мелко нарезанную красную свеклу, припудренную отрубями.

Объяснения о молочном стаде колхоза имени Молотова давал член этого колхоза тов. Евстафьев Павел Евстафьевич.

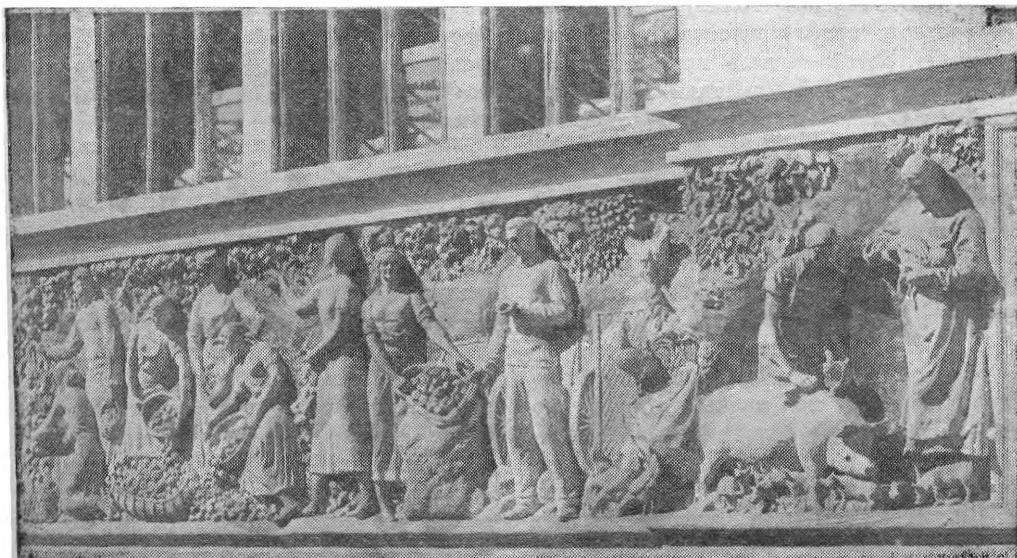
— Вы — бригадир или председатель?

— Нет, — сказал Павел Евстафьевич, — я рядовой колхозник, и вообще любитель этого занятия. У нас в колхозе есть и еще много людей, которые с любовью начинают приучаться к этому делу, — продолжал он, обтирая щеткой корову. — Но отвечаем больше я и Соколов, пастух. Я и сам пасу. Все ночи провожу у стада. Я считаю, что ночная пастьба — великое дело. Для животных—это отдых и курорт. Наше стадо очень умное: на опушке леса ночует, а в лес ни за что не пойдет. Не полагается. И к четырем часам утра — сыты. Прямо говорю — отдых и курорт...

РОГАТЫЕ БОГАТЫРИ

Главный производитель этого стада. Бык «Торреадор», стоит в большом павильоне всесоюзного значения, где находятся лучшие выставочные экспонаты. Мы пошли посмотреть «Торреадора».

Это огромный серо-дымчатый бычина, весом почти в семьдесят пудов. Он занимает все просторное стойло, занузданный в две уздечки, с кольцом в ноз-



Деталь горельефа Московского павильона

дрых и крепким ремнем от кольца к рогам, стоя на двух цепях и опустив глаза в кормушку — широколобий, с тройным, висящим до самых колен, подгрудком.

По этим цепям, ремням, уздечкам и ноздревому кольцу нужно было думать, что в стойло заведен свирепый неукротимый зверь, однако скотник входил к нему запросто, вынимал у него из кормушки об'едки, задавал свежий корм, шутил с ним, и бык стоял смиренно, кося в его сторону темным, густо опушенным ресницами глазом. Глаз кроток и умен. Конечно, если такая махина придет в ярость, то сладить с ней трудно, и цепи и кольцо в ноздрах позвякивают не зря.

Чуть поодаль от «Торреадора» красуется «Рафаэль», чернопестрый, с курчавой шейей. Этот бык только на несколько килограммов полегче своего соседа.

Дальше покачивают рогами, озираясь через кормушки, рыжебагровые шортгорны, пестрые, с белокипенными проточинами на лбах, производители ярославских и холмогорских кровей, и золотистовишневый, почти пламенный кругорогий калмык «Мишка», привезенный в Москву из колхоза «Национальная дружба» Калмыцкой АССР. Он медленно поворачивает голову, закидывая к багровому хребту высокие и острые, как вилы, рога, — весь круглый и ясный, без единой складки, как налитой. Гладкая шерсть его отливает огнем.

— У нас все стадо такое, — с гордостью говорит, поглаживая «Мишку», колхозник Озаев Тарджи Бадмаевич.

Тут же находится известная по газетам молочница-рекордистка «Лента». В день она дает молока 69 литров, а в год 12 623! Когда глядишь на нее — не верится. Так себе коровенка, не очень большая, не очень видная, но она — красавица: серозамшевой, с темным отливом на шее и бедрах, масти широкозадая, утробистая, могучее вымя котлом, соски смуглые, упругие, хвост на конце пышный, кистистый, свисающий почти до копыта, рога врозь, — первый признак молочности, — глаз

живой, ласковый, и вся она, когда приглядишься, — как картинка.

ПОД БЕЛОЙ КИСЕЕЙ

Из коровника мы идем в свинарник. «Свинья грязи найдет» — говаривала мне в детстве мать, когда я даже в самое сухое время ухитрялся загваздаться по-уши где-нибудь на вылетовской луже. «Грязный, свинья, свиньей», «Живут в грязи, как свиньи» — говорит народ. Но здесь не то. Прежде всего вокруг свинарника — клумбы, цветы. Кто бы раньше у нас, в деревне, подумал, что свиньи живут и хрюкают рядом с левкоями, душистым горошком и георгинами! А в самом свинарнике — белые стены, чистый асфальтовый пол, на загородках, на подоконниках — «липучки», чтобы мухи не беспокоили бело-розовых пышнотелых красавиц. Кормящие свиноматки прикрыты вместе с потомством белоснежной марлей, кисеей, как боярыни. А потомство! Посмотрите, какие резвые, какие веселые, какие умные эти белые вьюны с розовыми пятчиками! Но супоросые мамы, лежащие на полу, как сахарные глыбы, внушительны. Их дремучие уши, свисая, закрывают белым волосом глазки; белое тело, розовея к почеревку, вздувается пышными валами; животное дышит, и все тело колышется, будто воздух надувает его, как резиновую лодку, как парус, — нежный, нагулянный на хороших кормах жир.

ОКОЛО ЖЕРЕБЕНКА

К лошадям мы попали после. Им как раз должны были задавать овес. Лошади били копытами о пол, пробовали желтым зубом кормушку и косили назад кровяными глазами. Здесь в колхозной конюшне я встретил таких лошадей, которых раньше, при старом режиме, видал только у господ, изредка пыливших по большаку через нашу Вылетовку. Я гордился своим простым народом, сумевшим обуздать и оседлать этих лихих, раньше ему неподвластных, англо-арабов, орловских, хреновских и донских резвачей. Вороная кобыла в

сыромятном недоуздке, удачно оттенявшем своей белизной бархатную густоту ее угольной масти, стояла в деннике с жеребенком. Тонконогий конек, засунув мордочку в теплый материнский пах, сосал. Колхозники выращивали и челяли ценное потомство породистого коня.

БАРАН И ПЕТУХ

Потом мы глядели овец, в загонах, на изузоренном их узкими копытцами песке. Сонливые бараны, волнистые, длиннорунные, застывали у загородки, как древние идолы, тесанные из камня или рубленные из дерева, — не поворачивая горбоносой морды, завешанной до ноздрей точеными рубчатыми рогами.

Где-то близко кудахтали куры и пели петухи. Мы прошли в птичник, видели белых леггорнов; их — сотни четыре, и все — одного колхоза. Девушка в белом халате высыпала им зерно. Они облепили девушку белой вьюгой, они порхали вокруг, подымая пыль облаком, разгребая желтыми лапками песок и крича. Белопенный петух, отойдя в сторону, надувался и орал на всю выставку. Он носил на голове огромный, в ладонь, гребень, крупнозубчатый, малиновый.

СТОРОЖ КОЛХОЗА «КРАСНЫЙ ЭЛЬБРУС»

Может быть, встревоженные куриным криком, залаяли собаки. Мы идем мимо просторных, затянутых проволочной сеткой садков. Разношерстная, многопородная семья лучших друзей человека глядит на нас через сетку. Русская чепрачная гончая, с золотой медалью, «Поспешка», залежавшись в садке, протягивается и разминает желтые, породно-собранные в комок, лапы. Псовые и густопсовые борзые вежливо поворачивают к нам свои змеиные головы; немецкие овчарки ставят уши торчком, сеттеры ирландские в золотистовишневых рубашках такого же цвета, как калмыцкий бык «Мишка», черные с подпалинами сеттеры-гордоны, англий-

ские сеттеры, белые с голубым крапом, пестрые пойнтеры и, наконец, мы подходим к степным овчаркам, неусыпным сторожам колхозных отар. Они лежат, как густые иглошерстные кусты, головы их заросли до ноздрей, до глаз не доберешься, но это не мешает им быть чуткими и зоркими. Горные овчарки менее лохматы. Они свирепы, уши стоячие, взгляд быстрый и злой, лапы ширококостные, жилистые, покрытые плотным волосом по самый коготь. Наружностью они очень напоминают волка. Вот, кем-то рассерженный, бросается прямо к сетке с грозным ревом могучий кобель «Тюкпай». На его карточке написано, что ему пять лет, отлично охраняет овец, задушил четырех волков: принадлежит колхозу «Красный Эльбрус» Кабардино-Балкарской АССР. Народ опасливо подается назад. Тюкпай свирепеет, он лает еще громче; вдруг с прыжка поворачивает к противоположной стене и в один миг становится тихим и кротким, как голубь. Там, за сеткой, стоит горец в косматой овечьей шапке и глядит на собаку с упреком. Тюкпай прыгает, стараясь лизнуть через сетку горца в лицо, потом ложится, почти зарывается в песок. вытягивает вперед лапы и, уткнув в них волею морду, молотит могучим хвостом.

Когда горец, обойдя клетку, подходит к публике, его наперебой начинают расспрашивать: кто он, почему так любит его собака. Горец улыбается и говорит:

— Тюкпай — нашего колхоза... Я — не чабан. Я — колхозник. Но Тюкпай — умный; он знает своих колхозников...

Вас глубоко волнует этот простой ответ. Собака, которая знает весь коллектив, узнает своих колхозников за тысячу верст от аула, в Москве, Это трогательно...

ТАЕЖНЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

В зверосовхозе, выращивающем себребристочерных лис и соболей, нам не удалось посмотреть этих замечательных переселенцев из тайги в советское хозяйство. Звери прятались от жары в

будки и ни за что не хотели оттуда выйти. Только одна серебристочерная, тонкая, как змейка, самка, с пышным хвостом, словно окунутым кончиком в мел, выскользнула из будки, несколько секунд кокетливо постояла перед публикой и снова скрылась.

В огороженном жердями загоне, в соснах мы видели северных оленей, их было двенадцать взрослых самцов и самок и два олененка. И все — и самцы, и самки, и оленята — с огромными, в половину своего роста рогами. Неподалеку — настоящий чум и нарты. Многие, не видавшие раньше оленей, очень удивлялись тому, что рога их (многие обычно представляют себе рога голыми, костяными) покрыты сплошь до самых последних пеньков плотной шерстью, такую же, как и на всем теле животного. И с большим еще удивлением слушали, что эти тяжелые костяные ветви каждый год вырастают заново: в начале зимы спадают, а весной вырастают снова.

В соседнем загоне — олени пятнистые, желтые с крапом, почти оранжевые, а дальше, в тени сосен, красавцы тайги — изюбри или маралы. Могучие рога, «панты», спиливаются весной особым способом, консервируются и после приготавливают из них медицинское средство «Пантокрин»...

ВСЕ ЛИ ВЫ ВИДЕЛИ

Мимо зеленых участков с огородными культурами, где также много чудес, где картошку скрещивают с помидором и на стебле картошки появляется помидор, а на корнях помидора образуются картофельные клубни, — мы проходим в Мичуринский сад. Солнце еще светит, но уже на закате. Здесь тишина, свежесть и аромат созревающих плодов.

Знаменитый ученый стоит недалеко в старомодном пальто и шляпе, окруженный своими зелеными питомцами, и смотрит пытливо и зорко на их густолиственные ряды.

«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача». Так говорит этот великий старик

в тишине своего сада, но голос его слышен на всю страну, на весь культурный мир. За деревьями вспыхивают первые электрические огни. Вы сидите в саду, отдыхаете и смотрите на весь дивный по своим размерам и по своим плодам сад, который называется нашей родиной, вы думаете о могуществе людей родины, о красоте ее гор и морей, рек и озер. Солнце уже село, вам пора домой, но вы почти забыли адрес своей квартиры: вы сегодня живете на всем необъятном пространстве вашей страны, вы сегодня видели ее всю. Всю ли? Конечно, нет. Вон целая улица павильонов отдельных республик, краев и областей. Вы еще не были ни в одном из них.

Вы смотрите на небо, чтобы прикинуть: не поздно ли? успеете ли? Небо лиловет с краев вечерними сумерками, и нельзя оторвать глаз от того места, куда упал взгляд. Там — фонтаны. Днем, при солнце, они брызгались, пылили и сверкали радугой, а сейчас, в мягком лиловом небе, они возникают, как белые горы, как острые пики каких-то сказочных ледников, сотканных из одних ледяных иголок. Движение воды, россыпью брызг незаметно. Фонтаны будто застыли, бледно голубые, легкие, а над ними тонко синеют продолговатые вечерние облака.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ

Вы торопливо входите в первый павильон, даже не успев посмотреть, кому он принадлежит. Но когда вы увидели ячмень в мешках, украшенных узорными прошивками, когда вы подошли к снопикам ржи, овса и пшеницы, перевязанным такими же узорными покроями, сотканными колхозницами, которые любовно собирали эти снопы на выставку, наряжая их красивыми опоясками, — вы сразу узнали — Белоруссия!

Когдаходишь к павильону «Волга», еще издали слышишь, как ревет вода на Куйбышевской плотине.

Народный герой Василий Иванович Чапаев на самом верху, на головокружительной высоте, взвил коня на дыбы.



Павильон Поволжья с монументом народного героя В. И. Чапаева

отчаянная голова, взмахнул шашкой и зовет в бой!

Ревет вода на Куйбышевской плотине, арбузы и дыни лезут друг на друга, как живые, пшеница прет из мешка, как распаренная из котла, сочные травы тучно растут в бесплодных прежде степях за Волгой... А вот — Ленин. Он без усов и бородки, голова его в пышной шевелюре, но вы узнаете его сразу. Это Ленин в молодости. Таким он жил здесь, в Симбирске, таким учился в Казани...

О страшном угнетении царским правительством вольного народа, о кровавой старине рассказывает вам один из стэндов следующего павильона. Народ притесняли, он восставал, его усмиряли, он восставал снова, у него были свои герои, свои вожди. Некоторые тексты из старинных документов вы перечитываете, их хочется запомнить.

«... Тульский купец купил 400 тысяч десятин земли с лесами, водами, рудниками и приисками за 400 рублей...». «... Этой землей заводчикам и их наследникам владеть вечно. Лес рубить.

сено косить, рыбу ловить, сколько когда будет потребно, а им, башкирцам с их наследниками, вечно до этой земли с лесами и сенами не иметь дела и ни во что не вступать...».

Так записано было в купчей крепости 1765 года.

Земель этих «башкирцы» коснулись и так сильно коснулись, что стали теперь полными их хозяевами. Есть и еще один интересный документ:

«... Ныне я вас, во-первых, даже до последка землями, водами, лесами, жительсгвами, законами, травами, реками, рыбами, хлебами, пашнями, денежным жалованьем, свинцом и порохом, как вы желали, так и пожаловал по жизнь вашу...».

Это писал Пугачов в своем обращении к башкирскому народу в 1793 году.

На одной из стен павильона есть картина, на которой изображены Пугачов и народный герой Башкирии, сподвижник Пугачова, молодой Салават Юлаев. Салават Юлаев читает обращение к восставшему народу. Он стоит перед толпой, которая слушает каждое

его слово, а сзади него дымят старинные здания Белорецкого завода.

Здесь же есть интересное изобретение Салават Юлаева: сухой обрубок дерева, комель, неструганный, дикий, местами в коре, кое-где сохранились обломки сучьев, а сверху из дерева вытесана голова и шея этого могучего богатыря, выходящая из недр башкирского народа Салавата Юлаева.

Нельзя забывать о тяжелом прошлом этого народа, и все же оно забывается, — его вытесняет, сшибает с ног сила нового искусства башкирского народа, которое видишь здесь, в этом павильоне.

Резьба по дереву доведена до самого тонкого, до высшего мастерства. Резные стены, резные колонны, резные потолки; все это — самобытно, все это — стильно, все это — удивительно красиво.

Из дерева вырезаны не только украшения, — вырезаны диаграммы, колосья, цифры, машины, люди.

А что рассказывают нам документы сегодняшней Башкирии, ее экспонаты? Пшеница, просо, овес, ячмень, мед липовый, ткани, ковры!

И с каким искусством, с какой любовью показано все это! Какие узоры вышиты на мешках с зерном, какими бахромами перевязаны снопы, в каких красивых кадочках стоит мед! Даже лук, обыкновенный огородный лук, представлен так, что им можно залюбоваться. Подобранные особым порядком — крупные вверху и постепенно мельчающие книзу луковицы, свитые остатками стеблей в длинные сверкающие снизу, висят тройными узловыми плетями, точно толстые золотисторыжие девичьи косы.

Туркменская ССР сверкает перед вами, как светлое утро. Слово инеем, словно первым молодым снегом осыпают кусты хлопка.

Студент сельскохозяйственного института, туркмен Гучгельдиев Клыч, дающий объяснения посетителям павильона, так мило ломает ударения некоторых русских названий, что вы слушаете его с двойным удовольствием.

Когда вы смотрите на картину, изо-

бражающую пастьбу овец в Кара-Кумах, кто-то спрашивает:

— А почему там белое? это зима?

— Нет, — отвечает туркмен, — это писк...

Я подошел и познакомился с товарищем Гучгельдиевым. Он крепко жалею руку и глядел радостно и просто. Он радовался мне, как другу, он жалею мне руку в знак дружбы народов нашей родины.

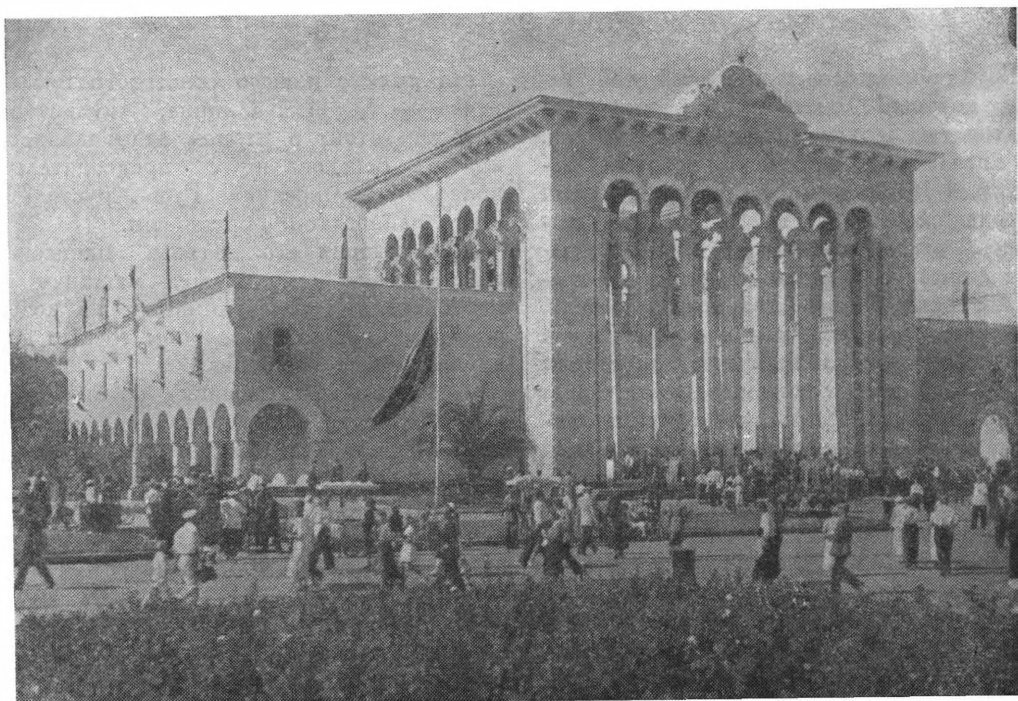
Мы видели здесь табуны лошадей ахал-текинских коневодческих колхозов. мы видели шелководство, видели знаменитые чарджоуские дыни. Бригады бахчевой бригады—Гядай Урун — держал их на весу, и каждая дыня была обвязана соломкой, как уздечкой. Он сумел сохранить дыни свежими полтора года.

Искусство Туркмении говорит вам о необычайной способности и талантливости ее народа. Резьбу на гипсе, изображающую белые хлопковые ряды на грядках, смотришь, как сказку. От широкого во всю стену ковра, над которым работало одиннадцать мастериц Туркменской государственной ковровой артели, нельзя оторвать глаз. И еще — ковры, ковры, шитье, ткани, и опять — хлопок и шелк, и табак, и яблоки, и виноград.

Вы останавливаетесь перед прекрасным мозаично-изразцовым орнаментом павильона, синим, зеленым и белым, обрамляющим портрет Ленина над входом в республику Татарстан.

Здесь — Казанский университет, и среди его студентов вы узнаете Ленина. Здесь вышитые народными мастерами Татарии шелковое панно, изображающее Сталина среди знатных людей Татарстана. Здесь ковры, тюбетейки, панорама будущей Казани, просо кистистое, метровое, с метелками, похожим на павлиньи перья, рожь, на которую вы смотрите снизу вверх, потому что она выше вас ростом, здесь овцеводство, здесь богатства пробужденной колхозным движением страны.

Чабану овцеводческой фермы колхоза имени Ленина республики Азербайджан, орденосцу Гасану Джумшудоглы — 83 года. Чабанский стаж



Павильон солнечной Грузии.

его — 70 лет. Он стоит со своей верной овчаркой на фоне гор. Гасан стар, но за ним вы видите на картине его молодую республику — нефтяные вышки, рыболовецкие артели, виноградники, овечьи отары; против чабана Гасана Джумшуда-оглы на скале под деревом сидит с ружьем Алиев Джаббар, охотник из колхоза имени Шаумяна Степанакертского района. Если прикинуть стоимость всей добытой им за год пушчины и дичи, — она равняется годовой сумме зарплаты хорошего инженера.

Воздушно-легкий белоколонный дворец будто вылеплен каким-то чародеем из утренних и вечерних облаков. Кажется, что со сверкающих стен этого дворца видны голубые вершины гор, за меловыми колоннами, подпирающими кружевные балконы и узорные перекрытия, синее залитое солнцем море, берега которого полны тепла и света, стройного женского пения и запаха распускающихся виноградников. Это — павильон Грузии. Вы идете на цыпочках

в эту страну. Помимо любви и уважения к ее народу, вас охватывает еще одно большое чувство: вы ждете увидеть то, о чем подумали сейчас, переступая порог белого павильона, и вы видите — прямо перед вами скульптура: Сталин в молодости. Он такой необыкновенный: ни усов, ни знакомой шинели, но все же мы узнаем его сразу и долго любуемся им, будто видя его на заре его великой жизни. А вот домик в Гори, небольшой, бедный домик с подвальным этажом. Макет очень мал. Он стоит на столике, занимая места не более, чем чернильный прибор. На одной из стен домика блестит маленькая металлическая дощечка, на которой искусно выгравированы две надписи на двух языках. Но буквы так мелки, что их трудно прочитать.

Молодой киргиз, стоящий рядом, чуть наклоняется и, прищулив глаза, быстро читает: «Здесь 21 декабря 1879 года родился и провел свое детство Иосиф Виссарионович Сталин».

Ах, эти степные, зоркие глаза!

Грузия показывает вам хлеб, чай, табак, который лежит то связками продолговатых шоколадно-зеленых листьев, то отделанный, длиноволокнистый, пахучий. Грузия рассыпала перед вами вороха спелых яблок, апельсинов, лимонов, мандаринов, через стекло бутылки сияют то красным, то желтым пламенем вина. Вино не только в бутылках, оно здесь в боченках и в бочках, и в неуклюжих, вползших сюда, как старая хмельная легенда, кожаных бурдюках.

Но Грузия не вся здесь. Вы проходите через павильон и попадаете в настоящие райские сады, под хрустальным небом, с которого из каких-то невидимых точек льется синевато-серебряный свет, похожий на предрассветную дымку, пышно зеленеют, нет, они кажутся почти голубыми — нежные субтропические деревья. Глянцевитые листья лимонного и апельсинового дерева похожи чем-то на нашу сирень; двухметровые сочно-мясистые зеленые лопухи бананов поражают своей величиной. И в этих садах, на ветвях, между листьями висят и зреют настоящие лимоны, настоящие апельсины и мандарины. Одни из них еще голубовато-зеленые, но другие уже желтые, спелые.

После Грузии мы были в Центральном павильоне СССР, где видели Золотую книгу — основной закон Советского Союза, Сталинскую Конституцию, где представлены диаграммы и фото о достижениях в сельском хозяйстве по всему Союзу, где прямо при входе висит макет замечательнейшего сооружения Лешинско-Сталинской эпохи — Дворца Советов, и где по стенам с большим искусством расположены, если можно так выразиться, макеты пейзажа всех одиннадцати республик, причем РСФСР дана через кремлевские зубцы, от Спасской башни с рубиновой звездой, с видом на реконструированную Москву и большую ее реку, соединенную с Волгой.

Мы успели побывать в павильонах Украины, Тульской, Рязанской и Воронежской областей и в павильоне областей Ивановской, Калининской и Ярославской.

На родине нашего советского президента — М. И. Калинина, скульптура которого стоит в первом зале павильона, мы беседовали с председателем колхоза «Большевик» Гусь-Хрусталинского района тов. Горшковым.

Вся история его колхоза написана, перепечатана на пишущей машинке и переплетена в толстую книгу, из которой тов. Горшков давал нам точные документальные сведения.

— Колхоз «Большевик» организован в 1929 году, — говорит тов. Горшков. — Собрался колхоз из бывших красногвардейцев. Из села мы ушли потому, что очень уж много там было кулачья, а нас — мало; думали, не сладим, вот и ушли. Жили сначала в шалашах и землянках. По этой вот ведомости — открыл он одну страницу в своей книге — мы получали лапти. Теперь живем лучше, — улыбнулся тов. Горшков. — Выстроили новые дома, школу, клуб, скотный двор, электростанцию. Освещаем несколько соседних сел и железнодорожную станцию. Имеем два трактора, пять грузовых машин, два самосвала, одну легковую. А вот наши заработки: Бирюков Тимофей Яковлевич, рядовой колхозник, в семье, считая и его самого, трое работников. В 1937 году семья Бирюкова получила от колхоза: чистыми деньгами 12 тыс. рублей, зерна 224 пуда, картофеля 1 215 пудов, молока 2 773 литра, мяса 23 пуда и сливочного масла 15 пудов. Семья механика Ивана Федоровича Гусева, в которой пять человек работников, получила в том же году: чистыми деньгами 28 900 рублей, зерна 542 пуда картофеля 2 890 пудов, разных овощей 217 пудов, мяса 54 пуда, молока 3 612 литров и масла сливочного 36 пудов. «Ничего, зажиточно живем» — закончил тов. Горшков.

Эти сведения о заработке — не совсем полные, так как в них не входит освещение, телефон, который имеется у каждого колхозника колхоза «Большевик», радиоустановки, передвижение на машинах и пр., что колхозники получают бесплатно.

Надо бы зажиточней, да некуда.

КРЕПОСТЬ СОЦИАЛИЗМА

Осмотр выставки мы заканчиваем в павильоне механизации. Под стеклянным полукругом высокого и в целую улицу длинного ангара побеждающе сверкают сотни всяких машин, начиная от простого трактора и кончая самыми сложными комбайнами и даже самолетами, которые тоже призваны на службу сельскому хозяйству.

Озаренные ярким голубым электрическим светом, они встают перед вами в строгом строю, переливаясь блеском своих металлических частей и многоцветным узором свежавыкрашенных деталей.

Большую ошибку допускает тот, кто думает, что в машине нет поэзии, что машина суха, мертва, неинтересна. В наших льнотеребилках есть лирика синего цветка и девичьей песни, наши комбайны раздвигают высокое золото хлебов и за хлебами видишь пестрое звено румяных колхозниц, наши мастильные четырехкорпусные плуги пахнут сочным черноземом, добротную новью плодородных колхозных угодий, над ними, в синем небе, слышишь серебристый говорок жаворонка, а наши мастильные гусеничные трактора, работы путиловских мастеров, потомственных питерских пролетариев, — величественны. Ими можно любоваться, за ними можно бежать, как бегают в детстве за полковой музыкой. Здесь, на выставке, живут знаменательные слова Сергея Мироновича Кирова о Путиловском заводе:

«...Не было в истории революционного движения в России такого момента, когда не было бы слышно могучего имени путиловского рабочего. В самые тяжелые, в самые мрачные времена царской России, в стенах «Красного Путиловца» ни разу не потускло революционное пламя. И как только раз-

двигались жестокие застенки царизма, первые, призывные революционные песни шли из этих исторических стен «Красного Путиловца»...».

Вот эти песни и слышишь в тяжелом литье строго согласованных частей и в гусеничной поступи красавцев путиловских тракторов!

Чтобы понять величие всего того, что видели вы под стеклянными арками ангара, вам необходимо спуститься вниз, под каменные плиты пола. Здесь, в подземных просторных и светлых залах, вы увидите цифры. Для того, кто вникнет в их язык, цифры начинают звучать, как победный марш!

В 1923 году у нас по всему Союзу тракторов было 2,5 тысячи. В 1927 году — 26 тысяч, а в 1938 году — 483,5 тысячи!

Автомашин в 1928 году было 18 тысяч, а в 1938 году — 760 тысяч!

Советское тракторостроение вышло на первое место в Европе.

На стене одного из залов этого павильона начертаны великие слова Владимира Ильича Ленина, сказанные им на VIII съезде партии: «...Если бы мы могли дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, снабдить их бензином, снабдить их машинистами (вы прекрасно знаете, что пока это — фантазия), то средний крестьянин сказал бы: «я за коммунию» (т.-е. за коммунизм)».

Вы с глубоким волнением перечитываете эти слова, сопоставляя смелую мечту великого учителя социализма с дифрами наших побед. Вы с гордостью думаете об этих победах, поднимаясь опять наверх, на площадь, и здесь, посреди площади, видите изображение того человека в шинели, под чьим руководством мечта Ленина воплощена в жизнь, — великого человека, имя которому Сталин.

Преступление Володи Грибова

РАССКАЗ

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

★

I

К Вере Петровне Грибовой пришел незнакомый человек и попросил позволения поговорить наедине. Вера Петровна удивилась: «Что за человек?». У нее тревожно сжалось сердце. Домашняя работница Люба вышла из комнаты.

— Пожалуйста, прошу вас.

— Я пришел поговорить о вашем сыне Володе, — начал незнакомец.

— Вы учитель? — обрадовалась Вера Петровна.

— Нет, не учитель.

«А, из районо!» — решила Вера Петровна. Она слышала, что родителей иногда навещают какие-то лица из районного отдела народного образования.

— Скажите, Володя аккуратен ходит в школу?

«Вон что, — пришел проверить володино поведение».

— Самым аккуратным образом.

— Он у вас один?

— Один.

— Вероятно, вы его очень любите?

Вера Петровна удивленно пожала плечами:

— А как же? Единственный сын, надежда семьи.

— А что Володя делает в свободное время?

— Ну... после обеда обычно идет гулять. В восемь он уже всегда дома.

— А не помните, когда Володя вернулся третьего дня?

— Третьего? Позвольте... вот в этот вечер он действительно вернулся поздно. Я легла спать. Дверь ему отворила бабушка.

— Утром вы не спросили, в котором часу он вернулся?

— Нет... Как-то, знаете, забыла... Но вы мне объясните, в чем дело?

Вера Петровна встревожилась. Что за человек и почему расспрашивает о Володе?

— Третьего дня ваш сын вернулся домой в четвертом часу ночи. И вернулся пьяный.

Незнакомец сказал это спокойно, вполголоса. Вера Петровна посмотрела на него с ужасом.

— Как! Мой мальчик?

— Да, ваш мальчик. Скажите, облигации займа у вас где хранятся?

— Пьяный? Но ему только пятнадцатый год. А облигации у меня в комодке заперты. Причем здесь облигации?

— Пожалуйста, посмотрите-ка их, проверьте. Там же, вероятно, лежали и ваши золотые часики?

Растерянно оглядываясь на незнакомца, Вера Петровна отперла ящик комода, — там, под бельем, хранилась пачка облигаций и ее часики. Ни облигаций, ни часиков на месте не было. У нее задрожали руки. Судорожно она начала выкладывать белье. «Не может быть! Нет, нет, этого не может быть!» — вся холодея, думала она.

Володя вернулся домой в четвертом часу ночи... пьяный, облигаций нет, часов нет... Она еще раз перебрала белье, уже швыряя его на стол. Да, ни часов, ни облигаций! Опустив руки в ящик комода, она оглянулась на незнакомца.

— Нет? — спокойно спросил тот.

— Нет, — прешептала она.

— Ну, что ж... Теперь я попрошу вас пойти со мной.

Вера Петровна собралась. Бабушка остановила ее в коридоре:

— Верочка, куда?

— После, мама, после. Я сейчас... скоро... подожди, скоро, — говорила она, точно в бреду.

У ворот дождались две женщины и мужчина. Незнакомец сказал им:

— Ну, вот, теперь собрались все. Пойдемте.

Одна из женщин, посмотрев Вере Петровне прямо в лицо, спросила тихонько:

— А вашему сколько лет?

Вера Петровна от волнения ничего не ответила. В ушах звенело:

— Товарищи родители, вы сейчас увидите, что делают ваши дети, — внушительно проговорил незнакомец.

«Что же делает мой Володя?» — хотелось крикнуть Вере Петровне, но она шла молча, в полном смутении чувств.

Прошла квартал, свернули в переулок, куда выходил фасадом огромный семиэтажный дом, вошли во двор и по черной лестнице стали подыматься вверх. На четвертом этаже, в окне, сидел молодой человек в серой рубашке, в серой кепке. Он встал навстречу незнакомцу. Тот спросил его:

— Здесь еще?

— Здесь, товарищ Суров!

— Пятеро?

— Клещ тоже пришел. Теперь шестеро.

— Ну, и отлично. Наконец-то Клеща возьмем! Приготовься, товарищ Кузьмин: вероятно, Клещ попытается улизнуть.

— Не улизнет! — уверенно сказал Кузьмин и впереди всех пошел по лестнице.

На самом верху, у чердачной двери, все остановились. Суров сказал вполголоса:

— Я вас прошу, товарищи родители, сейчас с вашими ребятами не ссориться. И вообще, чтобы не было лишнего шума. Вы спокойно возьмите их и отведите домой. Завтра я к вам наведаюсь, и мы обо всем поговорим подробно.

На двери висел огромный замок. Пробой и петля были толстые, прочные, и казалось, дверь заперта нерушимо. Но неожиданно дверь бесшумно отворилась. Замок остался попрежнему висеть в пробое. Суров и Кузьмин быстро нырнули в тьму чердака, за ними мужчина и обе женщины, а после всех Вера Петровна.

По всем направлениям тянулись веревки для просушки белья, и надо было низко нагибаться. Справа и слева стояла темнота, лишь впереди маячил неясный свет, падавший из слухового окна. Под окном, на чердачном земляном полу, на разостланной простыне, стояло несколько бутылок вина, лежали коробки с печеньем и конфетами, нарезанная колбаса, ветчина. Кто-то неясный сидел перед простыней и, увидев людей, вскочил, бросился в сторону, в тьму. Суров и Кузьмин побежали за ним. Суров властно крикнул:

— Стой, Клещ! Слышишь? Стой!

Вера Петровна остановилась, готовая упасть. Ее трепала лихорадка. Суров и Кузьмин держали за руки парня, лет восемнадцати, с растрепанными волосами, в расстегнутой рубашке.

— Веди его, Кузьмин, я сейчас, — торопливо сказал Суров и подошел к Вере Петровне.

— Вы, товарищ Грибова, сами доведете Володю или вам помочь?

— Володю? Да где он?.. Я... не вижу.

Он показал в темноту. И Вера Петровна увидела... знакомый вихор над упрямым лбом, бледное володино лицо, клетчатую ковбойскую рубашку... Володя лежал на полу и бессмысленными круглыми глазами смотрел на нее.

— Нет, нет, гражданин Гвоздев, никаких насилий! — крикнул сзади Суров.

Вера Петровна оглянулась. Суров держал за руку мужчину, что пришел

с ними. Мужчина замахнулся, хотел ударить мальчика, лежавшего позади Володи, в темноте. Женщины громко причитали, охали... Володя улыбнулся, — улыбка вышла жалкой, блуждающей, — такой улыбки Вера Петровна никогда у него не видела, и тут она поняла, что Володя пьян.

— Вам помочь или вы сами доведете? — опять спросил Суров.

— Что? Нет... я сама... благодарю вас, — не слыша своего голоса, проговорила Вера Петровна.

— Отлично. Я к вам зайду завтра.

И Суров отошел к другим. Мужчина схватил, как мешок, своего сына и поволок к двери. Одна из женщин взяла с простыни бутылку, посмотрела на свет, поставила, взяла другую, третью, четвертую, все посмотрела на свет.

— Ишь, чертенята, сколько выпили! Ну, не все, кое-что осталось. Вот эта совсем цельная. Надо взять с собой. И колбаски возьму. Давайте, гражданки-родительницы, разделим все. Чего добру пропадать? Наши сыновья покупа-ли.

Она подняла смятую газету и начала заворачивать колбасу. Черный костлявый мальчуган громко засмеялся:

— Бери больше, мамаша, дома еще выпьем!

Голос у него был хриплый, басыстый.

Мальчуган привстал, посмотрел на Володю, подмигнул на Веру Петровну:

— Орел, это твоя мамаша? Чисто ходит.

Женщины вдруг заспорили:

— Это вы что же, гражданка, одобряете поведение вашего сына? Берете вино, чтобы распить с ним вместе?

— Нисколько я не одобряю. А что же делать, если он у меня такой? Я и в милиции объясняла: делайте с ним, что хотите, а моих силов больше нет!

Вера Петровна слушала, как во сне. Мать костлявого мальчугана казалась ей кошмаром. И как мог Володя дружить с ее сыном? Опомнившись, Вера Петровна решительно подошла к Володе, взяла его за руку, сказала властно:

— Пойдем!

Володя с трудом приподнялся.

— Пойдем, мама! Вот только... где-то здесь... мой пиджак... Поищи, мама! Я не могу.

Вера Петровна приложила обе руки к глазам и вдруг зарыдала.

Черный мальчик громко засмеялся, крикнул лихо:

— Дождь пошел! Не унывай, Орел! До самой смерти ничего не будет!

II

Случись пожар в доме и сгори все имущество, попади кто-нибудь из родных под трамвай, — любое несчастье не было бы так ужасно, как это: Володя — вор, Володя пьянствует, связался с темными людьми... Вера Петровна нисколько не преувеличивала, когда говорила Сурову, что ее сын надежда семьи. И вот... Вовеки не забыть ей того чувства, которое она испытала, когда вела пьяного сына домой. Казалось, весь город видит ее позор. Вот она, жена известного инженера Всеволода Григорьевича Грибова, сама инженер-химик, ведущая интересную работу, много лет жившая в атмосфере полного благополучия и довольства, попала в ужасную катастрофу.

— Обопрись на мою руку. Старайся итти прямо. Мне стыдно за тебя! — деревянным голосом сказала она сыну, когда спустились с чердака на улицу.

Володя перестал бессмысленно улыбаться, что-то понял, заметно протрезвел. Дома встретила их бабушка, всплеснула руками:

— Батюшки мои! Заболел?

— Заболел, — жестко ответила Вера Петровна.

— Голубчик мой! Володичка! Радость ты моя! — запричитала бабушка. — За доктором скорей. Ой, батюшки! Ой, родимые!

— Перестань, мама! — остановила ее Вера Петровна. — Эта болезнь пройдет. Не беспокойся. Доктора не надо.

Бабушка хотела обнять Володю. Он обеими руками отстранил ее, намеренно твердой походкой прошел в свою комнату, разделся, лег на кровать. Бабушка заметалась по комнате. Вера Пет-

ровна ушла было к себе, заперлась, но через пять минут вошла к Володе. Лицо у нее было решительное, холодное.

— Мама, уйди, мне с Володей надо поговорить.

Бабушка заспорила было: разве нельзя поговорить при ней? Что она, чужая? Но дочь сказала строго: «Уйди!». И заперла за ней дверь. Володя спокойно смотрел на мать. Она остановилась в двух шагах от кровати.

— Где мои часы?

— Продал.

— И облигации продал?

— Да.

— Их было на шесть тысяч. Все продал?

— Все.

— Сколько получил?

— Тысячу.

— А за часы?

— Пятьсот.

— Куда деньги девал?

— Истратил.

— Пропил, другими словами?

— Не только пропил. Мы ходили в кино, катались на такси.

«Он попрежнему прямой. Не увиливает!» — с некоторой радостью подумала Вера Петровна и пристально поглядела сыну в глаза. Глаза все те же, детские, прямые. И в них упрямство, каприз, как лет семь назад, когда маленький Володя капризничал.

— Ты подумал о нас, когда брал часы и облигации?

Володя не ответил.

— Что скажем теперь отцу? Он послезавтра приедет.

— А мне все равно. Что хочешь, то и говори. Будете ругаться, я уйду из дому совсем.

Он проговорил это, отвернувшись лицом к стене.

— Уйдешь? Куда?

— Я найду. Пешему везде дорога.

— Настоящим вором хочешь быть? Володя быстро повернулся, взглянул матери в глаза.

— А хотя бы и вором! Мне все равно!

Лицо у него стало холодное, чужое. Глаза презрительные. Вера Петровна почувствовала, как к горлу ее подкаты-

ваются слезы. Она поспешно вышла из комнаты. В коридоре стояла бабушка. Дряблые щеки ее тряслись. Она слышала весь разговор. Володя спокойно смотрел бабушке навстречу. Та медленно, неверной походкой дошла до его кровати, спросила дрожащим шопотом:

— Володичка! Как же так?

А Володя, уже смеясь, подражая бабушке, деланно-дрожащим шопотом ответил:

— Да уж так, бабушка!

— Ведь у тебя отец-то... хороший человек. И мать хорошая. А ты... а ты...

Она не могла найти слова.

— А я вот часы и облигации украл! — нарочито громко сказал Володя. — И еще украду, если надо будет.

— Ты? Еще? — ужаснулась бабушка.

— Да. Запомни, бабушка, твой внук скоро прославится.

— Чем же, Володичка, ты прославишься?

— Мы шайка боевых товарищей. Мы скоро себя покажем. Ты скоро обо мне услышишь. Папа говорил мне: «Ты будешь героем!». И я буду героем.

— Герой герою рознь, дорогой сыночек! — сказала Вера Петровна, входя в комнату. — Не большое геройство утащить у родителей часы и облигации.

Володя повернулся к стене и замолчал.

III

Всю ночь не спала Вера Петровна бродила по квартире, часто принималась плакать. Володя встречал ее чужим, холодным взглядом. И чем больше она спрашивала, тем грубее он становился. Наконец сказал:

— Мама, ты мешаешь мне спать. Иди к себе, там поплачешь, если тебе хочется делать дождь.

Вера Петровна ахнула, зарыдала, выбежала из комнаты. И это ее мальчик! Она считала его маленьким, нежным... она всегда с такой теплой радостью думала о нем, гордилась им, восхищалась.

Утром она тревожно прислушалась, что делает Володя. Уже пробило половину восьмого, пора собираться в школу... Пойдет или нет? Она не решалась зайти к нему, послала бабушку.

— Пойдет, пойдет, — сказала вполголоса бабушка, входя в комнату Веры Петровны. — Ты не беспокойся. Уже одеается.

За стеной раздался веселый свист. Володя собирался и посвистывал. Так бывало и прежде. Что же, ничего не случилось? Он и в самом деле чувствует себя каким-то героем? Но ведь в школе узнают о краже... Суров знает, чужой человек... Кстати, откуда он? Она даже не успела спросить его, откуда он! Только бы он не сообщил в школу. Иначе Володю исключат из школы. И за что? За пьянство и кражу!

И опять она напряженно прислушалась. Володя завтракал в столовой, спокойно разговаривал с бабушкой. «У, негодяй! Ему все нипочем!». С горькой обидой она вспомнила, сколько заботы вкладывали все, чтобы Володе хорошо жилось. К завтраку ему обязательно черная икра, яичница, какао... «Не унывай, Орел, до самой смерти ничего не будет!».

Наконец Володя вышел в коридор, повозился у вешалки, крикнул, капризно растягивая слова:

— Люба, где моя фуражка?

«Нет, положительно, он негодяй! Ни капли раскаяния, ни капли жалости к матери! Бездушный мальчик!».

Никогда в жизни Вера Петровна не крикнула на сына. Теперь ей хотелось подбежать к нему, вцепиться в волосы и бить, бить...

Хлопнула выходная дверь, бабушка вошла в комнату: «ушел!». Вера Петровна горько заплакала.

— Ну, бывают ошибки, но порядочный человек чувствует себя виновным, раскаивается. А этот... этот... как будто ничего не случилось! — рыдая, говорила она.

— Перестань, Вера! Вот отец придет, он поговорит с ним, как надо. Смотри, на тебе лица нет. Как на работу пойдешь?

— Что работа! Разве мне теперь что в голову ползет?

— Говорила я, балуете вы его. И велосипед, и часы, и фотографический аппарат. Чего захочет, то сейчас ему, пожалуйста. Парень всем изволился, вот и ищет чего-то нового...

— А ты не баловала? Ты его воспитываешь. Отец занят, я занята... Он на тебе верхом ездил, а ты только радовалась.

— Да, теперь будешь валить все на меня. Нешто я не говорила вам, мальчик меня не слушает? Ты вот что скажи мне: откуда чужой человек узнал, что Володька украл часы и облигации? Кто он такой?

— Не знаю. Из района, кажется.

— Вот. Чужие люди знают, а мы нет. Ведь это и в школе станет известно. Придется говорить, что мы сами отдали часы продать... Стыда головушке!

Больная, с провалившимися глазами на желтом лице, пришла Вера Петровна на службу. Работа не кленлась. Мучительно тянулся день. Часа в три ее вызвали к телефону. Суров спрашивал, когда можно зайти поговорить. Вера Петровна обрадовалась.

— Пожалуйста, приходите через два часа, я буду дома.

Мысль, что она узнает новое о сыне и беспокоила ее, и оживила.

Домой она так спешила, что взяла такси. В пять пришел и Суров.

— Еще не возвращался Володя? — прежде всего спросил он.

— Из школы вернулся, положил книги, пробедал и ушел гулять.

— Разве он был в школе?

— Конечно. В этом-то отношении он пока аккуратный.

— Напрасно вы не справились. В школе он не был больше месяца. И сегодня не был. Еще в начале лета ваш сын попал в шайку ребят, которую организовал взрослый вор Клещ. Вчера мы арестовали его при вас. Шайка готовилась к большим подвигам, а пока ребята крали у родителей деньги и кутили.

Вера Петровна слушала, сраженная. Наконец прошептала:

— То-то он так неохотно поехал в пионерский лагерь на месяц.

— Понятно. Вы отрывали его от привычной компании.

— И потом с дачи все рвался в город.

— Почему же вы не выяснили, в чем тут дело?

— Почему, почему... Мы считали это его обычным капризом. Откровенно говоря, он у нас балованный, иногда требовал невозможного.

Суров чуть нахмурился.

— Да... К сожалению, многие забывают, что ребенок не игрушка. Родители частенько забавляются своими детьми, балуют их без всякой меры. Моя бы воля, я бы наказывал родителей за чрезмерное баловство детей, как за истязание, потому что и то, и другое одинаково портит.

— Вы из района?—торопливо спросила Вера Петровна, желая переменить разговор.

Слова Сурова ее обидели, потому что она чувствовала их правоту. В самом деле, она почти забавлялась Володей, как игрушкой. Ей нравилось наряжать его, баловать, даже капризы его нравились...

— Нет, я не из района, — холодно сказал Суров, поняв, что он задел больное место. — Я представитель детского отдела милиции.

— Милиции?! — Вера Петровна посмотрела на Сурова испуганными глазами. — Значит, уже до вас дошло?

— Как видите. Очень жаль, что мы знаем о поведении вашего сына больше, чем вы, и больше, чем школа. Ваш сын, например, доставил в школу записку за вашей подписью, в записке сказано, что он серьезно болен, ходить в школу не может.

— Но я такой записки не писала!

— Это я знаю. А вот вы не потрудились за целый месяц узнать в школе, как идут дела Володи, и школа не спрашивалась у вас, как его здоровье. Вы думали, что Володя ходит в школу, а

школа думала, что Володя болен. И вы и школа были спокойны.

— Да, до вчерашнего дня. Что же делать теперь?

— Попробуем лечить. В данную минуту Володя совещается со своими товарищами, когда и куда бежать от вас.

Вера Петровна резко поднялась.

— Бе-жать? Володя хочет бежать? Откуда вы знаете?

— Уж поверьте, это так. До приезда отца он непременно попытается убежать из дому.

— Так его надо задержать! — почти закричала Вера Петровна.

— Не волнуйтесь. Он, вероятно, еще придет домой, потому что у него нет денег. Смотрите только, чтобы он не захватил у вас деньги или какую-нибудь ценную вещь.

IV

Володя посвистывал весело, вызывающе, одевался с независимым видом, будто ничего не случилось. «Орел-Грибов никогда не унывает». Но все существо его было неспокойно. То, что мать и бабушка узнали о краже часов и облигаций, его мало волновало. Это дело неважное: часы и облигации все равно бесполезно валялись в комод. По существу, они никому не нужны. Мать только изредка надевает свои часы в театр или в гости. Не беда, если она пойдет и без часов. А облигации? У папы и без выигрыша денег много! Ну, взял! Ну, украл! «Убьют, что ли, меня за это?». А вот, что мать и бабушка видели его пьяным и расскажут папе (а они обязательно расскажут!), вот это беда. Теперь всё и про школу узнают. И про записку о болезни... Ну что ж, ничего не попишешь! Если узнают, пусть себе, на здоровье!

Одеваясь, он одним ухом прислушивался, что делается в квартире. «А мамаша-то... все дождь пускает», — услышал он рыданья. Были моменты: ему самому хотелось зареветь, побежать к матери, попросить прощения, но тотчас он представлял лица товарищей, особенно лицо Клеца, — нет, нет, Орел расусоливать не будет. Порой он ждал:

войдет мать, начнет ругать его. Он бы тогда ответил! Уж он бы нашел, что сказать! И — нет! Только плачут и вздыхают. Бабушка все качает головой, жалостливо шепчет:

— Пропадет твоя головушка. Милый ты мой, хороший!

— Перестань, бабушка! Довольно пары распускать.

— Ведь тебя могут в тюрьму посадить. И в колонию отправить. Тебе пятнадцатый год. Вот беда какая!

— А, надоела ты со своими колониями. Я ничего не боюсь.

Бабушка развела руками:

— Ка-кой грубый ста-ал! Подменили себя, что ли?

— Ну, грубый и очень хорошо. Поищите себе нежного.

С вызывающим видом он с'ел котлету, выпил какао, вытер губы, взял портфель с учебниками. Только на улице он опять приуныл: куда итти? Октябрь уже переломился, — нудно моросил мелкий дождь. Все идет по улице озабоченные, торопятся, каждый знает свой путь. И школьники спешат. Встречая их, Володя делал презрительное лицо: «Спешите, деревянные кони, спешите!».

— Куда же все-таки итти? — спрашивал он сам себя. — К Чернышу? Топай к Чернышу!

Черныш еще валялся на кровати.

— Курить есть? — хрипловато спросил он, едва Володя вошел к нему.

Он закурил лежа, пустил дым через нос, сплюнул.

— Ну, что у тебя? Хватились часов?

— Хватились. Стонут. Но пока одни бабы. У них глаза на мокром месте. Завтра отец придет.

— Бить будут?

— Что ты! Разве я дамся? Меня ни разу в жизни пальцем не тронули.

— Лафа тебе. А меня мамаша лупила, чем ни попадя. Теперь боится, потому я могу сдачи дать. Вот только сволочь вотчим иной раз звизданет, больно. Я раз даже в милицию жаловался. Ну, вышло хуже: перестали кормить, били исподтишка, без синяков.

— А где твой отец?

— Бросил нас, уехал в Баку с какой-то девкой. Алименты платит. Пять-

десять в месяц! Гады у меня родители. На рынке за пятак бы продал. Да же даром могу отдать. Твой-то лучше?

Володя хотел ответить в том же духе, как и Черныш, и осекся. Что скажешь? Честно говоря, родители слишком хороши.

— Нет, мои ничего, — неохотно сказал он. — Я что хочу, то и делаю. Да теперь все равно, — ну их к чертям! Домой я больше не вернусь. Поедем куда-нибудь. На Кавказ, например. Или в Крым. Вообще, где зимы не бывает. Хорошо бы на экватор пробраться. Поедем?

— Что ж, поедем. Деньги у тебя есть?

— Есть, только они у Клеща.

— Ищи, свищи. Клеща взяли в тюрьму. Да если бы он и был на воле, все равно, он ничего бы не дал. А без денег никуда не уедешь. Я раз пробовал бежать без денег. Только до Загорска доехал, арестовали.

— Проберемся и без денег.

— Нет уж, пробирайся ты, а я посмотрю на тебя.

Володя нахмурился, сверкнул глазами:

— Не хочешь, чорт с тобой. Ну, только помни: если будешь набиваться на угощение, я тебе шиш покажу.

— Нужно мне твое угощение. (Черныш далеко выпятил нижнюю губу.) Что я, сам не могу украсть, когда захочу? Украду получше тебя.

— Ага! Так? Посмотрим.

И Володя вышел, громко хлопнув дверью.

«Куда же теперь?». К Ленке нельзя: он в школе. Разве к Вещему Олегу? Эх, если бы Клещ был, он бы все устроил. Он ловкий. Он в любую щель пролезет.

Володя вернулся в свой квартал, в соседний дом, к Олегу. Мать Олега, увидев Володю, сразу освиrepела:

— Иди, иди отсюда, паршивый мальчишка! Я тебя поленом буду гнать, если еще заглянешь к нам. Вон!

Володя растерялся и не успел ответить, как дверь уже захлопнулась. Вот это да! А прежде Олегава мать гордилась, что ее сын дружит с Вовой Гри-

бовым, сыном того Грибова, о котором писали газеты. Как ласково она встретила его прежде!

Растерянный и злой, ходил он по улицам. Может быть, в школу пойти? Ленька там, Олег... Нет, сейчас поздно: привяжется Деревянный конь (так ребята зовут классного наставника), потащит к Звонарю (директору). Лучше не ходить.

Он медленно брел, широко размахивая портфелем. Дождь все моросил, мелкий, нудный. Володя поднял воротник пальто. «Разве в парк культуры сходить?». Но он тотчас вспомнил забытые павильоны, пустые аллеи... Нет! Едва дождался двух часов и пошел домой, будто из школы. Обедал он жадно. И, лишь пообедав, согрелся и ободрился. Настроение портила только бабушка: сидела в углу и вздыхала, как машина для забивки свай: «Ух, ух, пропала твоя головушка!».

В начале пятого, когда вот-вот должна была прийти мать, он опять ушел из дому. Он почувствовал себя достаточно смелым, но с матерью все же не хотелось встретиться. И вот, когда он брал с вешалки мокрое пальто и мокрую фуражку, ему вдруг показалось, что его гонят из дому. Гонят от теплой, удобной жизни... Куда? «А, все равно!».

На улице он второй раз в этот день почувствовал, что идти ему, собственно, было некуда и не к кому. Прежде собирались в парке культуры, на бульваре... Клещ, бывало, обязательно уже ждет то там, то здесь. А теперь вот нет Клеща.

«Придется опять к Чернышу!».

Черныш встретил его наглым смехом: — Кто куда, а я в сберкассе. Проветрился?

— Надо собрать братву, решим, что делать.

— Ты насчет бегства? Без денег не согласятся. Иди, собирай.

— Сходи ты. Меня, понимаешь, Олега мать так ошпарила...

— Нет уж, ты иди, а я посижу.

— Сходи, Черныш, пожалуйста. Я тебе три рубля дам.

— Давай пять, тогда схожу.

Только через час пришли Вещий

Олег, Ленька Пузырь, Порошок. Пришли неохотно, явно смущенные вчерашним происшествием. Ленька был мрачен, прятал глаза.

— Тебе попало? — развязно спросил его Володя. — Неужели ты после этого останешься дома? Бежим!

— Не очень попало... Ну... бежать... Не знаю... — забормотал Ленька.

И по его нерешительному бормотанию Володя понял, что на Леньку плохая надежда. Вещий Олег тоже молчал. Один только Порошок — самый маленький — согласился бежать:

— Мне все равно. Тетка уже сколько раз говорила: «Надоел ты хуже хрена».

Ребята рассмеялись. Володя рассердился:

— Свиньи вы! Какие вы товарищи? Когда я деньги приносил, так вы на все шли, а теперь труса праздновать?

— Ну, ты! Деньги! — обиделся Черныш. — Захотим, у нас денег втрое больше будет! Только не жалею воровством заниматься, как ты.

— Вы все на меня валите? Я один во всем виноват? Олег, ты едешь со мной? Ленька! Нет? Тогда я один убегу!..

Голос его срывался, слышались нотки, явно похожие на плач.

— Я с тобой, — вдруг сказал Порошок.

Володя косо поглядел на него. Маленький, тощий, с прозрачным лицом. Порошок был похож на воробья. Бежать с ним? Однако делать нечего.

— Ладно. Едем. Завтра утром приходи на бульвар к станции метро. Мы покажем этим трусам!..

И, ни на кого не глядя, он вышел из комнаты.

V

Вторую ночь Вера Петровна проводила без сна, прислушиваясь к шорохам в комнате сына. Вечером, когда Володя гулял, она осмотрела его стол, шкаф, постель, отыскивая деньги. Денег не было. Под кроватью стояли новые башмаки, купленные недавно. «Как бы он их не продал», — подумала она и, завернув башмаки в газету, сунула в

угол шкафа. «Без денег не уйдет». И после — Володя в коридор, и она в коридор, Володя в столовую, и она в столовую. Володя в кухню, и она в кухню. Смотрела за ним неотступно. Заснул уже весь дом, а она все слушала и чего-то мучительно ждала.

Утром она вошла в столовую, когда Володя завтракал. Он ел не торопясь, будто со всем примиренный, обычный. Вдруг он, не допив чашки, встал, вышел в коридор и торопливо пошел к черному ходу. В коридоре было темно, и Вера Петровна из деликатности не пошла за сыном. Однако встала, прислушиваясь: «Куда он?». Володя вернулся скоро, допил чашку, побежал одеваться.

— А где книги? Разве сегодня без книг? — спросила она, увидев, что он идет к двери с пустыми руками.

— Сегодня — без книг, — и не глядя на нее, прошмыгнул в двери.

Прячась за занавеской, она смотрела, как сын пошел по улице. Она успокоилась: руки у него пусты, денег нет, не убежит!..

Володя, отойдя от парадной двери, оглянулся. Занавеска в их окне колебалась. «Мама следит». Он с деловым видом пошел по тротуару, будто к школе, и, лишь пройдя дома три, бегом вернулся во двор, — и по черной лестнице к черному ходу. Здесь лежал его портфель и сверток с башмаками...

Со службы Вера Петровна позвонила в школу справиться о сыне. Классный наставник удивился: «Разве Володя выздоровел? Уже больше месяца он не ходит в школу». — «Да, но сегодня он должен быть в школе». — «Нет, не приходил». Близкая к отчаянию, Вера Петровна позвонила Сурову.

— Убежал!.. Помогите!

И ей было странно слышать спокойный, бодрый голос:

— Найдем. Не убежит. Я вам позвоню. Успокойтесь.

Она не могла работать, совсем большую ее отправили домой. В два часа приехал Всеволод Григорьевич. Он ворвался в переднюю, шумный, веселый. Стукнул чемоданами о пол, протянул руки.

— Вера, здравствуй!

Вера Петровна прижалась лицом к его груди и зарыдала. Он вздрогнул, схватил ее за плечи. В глазах мелькнул ужас.

— Володя? Умер? — придушенным голосом крикнул он.

— Нет! Жив, жив, — отчаянно замахала руками она, — только... убежал.

— Как убежал? Куда? Да говори же скорее!

Он сжал ее обеими руками. Вмешалась Люба.

— А ничего особенного, Всеволод Григорьевич! Володя утром куда-то убежал, захватил с собою новые башмаки. Сейчас его ищут. Скоро будет дома.

Всеволод Григорьевич удивленно посмотрел на жену.

— Вера, так? Сегодня утром ушел? Что ж тут страшного?

— Он... он ушел... потому что боялся твоего приезда. Он... утащил все облигации и мои часы... продал...

Всеволод Григорьевич нахмурился.

— Утащил? Проврал? Зачем же ему это делать?.. Фу ты, батюшки! Ну, ты меня напугала! Ничего, вернется... Всякое дело поправимо, если человек жив-здоров. Ну-ка, идем, расскажи все по порядку.

И опять стал веселым, готовым побеждать любую беду.

— А мать где? Лежит? Володька виноват?.. Ай-ай... Да что с вами? Ну, облигации, ну, часы... чорт с ними! Ведь это же пустяки. Не стоят они того, чтобы себя в гроб вгонять.

Вера Петровна сердито посмотрела на мужа.

— Тебе все пустяки. Он пьянствовал на чердаках! Он вступил в какую-то шайку. Он собирался воровать и грабить. Мне милиция об этом сказала!

— Ми-ли-ция? — сразу изменился Всеволод Григорьевич. — Значит, дело серьезное?

— И это ты виноват. Ты набивал ему голову мечтами о героизме. «Герой, мой Володя будет героем!». Вот тебе и герой... Сейчас я в милицию звонила...

— Стой, стой! Тут что-то не так.

Это надо разобрать. Ну-ка, дай телефон, кому ты звонила. Я сам...

И стал, как всегда, энергичным, подобранным, бодрым. Он позвонил по десяти телефонам и наконец отыскал Сурова...

— Володя задержан на вокзале. Он уже сидел в поезде. Сейчас его везут в детский приемник. Там вы сможете его взять.

— А он как? Не волнуется, не плачет?

— Волнуется, конечно, но до слез далеко. Я с ним разговаривал целый час. Хороший мальчик. Только голова набита бреднями.

— Хороший? Вы сказали хороший? — повысил голос Всеволод Григорьевич. — А мать говорит, что он совершил преступление.

— Ну, в этом он виноват лишь отчасти. Впрочем, приезжайте к нам часам к десяти вечера, поговорим.

Весь вечер потом Всеволод Григорьевич был внешне спокоен и бодр, как обычно. Бодрость мужа успокоила и Веру Петровну, ей уже стало казаться: ничего страшного не случилось. Только, когда садились в такси, чтобы ехать в приемник, он вполголоса грустно сказал:

— Вот уж никогда не думал, что мне придется ехать в милицию выручать сына.

И Вера Петровна поняла, что муж волнуется и что ему тяжело.

В Заречье, в старом монастыре, в маленькой комнатке им дали пропуск. Было уже совсем темно. Зубчатые стены казались необычно высокими и очень тяжелыми. У ворот дежурный проверил пропуск. Широкий двор, окруженный стенами, был пуст. В окнах корпусов светились огни.

— К Сурову? Сюда, в этот корпус, второй этаж, комната номер семь, — сказал милиционер, взглянув на пропуск.

Все было необычно, и Вере Петровне казалось, что она опять видит сон.

В комнате номер семь за столом сидел милиционер в серой тужурке.

— Нам надо Сурова, — сказала ему Вера Петровна.

— Не узнали? Я Суров, — улыбнулся тот, — вы как-раз во время. Мы только-что разговаривали с начальником о вашем сыне. Он хочет поговорить с вами. Пойдемте...

Он поднялся, надел фуражку, — стал такой, как все милиционеры, мимо которых так спокойно проходят на улице, почти не замечая их. А вот этот вдруг вошел в их жизнь, — как-то глубоко вошел, до самого сокровенного...

— Неплохой у вас мальчик, — сказал Суров, глядя прямо в лицо Всеволоду Григорьевичу. — Жалко, что вы за ним во-время не последили.

— А разве теперь... безнадежно? — дрогнувшим голосом спросила Вера Петровна.

— Ну, безнадежно! Что вы? Дело далеко еще не зашло. Только теперь вам придется серьезно заняться сыном.

«Вот дождались... в милиции дают урок, как обращаться с детьми», — с досадой подумал Всеволод Григорьевич.

Начальник отдела — энергичный, с решительным лицом — заговорил громко:

— Познакомился я с вашим делом. И с сыном вашим познакомился...

— Он... Он... преступник? — вдруг спросила Вера Петровна.

— Преступник? Нет. Правда, он совершил преступление. Даже несколько преступлений. Однако разберемся, кто в этом виноват. Из дела я узнал, что вы безмерно баловали сына.

— Один он у нас, — глухо сказал Всеволод Григорьевич, как бы оправдываясь.

Начальник улыбнулся.

— Вот это и плохо. Единственный ребенок в семье часто бывает с изъяном... капризы, самовольство, самомнение... Мое глубокое убеждение — плохих ребят нет, а есть плохие родители, которых и следует наказывать за преступления детей.

— Да? Вы так? — забормотал Всеволод Григорьевич, краснея по самую шею.

— Именно так. Вы больше забавлялись сыном, чем воспитывали его. Вот и товарищ Суров в этом же убежден.

Вы не контролировали действий Володи, не направляли его, не поставили перед ним высоких жизненных целей. А ребята у нас теперь решительные, храбрые, ничего не боятся, — и ваш сын... смотрите, сколько в нем стремительности. Вообще, в наших ребятах необыкновенная энергия. Все жаждут проявлять себя, стали пытливы, лезут всюду, как вода. — Начальник улыбнулся.

— Действительно, наш мальчик очень пытливый.

— Ну, конечно. И необходимы объединенные усилия семьи, школы и всей советской общественности, чтобы направить энергию ребят по настоящему руслу. К сожалению, не всегда семья и школа уделяют должное внимание ребятам. Иногда школа относится к ним формально, а семья балует. Общественность же наша и совсем мало привлечена к воспитанию ребят. Ребенок на улице, например, целиком предоставлен себе. Он может хулиганить, курить, ругаться, ездить на подножках трамвая, может стрелять из рогатки в чужие окна, — почти никто ему слова не скажет. Никому будто нет дела до него. Лишь милиция вмешивается в его действия, если они переходят границы. А надо, чтобы каждый советский гражданин видел в чужом ребенке своего. И останавливал бы его, если он делает что не так. Старый принцип «моя хата с краю, я ничего не знаю» надо выбросить. Мы строим коммунистическое общество. А вот ваш мальчик... он приносил деньги в квартиру своего товарища Черныша, ребята устраивали пирушки, а мать Черныша и отчим видели это и поощряли. И сами выпивали с ними. Это уже уголовное преступление, и мы привлекаем таких родителей к суду. За поощрение детей к кражам и за прием от них краденого суд приговаривает родителей к тюрьме до восьми лет.

— Так и надо! Ведь это ужас: люди видят, что дети пьянствуют в их квартире и никаких мер не принимают! — резко сказала Вера Петровна, задышав от негодования.

Начальник опять улыбнулся:

— Позвольте вам сказать, гражданин Грибова, что самые большие попойки устраивались именно в вашей квартире. Вот спросите-ка Сурова...

— Как в нашей? — ошеломленно повернулся оба Грибовых к Сурову.

Суров пожал плечами:

— Ну, вы на службе, дома только бабушка, ребята собирались у вас и пили.

— А где же бабушка была?

— Ее выпроваживали. «Не мешай, мы уроки учим». Иногда она пыталась войти. А Володя кричал: «Подожди, бабушка, я переоденусь!..». И прятали бутылки и закуски.

— А ведь и при мне такие случаи были, — вспомнила Вера Петровна.

— Вот видите! И даже в вашей квартире бывал Клещ, тип уголовный.

— Как вы все знаете? — удивился Грибов.

— На то мы и поставлены, чтобы знать, — серьезно ответил начальник. — Так вот давайте сейчас условимся, как будем действовать дальше в отношении вашего сына.

Он долго расспрашивал, в каких условиях жил мальчик. Все было ненормально: слишком много баловства и самостоятельности. Родители не знали, как их сын ведет себя в школе, школа не знала, что делает он дома. Никаких требований к мальчику не предъявляли, все время говорили с ним, как с маленьким, боялись его утомить, огорчить...

— Надо говорить с ним, как со взрослым, как с товарищем, надо заставлять его работать серьезно и упорно. Жизнь не игрушка. И сын ваш, умный, здоровый мальчик, это поймет.

С опущенной головой инженер Грибов сидел у стола. Ему мучительно было взглянуть на жену. «В милиции дают урок... горький урок!».

— Что ж, вот пока все, товарищи. Шайку, в которую попал ваш сын, мы разбили. Клещ арестован, с матерью и отчимом Черныша у нас будет особое дело, с каждым членом шайки вот товарищ Суров еще поговорит, последит за ними, пока они не исправятся совсем.

— А наш?

— Его мы отпустим через час. Я еще поговорю сейчас с ним. Вы пока идите домой. Мы его вам доставим...

— Нет, он... убежит! — забеспокоилась Вера Петровна. — Я не могу. Он может броситься под трамвай. Уж разрешите, я дождусь его.

— Пожалуйста, дожидайтесь. Только я не хочу, чтобы вы сейчас с ним встретились. Вам придется пройти в дежурную. Я вас вызову, когда кончу с ним говорить. А вы (он повернулся к Грибову), вы поезжайте домой и дождитесь, чтобы сын к вам пришел первый и во всем покался. Так нужно... И потом... я вас просил бы помнить, за преступление детей в нашей стране отвечают родители. Вы ведь знаете о законе тридцать пятого года по борьбе с детской преступностью? Партия и правительство заботятся о детях и требуют, чтобы родители тоже заботились...

VI

Это только кажется, что легко продать башмаки. А в действительности, — ой, сколько разных препятствий! Во-первых, пришлось ехать на рынок на окраину города; во-вторых, торговаться до десятого пота, потому что за башмаки давали одну двадцатку... Книжки вот продал сразу.

Только в два часа Володя Грибов и Порошок попали наконец в вагон. Так как денег было мало, то решили билет взять лишь до Курска, а там «как-нибудь, зайцем». Но едва уселись — оба взволнованные — вдруг в вагон вошли два гражданина в кепках и темных плащах. Один с серыми глазами уставился прямо на Володю, спросил весело:

— Едешь, товарищ Грибов?

Володя смешался:

— Еду.

— На Кавказ?

— Нет, в Курск к больной матери.

— А ты, Порошок, тоже к больной матери едешь?

— Я, дяденька, не знаю...

— Покажите-ка билеты. Так. Очень хорошо.

Гражданин положил билеты себе в карман.

— Теперь пойдете, поговорим подробно о вашем маршруте.

Тут Володя опомнился.

— Мы съой маршрут знаем отлично, разговаривать с незнакомыми людьми не хотим.

Гражданин усмехнулся.

— Ишь, какой Зойкий! Настоящий орел. Пойдем-ка, пойдём. Поговорить надо непременно.

«Попа!» — испуганно подумал Володя и оглянулся: нельзя ли бежать. Пассажиры со всех сторон смотрели на Володю. Маленькая старушка с тревогой спросила:

— Аль воришек поймали?

На вокзале, в детской комнате, гражданин с серыми глазами сказал насмешливо:

— Вот, Володя, при каких печальных обстоятельствах нам приходится встречаться. То ты гуляешь по чердакам, то бежать на Кавказ собрался... Хорошо это? Давай-ка поговорим откровенно. Порошок, подвигайся к нам поближе. Вот сюда, вот так.

Володя смотрел исподлобья, угрюмо. спросил резко:

— Кто же вам рассказал все про нас?

— Это, как вы бежать собирались? Я, брат, еще позавчера знал, что ты сегодня побежишь.

— Позавчера я и сам не знал, побегу ли, — с вызовом проговорил Володя.

— А я знал. Я предупредил твою маму, чтобы она прятала от тебя деньги и посмотрела за тобой. Скажи-ка, она смотрела за тобой вчера и сегодня?

«Вот оно что!» — удивился про себя Володя и ничего не ответил.

— Видишь? Я все знаю. Ты звал с собой Черныша, Пузыря, Вещего Олега. Они поумнее тебя, не согласились бежать. «Куда бежать, на осень глядя?». Я, конечно, тебя понимаю, Володя. Ты боишься, что папа будет сильно ругать. Он, вероятно, уже приехал.

Володя сидел, точно пришибленный. смотрел с испугом, и вдруг губы у него дрогнули.

— Кто же вам... все... рассказал? — плачущим голосом спросил он.

А человек продолжал:

— Попал ты на плохую дорогу... Вот и Порошка за собой потащил. А Порошок-то еще совсем маленький... Тебе, Порошок, десять лет уже есть? Еще нет?..

...Полчаса спустя, Володя дрожащим от волнения голосом говорил, что это верно, он запутался, он кается, он видит свою ошибку...

... С вокзала Володю и Порошка в машине повезли в Замоскворечье, в приемник. С ними ехал милиционер. Порошок, двадцать минут назад горько плакавший, теперь беззаботно посматривал по сторонам. А Володя забился в угол, чтобы кто-нибудь его не увидал.

Зубчатые толстые стены приемника, часовые милиционеры у ворот и дверей — все угнетало. Их привели в большую комнату с низкими нарами и здесь велели ждать. Дверь закрыли на замок. У Володи сжалось сердце. Порошок расплакался.

— Ну, дождь и здесь пошел! — резко крикнул курносый мальчик, сидевший на нарах.

Он подошел к Порошку, щелкнул его по лбу, крикнул:

— Не реви! Ну?

Володя толкнул курносого в плечо.

— Не тронь его.

Курносый сжал кулаки.

— А ты кто здесь? Начальник?

— Не начальник. А его не трогай... Иди сюда, Порошок.

Они отошли к дальней стене и сели на нары. Курносый подошел к трем мальчикам, лежавшим на других нарах, что-то зашептал им, указывая на Володю.

Один — с синим лицом — подошел к Володе. За ним курносый.

— Ты что это, свои порядки тут наводишь? — начал синелицый. — Ты здесь который раз?

— Дай ему в рожу, Шарик, дай! — крикнул курносый.

— Я здесь первый раз. Но это все равно. Он обижает маленького, — смело сказал Володя.

— Дай ему, Шарик, в зубы! Ну? — опять крикнул курносый.

— Стой ты, дай узнать, в чем дело. Откуда ты? Московский? Украл что? Курить есть?

И заговорил с Володей дружелюбно.

Наступил вечер, зажгли свет. В комнату приводили еще и еще ребят. Тут были и беспризорники, давно покинувшие дома. Голодные, истощенные, они жадно накидывались на еду. Были путешественники, убежавшие из родного дома, увлеченные мечтами о неизвестных странах. В комнате стало шумно, людно. Заговорили о детских домах, о колониях... Шарик гордо рассказывал о Караганде, откуда он убежал. В соседнюю комнату приводили воришек. По двое и по трое ребят вводили в «обследовательскую», где их заставляли рассказать, кто они, откуда, зачем попали в Москву. Их фотографировали, стригли, одевали в чистую одежду, отправляли куда-то на «этажи».

Невольное безделье, запертые двери, рассказы о колониях, о тюрьме угнетали Володю. Никогда он не был в таком положении, — всегда делал, что вздумается. А тут — сиди, жди, — в полной неизвестности, пока не отправят на какой-нибудь «этаж». Есть «этаж», где держат воришек, прежде чем отправить их в тюрьму. А тюрьма здесь же, во дворе. Он украл, он пил, он собирался стать таким, как Клещ. Какой же «этаж» дадут ему? А может быть, прямо в тюрьму направят? Вот Шарик ждет, что ему «тюрьма».

Иногда ребята жаловались: дома живетя плохо, отец — пьяница... А ему чего нехватало? Отец, мать, бабушка исполняли каждое его желание... Он вспомнил тот вечер, когда познакомился на катке с Клещом. Клещ сначала похвалил, как Володя ловко катается. И Володя растаял от похвалы. Весь вечер они катались вместе, Клещ угощал шоколадом. Тут Черныш подвернулся, — Черныш уже был знаком с Клещом... Когда садились на скамью отдохнуть, Клещ рассказывал анекдоты...

И Володя незаметно для себя начал увлекаться Клещом. Вот как весело живет парень, уже везде побывал, все видел.

— Я с восьми лет путешествую. Я весь Союз об'ехал. А вы что?

— Я на Кавказе был с мамой и папой и в Крыму, — похвалился Володя.

— Эка невидаль Кавказ, Крым! На Урале был? Ну, то-то. А я по Уралу целый год пешком ходил. Придешь в какой город, украдешь денег...

«Ну, вот украл... теперь и сиди. И я вот сижу. На какой «этаж» меня отправят?».

Часов в десять его наконец позвали, и милиционер повел через двор к длинному трехэтажному корпусу. У дверей стояли милиционеры. «Попал. Не вырвешься! Здесь не шутят».

Наверху, в третьем этаже, в длинном гулком коридоре милиционер велел Володе подождать, сам куда-то ушел. У Володи сильно билось сердце. Прошла минута, две, пять. Наконец дверь отворилась:

— Грибов! К начальнику!

В большой светлой комнате с портретами вождей на стенах, за столом сидел коротко остриженный человек в милицейской форме с серебряными полосками и звездочками в петлицах. Он говорил по телефону. Володя удивился, что на столе стояло три телефона. Продолжая разговор, начальник показал Володе на стул. Володя робко сел. Начальник положил трубку, сказал милиционеру, который стоял у двери: «Я вас потом позову». Милиционер вышел. Начальник посмотрел Володе в глаза. Потом осмотрел его лицо, руки, всего, вплоть до башмаков. Осматривал молча, может быть, с минуту. Володя очень смутился.

— Отец инженер? — наконец спросил начальник.

— Инженер.

— Это о нем в газетах пишут, как о замечательном работнике?

— О нем.

— Ты сам читал?

— Читал.

— А приятно было... читать-то?

— Да.

— Поди, гордился, что у тебя такой замечательный отец?

«К чему это он?» — смутился еще больше Володя и не ответил.

— Гордился, что ли? — громко спросил начальник.

— Гордился.

— А ты? (Глаза начальника стали строгими.) Ты решил сделаться воришкой? Воришка Орел-Грибов! Очень хорошо. Скажи, что бы ты делал, если бы тебя не задержали сегодня везде?

Володя опустил глаза, молчал.

— Что же молчишь? Ты скажи мне, как представлял свою жизнь. Вот вы едете... Куда вы ехать-то хотели? На Кавказ? Ну, вот приехали бы вы, допустим, в Тбилиси. Вышли бы на улицу, вечером или ночью... Орел и Порошок. Что бы вы дальше делали? Искали бы случая, как залезть в чужой карман?

Володя наклонился низко, будто рассматривал что-то на полу, под столом. Ему сразу представилась нелепость его дум о какой-то вольной жизни...

— Ты пионер? — спросил начальник.

Володя кивнул головой.

— Пионеры мечтают о завоеваниях мира, хотят быть летчиками, красными командирами, учеными, писателями. А ты — вор! Мы строим новое общество, мы трудимся вместе, а ты ворешь, то есть разрушаешь это новое общество. Это хорошо? Тебя поймали, суд судит, тебя сажают в тюрьму... хорошо? Ну, что ж ты молчишь?

У Володи задергалось лицо.

— Что ж, видишь, куда завела твоя глупость? Как будешь теперь жить?

— Я... я домой хочу.

— Еще неизвестно, как отнесутся к тебе родители. Может быть, попросят нас отправить тебя в колонию. Бывает, что родители приходят к нам и просят отправить в колонию такого вот сыночка, как ты. Я сейчас вызову твоих родителей, поговорю с ними, а ты иди, сиди, подумай, как будешь вести себя, если май тебя отпустим. И потом мне скажешь...

Володя пошел было к двери и вдруг вернулся, глухим прерывистым голосом забормотал:

— Вы... им скажите... это была ошибка... я больше не буду.

Давид Сасунский

Акад. И. ОРБЕЛИ

★

В устах сказителей армянского национального эпоса он носит несколько названий, каждое из которых выражает единство этого эпического круга сказаний и могло бы быть сохранено и в переводе. Но очень трудно подыскать исчерпывающие по полноте передачи смысла термины, которые выражали бы все оттенки значения этих названий. Если принять название «Сасна црер», то это означает «Неистовые сасунцы», «Сасунские близнецы», «Яростные сасунцы», «Буйные сасунцы», «Храбрые до безумия сасунцы». Если принять название «Джоджанц тун», то оно означает «Дом великих», «Дом исполинов», «Дом старших», «Дом предков».

Так как сказители обычно передают не весь эпос во всей его полноте, а отдельные его части, то они соответственно называют эти разделы (по терминологии сказителей «ветви» эпоса): «Санасар и Багдасар» или «Давид и Мгер», или «Зайка-Давид», «Ненаглядный Давид».

Единство всего эпоса подчеркивается теми поминальными возгласиями, которые славят всех основных героев и которые предваряют и завершают сказ.

Запись отдельных вариантов эпоса началась с 1864 г., и с тех пор записано свыше пятидесяти вариантов. Сказителями являлись и мужчины, и женщины, по преимуществу представители старшего поколения, зачастую глубокие старцы. Большинство вариантов записано

из уст сельских сказителей, живущих ли в своих деревнях или ушедших на время в отхожие промыслы.

Сказывался эпос на различных армянских диалектах и говорах, нараспев, ритмической речью, а отдельные эпизоды — поются, и эти отрывки, звучащие, как песня, сохранились в стихотворной рифмованной форме.

Варианты различаются не только по языку и индивидуальному стилю отдельных сказителей, но и по объему сказываемых эпизодов и по большей или меньшей подробности изложения, да и по содержанию. Зачастую в различных вариантах одни и те же действия или слова приписываются различным героям, зачастую место действия того или иного подвига, того или иного события различно указывается вариантами. Еще большая пестрота наблюдается в именах и в обрисовке второстепенных действующих лиц, тех, которые образуют фон всего сказания.

Работа по составлению сводного текста эпоса была выполнена в Армянском филиале Академии наук Союза ССР комиссией в составе проф. М. Абеяна, проф. Г. Абова и А. Ганалаяна.

При составлении сводного текста было решено озаглавить весь эпос именем одного из героев, бесспорно являющегося наиболее ярким и жизнедейственным и в то же время наиболее земным и наиболее народным.

Составление сводного текста много-сложного эпоса на основе полусотни с

лишним вариантов — задача чрезвычайно трудная и связанная с необходимостью преодоления многих препятствий.

Согласование всех этих вариантов, отдача предпочтения в каждом отдельном случае тому или иному из них, исчерпывающий выбор характеризующих героев черт должны быть основаны на чрезвычайно углубленном изучении каждого из вариантов, на распределении их по группам и ветвям, которое должно привести к построению такого же родословного дерева вариантов устных сказаний, как это делается при установлении текста древнего автора на основе разновременных и разнородных рукописей, много более поздних, чем время жизни автора.

Эта сложная работа—дело будущего, и в этой работе большую помощь принесет издаваемый теперь сводный текст, который надо рассматривать, как первый этап работы.

Особо сложным моментом является задача определения сказочных или относящихся к героическому эпосу, или являющихся осколками космических мифов элементов сказания, но и в этой работе издаваемый сводный текст принесет большую пользу.

А главная заслуга составителей сводного текста та, что они впервые дают возможность широким кругам читателей познакомиться в связанном изложении с этим замечательным эпосом во всем его величии.

Это ознакомление, включение великого армянского эпоса в круг древнейших эпических сказаний, знакомых всему миру, является лучшим средством и для обеспечения возможности осуществления той глубокой исследовательской работы, в результате которой мы должны получить научное издание текста эпоса о сасунских героях.

Нет никакого сомнения в том, что этот труд в свою очередь вызовет появление и новых художественных переводов этих древнейших сказаний армянского народа.

Все четыре поэта, давшие в стихотворной форме переложение предоставленного им подстрочника, стремились сохранить возможно большую близость к

ритму речи подлинника и возможно большую близость к подлиннику в передаче его содержания. В этом — бесспорная заслуга В. В. Державина, А. С. Кочеткова, К. А. Липскерова и С. В. Шервинского. Но все же и этот художественный перевод хочется рассматривать, как первый этап многотрудной работы над переводом эпоса «Давид Сасунский» на русский язык.

★

Эпос «Давид Сасунский» подлинно велик в ряду других эпических сказаний создавшего его народа, это — подлинно великий армянский народный эпос.

Эпос этот называется народным не только потому, что он живет в народных толщах и ими сказывается, не только потому, что до наших дней он живет в устной народной передаче, и не только потому, что язык его во всех вариантах — язык народный, чуждый строю и словарю литературной армянской речи.

Эпос этот народен прежде всего потому, что все мировоззрение его героев неразрывно связано с подлинно-народными низами, что все его герои неразрывно связаны с народом, а не с теми, кто тысячелетия держал в своих руках судьбы армянского народа.

Несмотря на свою доблесть, свою силу, свои подвиги, всегда совершаемые на благо народа, вернее — в силу именно этих качеств, — ни один из героев ни в малейшей мере не извлекает из своих возможностей ничего для себя, для приобретения каких-либо особых прав в окружающей среде, для захвата хотя бы тени власти, для распоряжения по своей воле той землей, которую они готовы оросить своею кровью, для овладения тою водой, которая является источником силы для всех этих героев и основным условием жизни для всего народа.

Свершают они свои подвиги, потому что этого требует благо народа и потому что они чувствуют в себе силу для свершения их, но никаких преимуществ им эти подвиги не дают. Не теряют тесной связи с народом прославившиеся герои. Не теряют они также, даже возмужав,

своей детской душевной чистоты, своего простодушия, своей способности немедленно откликаться на каждый призыв о помощи. Никакой титул и никакое почетное звание не осложнило в народной памяти имен этих четырех героев.

А все другие, все те, с кем они входят в соприкосновение, — в самых своих именах хранят черты народности, так как их имена чужды княжеской среде, а прозвища полны той выразительности, зачастую того юмора, который характерен для народных низов и неприемлем для верхов.

Женятся герои на царевнах, но, связав свою судьбу с героями эпоса, вступив в их жизнь со своим титулом, все эти царевны теряют какие бы то ни было признаки своей связанности с царским домом, из которого они ведут свой род.

Герои эпоса глубоко человечны, как они ни связаны по своему происхождению, по своей сверхчеловеческой силе, по своим качествам и по своим деяниям с природой и ее силами, теми силами, которые ощущались древнейшим человеком с неизмеримо большей остротой, чем человеком, научившимся подчинять себе хотя бы часть этих сил. Это — живые люди, одаренные доблестями и высокими качествами, но несущие в себе и человеческие слабости; и их чувства, а не только подвиги, нашли себе яркое выражение в сказаниях об их земной жизни.

Развитие основной нити эпоса — это ход перевоплощения в подлинного человека тех сил природы, которые на заре сложения человеческого мышления стали принимать звериные или очеловеченные формы. Каждое следующее из четырех поколений героев все ближе к земле, все ближе к облику земного человека. Наиболее человечен из всех четырех — третий по счету, рожденный женщиной в браке с очеловеченным полутитаном, вскормленный женщиной, несущий в себе и человеческие слабости, и величайшую мыслимую в человеке доблесть.

Это — Давид, наиболее излюбленный веспешный его народом. Он наиболее прочно и неразрывными узами связался с той исторической обстановкой, кото-

рая легла в основу сложения и оформления эпоса.

Давид, сын Мгера Старшего, внук Санасара, отец Мгера Младшего, воплотил в себе воспоминания о горе, тяжелой доле армянского народа под гнетом иноземного, арабского, владычества. Он стал выразителем устремлений армянского народа к освобождению от чужеземного ига и воплощению коллективной мощи народа, его низов, тех людей, которые, отбросив плуг, пастушескую палку или лук живущего охотой горца, взяли за оружие, скрытое от них, — якобы не способных носить с честью доспехи, шлем и княжеский меч, — чтобы совершить великий подвиг.

Это торжество армянского народа над чужеземными завоевателями, изгнание арабских сборщиков податей, арабских наместников, арабских войск из Армении имело место тысячу лет назад. Это событие притянуло к себе древние мифы и древние сказания, с обстановкой этого события, с его веками, именами переплелись древнейшие сказания.

★

Когда шестьдесят пять лет тому назад впервые была произведена запись одного из вариантов великого армянского народного эпоса, никто не мог предполагать, что записанный тогда сказ являлся незначительным отрывком величественной эпопеи, отражающей мировоззрение широких и глубоких слоев армянского народа и таящей в себе бесчисленные нити, которые связывают культуру армянского народа со многими другими народами, не только окружавшими армян в их исторической жизни, но и населяющими отдаленнейшие от Армении части мира.

Десятки и сотни поколений сказывали отдельные части этого эпоса. Древнейшие элементы возникли в незапамятные времена, когда еще не звучало даже слово «армянский», когда еще не звучали и другие, еще более древние, названия слившихся в армянском народе племен, так как не было еще и племен.

Десятки поколений армянских сказителей на протяжении долгих веков, це-



«Давид выводит коня Джалали»

(Фарфоровая плакетка М. М. Герасимова, изготовленная к юбилею Давида Сасунского на ленинградском заводе им. М. В. Ломоносова. Эрмитаж.)

люю тысячу лет, сказывали этот эпос и отдельные его части в том виде, как они сложились и слились воедино в дни одного из самых больших торжеств в истории армянского народа, — в дни, когда восторжествовала народная сила армян над иноземными захватчиками, когда свергнуто было арабское господство над Арменией, когда новые жизненные силы армянского народа, почерпнутые в тяжелой, но победоносной борьбе, открыли возможность развития но-

вых форм национальной культуры, новых форм общественной жизни.

В этой напряженной борьбе с иноземными захватчиками не было, конечно, недостатка в отдельных выдающихся деятелях, будь то князья типа славного в истории Армении Теодороса Рштуни, сплотившего силы для сопротивления арабам еще на первых этапах захвата ими Армении, будь то люди из народа, не оставившие нам своего имени. Эти люди являлись объединителями,

организаторами тех добровольных отрядов, славное дело одного из которых так ярко описал в своей истории современник и очевидец, историк X века, Фома Арцруни, сам происходивший из царственного рода. Не было недостатка в таких людях, но судьба борьбы была решена народными массами, сплотившимися под гнетом изнурительных поборов и сбросившими чужеземное иго.

В памяти народной подвиги и характерные черты отдельных руководителей народного движения, быть может, в действительности—руководителей, имевших узко местное значение и из которых ни один в отдельности не решил и не мог решить задачи свержения иноземного ига, слились в единые коллективные образы, отражающие как героизм отдельных личностей, так и героизм и устремления народных масс, сплотившихся вокруг этих местных вождей.

Так в благодарной памяти народа создаются легендарные образы героев, носящих в себе наиболее высокие черты, свойственные народным массам в целом. Слагаются они вокруг, быть может, маленького, но вполне конкретного ядра, вокруг одной крупинки из миллионной массы. Здесь в народной памяти, придающей иногда своему созданию полуисторической, правдивый по существу, но фантастический по форме и по деталям образ, происходит процесс, который совершенно условно можно было бы сравнить с процессом, протекавшим за тысячи лет до нас и протекающим в наши дни не на обширных просторах земли, не на горных вершинах и не в живописных долинах Армении или любой другой страны, а в тесном пространстве двустворчатой раковины жемчужницы. Ведь и там невидимая глазу крупинка, постепенно накапливая на себя новые и новые слои, превращается в чудную жемчужину, переливающую, в соответствии со своей многослойностью, всеми цветами радуги.

Такой крупинкой был и тот безымянный герой из горцев Хута, то-есть из горцев Сасуна, который, во время смелого набега живых и подвижных горцев на пребывавших, как говорит Фома

Арцруни, в зимней спячке арабов, пресек жизнь их начальника Юсуфа, тот самый горец из Хута, с которым впоследствии об этом набеге беседовал Фома Арцруни. Этот горец из Хута не оставил в летописях своего имени, потому что во всем остальном, как и в этом подвиге, он был лишь одним из равных и не имел никакого титула, слившись с которым его имя могло бы, в условиях феодальной Армении, украсить страницы истории.

Быть может, вот этот безымянный горец из Хута в Сасуне или любой другой из его отряда, окутанный слоями перенесенной на него народной памятью красоты героизма, и послужил ядром для чудесной жемчужины армянского эпоса, образа Давида Сасунца.

Когда уже стал слагаться в своих легендарных внешних очертаниях правдивый по существу, как воплощение черт создавшего его народа, образ Давида, он должен был приобрести те реальные формы бытия, без которых в народном восприятии отдельная личность не могла жить.

Давид не мог быть человеком без роду и племени, и понятно, что народное творчество должно было дать ему предков, дать ему отца и деда, достойных иметь такого сына, такого внука. Народное творчество должно было дать ему сына, чтобы герой не ушел из жизни бесследно, чтобы он оставил родному народу надежду на возможность повторения, когда этого потребует жизнь, геройских подвигов, не меньших, чем совершенные его отцом.

И армянский народ дал Давиду отца и деда, почерпнув их образы из числа лучших жемчужин народной сокровищницы.

Он дал ему в отцы Мгера, в своем полутитаническом образе отражавшего свойства всему человечеству черты борца за жизненные блага, но не свои, а народа, за право на жизнь, но не свое, а народа, за воду и хлеб. Народ дал Давиду в отцы Мгера, в имени своем таящего связь со светозарным солнцем, Митрой,— Мгера, голыми руками, отбросив в сторону меч, разорвавшего льва, который отрезал страну от

хлеба,— Мгера, который убил злого духа дэва, отнявшего у народа воду, — Мгера, который сразил черного быка — исчадие болота и тьмы.

Народ дал Давиду в деда унаследованный уже тогда из тьмы веков и из глубочайших толщ доистории образ Санасара. Древнее имя Санасара указывает на то, что за много веков до дней победы Давида над Мсра-меликом, древнейшие космические черты титана, сына воды, и от воды почерпающего всю свою силу, этого (по меткому наблюдению К. В. Тревер) водного Антея армянской мифологии, были перенесены на реальную живую историческую личность, имя которой сохранилось в анналах древнейшей истории армянской земли и которая связывает древнейшие судьбы этой земли с Ассирией.

Дав Давиду достойных его деда и отца, обеспечив Давиду силу и мощь этих предков, возможность усиления в семь раз своей мощи из того же живительного водного источника, снабдив его, «ненаглядного» Давида, достойным его дедовским конем, связующим в своем беге солнечные просторы небес с глубинами дна морского, и дедовским мечом, небесным и разящим, как молния,— народ дал Давиду и сына.

Народ дал ему сына, таящего в себе еще большую природную силу, чем сила отца, сына, таящего в себе гороподобность деда, и через голову отца особенно тесно связанного с этим дедом. Народ дал Давиду сына, позаимствовав для сложения его образа черты одноименного полутитанического деда, потому что народ, дав возможность Мгеру свершить десятки подвигов, всегда на пользу обиженных, всегда на пользу

угнетенных, предназначил этого сына для подвигов, по сравнению с которыми победа Давида над Мсра-меликом — ничтожная мелочь.

Но, сознавая, что не настал еще час для этих подвигов, народ сберег созданный и взлелеянный им образ героя, спрятав его в толще скалы, утаив его там, в недрах горы, как затаивал народ в недрах своей души нараставший протест, протест народных масс против угнетения, безразлично чужими или своими властителями, против несправедливости мира, против вековой подавленности, против извечного голода.

Народ спрятал и утаил Мгера в толще скалы, ограждая его от удушающей петли, которую мог бы на него накинуть любой князек, как это случилось с Мгером в Востана-копане, потому что народ хотел сберечь его для дня величайших подвигов, дня сокрушения старого мира и созидания нового.

И, дождавшись этого дня, приняв рука об руку с шестьюдесятью народами участие в сокрушении старого мира и в созидании нового, армянский народ вывел теперь на всенародное торжество и Мгера, предрекшего крушение старого мира и созидание нового, вывел и его отца Давида, изгнавшего захватчиков из родной земли и указавшего, что нужно делать с непрошенными гостями, покушающимися на народное достояние и свободу народа, вывел и его деда, не боявшегося тяжелых трудов, все подвиги которого подобны трудам Геракла, вывел и его прадеда Санасара, оставившего сыну пример, как надо освобождать живительные воды от захватчика дэва, а внуку оставившего завет спасти народы от царей.

Симон Чиковани

ВИКТОР ГОЛЬЦЕВ

★

1. ЗНАКОМСТВО С ГЕРОЕМ СТИХОТВОРЕНИЯ

Стремительный горный поток ворочает гладкие камни. На крутом берегу высится каменная башня. Узкая тропа, прихотливо извиваясь, уходит наверх и теряется среди влажной велькетильской луговины. А еще выше виднеется перевал Датвисджвари, что означает «Медвежий крест». Это путь через Кавказский хребет в «Пирикитскую» (потустороннюю) Хевсуретию и дальше — в Чечню.

Я смотрю на суровую старую башню, и мне вспоминается рассказ о том, как здесь когда-то внезапно появились враги. Они хотели разграбить селение Хахматы, расположенное неподалеку за холмом. У реки стояла женщина. Должно быть, она пришла за чистой водой. Зоркие глаза ее различили вражеские доспехи.

Что делать? Как задержать неприятеля, как предупредить своих о набеге? Надо решать немедленно. И вот тяжелая дверь сторожевой башни, тень от которой падает сейчас на меня, захлопнулась за мужественной хевсуркой.

Женщина поднялась наверх. В маленькие руки, привыкшие доить коров и красиво вышивать, она взяла тугой военный лук. Она стреляла из бойниц, — немало врагов пало от ее метких стрел. Долго пришельцы не могли продви-

нуться вперед. Потом они убили храбрую женщину, но ее родное селение было спасено...

Я вхожу в Хахматы. Домики на горном склоне жмутся друг к другу, плоская крыша одного служит двориком другому. По безлюдной улице бредет мальчуган. Увидев меня, он улыбается загадочно и нежно, как могут улыбаться только незнакомые дети. Величественно проходит усатый хевсур в расшитой домотканной одежде, с коротким прямым мечом и с круглым щитом на боку. На меня от него повеяло средневековым.

За воротами дома слышу голоса моих спутников. Микола Бажан окружен детьми. Виссарион Саянов торопливо списывает страницы записной книжки, Симон Чиковани, сидя на низенькой скамье, степенно беседует с плечистым, невысоким хевсуром.

— Познакомься! — обращается он ко мне. — Это хозяин дома Кудия Аладаури. Ты его знаешь, он изображен в стихотворении «Вечер застает в Хахматах».

Хевсур приветливо улыбается и усаживает меня рядом. Завязывается беседа.

Хозяин неожиданно и отчетливо говорит одному из присутствующих:

— Что вы все спрашиваете о нашем прошлом? Вы лучше поинтересуйтесь, как сейчас живут хевсуры...

Когда Симон Чиковани впервые попал в Хахматы, этот самый хевсур рас-



Симон Чиковани

сказал ему историю виденной мною башни, и это вошло в стихи:

Кудия, шрамами битв темнея,
О замке хахматском поведает быль,
Пустынна крепость, в ней и над нею —
Лишь раскаленная тишь да пыль.

(Перев. Н. Тихонова.)

Мой новый знакомый Кудия Аладаури, сначала мечтавший уехать и стать шофером, сделался активистом в родном селе. Симон Чиковани отлично понял его. Выражая стремление своего гордого племени приобщиться к город-

ской культуре, Аладаури с нетерпением говорил о создании школы, о проведении дороги через хевсурские скалы и леса. Все это сумел передать читателям Чиковани:

Там, у реки, поставим школу,
Листы газетные развернем,
Святыни не впрок нам, войдем в веселый
Военно-Грузинской дороги гром.

Мы уже видим на берегу ручья, пониже древней башни и села, почти достроенное здание школы. Пшаво-Хевсурская дорога уже существует. Начи-

наясь у Барисахо, она, как горный поток, впадает в просторное русло Военно-Грузинской дороги. Скоро и сюда, в хакматскую глушь, можно будет примчаться на автомобиле.

2. ФУТУРИСТИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ

Симон Чиковани впервые увидел хакматские плоские кровли, перевалив через два неприступных горных хребта. Его привлекло сюда прекрасное «чувство путешествия», стремление узнать советскую родину. Как воспоминание о виденном, обдуманном и пережитом в хевсурских теснинах, остались яркие, реалистически правдивые стихи: «Вечер застаёт в Хакматах», «Хевсурская королева», «По следам Важа Пшавела». Исколесив почти всю Грузию, побывав и в других республиках СССР, Чиковани стал поэтом-краеведом, научился колоритно изображать разнообразные местности родной страны. Но все это относится к концу двадцатых годов.

А что же было раньше? Что волновало Симона Чиковани в юношеские годы? О чем и как он писал в начале своего творческого пути?

Некоторым нашим читателям известно, что когда-то Чиковани был совсем другим. Февраль 1921 года, принесший освобождение Грузии от меньшевистского владычества, застал поэта еще за учебой. Юноша писал стихи, увлекался футуризмом, читал Маяковского, Хлебникова, Асеева, Пастернака и многих других, внимательно изучал классиков грузинской литературы, особенно корифеев XIX века — Николаза Бараташвили и Илью Чавчавадзе. Начисто отрицая упадочническую поэзию грузинских символистов, Чиковани мечтал о создании совершенно других форм искусства.

Появление в грузинской литературе футуристов ознаменовалось невероятным шумом и даже скандалами, кое в чем напоминающими первые выступления русских «кубофутуристов», сознательно стремившихся в дореволюционное время апатировать буржуазную публику. По свидетельству Лео Эсакия, первый «футуристический взрыв» произошел в

Грузии 5 мая 1922 года¹. В этот день на торжественном заседании группы грузинских символистов «Голубые роги», посвященном «дню поэзии», неожиданно выступили молодые поэты-футуристы. Несмотря на протесты устроителей вечера, Симон Чиковани прочел своеобразный, юношески противоречивый и нарочито дерзкий футуристический манифест, заостренно направленный против символистов. Этот манифест, снабженный наименованием «Феникс», был подписан, кроме Симона Чиковани, Акакием Белиашвили, Бесо Жгенти, Давидом Гачечиладзе, Николаем Шенгелая, Н. Чачава и другими. Приведенные в ярость тбилисские любители символизма не только пытались прервать оратора, но даже швыряли в него стульями.

Мы не станем сейчас детально анализировать незрелые высказывания грузинских футуристов и их «полководца» Симона Чиковани. «Армия» у него была невелика, да и не целиком она шла за ним. Правда, «вождем грузинских футуристов» его называли многие (например, поэт Валериан Гаприндашвили) и в последующие годы. Но сейчас, через семнадцать лет, прежние литературные «злобы дня» потеряли свою остроту, превратились в архивный материал. Футуристический молодецк Грузии, которого сначала никто не хотел признавать, ожесточенно дрался за свое право на существование, проповедуя новые формы искусства. Грузинским футуристам и позже казалось, что советская литература «не может развиваться в формах, унаследованных от буржуазного искусства, что материал, подаваемый новым бытом, требует новых приемов конструкции, что новая функция художественной литературы непременно диктует соответствующие новые формы» (Бесо Жгенти. — «Вопросы литературной политики», 1927). Надо отметить, что положительная часть программы грузинских футуристов, хотя и содержала в себе революционные призывы, но была разработана очень слабо и отличалась непоследовательностью. Попытки грузинских футуристов устранить различие между

¹ См. журнал «Новый Лэф», 1927, № 10.

Принимая непосредственное участие в литературных «боях», Чиковани в то же время довольно пассивно относился к настоящей революционной борьбе, плохо разбирался в реальной политической жизни. Он «разрушал» второстепенное, а не основное. Он нападал на старые литературные школы, но недостаточно думал о последовательной борьбе за овладение новым, подлинно революционным, марксистским мировоззрением.

Немало размышляя в несколько отвлеченном стиле о назначении поэта, Симон Чиковани довольно долго проявлял своеобразно-«комнатное», ограниченное отношение к миру. Очень показательно в этом отношении стихотворение «Описание весны и быта» (1927). Поэт изображает действительность, как непроветренную комнату. Он ненавидит тишину дома, знакомое расположение вещей, привычный уют с его фальшивыми традициями. Он запальчиво говорит о своем сердце:

Бывало, оно воевало, круша
Прогорклую кухню жилого адата.
Тут первый мятеж начинался когда-то,
Тут первое слово сказала душа.
(Перев. П. Антокольского.)

Пожалуй, это в самом деле был «мятеж», но мятеж... в собственной комнате, во имя ее обновления. в «жилой одиночке», по выражению поэта. Это был индивидуалистический, мелкобуржуазный протест, в сущности, очень беспомощный. Старый дом до поры, до времени как бы остается на месте: поэту не приходится в голову разрушить или черестроить его. Но он искренно и мучительно ищет правды. Он хочет свое сердце «разбить пополам», оставить лучшую половину, «верную в бое», и уйти на волю из старой комнаты.

«Я бунтарь и урбанист среди поэтов» — несколько крикливо восклицал порою молодой Чиковани. Но именно конкретных образов города и не было в его ранней поэзии. Покинув свою родную мингрельскую деревню¹ и сменив тихий провинциальный Кутаи-

си на столицу Грузии, Симон Чиковани серьезно, но несколько абстрактно воспринял культуру большого города. Большинство его стихов этого периода отличалось отвлеченностью или было почерпнуто из деревенской жизни и связано с образами природы. Следует отметить, что в дореволюционной Грузии никогда сильно не звучали мотивы индустриальной поэзии. Ведь лишь на основе великих сталинских пятилеток Грузия из отсталой, специфически аграрной страны превратилась в цветущую республику с развитой индустрией. Неудивительно, что в первые годы советской власти в Грузии «индустриальная лирика» здесь была довольно редким явлением.

Некоторое время Симон Чиковани пытался отрицать всякий лиризм в поэзии. «Хлопнем лирику по башке сапогом, изойдем голубою кровью» — писал он в начале своего творческого пути, яростно выступая против грузинского декадентства и весьма опрометчиво отказываясь от литературных достижений прошлого. К счастью, это нарочитое отрицание лирики у Чиковани было недолговременным. Но сознательный отказ от классических форм поэзии, имеющих многовековые традиции, знаменателен. Характерно, между прочим, что в сборниках стихов Чиковани нет ни одного сонета или триолета, которые так любили слагать грузинские символисты.

Проповедуя своеобразную «революцию форм», Симон Чиковани и его литературные друзья были новаторами-формалистами. Их литературное новаторство было идейно не оправдано, не сопровождалось достаточно четким, последовательным и правильным идейным перевооружением. Молодому Чиковани так же, как и многим русским футуристам, было свойственно гипертрофированное представление о самой функции художественного слова. Последнее воспринималось, как нечто самоцельное и самодовлеющее. Поэт чересчур увлекался чисто словесными экспериментами, уделял чрезмерное внимание подыскиванию необычных слов или словосочетаний. Заботы об «инструментовке»

¹ Симон Чиковани родился в 1903 г. в мингрельском Абаша.

стиха, о его музыкальности, о «звукоскопи» были нередко излишними. В ефоническом отношении многие стихи Чиковани с самого начала были богаты. Поэт умело использовал различные звуковые повторы, анафоры и эпифоры, внутренние рифмы. Но все это шло за счет идейной значимости, а порою даже за счет логической ясности произведений.

Футуристическое «словотворчество» Чиковани, повидимому, кое в чем напоминало замечательные опыты Велемира Хлебникова. В литературных кругах Грузии не напрасно также говорили о «заумности» ранних стихов Чиковани.

Против сопоставлений такого рода автор неоднократно возражал. Он утверждал, что его ранние стихи «гораздо ближе подходят к поэтическому пониманию словесного материала, который имеется в стихотворении Бесики «Танотано» («Стройный стан») и «Шави шавшни» («Черные дрозды»). В них нет ни словотворчества Хлебникова, ни заумной напевности поэзии Каменского. («О поэзии и о себе»).

Едва ли с этим можно согласиться. Поэзию замечательного грузинского поэта второй половины XVIII века Бессариона Габашвили-Бесики (и, в частности, упомянутые стихи) никак нельзя признать отправной точкой новаторских опытов Чиковани. Классические стихи Бесики отличались изумительной музыкальностью, но поэт не выходил за пределы обычного лексикона. Это была изысканная любовная лирика, выдержанная в стиле старой иранской поэзии. Конечно, заслуживают внимания ранние попытки Симона Чиковани своеобразно использовать богатейшее наследство классиков. К этой теме мы еще вернемся. Но так или иначе, характер стихов Чиковани существенно отличался от поэзии Бесики.

В творчестве молодого Чиковани порою проявлялось своеобразное жонглирование, литературное трюкачество, шаркачество. Стихи его были написаны умело и умно, в них проявилось незаурядное дарование, но все-таки веяло от них нередко каким-то холодком. Они оставались еще очень книжными и отвлечен-

ными. Недаром сам Чиковани с иронией называл себя акробатом и уподоблял свою литературную деятельность эквилибристике.

4. ГОДЫ ПЕРЕЛОМА. ПОИСКИ ГЕРОЯ

1927 год — знаменательная дата в жизни Симона Чиковани. Впоследствии, подводя итоги своим опытам формалистского порядка, поэт писал: «Так я работал до двадцать седьмого года, когда почувствовал опасность отрыва от жизни, увлечения архитектурной тяготения к поэтам XIX столетия» («О поэзии и о себе»). Но осознать эту опасность было мало. Предстояло не только критически переоценить свое прошлое, но и суметь перевооружиться в идейно-творческом отношении.

Наступил переломный период в творчестве поэта. Обнаружив ряд противоречий, Чиковани мало-помалу начинает их изживать. Он пишет стихотворение «Прощанье с молодостью» и открывает им очередной сборник стихов. Это «прощанье» у поэта было скорее не с молодостью, а с остатками прошлого в самом себе. Преодолев душевное смятение, расставшись с безотрадным одиночеством, поэт сумел выбрать на единственно правильный путь — путь сближения с народом, строящим социализм. Чиковани нашел в себе новые творческие силы. В нем снова окрепло желание жить, по-иному работать и бороться.

Из всех русских поэтов наибольшее влияние на Чиковани оказал Владимир Маяковский. Речь идет не о подражании. Огромная творческая сила, заключавшаяся в Маяковском, увлекла грузинского поэта, помогла ему преодолеть юношеские ошибки и противоречия. В автобиографическом стихотворении «Поэт и герой» Чиковани говорит, что в нем «исчезают слезы заблуждений ребячьих», что он крепнет, «искушенный исканиями», что он «очищен дыханием времени нового» и «за оружие взялся настоящее». Если первые литературные шаги Чиковани ознаменовались лишь «словесными битвами» и мелкобуржуаз-

ным бунтарством, столкновениями с литературными противниками и ненужной групповщиной, то потом, оглядываясь на гигантскую фигуру Маяковского, он начал настоящую принципиальную борьбу за создание большого, идейно насыщенного, нового социалистического искусства. Чиковани говорил:

И, томясь революции жаждой, был прав
Маяковский, гигант-полководец.
Он падал.
Но еще до войны
Рваться, вспыхивать, биться,
знал, что мыслям пора
гремять водопадом.
(Перев. А. Корчагина.)

Чиковани и раньше писал отдельные стихи на революционные темы, но они не занимали в его поэзии большого места. А тут поэт перешел, как он сам выражался, «на художественное отображение революционной борьбы в Грузии». Вслед за поэмой «Судьба республики» появился целый ряд интересных стихов, свидетельствовавших о чрезвычайно важном изменении творческого сознания автора. От былого одиночества поэта не осталось и следа. Он по-новому огляделся вокруг, увидел то, что раньше почти не замечал и недооценивал. Впервые в стихах его по-настоящему зазвучала тема родины. Ему захотелось как можно скорее и лучше все узнать, все увидеть, все ощупать, исходить всю родную землю.

Так начались многочисленные путешествия Симона Чиковани, очень полезные и содержательные, ярко отразившиеся на последующем его творчестве. В течение нескольких лет, начиная с 1927 года, он исколесил почти всю Грузию, заглядывая даже в самые глухие горные уголки, целыми месяцами оставаясь в колхозах, совхозах и на различных предприятиях. Так поэт попал и в Верхнюю Сванетию, и в тесные ущелья Хевсуретии, и в знакомые уже читателю Хахматы. Идейно выросший и творчески окрепший, поэт имел полное основание сказать: «Благодаря близкому знакомству с советской действительностью моя поэзия стала полнокровной. И я верю, что и впредь без этой органической связи с современностью она

не может существовать». («О поэзии и о себе».)

Но еще много трудностей оставалось впереди, в стихах Чиковани еще не было конкретных образов живых людей. Поэт ошибочно утверждал, что у него всегда главной темой служил человек, представитель передового революционного класса. Его ранние стихи содержали поэтические декларации и схемы. В них не было художественного раскрытия полноценных образов. И мы никак не можем согласиться с утверждением Чиковани, что «если поэт преломляет в своем творчестве передовые идеи современности, значит, у него показан человек». Конечно, речь идет не об обязательном показывании конкретных героев социалистического труда, об их портретизировании в стихах. Но все-таки и после 1927 года Чиковани чаще всего изображал различные процессы социалистического строительства, его организацию и технологию, а не живых людей. Преобладание лефовского «производственного» техницизма, весьма характерное для поэта, все еще сказывалось в его стихах 1927—1930 годов. С другой стороны, в стихах о социалистическом строительстве Чиковани иногда чересчур много уделял внимания пейзажным описаниям, хотя и сделанным мастерски, но безжизненным. Люди долго оставались лишь частью картины. Нередко Чиковани ставил человека то на переднем плане, на фоне гор или долин, то в глубине — как бы для оживления и композиционного уравнивания пейзажа. В стихотворении «Поиски героя в селе Натачао» (1932) описывается мингрельский колхоз. Но людей здесь не видно. В селенье приезжают гости-писатели, они хотят познакомиться с известным колхозником-ударником, героем социалистических полей. Однако герой занят работой то здесь, то там и целый день остается неуловим. В итоге секретарь правления колхоза говорит приехавшим:

Изобразите нам множество дел,
Тем и покажете вы героя.

Далее поэт декларирует: «Да, человек — это дело его», выявляя тем са-

мым пережитки своих прежних лефовских представлений о действительности. Ведь дело совсем не в том, что не сумел «за героем угнаться писатель», а в том, что автор не сумел создать конкретный образ героя.

Но «поиски героя» продолжались. Симон Чиковани работал упорно, преодолевая противоречия, остатки схематизма и книжной отвлеченности. Недаром Л. П. Берия отмечал в 1937 году: «Лефовцы» за последние пять лет освобождаются от характеризовавшего их в прошлом сумбура, переходят на идейные позиции нашей советской литературы и борются сейчас в первых рядах грузинской литературы». И далее он сказал: «Поэт С. Чиковани дал ряд хороших стихотворений на современные советские темы»¹.

От былой индивидуалистической замкнутости Симона Чиковани не осталось и следа. Поэт перестал быть одиноким. Он нашел товарищей и друзей, соучастников великого созидательного социалистического труда. По-настоящему, продуманно и искренно он осознал свою связь с народом, и решил отдать все силы на служение советской родине. «Моему народу — мысль моя, мой стих!» — восклицал Чиковани, обращаясь со словами презрения к «отжившему поэту», никчемно злобствовавшему в эмиграции. Идя вперед вместе с «классом боевым», он выражал стремление создать такие, «манящие просторами» песни, чтобы их распевал народ. А когда в одном из зарубежных грузинских изданий появилась клеветническая заметка о том, что Симона Чиковани якобы «травят» в советской стране, поэт дал в стихах гневную и резкую отповедь белогвардейским писакам, разоблачая их лживость.

5. ОБРАЗЫ РОДИНЫ

Любовью к советскому народу, к социалистической родине, — вот чем проникнуты теперь стихи Симона Чиковани. Будучи мастером лирического пейзажа, он правдиво изображает непо-

вторимое своеобразие сванских гор, неистовых горных потоков, темных хевсурских ущелий, благоуханных долин Кахетии и Карталинии, кукурузных полей Западной Грузии, тростниковых зарослей вокруг Палеостомского озера. Нередко Чиковани запечатлевает такую картину: тихий, теплый вечер, река, стадо, пришедшее на водопой и отражающееся в воде.

Все это — свое, родное, Чиковани любит и испытывает близость к нему. Вместе с тем он часто развивает в поэтических образах тему борьбы человека с природными стихиями. С большой отчетливостью мысли он говорит о необходимости освободиться от вековой власти природы. Человеку надо подчинить себе ее могучие силы. Скалы должны расступиться и дать дорогу людям, болотистые и гиблые места должны превратиться в цветущие сады.

Удачны стихи, посвященные Мингрелии: «Мингрельские вечера» (1933), «Раковина» (1937), большой цикл «Осенние вечера в Колхиде» (1937). В них слышится сначала простая и «вечная» поэма о том, что жизнь человека проходит слишком быстро. Поэт находит старую домашнюю пепельницу — полосатую морскую раковину, — и перед ним оживают образы милого детства. С оттенком лирической грусти он вспоминает родной домик на сваях, где его колыбель «качнулась в первый раз», детские забавы, давно умершую добрую бабушку, знакомые места заброшенной при царизме Мингрелии, «нездоровое Колхиды дуновенье», несносное кваканье лягушек, комариное пение, лихорадочную дрожь. Но все эти блеклые картины прошлого уверенно сменяются красочными образами новой Грузии. Поэт ярко, умно и правдиво описывает торжество коллективизации, народный праздник урожая, восхваляет людей, осушивших вековые топи и создавших на их месте роскошные сады. А над всей картиной счастливой жизни виднеется исполинский облик заботливого Сталина:

Я вижу всюду здесь обилье и достаток,
Былая родина немолчного дождя;

¹ Л. П. Берия, там же, стр. 59—60.

Довольство родичей, и в их глазах
крылатых
Сиянье, схожее с улыбкою вождя.
 (Перев. Б. Брижа.)

Мы различаем привлекательные фигуры мингрельских колхозников: девушку-жницу, ее жениха, жизнерадостного председателя, мчащегося на велосипеде. Правда, люди даны, как и всегда у Чиковани, почти без всяких деталей, без подчеркивания характерных черт. К сожалению, это — лишь лирические наброски, зарисовки с натуры, лишенные портретности и чересчур обобщенные.

В стихах о Верхней Сванетии Чиковани сначала показал нам архаические пережитки, аналогичные старым условиям хевсурской жизни. Таковы были «Сванская колыбельная» и «Ушгульский комсомол», написанные в 1929 году. Тот, кто побывал до начала тридцатых годов в «сонном» Ушгуле, может подтвердить, что это селение, самое высокогорное и отсталое в Сванетии, было изображено поэтом очень верно:

Дико в укрытом горами Ушгуле.
 Мести обычай жив в нем доньше.
 Грязь вековую в круг свой замкнули
 Сонные башни мгlistой твердыни.
 (Перев. Б. Пастернака.)

Да, совсем еще недавно Ушгул был именно таким. Теперь облик Ушгула существенно изменился. Мрачному сванскому житью и вековой оторванности от окружающего мира пришел конец.

Оценивая происшедшие перемены, Чиковани создал в 1938 году новое стихотворение о Верхней Сванетии — «Сванской комсомолке». Он обращается к девушке, виденной им раньше в Сванетии:

Кто сочтет былого муки,
 Сразу все припомяная,
 Словно зимней ночи скуку?
 Ведь теперь и ночь иная.
 (Перев. Н. Тихонова¹.)

Ценно, что в повествование о привлекательной девушке, о счастливой жизни, о новой Сванетии вплетается дальше тема советского патриотизма, всенародной защиты родины от всяких

вражеских посягательств. Вместе с советскими бойцами-дальневосточниками врагов побеждает и Мератули — герой сванских народных сказаний, символизирующий народную доблесть:

Слышишь ты, как под Хасаном
 Вьются вражеские пули? —
 Над разбитым вражьем станом
 Меч сверкает Мератули.

Сванская комсомолка «поет в горах родимых о бойцах непобедимых», зная, что «вождь дал силу душам нашим».

6. ЧИКОВАНИ И КЛАССИКИ. ОБРАЗ ВОЖДЯ

Глубокий советский патриотизм Чиковани проявляется, как любовь не только к Грузии, но и к России, ко всему СССР. Для поэта характерно ощущение братских интернациональных связей. Тема незыблемой дружбы народов великого Советского Союза, вдохновляемых гением Сталина, неоднократно повторяется на разные лады в стихах Чиковани:

Ты родина всех человеческих стран,
 Ты родина Грузии. Здравствуй, Россия! —

восторженно восклицает поэт, проносясь в поезде по великой русской равнине и вспоминая крылатого Мерани — черного коня Николоза Бараташвили, выразившего свое неустанное стремление к свободе.

Необходимо отметить, что Симон Чиковани всегда проявлял очень серьезное отношение к классическому культурному наследству. Ему никогда не было свойственно отрицание огромной роли классиков, в отличие от некоторых русских футуристов, прошедших через эту «детскую болезнь левизны». Напротив, он даже чересчур не критически относился к Бесики, Николозу Бараташвили и Илье Чавчавадзе, стремясь использовать их литературное наследие для своих формалистских опытов. Стихотворение «Казбек» (1925), несомненно, навеяно блестящим художественным очерком Ильи Чавчавадзе «Записки путника» и отчасти его же поэмой «Отшельник» («Гандегили»). Порою Чиковани нарочно брал готовые поэтические фор-

¹ Цитируем по рукописи.

мулы Николоза Бараташвили. Он сознательно и несколько нарочито повторял отдельные образы и самые названия стихов этого замечательного грузинского романтика первой половины XIX столетия. Уже упомянутый нами бараташвилевский образ крылатого Мериани, оставивший глубокий след в грузинской поэзии, был широко использован Чиковани. Если Бараташвили создал в 1839 году патриотическую поэму «Судьба Грузии», то у Чиковани мы находим поэму о новой Грузии, носящую почти такое же заглавие. У Бараташвили есть полное глубочайшего пессимизма стихотворение «Завечерело на Мтацминде», а у Чиковани уже знакомое нам «Завечерело в Хакматах»¹.

Чиковани никогда не пытался эпигонски повторять старые литературные поэмы и образы. Ему претило стилизаторство «под классиков». Он пытался самостоятельно продолжать большие традиции грузинской поэзии, порой уделяя таким опытам слишком много внимания. Для цикла стихов, написанных уже в 1935 году, Чиковани снова взял целиком название прославленного стихотворения Бараташвили «Размышления на берегу Куры». Едва ли такое упорное «продолжение традиций», хотя бы и основанное на противопоставлениях, целесообразно сейчас. Ведь в этих стихах Чиковани мы уже не находим развертывания старых образов Бараташвили. Нет уже переклички с великим романтиком-пессимистом. Стихи Чиковани совсем не похожи на элегические мечтания Бараташвили, одиноко проходившего мимо людей вдоль Куры и поднимавшегося на Мтацминду к тихому, старому кладбищу. Это — полнокровное, сильное, мужественное произведение крупного советского поэта, любящего свою родину и все многообразие жизни. Во «Вступлении Куры» Чиковани показывает сначала верховья этой реки, протекающие через места, овеянные историческими воспоминаниями. Из Месхетии — родины Шота Руставели — Ку-

ра несется к карталинскому городу Гори — родине товарища Сталина.

Волны пенились, с берегом в споре
И — казалось мне — песню вели:
Как поднялся над крепостью Гори
Гений мира, надежда земли.

Как позднее пришел он в Тбилиси
Провозвестником битв и побед.
И, пробивши гранитные выси,
Устремилась Кура ему вслед.

(Перев. В. Державина.)

В следующем стихотворении «Берега» поэт удачно описывает прекрасную столицу Грузии, изображая то весну в Тбилиси, то летний дождь над ним. Но и в этом стихотворении образ мудрого вождя народов еще не показан во всем его величии. Это — как бы одно из предварительных упоминаний о любимом Сталине, преобразователе мира.

Поэтическое изображение любимого вождя народов — исключительно ответственная тема, за нее брались уже многие поэты, но ни один из них не создал такой художественный образ, который удовлетворил бы наш народ.

Симон Чиковани сделал несколько своеобразных попыток создать величественный образ народного вождя. В 1935 году он написал стихотворение «Сброс реки». Со свойственным мастерством пейзажиста он нарисовал сначала ночную картину западногрузинской «колхидской» природы. На фоне болотистых низин выступают силуэты двух людей. Один из них — старый крестьянин. Он не верит в «чудо» — в возможность осушить топкие берега Риона и перевести эту коварную реку в другое русло. Но его молодой собеседник заявляет, что грандиозная, покаяющая на сказку мысль — изменить лицо земли на благо людям — принадлежит самому Сталину. Тогда сомнения старика исчезают, и у него появляется уверенность в успехе борьбы людей с природой:

Сталин сказал, — и, огромные плечи
Выворотив, новый выберет путь
Быстрый Рион. По долинам навстречу

¹ Обычно это стихотворение называется по-русски «Вечер застает в Хакматах».

Встанут цветы. Жизнь в уснувшую грудь
Снова ворвется.

На радость народа

Своды раскинутся лавровых рош.

Духу могучему служит природа.

Ты сокрушил мне неверие, вождь!

(Перев. С. Спасского.)

В стихотворении «Сброс реки» поэт показал грандиозное социалистическое строительство, вдохновленное великим вождем народа. Поэт отразил неустанную заботу Сталина о людях и безграничную любовь и доверие к нему трудящихся. В стихотворении дан образ товарища Сталина, живущий в делах и в сознании советского народа.

Еще интереснее стихотворение «Горийская крепость». Применяя свои излюбленные творческие приемы, Чиковани сперва мастерски создает грузинский пейзаж. Он описывает чистоту воздуха, желтизну листья, очарование осени и Куру, текущую от старинной крепости Тмогви в просторную долину Карталинии. Как и в цикле «Размышления на берегу Куры», он делает исторический разбег от средневековья — к современности. Созерцание карталинского городка Гори с древней крепостью на утесе приводит поэта к мысли о вожде народов, о том, как здесь в декабре 1879 года появился на свет «маленький орленок», как прошло его детство, как он учился и играл, как он рос и как решил посвятить себя борьбе за счастье людей.

Те, кто хоть раз побывали в Гори и видели крохотный, скромный домик, где родился товарищ Сталин, помнят свое волнение и особое, почти непередаваемое чувство, охватывавшее их. Историческое значение горийского домика, величие и неповторимость жизненного пути вождя народов пытались отразить в своем стихотворении Симон Чиковани. Поэту ясна огромная ответственность взятой темы, он признается, что ему «трудно песню выковать свою». И все-таки мы находим в его стихотворении прекрасные строки, выражающие и чувства автора, и наши собственные переживания.

Со всех концов страны сюда приходят,
И у дверей шумит поток людской...

И с этих окон долго глаз не сводят,
Как бы касаясь вечности рукой.

Как будто в очаге не угасает
То пламя, что в душе вождя горит,
Что целый мир сегодня потрясает
И всем народам Хартию дарит.

(Перев. П. Антокольского.)

Чиковани остается верным себе. Свое замечательное стихотворение он снова завершает пейзажем — описанием богатого плодородия родной земли, изобилия виноградников и садов, окружающих древний сталинский город.

Необходимо добавить, что Чиковани является автором очень популярной в Грузии «Песни о Сталине», а также интересных и очень содержательных стихотворений «Родина голосует за Сталина» и «Мудрый Сталинский закон». В оптимистических тонах поэт передает преданность советских народов своему мудрому вождю, идущему впереди века, возглавляющему все передовое и прогрессивное человечество. Тема ленинско-сталинской дружбы народов снова звучит мощно и торжественно.

7. ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО

Уже в начале творческого пути Чиковани мало интересовало прошлое само по себе, вне сопоставлений с современностью. Исторические деятели и события имели для него значение главным образом, как материал для выяснения настоящего. С годами характер поэзии Симона Чиковани изменился и в этом отношении. Теперь он ясно ощущает преемственную связь времен, живо интересуется сведениями об историческом развитии Грузии. Пытливо вглядываясь в глубь веков, изучая прошлое своего народа, исполненное национального героизма, величия и трагизма, поэт создает замечательные образы. В стихотворении «Теймураз обзревает осень в Кахетии» перед читателем вырисовывается образ кахетинского царя и поэта Теймураза I, неудачно пытавшегося в первой половине XVII века бороться против иранского захватничества. Вся Кахетия превратилась тогда в груды развалин, мать

царя Кетевана была пленена и казнена шахом Ирана Аббасом I, сам Теймураз лишился престола и родины. Надо хотя бы раз побывать в Кахетии, посмотреть на изобилие Алазанской долины и взглядеться в бесчисленные средневековые руины; надо хоть немного знать историю Грузии и иметь представление о таких безнадежно мрачных поэтических произведениях Теймураза I, как «Жалоба на мир», чтобы оценить по достоинству стихотворение Симона Чиковани. Оно очень значительно, глубоко, сильно и ярко. Советский поэт дает своеобразный образ старого Теймураза. Вот смотрит из глубины столетий этот измученный и ожесточившийся человек на счастливую и спокойную Кахетию наших дней. Он ничего не узнает и говорит, обращаясь в пространство:

Везде обилье порождает песню.
 Плоды обильны, радостны труды,
 И невод солнца с высоты небесной,
 Блестая, упадает на сады.

И мир не тот, каким он был когда-то,
 И век иной повсюду утверждён.
 Здесь век семнадцатый на век двадцатый
 Глядит, им, старший, поражен.

(Перев. В. Державина.)

Образ величайшего поэтического гения Грузии Шота Руставели дан Симона Чиковани не менее своеобразно. В стихотворениях «Озеро Цунда», «Мастеру Вардзии» и «Мастерам-переписчикам Вепхис-Ткаосани» опять проявились характерные особенности дарования Чиковани. Он не создал стихотворный портрет гениального создателя «Витязя в тигровой шкуре», не стал хотя бы уничиженно сопоставлять себя с ним (как это делали многие грузинские поэты, начиная от Давида Гурамишвили), не обратился к нему с торжественной одой и не перечислил его непревзойденные заслуги перед поэзией Грузии. Чиковани и тут использовал свой излюбленный и испытанный прием поэта-краеведа, серьезно и глубоко изучающего родину.

Мне довелось вместе с Симоном Чиковани и Миколой Бажаном совершить несколько лет назад необычайно увле-

кательное путешествие по заветным руставелевским местам. Я присутствовал при самом зарождении грузинского стихотворения «Озеро Цунда» и украинского стихотворения «Путь на Тмогви», очень близких между собою.

Солнце склонялось к безлесым хребтам Месхетских гор, когда, миновав тихое селение Рустави и высокий Хертвисский замок, мы двигались дальше к самым верховьям Куры. Кругом царило удивительное безлюдье. Лишь изредка на дороге, хорошо знакомой Шота Руставели, попадались загорелые крестьяне курды; они вели лошадей, нагруженных плетеными корзинами, полными огромных яблок. Внезапно из-за бугра показалось небольшое озеро Цунда. Спокойную гладь его окружали густые тростники, утки бесшумно скользили в зарослях, по воде расходились большие круги.

Вижу я — в тростниках, отразив облака,
 Блещет горное озеро в бликах лазури.
 Был я ранен высокой стрелой тростника,
 Воркованьем волны, словно звоном чонгури,
 Словно взглядом Нестан из обрывка стиха.
 (Перев. В. Державина.)

Так сказал потом о виденном Симон Чиковани.

Наши восхищенные голоса вспугнули птиц, они взлетели над водой и сели у другого берега. И грузинский поэт продолжил свое поэтическое повествование:

Шумно с берега выводок уток взвился,
 Он садится у зарослей,
 и перед нами — там,
 Застывает старинным грузинским
 орнаментом
 В камышах, вспоминающих о незапамятном.

Мы — грузин, украинец и русский — беседовали о великом Шота. О нем и о его героях здесь говорило все. Глядя на озерные тростники, Чиковани вспомнил обращенную к царице Тамар строку из вступления к поэме «Витязь в тигровой шкуре»: «Мой тростник-перо поили черных глаз ее озера»; припомнил для того, чтобы по-своему воссоздать образ Руставели и написать потом:

Ты не здесь ли тростник очинил, как перо,
 И на нем, словно капли, повисли планеты?

И не этой ли песнью и света игрой
Предугадан был образ тигрового цвета?

А у другого берега Куры, среди внезапно собравшихся туч, на высоком скалистом утесе, мы увидели руины средневековой крепости Тмогви. Кто-то показался вдалеке и исчез.

Сиянье Тмогви в знойной крутоверти,
Бесплодных гор горячий ржавый склон.
И мы тогда узнали: это он,
Единственный, кто здесь достиг бессмертья.
И мы тогда узнали: мимо нас,
Наполнив светом скалы и ущелья,
Прошел сквозь смерть и время, не

склонясь.

Безвестный месх, чье имя Руставели.

(Перев. П. Антокольского.)

Так позднее закончил Микола Бажан свое замечательное стихотворение «Путь на Тмогви», породнившее его с Симоном Чиковани.

Мы пошли дальше через ущелье Куры. Перед нами открылась Вардзия — многоярусный пещерный город-монастырь руставелевских времен, искусно высеченный в отвесной скале. И, как воспоминание о виденном чуде, Чиковани написал в юбилейный руставелевский год интересное стихотворение «Мастеру Вардзии»:

И безмерным чудом нам сияет в пасти
Времени былого Вардзия. Близка мне
Мысль твоя и греза. И порыв твой,

мастер,

Вся окрестность видит высеченным в камне.

(Перев. К. Липскерова.)

Грузинский поэт вспомнил и родник, из которого пили мы воду в глубоком Вардзийском подземельи; вспомнил, чтобы снова окольными, но верными путями воссоздать образ Руставели:

Строчкой Руставели мнилс я мне укромный
Под землей бегущий Вардзии источник.

В таких местах, как Вардзия, буквально осязаешь прошлое. Чиковани сумел изобразить величие творческой мысли неведомого мастера, гениальность архитектурного замысла — целую поэму, высеченную когда-то в скалах. Ему удалось передать острое ощущение истории, аромат далекого прошлого Грузии. Он вы-

разил свою законную национальную гордость и стремление использовать все лучшие достижения культуры былых времен.

Заглянем ненадолго в Государственный музей Грузии в Тбилиси. Там мы увидим редчайшие старинные рукописи «Витязя в тигровой шкуре». Они украшены виртуозно исполненными иллюстрациями, различными миниатюрами-заставками, концовками или орнаментами, обрамляющими текст. В них мы находим изображения прославленных руставелевских героев, а также диковинных зверей и птиц. Самые тексты поэмы выведены руками опытных переписчиков с особой тщательностью и любовью. О них-то, вновь возвращаясь к теме о Руставели, писал Симон Чиковани.

Что существеннее всего в его стихотворении «Мастера-переписчики Вепхисткаосани»? Что автор отмечает, как важнейшее? — Общепризнанное, неугасимое значение самой поэмы Руставели и вдохновенного совместного труда ее переписчиков и художников:

Как Тариэла Автандил, бывало,
Художника вел переписчик грамотный.
И дружба их народу отдавала
Все, чем богата в были незапамятной.

И бодрствуя в камерке полунощной,
Трудясь над дивным вымыслом поэта,—
Для Грузии своей, грядущей, мощной,
Сокровище они хранили это.
И свечи жгли... А между тем, под спудом
Горело пламя слова — ярче свеч.
Чтобы своим простым и вольным чудом
Врагов народа беспощадно жечь!

(Перев. П. Антокольского.)

Следует отметить, что величественные памятники прошлого не раз элегически воспевались грузинскими поэтами — классиками XIX века. Григорий Орбелиани (1804—1883), посетив укромный Бетанийский монастырь и залюбовавшись замечательным фресковым изображением царицы Тамар, написал в 1877 году скорбные стихи об утраченном могуществе грузинской монархии. Вахтанг Орбелиани (1812—1890) посвятил еще более мрачное стихотворение Гелатскому монастырю, где покоится

прах замечательного царя-полководца Давида Возобновителя, объединившего Грузию в начале XII века. В этих поэтических произведениях, написанных с большим мастерством, ничего не говорилось о будущем. Они были бесперспективны и обращены назад, в прошлое, как так называемому «золотому веку». Оба поэта-аристократа, восхваляя феодальную Грузию, забывали о народе.

Советский поэт, любясь тем прекрасным, что осталось от его предков, выражает совсем иные мысли и настроения. Стихи Симона Чиковани о величественных памятниках исторического прошлого проникнуты ощущением радости нашей эпохи. Интересно, как поэт разрешит очень значительную историческую тему своего нового произведения — начатой поэмы о «трехстах арагвинцах». В ней он должен показать героический патриотизм трехсот карталинских крестьян. В 1895 году они поклялись либо защитить родину от нашествия иранского шаха Ага-Магомет-хана, либо погибнуть. Но национального единения в Грузии тогда не существовало, многие феодалы предательски не вышли в Крцанисский бой, и все триста арагвинцев геройски пали на берегу Куры, спасая родину от окончательного разгрома. В наши сталинские дни, когда морально-политическое единство народа достигло невиданной силы, такая историческая тема может приобрести особое звучание.

8. НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

Сейчас Симон Чиковани находится в пору полного творческого расцвета. Отказавшись от формалистических ошибок и юношеских претензий создавать в искусстве нечто абсолютно новое, поэт стал писать гораздо проще, яснее и лучше. Он встал на широкий и правильный путь, путь социалистического реализма. Реалистическая правдивость и выразительность — вот что теперь характеризует поэзию Чиковани. Недаром он сам отмечал: «В своих последних стихотворениях я все более перехожу к реализму поэтического творчества». В его лице мы имеем зрелого мастера, одного из лучших поэтов орденоносной Грузии. Он активно содействует укреплению ленинско-сталинской дружбы советских народов, переводит и редактирует «Слово о полку Игореве», стихи Тараса Шевченко, современников-украинцев, Маяковского и других русских поэтов. Неудивительно, что имя Симона Чиковани пользуется заслуженной популярностью в братских республиках великого Советского Союза. За выдающиеся заслуги в области художественной литературы 31 января 1939 года указом Президиума Верховного Совета СССР Чиковани награжден орденом Трудового Красного Знамени. Мы ждем от поэта упорной и большой работы и новых творческих успехов.

О творчестве Н. А. Тренева

Б. ВАЛЬБЕ

★

В тяжелое время столыпинской реакции, когда в художественной литературе деревня рисовалась миром головорезов, бандитов и пьяниц, А. М. Горький обратился с бодрым словом к крестьянству, к той его части, которая впоследствии вместе с пролетариатом совершила величайшую революцию. В повести «Лето» прозвучал этот радостный призыв Горького: «С воскресеньем, русский народ!». Под влиянием Горького выросла целая плеяда бытописателей крестьянства, которые, не приукрашивая действительности, умели выявлять стремления трудового крестьянства к новой, более осмысленной жизни. Одним из этих писателей был К. А. Тренев, сын крепостного, прошедший свое детство и юность в обстановке крестьянской бедноты.

Творческий путь Константина Андреевича Тренева — одного из популярных советских писателей — таким образом, неразрывно связан со значительными вехами русской художественной литературы первой четверти XX века и советской драматургии.

К. А. Тренев известен был до Октябрьской революции преимущественно, как мастер рассказа и повести, в социалистическую эпоху имя Тренева ассоциируется больше с «Любовью Яровой» — одной из самых любимых пьес советского театра.

Но Тренев-беллетрист и Тренев-драматург отмечены творческим единством. Это родство легко установить,

изучая отличительные свойства художественной прозы и драматургии Тренева, ее основной жанр, стилевые особенности и социальную значимость.

О прозе Тренева впервые заговорили в критике в начале мировой войны, когда вышла первая книга рассказов «Владыка».

В сборник вошли рассказы: «Владыка», «В станице», «Шесть недель», «Любовь Бориса Николаевича», «Затерянная криница», «На ярмарке» и «Самсон Глечик».

В этом творческом дебюте Тренева видны были уже определенность, устойчивость и прочность стиля и содержания. Тренев показал себя знатоком южной деревни, казачьей станицы, зорким наблюдателем ее быта. Сочетанием смешного и серьезного, восприимчивостью к забавному и скорбному характеризовались лучшие страницы его первой книги. Сжатостью и емкостью отличались композиции этих первых треневских рассказов.

Советское литературоведение небогато еще самостоятельными работами о литературно-общественной эпохе, породившей К. А. Тренева и родственную ему группу демократических писателей. К этой группе, занимающей немаловажную страницу в истории русской литературы первой четверти XX века, обычно относят таких писателей, как А. П. Чапыгин, М. М. Пришвин, Ив. Вольнов, И. Шмелев, С. Подъячев, Ф. Крюков и др. Эта группа писателей

сказала «новое слово» о крестьянстве, о городских окраинах, об уездном и провинциальном.

Говоря об упомянутой группе писателей, нельзя не вспомнить известные слова А. С. Пушкина, писавшего: «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуца однообразными произведениями искусства, ограничен-

Тренева «Мокрая балка», «Батраки», «По тихой воде» и др. Но наряду с этим циклом рассказов Тренев, продолжая лучшие традиции суровых и трезвых наших реалистов-демократов, рисовал «обезьяньи лапы» русской действительности, разоблачая царское самодержавие и православную церковь. Суровым реализмом и острой сатирой проникнуты



К. А. Тренев

ными кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и странному просторечию, сначала презренному». Так оно случилось и в 1900-х годах. На смену символизму с его условным и избранным языком, с его презрением к реализму, к быту, к «просторечию» пришла демократическая группа писателей.

Интересом к «свежим вымыслам народным» и «странному просторечию» проникнуты лучшие страницы рассказов

лучшие страницы первой его книги «Владыка».

Сила этих рассказов прежде всего в их общественно-политическом протесте. И в этом направлении Тренев преемствен писателям-шестидесятникам и в первую очередь Н. Г. Помяловскому, как автору «Очерков бурсы». Так и вспоминаешь слова Д. И. Писарева о «погибших и погибающих» героях бурсы Помяловского, когда читаешь во «Владыке» о замученных деспотизмом церковного начальства семинаристах.

Сатирическая основа сильна и в рассказе «Самсон Глечик», в котором также показан печальной памяти «педагогический мир» царской России со всем его подхалимством и предательством.

Правда, Самсон Глечик — не бурсацкий педагог, а преподаватель городского училища. Его орудие — провокация и доносы. Для него «крамола» — все, что связано с живой мыслью и свободным словом. Глечики немало терроризовали страну, помогая царским палачам в их расправе над демократической интеллигенцией. Трнев показал этот страшный паучий быт, где верховодили Глечики. Этот паучий мир периода Столыпин-вешателя, когда наверху фиглярничали Марковы и Пуришкевичи, а в чайных «Союза русского народа» орудовали о. Моисей и Глечики, — Трнев запечатлел, как отвратительный *fin de siècle* царской империи.

Трнев ведет своего читателя по весям и градам бывшего «Юга России». Сюжет «Владыки» и «Самсона Глечика» развивается на фоне губернского и уездного городов, в рассказах же «В станице» и «На ярмарке» действие происходит в станице и заштатном городке. В этих двух рассказах больше всего слышится «гоголевская мелодия». В первом рассказе по-своему использован сюжет «Повести о том, как поспорил Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Правда, у Трнева война между соседями происходит не из-за «гусака», а из-за того, что у Евсея Марковича «тюморезовский кот сизого вертуна... уволк... сею минутой... через забор». Но между самим войсковым старшиной Тюморезовым и содержателем «бакалей» Евсеем Марковичем происходит такая же неукротимая война, как и у Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Трневу удалось показать все духовное оскудение и людскую пошлость, которые характеризовали дореволюционную провинцию с ее заскорузлым мешанством. В этом рассказе звучат уже колоритные «вымыслы» и «просторечия», мастерски запечатленные писателем. Взять хотя бы рассказ Силыча об Осман-Паше:

«Какие там нынче рубаки! Нетути!

Вот Осман-Паша был — действительно что!.. А, говорят, из донских казаков вышел. Заплавской станицы. Ну, только обидели его наши командеры: полагался ему за храбрость золотой крест, а они ему, заместо золотого, серебряный подсунь. «Когда ж, говорит, такое дело, предаюсь турке». Горячий был!.. «Прощай, говорит, Заплавская станица. Выстрою себе в Туретчине свою Заплавскую». Ну, на энти слова тогда вниманию не обратили. Опосля же, когда кинулись по книгам, а оно: по-турецкому — Плевна, а по-русскому — Заплавская...».

Рассказ изобилует жанровыми картинками казачье-окуровской Руси. Здесь преобладает словарь донских казаков, воспроизводимый в диалоге и в своеобразном песенном фольклоре.

Рассказ «На ярмарке» датирован 1912 годом. В этом же году писатель, весьма близкий К. А. Трневу и упомянутой группе бытописателей крестьянства, Ф. Крюков напечатал рассказ «Без огня». По этому поводу В. И. Ленин писал: «Народнический социализм — гнилая смердящая мертвечина. Крестьянская демократия в России, если верно изображает ее у Крюкова сладенький попик, живая сила. Да и не может она не быть живой силой, пока хозяйничают Пуришкевичи, пока голодают по тридцать миллионов»¹. Эти ленинские слова могут служить эпиграфом для рассказа Трнева. Пред нами яркая картина хозяйничания Пуришкевичей в Великой Слободе, месте действия рассказа. «Великую Слободу, — говорит повествователь, — при царе Николае населили выигранными в карты тремя тысячами курских «перевертней». Трнев показал безысходное положение этих «перевертней». Описывая столбовую дорогу, ведущую из Великой Слободы в окрестности, повествователь, между прочим, рассказывает: «Трудно проехать экипажем через Слободу; навстречу бегут почти из каждого двора голые, закоптелые дети и оборванные бородатые мужики. Если из экипажа ничего не бросают, дети и мужики ло-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XVI, стр. 312.

жатысь попереk дороги, под ноги лошадей. Не ложатся только под начальство да фон-Гebундена: земский за это порет, а фон-Гebунден затоптал лошадьми бабу и троих детей. С наступлением весны обыкновенно четверть Слободы отправляется до лета в отхожий промысел: закапчивают возы, обуглив концы задних осей и полудрабков, и едут в соседние уезды и губернии просить на погорелое».

В сочной жанровой картинке на ярмарке показано, как жульнически обегоривали крестьян, привезших на продажу зерно, шустрые приказчики, уверенные в своей безнаказанности.

«— Значит, машенствуем? Да? Так вот что, голубенок, — красный приказчик конфиденциально взял Охрима за грудь, — вот что: ежели ты, голубеночек, да об нашей фирмы весах, сушки сын, еще такое слово выразишь... Вот ты видишь, кто над трактирами пошел? Или, может, что, по-твоemu, то не старший городской господин Карп Мартынович Путря?.. Га?..

Охрим посмотрел в указанном ему направлении, тряхнул опущенными книзу ушами капелюха и протянул:

— Та-ак...

Задумчиво похлопывая себя кнутовищем по сапогам, он побрел с квитанцией в контору».

Таково было это проклятой памяти «хозяйничание» фон-Гebунденов в союзе с его степенством Колупаевым и Разуваевым под эгидой царя, этого все-российского «старшего городского господина Карпа Мартыновича Путри». Этот «тройственный союз» всячески поддерживался церковью. На описываемой Трениевым ярмарке «церковный мир» представлен отцом Филаретом, продающим здесь афонские иконы и зыбким тенорком своим вызывающим у зачарованных слушательниц «благоговейно скорбные вздохи».

Этому паразитическому миру эксплоататоров и угнетателей противопоставляет Трениев ряд крестьянских типов, характерных для закабаленной деревни в период, наступивший после 1905 года. Некоторые из них ведут, так сказать, свою родословную от ре-

шетниковских Пилы и Сысойки. Так-овы, например, два брата, привезшие на ярмарку десять кривых оглобель. «Оба они тощи, гнуты, как привезенные ими оглобли. Один почернел от нужды, другой побелел от болезни живота. Повесив голову, над ними стоит старая рыжая кобыла. От дождя сама она и веревочная упряжь на ней стали черные. В течение дня покупателей на кривые оглобли не было. К вечеру удалось продать две пары. Почерневший брат сходил на ярмарку и купил два крестика на ленточках и белого хлеба себе и на гостинец. Побелевший брат с утра не ел и все время лежал под возом; теперь присел к хлебу». Эти два брата как бы символизируют те голодающие миллионы крестьян, о которых писал В. И. Ленин. В ином плане показаны дед Терешко и Охрим. «Оставив внуку на возу, он благодушно бродит по ярмарке, разыскивая старых и находя новых знакомых. И каждая новая встреча родит в его умиленной душе новую радость». Дед Терешко ищет собеседников, чтобы со всей полнотой рассказать об одном важном в его жизни событии, а именно, как земский начальник посадил его под арест на две недели за незаконное ношение медной бляхи сотского. Это несложное событие он воспроизводит в колоритном диалоге, полном сочного украинского юмора. Дед Терешко с его мягкой грустью и романтичностью — весьма характерная для трениевской живописи фигура. Таких романтиков из народа Трениев воспроизводит во многих своих рассказах и пьесах.

Сюжетная ось «На ярмарке» — это событие, разыгрывающееся вокруг ярмарочной лотереи, устраиваемой предводительшей фон-Гebунден в пользу местного, ее имени, детского приюта. Вокруг этой лотереи стоят друг против друга два мира. С одной стороны — счетная комиссия из протонера, жены земского начальника, инспектора народных училищ, станового пристава и сына исправника. А с другой — «внизу теснят и давят друг друга черные и серые свитки, темные, изможденные недородом, забрызганные грязью лица.

Легкий, чуть заметный пар поднимается над промокшей на дворе и нагретой здесь массой. Запах мужичьего пота, дегтя и свиток разбавляется тонкими духами». «Кажется, что это не свитки и чуприны, а черная дымящаяся пашня». «Для того вспахали ее и полили дождем, чтоб выросли и пышно красовались на ней эти четыре цветка, один другого нарядней и благовонней... Молчит серая нива, только там и сям лихорадочно блестящие глаза говорят, что внутри толпы уже горит страсть игрока».

С ласковым и проникновенным юмором рисует Тренев эту «страсть игрока» крестьянской толпы, ждущей у лотереи своего «счастья». Вот дед Терешко, подводя к «лотерее» застыдившуюся дивчину, рассказывает о ней:

«— Ну, ну, Машко, дознай счастья... Из нашей же таки слободы дивчинка! — обязательно поясняет он незнакомой толпе. — Омельку ж, батрака, знаете? Да как же можно! Над кручею ж хата! Не знаете? Ну, так это ж его дочка! Старшенькая! Заработала за осень на бурьяках, так батяню рубля дал: поярмарковать! Ну она прямо сюда. А тут же я! Мне, говорит, дедусю, как бы швейную машинку вытягнуть. А что ж, тягни. Машечко, и швейную машинку! Да ты ж не соромься, лебедко, чего ж там! Люди хорошие.

Дед Терешко поднимает глаза на предводительскую дочь и молитвенно, крестом слагает руки на груди.

— Ей, видите, барышня, собственно, ручную машинку для шитья желательно, ежели ваша ласка... Внушительно...».

Но «счастье» не дается беднякам — им все попадаются пустые билеты. Попытка деда Терешки по-сердечному побеседовать с такими господами, как «сами господин предводитель и барышня их, как ангеляточка, и также вы, ваше благородие, и господин земский, и прочие, как архангелы...» — эта попытка кончается тем, что полицейский спускает деда с лестницы: «Дед Терешко, не договорив, полетел через все пять ступенек лицом в грязь. Облезлая смушковая шапка его летит еще дальше, в толпу».

В упомянутой статье о Крюкове В. И. Ленин подчеркивает, что «жгучие, неотомщенные обиды» характеризовали основное настроение крестьянства.

В рассказе Тренева это настроение в своем стихийном проявлении воплощено в образе Охрима, являющегося прямой противоположностью деду Терешке. Охрим не пассивно переносит «жгучие обиды», подвергаясь избиению помощником исправника Сударкиным. «Охрим протянул ладонь к летевшему навстречу Сударкину и зажал в ней его багровую, щетинистую голову. Сударкин повернулся в его руках, а когда Охрим разжал ладонь, он кубарем полетел к ногам толпы. Музыка на хорах оборвалась. Сразу наступила полная тишина. Охрим стоял и рукавом растирал кровь на лице. Сударкин, царапая пол пальцами, быстро вскочил на ноги, испачканный в грязи.

— Га-га! — ураганом сорвался и закружился вокруг страшный вопль.

— Господа, бунт! — закричал Миша, вбегая за кулисы к счетной комиссии. — Уже Сударкина почти убили... Прячьте скорее деньги!».

Рассказ кончается сценой расправы над исправниковым сыном Мишей, позидевавшимся над молодой, красивой торговкой яблоками. «Бабы свалили его и стали клевать, как иногда среди двора обозленные наседки клюют зазевавшегося котенка». Таким образом, в противовес нашумевшим тогда дворянским писателям, как, например, Иван Бунин — автор «Деревни», или Иван Родионов — автор «Нашего преступления», черными красками рисовавшим послереволюционное (1910-х годов) крестьянство, К. А. Тренев показал, что жив пороховнице крестьянских масс, что деревне, говоря словами Ленина, еще «суждено крупное историческое действие, которое при сколько-нибудь благоприятной обстановке сопутствующих явлений имеет все шансы быть победоносным»¹.

Такова была социальная значимость этого рассказа, замечательного своей исторической перспективой, прекрасными жанровыми картинками, сочным

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XVI, стр. 309.

речевым материалом, сжатого и емкого, дающего на протяжении немногих страничек большое полотно народной жизни.

О жгучих обидах крестьянских масс и их ярости против помещиков и их «царевых слуг» повествует рассказ «Затерянная криница», датированный 1909 годом. Речь идет здесь о голодающем хуторе, терпевшем в течение двух лет страшную засуху.

Обиды и издевательства сыпались на измученных голодом и засухой хуторян, когда их голодная скотина забредет на панскую пшеницу. «Как мрачный дух из преисподней, вылетал из ближайшего оврага обездчик-черкес и карьером угонял в имение захваченных в пшенице коров. И на скаку успевал потянуть Параску плетью с такой ловкостью, что рассекал на ней рубаху как раз вдоль сторбленной спины. Захваченные коровы до вечера стояли на панском базу. А вечером Параска вместе с хозяйками коров шли на панский двор, падали в ноги управителю, плакали и просили прощения. Управитель в это время сыпал на их головы дождь самого отборного, самого оскорбительного сквернословия. А бабы все лежали на земле, и душа их была полна одним желанием — чтобы побольше было сквернословия: оно было в обратной пропорции с налагаемым на баб штрафом. Когда управитель не сквернословил, — штраф доходил до двух рублей, а при сквернословии — до гривенника».

Охваченный голодом хутор предоставлен самому себе при абсолютном равнодушии государства к гибели крестьян. Народ находит утешение в мифотворчестве. Люди обретают надежду, слушая рассказ слепой девятилетней Гончарихи о какой-то затерянной кринице, спасавшей — в ее девичьи годы — от неурожая.

«Бо как почистят криницу, так и домой не успеют добежать — такой дождь ударит, что вода по ровному ревет. А криница-таки и не глубокая была. А вода в ней — пьешь и все хочется пить».

С искусством подлинного художника Тренев показывает, как миф о кринице

принимает характер какого-то коллективного психоза.

Чрезвычайно ярко сделан ряд сцен и образов людей. Вот баба Хвеська — паломница по святым местам, — рассказывающая о том, как ей во сне привиделся лубенский угодник Афанасий Сидящий, требовавший молебнов и процессии с хоругвями за семь верст. Вот разгульная Дашка, ныне замаливающая грехи, тоже видевшая во сне белого старца, вразумляющего народ в поисках криницы. Богомольным Хвеське и Дашке сопутствует ханжа Толстобраха — специалист по чтению псалтири над покойниками, зловещая проповедь которого, «как воронье карканье, скрипела над замолчавшим хутором». Как в рассказе «На ярмарке», так и здесь пред нами «троица» буржуазно-помещичьей России в виде помещика, полиции и купца, благословляемая попами для одурманивания народа. Вот процессия, во время которой охраняющий помещичью усадьбу черкес вихрем налетает на толпу. «Просвистел его арапник, и, когда хуторяне осмотрелись и увидели на спинах мальчишек кровь, выступившую из-под рассеченных рубашек, черкес далеко уже гарцовал на коне и грозился арапником».

Тренев показывает, как народ прозревает. Рассказ заканчивается сценой поджога помещичьей усадьбы. «Толпа заревела и могучей, не знающей преград волной хлынула к воротам усадьбы. За лопатами сверкнули на солнце косы и вилы... В задней части двора пламя уже лизало ометы и сарай. И земля, не дождавшись от неба дождевых туч, подняла к нему горячие черные тучи, и заволокли они голубое небо и заслонили собой от кровожадного солнца хутор и мужицкие нивы».

В своих «Литературных забавах» А. М. Горький писал, что русская литература 60-х и 70-х годов не показала, как «ковыряли» власть царя мужики 70-х годов, когда купец начал их грабить, а также мужика 80-х годов, после того, как Александр III сказал лично волостным старшинам, чтобы крестьянство погасило все свои мечты об увеличении «наделов». К. А. Тре-

нев, как Чапыгин, Вольнов и др., один из первых в нашей художественной литературе показал неиссякаемые революционные тенденции крестьянских масс русского народа. Рассказы «На ярмарке» и «Затерянная криница» с большой художественной убедительностью говорили об этом в годы общественного подъема, наметившегося накануне мировой войны. Об этих революционных настроениях сигнализировали новые писатели, крепко связанные с народом, вышедшие из недр его. Одним из них был К. А. Тренев — сын бывшего крепостного крестьянина, вынесший из недр народа глубокое знание его быта, речи, песен, воззрений и обрядов.

«Чудесные обряды, чудесные песни!» — вспоминает в своей автобиографии К. А. Тренев. — «Но чудеснее всего бывали на свадьбах и всякого рода больших пирушках рассказы моего отца: то всевозможные легенды, из которых особенно памятна длинная и яркая о Марке Богатом, то неисчерпаемые жанровые сцены, среди которых особенно замечателен уморительный рассказ о злоключениях мужика, попавшего на земские выборы. Когда наступал час таких рассказов, стихали музыка и пение, в битком набитой хате и сенцах наступала глубокая тишина, затаив дыхание часами слушали о судьбе Богатого Марка, о злодеянии и муках Бориса Годунова, а потом раздавался гомерический хохот над злоключениями гласного».

Впечатлениями детства и юности проникнуты многие рассказы Тренева о народной жизни. Отсюда, из недр народных, он принес юмор, глубокое чувство фольклора. В отличие от многих других художников, бытописавших крестьянство, К. А. Тренев не знает никакого «мы и они», пресловутой антиязы — писатель и народ. К. А. Тренев с полным правом мог говорить об органическом своем родстве с народом.

Биографическую основу своего творчества подчеркнул сам Тренев, говоря о своем раннем рассказе «Шесть недель». «Шесть недель» — своеобраз-

ная элегия в прозе. Рассказ богат поэтическим фольклором и тонким проникновением в детскую душу.

«С полей уже свезли на гумна все частые копны. Только изредка по дороге к хутору проползет нагруженный снопами воз. Нива лежит теперь спокойная, гладкая, сверкая на августовском солнце золотой стерней. Куда ни глянь — до самого горизонта золотой простор. Так бы, кажется, лег на эту землю и катился бы вплоть до того места, где она сходится с небом... Телята свободно ходят по ней, Ивасю уже не нужно ежеминутно быть настороже, чтобы они не вскочили в школу. Теперь он уж может, забыв обо всем на свете, слушать рассказы Павла о том, как из монахов получают мощи, как среди моря живут люди — писиголовцы, которые говорят совсем не по-нашему: корову лошадью называют, а лошадь — коровой, отца — матерью, а мать — отцом; как баба Хвеська, знаменитая на весь хутор ведьма (Павло сам видел у нее рябый хвост), подбежала однажды к Павлу, когда тот полдничал, «ковтнула» весь его полдник и исчезла».

В рассказе «Шесть недель» творческое внимание художника сосредоточено преимущественно на духовных исканиях народа, на его тоске по лучшей жизни.

На этих мотивах и построена главным образом вторая книга Тренева — «Мокрая балка». Сфера внимания писателя — казачья станица, украинская деревня. Фоном действия героев служат обычно светливо-озабоченная ярмарка, волостной сход, сенокос, выгон и т. д. Тренев, так сказать, художник-однолюб. Его страницы не сулят никогда экзотики своему читателю. Но писатель умеет всякий раз по-новому освещать знакомый ему быт. И вот перед нами встает в совершенно новом освещении то, что казалось уже исчерпанным: чарует новыми красками и новыми звуками. Лиризм и романтика неизменные спутники Тренева, особенно когда он рисует женские крестьянские типы. В этом цикле рассказов на первом месте стоят «Мокрая балка» и «Батраки». «Мокрая бал-

ка», несмотря на свой небольшой объем — своеобразная энциклопедия крестьянской жизни во всех ее типических проявлениях. Здесь мастерство пейзажа сочетается с богатством фольклора, с тонкой лепкой образов; искусство диалога дополняется задушевной лирикой. Многие страницы рассказа читаются, как стихотворение в прозе.

В описанном здесь небольшом хуторе, отрезанном от всего мира, писатель изображает столкновение противоположных социальных интересов. Власть собственности воплощена в образах деда Качки, его сына Сереги, лавочника Кузи Федоровича Охрименко. Дядя деда Качки и Сереги, имевших шестьдесят десятин земли и арендовавших еще пятьдесят десятин, земельная собственность — святая святых, за которую в каждую минуту они готовы горло перегрызть любому бедняку.

«Серега сверкнул маленькими черными глазами и сказал:

— Цего не будет! Земля такая, что есть ее хочется, а тут режь пять десятин! Не дам!».

Этим собственникам противопоставлены люди, которые задыхаются в атмосфере тупости и эгоизма. И читателю передается тоска этих людей по иной, неведомой им жизни, человеческой, просторной. Тернистый путь был большей частью уделом этих романтиков, искателей новой жизни. Вот трагическая фигура Бадая. «У бадаевой землянки, поросшей на крыше молочаем и сурепкой, мужики и бабы праздничной толпой заслушались рассказов Бадая: с семью малолетними детьми он объездил в крытой рогожей бричке всю Россию — от Бессарабии до Амура — все искал лучшей жизни. Бадай сухощав, немного сутуловат в широких плечах; лицо тонкое, смуглое, на груди окладистая, черная, как воронье крыло, борода. О своих мытарствах, о том, как живут люди в разных губерниях и городах, Бадай рассказывает так хорошо, что по праздникам возле его хаты всегда толпа».

Тяжелый опыт жизни открыл Бадаю истинное значение религии и церкви, и поэтому на упрек сотского Нетипы —

почему семь годов не говел — Бадай говорит:

«Я, братуха, каждый день с семьей говею. У бога каждый день праздник, а у Бадая каждый день пост. В четвертом годе, как зазимовал я в оренбургском степу с одним мешком муки, к рождеству двое деток с голодухи помира. Схоронил их в снегу. Жинка голосит да до снегу припадает, как та чайка при битой дороге, а я говорю: разговляйтесь же, детки, там — у бога за столом, а мы тут — обождем».

Трагическая фигура Бадая очень знаменательна для дореволюционной бедняцкой деревни. Одни Бадаи погибли, другие, доживши до мировой войны, еще более убедились в лживости церкви и господствовавших классов. Из рядов Бадаев вышли партизаны и бойцы Красной армии.

Тренев показывает нам ряд крестьянских типов, не мирившихся с традиционной моралью покорности. Таковы иконописец Чекалка и жена Сереги Ганна. Это один из самых лучших поэтических образов крестьянской женщины в русской дореволюционной литературе. «Стоит Ганна недвижно, стройная да беспомощная, как вот рядом сожженная солнцем былинка, и даже воображение не приходит ей на помощь. Только скучнее становится серая, глухая жизнь». Ганне нравится иконописец Чекалка, такой же романтический, как она сама. Чекалка ищет правды, не зная пути реальной борьбы. Очутившись в уездном городе, он мечтает попасть в дворянское собрание, чтобы рассказать барам о бедственном положении крестьянства. «Войду в собрание. — сказал Чекалка, — и объялю: господа дворяне! Прошу обратить внимание: когда между прочим помещик имеет тысячу десятин, а крестьянин одну! Это так оставить нельзя! А также относительно всех прав». Однако эти мечтания привели Чекалку к печальному концу.

«— Я ж вам говорил, — сказал Серега околоточному, — все насчет земли!.. Весь хутор смущает!

Околоточный взял Чекалку под руку и увел».

В ряду героев Тренева, рвущихся к лучшей жизни, стоит также батрак Левка («Батраки») — молодой буян и остролов. Он мечтает о скитальчестве и о путях, которые вывели бы его из однообразного, поглощающего все его духовное существо, бессмысленного труда. Романтический эпизод с лежащей в гробу мертвой девушкой, возбуждающей скорбные сердечные переживания батрака, грустной мелодией звучит в рассказе. Степь сосет сердце, жизнь не удовлетворяет — таков был итог наблюдений и изучения Трениным дореволюционной крестьянской жизни.

Этот мотив еще убедительнее зазвучал в его рассказах о мировой войне. Тренив был одним из немногих русских писателей, которых не коснулся урапатриотический и шовинистический дурман. Его рассказы в тогдашней русской литературе — правдивые отклики на трагические переживания страны, втянутой царем в империалистическую войну. В рассказах «По тихой воде», «Письма», «Святки», «Ганна» и др. он показал, сколь противоположно было отношение к войне у народных масс, с одной стороны, и у командующих классов — с другой. Вот на пароходе, идущем по Дону, все время говорят о войне генералы, священники, купцы и другие. В разговор вмешивается раненый казак Янюшкин.

«В синих прекрасных глазах полковницы холодное недоумение, на лице благочинного строгость... Вот история! Рассказывала полковница про войну и такое приятное да ласковое лицо у нее было, а в возгласах батюшки такое умиление да сладость в голосе, будто молебствует. И от приятного разговора стало было тепло несогревающимся на солнце ногам и животу Янюшкина. Захотелось о себе рассказать: как при отступлении снарядом траншею разрушило и завалило его землей по грудь... А вот стал рассказывать — все сразу рассыпалось и говорить не о чем. Только образованным людям неприятно слушать и самому стыдно.

Оттянулся от благочинного и полковницы на другой конец скамейки.

А капитан подошел и сказал:

— Сойди-ка, станичник, на палубу: здесь третьеклассным не полагается».

Рассказы «По тихой воде» и «Ганна» противостоят господствовавшей в то время батальной беллетристике с ее шовинистическими «творимыми легендами».

Тренив дал в своих рассказах отличные образцы того юмора, который — по определению Белинского — «приобретается горькими опытами жизни» и отличается «тем, что слишком верно характеризует ее, слишком резко выказывает ее безобразие». «Такой юмор обусловлен умением видеть вещи в настоящем виде, схватывать их характеристические черты, высказывать их смешные стороны». Юмору Тренива всегда сопутствует глубокое знание жизни, умение изображать ее в разнообразных проявлениях. Перифразируя слова Белинского о Гоголе, можно сказать: юмор Тренива — есть юмор спокойный, спокойный в самом своем негодовании, добродушный в самом своем лукавстве. Но часто у Тренива за этим спокойствием и добродушным лукавством слышится юмор желчный, ядовитый, беспощадный.

Острой сатирой отличается рассказ «Заблудились».

«Такое вышло приятное совпадение: как раз в день именин Аксиньи Никитишны (Кудыкиной) закончилась приемка шестисот четвертей овса, купленных Кудыкиным у Косенки. Кроме того, у Косенки же Кудыкин купил безрогую корову, получившую на выставке похвальный лист». Возвращаясь с пирушки, устроенной Кудыкиным по этому поводу, Косенко и поп сбиваются с дороги и, не надеясь спастись от метели, исповедуются друг другу:

«Грехи на мне велики!.. — стонет Косенко. — Девица ребенка от меня задушила!.. Грабежом да обманом жил!.. У Куряева три тысячи украл!.. Табунщика Федора насмерть забил! Сотней откупился... Семь лет не говел...». «Сестру перед женихом оклеветал, чтобы ее частью завладеть... Кудыкина сегодня обманул — корова не с выставки: у шебая куплена... Две

дойки спорчены... Что с выставки, та на хуторе! Насчет овса с его приказчиком стакнулся: под видом шести — пять тысяч триста... с овсюгом!...».

Характерны ответные реплики попа: «Батюшка запахнулся:

— Что ты дурака ломаешь? Кому это теперь нужно! Не перед кем... оба околеем...

— Батюшка, бог...

— Где он, бог? Бог был, когда я был поп, а ты землевла... мерзлые губы не выговаривали длинного слова».

В ином направлении сатира Тренева проявляется в ряде его рассказов советского периода. С большим мастерством он показывает всю мерзость мещанской приспособляемости, проникающей в советский обиход, показывает, как элементы этого прошлого всячески маскируются под нашу социалистическую новь. За громкими фразами всяческих мещан и паразитов он умеет видеть мерзопакостные вождения карьеристов и шкурников. И бич его сатиры со всей своей беспощадностью обрушивается на все пережитки капиталистического сознания, на все мещански-собственнические инстинкты. Крепкий советский оптимизм Тренева подсказывает ему неизбежность полного искоренения мещанства из нашей советской действительности. Оттого — как бы ни была сложна та или иная маскировка — все равно провал ее неизбежен. В этом отношении самыми характерными являются рассказы «Эдесские угодники», «Миша» и «Случай у Пяткина».

Народ, его борьбу и великие победы изображают и пьесы Тренева. Эти пьесы дороги советскому зрителю потому, что в них слышится прекрасный русский язык, что в них говорится об общественной правде, о готовности трудящихся нашей социалистической родины бороться за счастливую жизнь и братство народов. Прекрасный образ Шванди из «Любови Яровой» преемственен образу батрака Левки из рассказа «Батраки»; в речах комиссара Кошкина о крови и страданиях («Любовь Яровая») слышится горечь казака Янюшкина («По тихой воде»); точно так же вспоми-

наешь Бадая из «Мокрой Балки», когда слышишь разговор Кошкина с профессором Горностаевым о том, что «учение свет, неучение тьма».

«Кошкин: Нет, товарищ профессор, вы не все знаете. Я знаю больше. Вы знаете только, что учение — свет, это вам прямо видать, а что неучение — тьма, так это вы только сбоку видали. А я сам испытал на своей шкуре. Вам в глаза свет светит, а мне тьма застилает. Так мне эта тьма лютей, чем вам, и я с ей на живот и смерть биться буду».

В белогвардейском сброде, показанном в «Любови Яровой», мы узнаем премников Самсонов Глечиков, фон-Гебунденов и откормленных церковных иереев из «Владыки» и других рассказов. В «Любови Яровой» звучит та же сатирическая беспощадность, с которой Тренив на протяжении всего своего творчества не переставал изображать классовых врагов народа, помещиков и попов. А в прекрасном образе Любови Яровой запечатлены романтические черты таких народных женских типов, как Ганна из «Мокрой Балки»! Здесь мы и ощущаем творческое единство Тренева прозаика и драматурга.

Органичен и закономерен был приход Тренева в советскую драматургию. Н только Великая Октябрьская социалистическая революция помогла ему развернуть во всю ширь свои творческие способности и помогла стать народным писателем. В течение тринадцати лет «Любовь Яровая» не сходит с репертуаров наших театров и ставится во всех городах нашей обширной родины. В своей речи по поводу награждения МХАТ орденом Ленина В. И. Немирович-Данченко сказал: «Нельзя не вспомнить, что из последних постановок, за которые театр, собственно, и был награжден, две крупнейшие постановки нам были подсказаны товарищем Сталиным. Это были «Враги» и «Любовь Яровая».

«Любовь Яровая» широко поставила в драматургии проблему — интеллигенция и революция. Тренив показал сложный процесс той общественной дифференциации, в силу которой даже

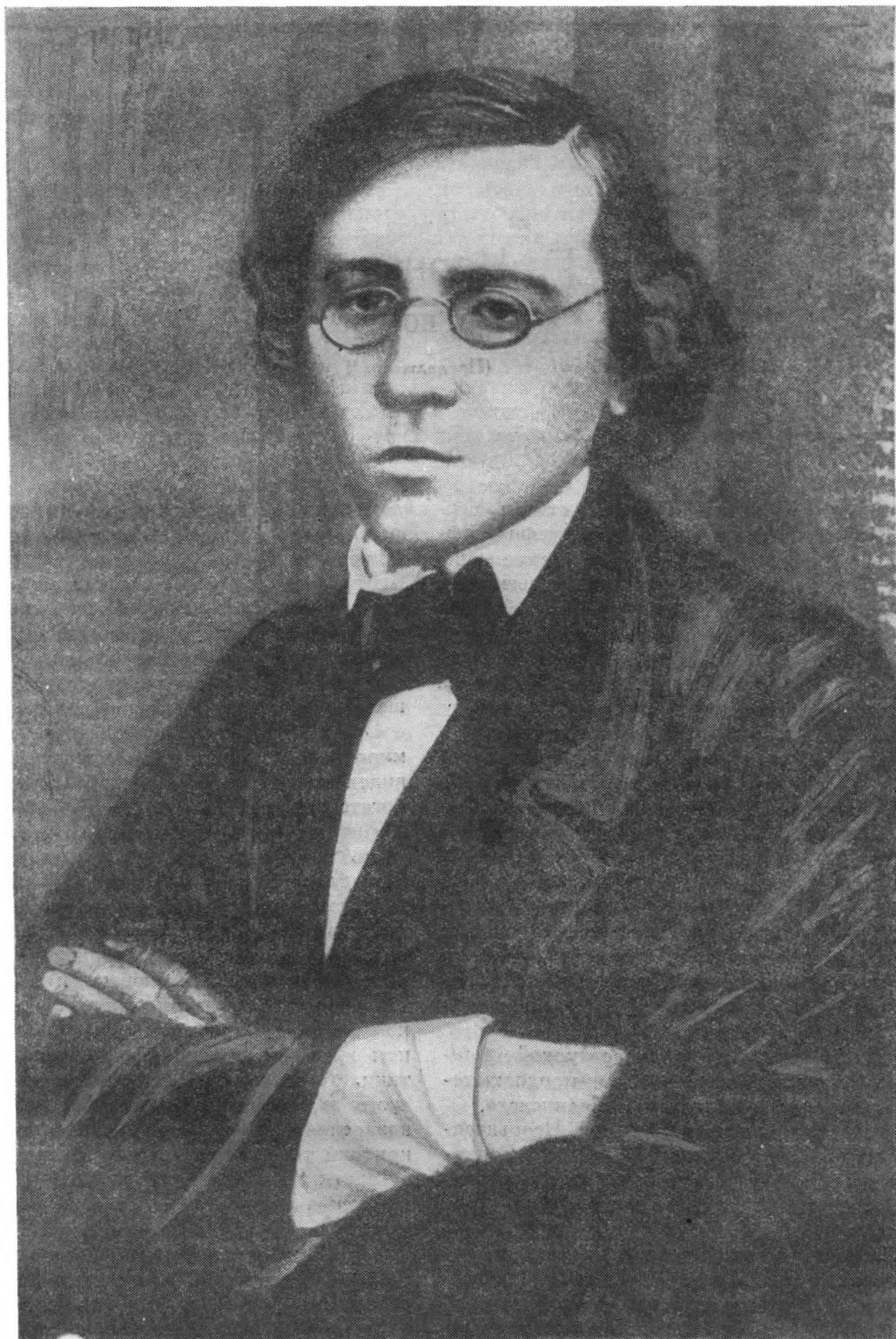
самые близкие в недавнем прошлом люди порой оказываются по разным сторонам баррикады. Правдивость треневского реализма, отвращение к какой бы то ни было лакировке обусловили крепкий оптимизм пьесы и ее мудрый прогноз о новой интеллигенции, которая рука об руку со всем советским народом борется за идеи социализма.

В другой своей пьесе — «На берегу Невы» — Тренев показывает великие октябрьские события и их пролог — июльские дни. Действие происходит в Петрограде. Главный герой здесь рабочий класс, солдатские массы и революционные представители бедняцкого и середняцкого крестьянства (Князев, Сергей). В пьесе множество характерных для этой эпохи лиц, начиная от миллионера Растегина до беспаспортного крестьянина Князева, от старушки Савватьевны с ее «валаамскими угодниками» до главковерха Керенского. Все эти типы глубоко историчны, художественно-правдивы. Удачное изображение получил в пьесе тип капиталиста. Растегин — не плакатный капиталист, а наделенный типическими чертами своего класса, гибкостью «реального политика», цинично отбрасывающего, как ненужную ветошь, всякие утопические иллюзии. Беспощадную сатиру содержит также показ керенщины с ее пустой словесностью, за которой скрывалась одна тенденция — предать интересы народа в угоду Растегиним. Наряду с этим в «На берегу Невы» даны типы рабочих, крестьян, солдат, наделенных огненной ненавистью к эксплуататорам и готовностью отдавать свою жизнь за великие революционные идеи.

Пьесы Тренева выгодно отличаются

тем, что помимо своей сценичности, они литературны. Это большие исторические полотна о великом народе, о его всемирно-исторических победах, о его чудесном героизме в борьбе против насилия, эксплуатации, войн, нищеты и закрепощения трудовых масс. Историческая живопись сочетается здесь с проникновенной лирикой и фольклором.

В день 60-летия К. Тренева Правление Союза писателей в своем поздравлении, между прочим, писало: «Ваше страстное, героическое отношение к творчеству, отрицание самоуспокоенности, чуткость к молодежи, огромная активность в общественной деятельности вызывают у всех нас чувство восхищения и неизменного глубокого уважения к Вам. Ваши произведения, особенно «Любовь Яровая» и «На берегу Невы», — любимы миллионами советских зрителей. Они служат делу коммунизма. И они свидетельствуют о пламенном большевистском сердце их автора, о зрелом мастерстве его». ЦО «Правда» также писала по этому поводу: «К своей общественной работе К. Тренев относится нарѣдкость добросовестно, уделяя много внимания, времени. Особенный интерес проявляет К. Тренев к выращиванию молодых кадров. Это человек кипучей энергии, большого гражданского мужества. К. Тренев заслуженно пользуется уважением и любовью читателя, зрителя и писателя». За заслуги перед русской литературой и советской драматургией, за неустанное служение русскому народу и нашей социалистической родине К. А. Тренев награжден правительством орденами Красного Трудового Знамени и Знаком Почета.



Н. И. Чернышевский (1861 г.)

Н. Г. Чернышевский

И. НОВИЧ

(Продолжение 1)



Литературно-критические статьи Чернышевского, как и его философские, экономические, эстетические работы и публицистические статьи, вызывали ожесточенные споры в литературе, бешеную ненависть политических и литературных врагов, бурное одобрение друзей, никогда не оставляли читателей нейтрально-равнодушными.

Он и в литературе, как и во всех других областях идеологического творчества, не умел и не хотел, подобно большинству литературных критиков его времени, «примирять идеал с обстановкою». А это была излюбленная теория всего лагеря литературной реакции и заодно с ним либералов. Чернышевский, конечно, решительно отвергал этот эстетический принцип, проповедуемый всей литературной критикой того времени, за исключением критики «Современника».

Чернышевский в литературной критике явился преемником и продолжателем гениальной критики Белинского.

История литературы для Чернышевского — не список людей, прославившихся в литературе, а рассказ о развитии литературных понятий народа, общества.

Чернышевский полагал, что жизнь народа, степень его развития определяют собой значение той или другой литературы для человечества, иными словами, что от места, занимаемого данным наро-

дом в жизни всего общества, и зависит роль литературы данного народа в общечеловеческой культуре.

Если народ еще не достиг мирового общечеловеческого значения, то нет у него еще литературы, имеющей общечеловеческое достоинство. С этим очень высоким критерием и подходил Чернышевский к русской литературе.

В ней он видел общечеловеческое мировое достоинство и значение. Он видел в русской литературе отражение богатейших сил народа.

Литературно-критическая деятельность Чернышевского, как и Добролюбова, должна рассматриваться, как антагонист официально-правительственным взглядам на литературу. Я не говорю уже о гениальности критики Чернышевского — Добролюбова и полной бездарности официально-правительственной критики; речь идет у нас об идейном направлении этих двух типов критики. Литературные теории Чернышевского и Добролюбова противостояли и воззрениям всего лагеря либеральной критики того времени. Резко отличается от обоих этих видов враждебной критики оценка литературных явлений Чернышевским.

В центре его литературно-критической деятельности стоит борьба за дальнейшее усиление «гоголевского направления», за обличение в художественной литературе феодально-крепостнической действительности, художественное отражение освободительных стрем-

1 См. «Новый мир», кн. 8 с. г.

лений народа, страшной тяжести его жизни в условиях крепостнического гнета и изображение новых людей — революционеров — разночинцев, призванных изменить действительность.

Теория необходимости решительного изменения всех условий жизни русского общества, в котором жил и которое знал Чернышевский, составляет главную, основную идею его литературно-критической деятельности.

Идея народности литературы была в полной мере присуща литературной критике Чернышевского. Он понимал литературу в ее высших достижениях, как выражение интересов народа.

Чернышевский полагал, что внимание литературы к тем или иным явлениям соразмеряется степенью важности этих явлений в народной жизни, и утверждал, что как содержание, так и форма художественного произведения должны быть «совершенно народны».

Он полагал, что о народе литература должна писать правду без всяких прикрас, столь распространенных тогда в литературе. Это тем более важно, что нередко литературные взгляды Чернышевского как-раз трактовались так, что Чернышевский оказывался чуть ли не идеологом специфически «народнической», а не народной в широком смысле слова, литературы. Это решительно неверно. Чернышевский всемерно возражал против какой-либо идеализации крестьянской жизни в многочисленных тогда «повестях и очерках из народного быта». Он указывал, что в этих, в сущности, лженародных повестях и очерках народ являлся в виде гоголевского Акакия Акакиевича, который сам для себя ничего не может сделать, — поэтому надо склонять других в его пользу, сострадать ему.

Ложной идеализацией крестьянских масс больше всего страдала в то время именно дворянская литература, порою стремившаяся показать, что крестьяне «тоже» люди, что крестьянки «тоже» любить умеют, что в крестьянах есть «тоже» «кое-какие» человеческие черты. Показывая так, чаще всего сущально и антихудожественно, крестьянскую массу, дворянский писатель уми-

лялся: какой он, дескать, гуманный и жалостливый. Но вот приходит действительный, подлинный защитник крестьянских масс, революционер, демократ до мозга костей, Чернышевский и встает против этой идеализации крестьянских масс.

Чернышевскому важно было, чтобы литература показала именно невыносимо тяжелые, отрицательные, непривлекательные стороны крестьянского быта, показала, отчего крестьянская жизнь «идет дурно» и как ее изменить, как добиться ее «исправления». Он требовал от литературы, изображавшей крестьянский быт, мужественной и открытой правды и призывал литературу становиться близкой к народу, говорить ему правду о нем. «Говорите, — писал Чернышевский, — с мужиком просто и непринужденно, и он поймет вас; входите в его интересы, и вы приобретете его сочувствие». В этом видел Чернышевский задачу литературы и тех писателей, кто действительно любит народ, любит не на словах, а «в душе».

Говоря об отрицательных сторонах крестьянского быта, Чернышевский указывает, что в жизни каждого человека, как бы тягостно ни шла его жизнь, бывают моменты «энергических усилий, отважных решений». То же самое встречается и в истории каждого народа. Чернышевский явно намекал на революцию и необходимость ее совершения.

Представление об исключительно публицистическом характере литературной критики Чернышевского — заблуждение одних, заведомая клевета других. Публицистическая насыщенность критики Чернышевского никак не мешала анализу художественности литературных явлений, — ярким показателем этого анализа служит, например, статья Чернышевского о раннем Толстом.

Ее одной было бы достаточно для опровержения распространенного предвзвешанного суждения о недооценке Чернышевским непосредственно художественной стороны литературных произведений.

Чернышевский верно заметил, что часто люди, особенно много толкующие о художественности, наименее понимают ее действительные условия, как верно

Чернышевский отмечал и то, что он не меньше кого другого любит, чтобы в литературных произведениях изображалась общественная жизнь. Но он же подчеркивал своеобразие поэтической и идеи, требующей художественного единства произведения. Поэтическая идея нарушается, указывал Чернышевский, когда в произведение вносятся элементы, ей чуждые. «Всему свое место, — писал Чернышевский: — картинам южной любви — в «Каменном госте»; картинам русской жизни — в «Онегине», Петру Великому — в «Медном всаднике»¹. В одном из писем (1885 г.) к сыну Чернышевский отмечал, что человеку, лишенному поэтического дарования, может чувствоваться то же, что и поэту, но он не может выразить того, что может выразить поэт, обладающий секретом художественной формы.

Свои литературные мнения Чернышевский высказывал в условиях напряженной идейно-политической борьбы. Он считал, что назначение литературной критики — служить выражением литературных мнений передовых слоев общества и содействовать распространению этих мнений во всем обществе.

Он указывал, что критика, развиваясь на почве живой литературы, должна не следовать за ней, а руководить ею, идти впереди нее, предвосхищать будущее развитие литературы, основываясь на ее залогах и предвестиях. И, отбросив ложную скромность, он считал достоинством своей критики то, что она порождена, как он указывал, глубоким уважением и сочувствием ко всему тому, что было и есть благородного, справедливого и полезного в русской литературе предшествующей и современной эпохи.

Критика Чернышевского явилась важнейшим элементом борьбы за передовую литературу.

Замечательные слова, сказанные Чернышевским о критике Белинского, очень ярко характеризуют эту критику, должны быть поняты шире, как важнейший критерий оценки всей классической рус-

ской литературы в ее лучших проявлениях. «Любовь к благу родины была единственной страстью, которая руководила ею, — писал Чернышевский о критике Белинского, — каждый факт искусства ценила она по мере того, какое значение он имеет для русской жизни. Эта идея — пафос всей ее деятельности. В этом пафосе и тайна ее собственного могущества»¹. Эти вдохновенные слова очень точно характеризуют и литературно-критическую деятельность самого Чернышевского.

V

Классическая русская литература заклеивала зло крепостничества, оставила нам потрясающие картины угнетения, нищеты и бесправия народа, произвола царских властей, рабства крестьянских масс.

У народа не было политической свободы. Свои чаяния он выразил в передовой литературе: поэзии Радищева и Пушкина, Рылеева и Лермонтова, «Записках охотника» Тургенева и «Былом и думах» Герцена, во всей поэзии Некрасова и Шевченко, в сатирах Салтыкова-Щедрина.

Устная народная поэзия прошлого полна народным горем и духом протеста против угнетателей.

Народ пел в своих песнях об угнетении, о барском гнете, о произволе властей, о неправедных судах.

О, горе нам, холопом, за господами жить!
 ...О! горе нам, холопом, от господ и
 бедство!
 ...Пройди всю вселенную — нет такова
 жителя мерзкова!
 Разве нам просить на помощь Александра
 Невского!

Но не только жаловался в песнях народ на свою «горькую долю», «судьбу-мачеху». Он пел о воле, грозил помещику-крепостнику расплатой, час которой наступит; он предупреждал угнетателей об этой расплате:

Сим письмом, пущенным в Люзанском лесу,
 Я моему барину повинную несу.

¹ Н. Г. Чернышевский. Избранные сочинения, стр. 164.

¹ Н. Г. Чернышевский. Избранные сочинения, стр. 333.

...Извини, что чернила у меня в лесу нету,
 Чтобы оным написать тебе грамоту эту,
 Только я из превеликой к тебе любви
 Не пожалел своей горяченькой крови,
 Кою ты из меня не всю высосал
 И жилы из меня не все вытянул,
 Что я тебе и на деле докажу,
 Когда тебя на острый нож посажу,
 А дом твой по ветру пушу,
 Как ты меня без ничего оставил,
 Когда под красную шапку поставил.

Народ творил и пел свои песни крестьянских восстаний, восхвалявшие Степана Разина да Емельяна Пугачова.

Вы укройте, леса, нас, станишников,
 Напои, река, беглых каторжников,
 А ты, степь ли, степь, наша ровная,
 Ты носи коней глаже скатерти...
 Мы задумали дело правое,
 Дело правое, думу честную:
 Мы царицу, шлюху поганую,
 Призадумали с трону спихивать...
 Мы дворян-господ на веревочки,
 Мы дьяков да ярыг на ошейнички,
 Мы заводчиков на березоньки,
 А честных крестьян на волю вольную.

В центре деятельности Чернышевского стоит его кипучая борьба за отмену крепостного права и за крестьянскую революцию в России.

20 ноября 1857 года последовал так называемый «высочайший рескрипт» на имя «Виленского военного, Гродненского и Ковенского генерал-губернатора». Царь разрешал дворянству указанных губерний приступить к составлению проектов относительно помещичьих крестьян.

Из Царского села Александр II указывал помещикам, что за ними сохраняется право собственности на всю землю; усадебную оседлость крестьяне должны приобрести в свою собственность посредством выкупа. Для обеспечения быта крестьян и «выполнения их обязанностей» перед правительством и помещиком крестьянам предоставляется нужное количество земли, за которое они платят оброк или «отбывают работу». Это царь называл «благими намерениями» дворян, призывал, как водится, в помощь бога и выражал надежду, что дело сие будет кончено с надлежащим успехом.

За первым рескриптом последовал второй — 5 декабря того же года, — на имя с.-петербургского военного генерал-

губернатора, затем третий, четвертый, пятый, десятый. Все они были скроены на один манер. Царь удовлетворяет-де желание дворян-помещиков улучшить и упрочить быт своих крестьян. Дворянство же, как превыспренно выражались крепостники-помещики Нижегородской губернии, «всегда стремясь содействовать высоким и благим предначертаниям возлюбленного своего монарха... изъявило желание... и полную готовность исполнить его священную волю».

Губернские комитеты были открыты повсеместно. В дни их открытия в соборах отслужили молебствия. Губернаторы произнесли подобающие столь важному случаю речи, председатели дворянства отвечали. Комитеты занялись устройством своих канцелярий.

Рост промышленности и наличие принудительного крепостного труда, тормозившего развитие вольнонаемного труда; промышленное предприятие и рядом крепостная вотчинная мануфактура; машинное и рядом ручное производство; рост как внешнего, так и внутреннего рынка; рост городов, расслоение среди крестьянства и страшно низкий уровень производительности труда в сельском хозяйстве; жесточайшая эксплуатация крестьянства помещиком-крепостником и крестьянские «бунты», — эти противоречия жизни России той эпохи требовали отмены крепостного права.

Поражение царизма в крымской войне, как и рост крестьянских «бунтов» против крепостничества вынудили царское правительство, во второй половине пятидесятых годов, начать подготовку отмены крепостного права, а в 1861 году отменить его.

Издавна русское крестьянство отвечало на гнет царизма и помещиков восстаниями, пронизывающими собой историю России.

В XVII, XVIII и XIX веках русской истории известны широкие крестьянские восстания, являвшие собой настоящую картину народного движения. Под тяжестью самодержавного, боярского и дворянского гнета поднимались на борьбу массы против своих угнетателей, — таковы известные движения во главе с Иваном Болотниковым, Степаном Рази-

ным, и затем — Емельяном Пугачовым. Эти движения ярко выражали стихийное возмущение угнетенных крестьянских масс против феодального гнета, отношение народа к враждебным властям. Крестьянские восстания далеко не закончились движением, связанным с Пугачовым, как изображали подчас историю буржуазные летописцы. Неудачи восстаний, репрессии царизма не останавливали крестьян. Они все больше убеждались в справедливости своих требований.

Тридцатилетнее царствование Николая I, то-есть период, непосредственно предшествовавший крестьянской реформе шестидесятых годов, отмечено небывалым дотоле ростом крестьянских восстаний.

Крестьянство не хотело больше ждать освобождения от крепостной неволи, хотело взять его силой.

Статистика крестьянских волнений обязывает отбросить утверждения буржуазных историков, будто в период подготовки реформы 1861 года, пока заседали все эти губернские комитеты, главные комитеты и другие комиссии «по улучшению быта крестьян», крестьянство терпеливо-де и молчаливо ждало воли от царя и правительства. Крестьянство волновалось все настойчивее, считая землю своей кровной, а не помещичьей собственностью.

Свой протест против крепостного права крестьяне выражали массовыми побегами от помещиков, отказами работать на крепостника, выполнять установленные правительством вместе с помещиками «крестьянские повинности».

Крепостное состояние крестьян уже представлялось правительству и помещикам пороховым погребом, как выразился шеф жандармов граф Бенкендорф. Даже буржуазные историки признают, что призрак новой пугачовщины вечно стоял в глазах дворянства и напоминал о необходимости покончить с крепостным правом.

В 1860 году К. Маркс писал в письме к Энгельсу о «движении рабов в России», наряду с американским движением рабов, как о самом великом событии в мире в то время.

Сила экономического развития, втягивавшего Россию на путь капитализма, заставила царское правительство и крепостников-помещиков отменить крепостное право.

Вся реформа проводилась в строжайшей бюрократической тайне. Без увеличения можно сказать, что дело «освобождения крестьян» велось в придворных сферах и правительственных кругах, как тайный разговор против крестьян.

На первых порах опубликование царских рескриптов поселило беспокойство в дворянско-помещичьих кругах. Оно не замедлило отозваться новым приливом ярости помещиков против крестьян.

Известный в то время наблюдатель деревни П. И. Якушкин рассказывает в своих очерках о целом ряде виденных им проявлений тревоги крепостников по поводу предстоящего «освобождения».

— А крепостных крестьян не будет? Крепостных совсем не будет? — с ужасом спрашивала одна помещица.

— Совсем не будет.

— Ну, этого я не хочу, — объявила барыня, вскочив с дивана. — ...Решительно не хочу! Поеду сама к государю и скажу: я скоро умру, после меня пусть, кто хотят, то и делают, а, пока я живу, я этого не хочу.

— Как, у меня отнимать мое! — рассуждал другой помещик. — Ведь я человеком владею; мне мой Ванька приносит оброку в год по пятидесяти целковых...

М. Е. Салтыков-Щедрин сатирически описывает некую помещицу Падейкову, с ужасом услышавшую о предполагаемом «освобождении крестьян». Падейкова удивлялась: «Всегда видишь (во сне.— И. Н.) что-нибудь приятное: или по ковру ходишь, или по реке плывешь, или, вообще, что-нибудь на пользу делаешь, а нынче просто-напросто привиделось какое-то большущее черное пятно: так будто и колышется перед глазами — то налево повернет, то направо пошатнется, то будто под сердце подступить хочет...».

Буржуазно-либеральные историки и публицисты старались представить ре-

форму 1861 года «светлой весной» России. Эти историки и публицисты изображают ход крестьянской реформы, как ожесточенную борьбу двух партий: Александра II вкуче с «великой княгиней» Еленой Павловной и «великим князем» Константином Николаевичем и правительством, с одной стороны, и помещиками-крепостниками — с другой. Дескать, просвещенное либеральное меньшинство, пренебрегши личной карьерой и даже личной безопасностью, «бойцы за свободу народа», оказали поддержку «благому почину правительства», несмотря на клевету, доносы, преследования... Нужно, утверждают многие буржуазные историки и публицисты, отдать справедливость правительству, якобы сумевшему в ходе реформы оградить интересы крестьян лучше, чем это могли бы сделать они сами.

На деле, как показал Ленин, борьба крепостников и либералов велась внутри господствующего класса из-за меры и формы уступок. Либералы, так же как и крепостники, охраняли собственность и власть помещиков, и не помышляя, конечно, о свержении этой власти.

Об этом свержении мечтали крепостные крестьяне и защитники их интересов, видевшие крепостнический характер совершаемой реформы. Этих защитников-революционеров было очень мало, они вели борьбу за народные, крестьянские интересы против помещичьего царя и его правительства, против либералов и крепостников. Во главе их стоял Н. Г. Чернышевский.

Пока нельзя было сколько-нибудь открыто говорить в печати о крепостном праве в России, Чернышевский прибегал к искусным иносказаниям.

В годы же подготовки крестьянской реформы Чернышевский, захваченный перспективой освобождения крестьян, помещает в «Современнике» целый ряд своих обширных статей и обзоров, неизменно требующих отмены крепостного права и широкого обеспечения экономических и политических интересов крестьянских масс. Одну за другой пишет он статьи по «крестьянскому вопросу».

В письмах к отцу он пишет, что в Петербурге, как и по всей России, все за-

пяты исключительно вопросом об уничтожении крепостного права. Дворяне, — свидетельствует Чернышевский, — ропщут, бранятся, угрожают. «Они воображают, будто составляют в государстве самобытную и очень крупную силу, а на самом деле они дышат на свете только поддержкою со стороны правительства»¹.

Бдительно следит Чернышевский буквально за каждой появляющейся в печати (главным образом в «Журнале землевладельцев») статьей по крестьянскому вопросу; в «Современнике» он дает свои обзоры «Журнала землевладельцев», полемизирует, опровергает его доводы, разоблачает планы крепостников.

С полным правом писал о себе Чернышевский, что даже среди сторонников отмены крепостного права он имел о ходе дела мнение, существенно отличавшееся от мнений большинства людей, высказывавшихся по этому вопросу.

Опубликование царских рескриптов и последовавшее за ними создание губернских комитетов, которые должны были практически подготовить условия отмены крепостного права, на первых порах породили некоторые надежды Чернышевского. Он надеялся, что наконец-то действительное освобождение крестьян будет проведено. Лишь на мгновение он поддался обольщению, подобно Герцену, писавшему в «Колоколе» по поводу царских рескриптов (и это одна из тяжчайших либеральных ошибок революционера Герцена), что имя Александра II принадлежит истории, так как начало освобождения крестьян сделано им. Так и Чернышевский, страстно желавший освобождения крестьян, в первое мгновение приветствовал царские рескрипты. Правда, уподобляя отмену крепостного права реформам Петра, признавая, как писал Чернышевский в статье «О новых условиях сельского быта», историческое значение уничтожения крепостного права в России, возвеличивая «инициативу» царя, Чернышевский тем самым давал понять, что же происходит вокруг, как невыносимо тя-

¹ Н. Г. Чернышевский. «Лит. наследие», т. II, стр. 272.

жело крепостное состояние. Под видом восхваления царских рескриптов Чернышевский вскрывал ужас крепостного права. Но «из песни слова не выкинешь»: один миг Чернышевский возлагал надежды на правительство в осуществлении действительного уничтожения крепостного права. Очень быстро, однако, он расстался с этими надеждами, увидев помещичье-крепостнический характер действий царя и правительства. Убедившись в этом, он стал отстаивать свою, действительно народную, революционную программу освобождения крестьян.

Чернышевский видел, что дело освобождения крестьян находилось целиком в руках правительства и крепостников-помещиков. И ничего хорошего для крестьян он не ждал от таких «освободителей». Он горячо оспаривает высказанное в «Журнале землевладельцев» мнение, что «не должно допускать крестьян к участию» в выработке условий освобождения. Чернышевский яростно возражает против этих помещичьих ограничений прав крестьян. Он доказывает, что дела могут считаться правильно ведущимися, когда выслушиваются обе стороны, и не могут быть условия продиктованы одной стороной, то-есть помещиками, без согласия другой стороны, то-есть крестьян.

Чернышевский не устает обличать крепостное право — и, обходя цензурные условия, подчеркивает органическую связь гооподствующей системы крепостнического хозяйства и самодержавия.

Слабость успехов земледелия, медленность в росте развития населения, неудовлетворительность состояния путей сообщения, торговли, промышленности, самое крепостное право, по мнению Чернышевского, — все это, составляя российскую отсталость, коренной своей причиной имеет «состояние нашей администрации», то-есть государственного устройства.

«Если крепостное право держалось до сих пор, — писал Чернышевский, — то оно было обязано такой продолжительностью своего существования только дурному управлению», то-есть, как от-

лично понимал читатель, — государственной власти, самодержавию.

В крепостном праве видел Чернышевский причину нищеты народа и всей отсталости страны. Не может расти и увеличиваться население, пораженное бедностью настолько, что у него отнята возможность вести сколько-нибудь нормальную и здоровую жизнь. Не может выйти из бедности народ, дурно управляемый.

Человек может хорошо работать только тогда, когда никто и ничто не мешает его труду, не отнимает у него результатов труда. Этой-то уверенности нет у крепостного крестьянина, работающего на хищника-крепостника.

И Чернышевский указывает, что бедность и нищета крестьянских масс при системе крепостного права опираются на «дурное управление», на состояние администрации, то-есть государственной власти. Он проводил эту свою мысль сквозь рогатки цензуры, хотя это далеко не всегда ему удавалось, например, из его статьи «Суеверие и правила логики» цензурой были изъяты места, в которых Чернышевский с наибольшей отчетливостью проводил эту свою излюбленную мысль. Он указывает, что дело не в отдельных лицах, а в господствующей системе. При самых благонамеренных начальниках, — указывает он, — порядок дел оставался таким же, каким был при «дурных администраторах».

Должности продаются с формального торга. Суда и управы нет; грабительство — повсеместное. Оно властвует везде: в канцелярии губернатора, в губернском правлении, по всем ведомствам и инстанциям. Царит взяточничество. Дела ведутся беззаконно, произвольно. Ни правильный ход государственного управления, ни правосудие невозможны при крепостном праве, в корне противоречащем разумности, экономическим и политическим интересам народа и государства.

Власть на поводу у дворянства. Справедливость, уважение к достоинству человека непримиримы с крепостным правом. И Чернышевский, воюя против крепостников, доказывает разорительность

крепостного права для всей нации, решительную невозможность существования крепостничества, при котором миллионы людей находятся в крепостной зависимости от своих помещиков.

Отмена крепостного права должна содействовать установлению человеческих отношений. Пока господствует крепостное право, земледелие находится и будет пребывать в жалком состоянии. Крепостное право не могло содействовать развитию духа предприимчивости, оно ослабляло, подавляло народную энергию, вселило в крестьян дух забитости, используемый крепостниками-угнетателями.

Чернышевского возмущает барская клевета на народ, обвинения его в лениности. Это было тогда среди крепостников распространенное возражение против отмены крепостного права: если-де дать крестьянину земли, сколько нужно, чтобы она кормила его, то он все остающееся от труда время «пролежит на боку».

«Не обманывают ли нас глаза и уши, — с возмущением писал Чернышевский. — О ком это говорится, что он ленив? О каком-нибудь итальянце или арабе? Нет, о русском мужике. Почему бы не говорить также, что у русского мужика белые руки с изящно обточенными ногтями, что он любит играть в преферанс, что он обыкновенно обедает на фарфоровом сервизе?» — едко спрашивает защитников крепостного права Чернышевский. «...Нет в Европе, — продолжает он, — народа более усердного к работе»¹. И он доказывает, что при современном ему государственном устройстве мужику приходится выбиваться из сил, только бы свести концы с концами...

«Грех нам и стыдно, — возмущается Чернышевский клеветническими доводами защитников крепостного права, — говорить о недостатке охоты к работе у русского мужика». И он горячо обвиняет дворянство в том, что оно судит о русском крестьянстве «по своему образу и подобию». Качества других клас-

сов дворянство понимает сообразно своей собственной натуре.

Нельзя здесь не вспомнить, как товарищу Сталину пришлось разоблачать подобные же клеветнические утверждения против русского народа уже в наше время. Товарищ Сталин отвечал немецкому писателю Эмилю Людвигу: «В Европе многие представляют себе людей в СССР по-старинке, думая, что в России живут люди, во-первых, покорные, во-вторых, ленивые. Это устарелое и в корне неправильное представление. Оно создано в Европе с тех времен, когда стали наезжать в Париж русские помещики, транжирили там награбленные деньги и бездельничали. Это были действительно безвольные и никчемные люди. Отсюда делались выводы о «русской лени». Но это ни в какой мере не может касаться русских рабочих и крестьян, которые добывали и добывают средства к жизни своим собственным трудом. Довольно странно считать покорными и ленивыми русских крестьян и рабочих, проделавших в короткий срок три революции, разгромивших царизм и буржуазию и победоносно строящих ныне социализм»¹.

Чернышевский доказывал, что от уничтожения крепостничества выиграет не только крестьянство. Возродится все государство, увеличатся государственные доходы, возникнет правосудие, разрастется промышленность и торговля, смягчатся нравы, ослабеют пороки. Крепостное право противоречит здравому экономическому расчету.

В ходе подготовки «крестьянской реформы» Чернышевский занимал революционно-демократическую позицию, отстаивая безвозмездное отчуждение у помещиков крестьянского труда и наделов.

В борьбе с крепостниками и либералами Чернышевский доказывал, что нельзя считать обязательный труд крестьянина на помещика способом уплаты выкупа. Основной чертой крепостной зависимости крестьян как-раз и был обязательный труд. Сохранить обязательный

¹ Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения, т. I, стр. 88.

¹ И. Сталин. «Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом», Партиздат, 1933, стр. 7.

труд — значит, по существу, сохранить крепостное право.

Раз экономические интересы государства, как доказывал Чернышевский, настойчиво требуют уничтожения крепостного права, а уничтожение его приведет к возрождению всей экономической жизни страны, увеличатся государственные доходы, разовьются промышленность, торговля, пути сообщения, то-есть выиграет вся нация, — следовательно, по мнению Чернышевского, и расходы должна нести вся нация.

Аграрная программа Чернышевского состояла в идее революционного захвата крестьянством всей помещичьей земли, земля составляющей собственность народа, а не кучки крепостников-помещиков.

С 1860 года Чернышевский вынужден был прекратить сколько-нибудь открытое обсуждение освобождения крестьян в печати; цензурный комитет вовсе запретил касаться в печати «крестьянского вопроса». Чернышевский снова прибегает к иносказаниям. Снова пишет он «эзоповым языком», будто бы о каких-то английских колониях, об освобождении английских невольников, о британских неграх, о вестиндском невольничестве, от которого «негры» вымирали. С освобождением дело вдруг резко изменилось, очень быстро население сильно увеличилось. Чернышевский говорит об «убийственных страданиях» вестиндских невольников, притеснениях со стороны эксплуататоров, вымирании среди невольников, лишенных всех гражданских и человеческих прав. Всем этим Чернышевский иносказательно говорил о положении крепостных крестьян в России.

★

Тем временем бюрократическое, царисто-помещичье «освобождение крестьян» медленно продвигалось.

В редакционную комиссию уже стеклись для рассмотрения проекты губернских дворянских комитетов.

Монархисты уже сформулировали свою «установку», как чудовищно выразился в одном письме Б. Н. Чичерин: «пропустить крестьян через

чистилище срочно-обязанных отношений»¹.

Видимо, царь и правительство отдавали себе отчет в антинародном характере «крестьянской реформы», которую они собирались провести и провели.

Пометки Александра II на записке, поданной ему министром внутренних дел Ланским, ярко показывают, как смотрели царь и правительство на реформу, и обличают крепостнический замысел ее.

В преддверии реформы царь и правительство, как и все крепостники, ожидали, что на проводимую реформу народ ответит восстаниями, ибо совсем не такой воли он ждал. Было решено учредить ряд генерал-губернаторств с самыми широкими особыми полномочиями. Сомнения Ланского в необходимости дополнительных, облеченных огромной и чрезвычайной властью генерал-губернаторств вызвали гнев царя.

Министр указывал в своей записке, что народ не сопротивляется-де, а сочувствует намерениям правительства. Такой взгляд министра не отражал действительного положения вещей, но дело не во взгляде министра, а в замечаниях царя. Он написал: «Все это так, пока народ находится в ожидании, но кто может поручиться, что, когда новое положение будет приводиться в исполнение и народ увидит, что ожидание его, т.-е. свобода по его разумению не сбылась, не настанет ли для него минута разочарования? Тогда уже будет поздно посылать отсюда особых лиц для усмирения...»². Красноречивейшее признание!

Авторы и проводники реформы ожидали народного восстания в ответ на «волю», которую они готовили крестьянству.

Министр уверял, что вряд ли следует опасаться затруднений. Царь написал на министерской «записке»: «Напротив, того-то и должно опасаться», «дай бог (то-есть, чтобы все прошло гладко. — И. Н.), но этой уверенности, по всему до меня доходящему, я не имею».

¹ Б. Н. Чичерин. Воспоминания, «Путешествия за границу», стр. 64.

² Цит. по книге «Эпоха великих реформ». Исторические справки Гр. Джаншиева, 1898, стр. 43.

«Мы, — писал царь, — должны быть готовы ко всему».

Для проведения «освобождения крестьян» царь и правительство считали недостаточной существующую полицейскую и военную власть; они ждали крестьянского восстания в ответ на «дарусмую» ими «волю». Они понимали, что не такой свободы ждало крестьянство, и не обманывались на этот счет. Народ хотел воли и земли, полного освобождения от помещичьего гнета и истинно справедливого освобождения — экспроприации помещичьих земель.

19 февраля 1861 года царь подписал «освобождение», а 5 марта оно было опубликовано после четырехлетней «подготовки» в тайниках правительственных канцелярий.

Буржуазно-либеральные историки и публицисты постарались расписать и разукрасить этот плод крепостнического творчества. Наперебой они сообщали, как Александр II, подписывая «волю», в эту «торжественную, святую минуту» «остался один, наедине со своей совестью», без свидетелей, как царь в «лихорадочном волнении» подписал «Положения» гусиным пером. «Свершилось! Жребий брошен! Рубикон перейден!» — так помпезно писала о реформе либерально-буржуазная публицистика.

Буржуазные историки и публицисты, как ни искали во всей всемирной истории, немного находили дней, подобных 19 февраля 1861 года. «Либеральные соловьи», как выразился Салтыков-Щедрин, выводили свои «либеральные фиоритуры», во-всю старались расписать «медовый месяц свободы».

Окончательный текст «манифеста» составлен был для вящей убедительности реакционером и мракобесом, московским митрополитом Филаретом, который был, между прочим, яростным противником какого бы то ни было освобождения крестьян от крепостной зависимости.

Лишь 5 марта «манифест» огласили с церковных амвонов. Видимо, для большей торжественности в день объявления царского манифеста о «воле» в столицах, на улицах то-и-дело появлялись конные и пешие жандармские патрули

с заряженными ружьями. Петербургский генерал-губернатор Игнатьев накануне дал инструкции воинским частям с указаниями, куда и каким полкам прибыть и быть в боевой готовности.

Собравшиеся в Зимнем дворце «освободители» внимательно и пугливо прислушивались к уличным шумам: сброшенная с дворцовой крыши глыба снега, по признанию дежурившего в тот день во дворце свитского генерала, испугала обитателей дворца: ее гул приняли за выстрел.

Видимо, для большей торжественности вместе с царским манифестом о «воле» во все концы страны были посланы наделенные особыми полномочиями флигель-адъютанты — «каратели», «усмирители», введившие «свободу» вооруженной силой.

Агенты III отделения усиленно собирали сведения о толках и слухах, ходивших в народе.

В доме министра внутренних дел был устроен особый телеграф для секретных сношений с губернаторами.

В полицейских участках было заготовлено по несколько возов розог. «Полицейские, — рассказывает современник, — когда их спрашивали: «зачем им вдруг понадобились розги в таком огромном количестве», не запинаясь, хотя и шопотом, отвечали: «для сечения дворовых людей, которые перестанут слушать своих господ». В полицейских участках были расположены «на всякий случай» роты солдат. Дворникам полиция приказала наблюдать, чтобы не собиралось более трех человек и чтобы они подслушивали, о чем говорят. «Во всех казармах, — свидетельствует современник тех событий, — сухопутных и кавалерийских полков роздали солдатам боевые патроны, а в артиллерийских — зарядили пушки».

В день «объявления воли» Чернышевский утром пришел к Некрасову.

— Так вот что такое эта воля! Вот что такое она, — взволнованно, сжимая в руках лист «манифеста», сказал Некрасов.

— А вы чего же ждали? — ответил Чернышевский. — Давно было ясно, что будет именно это.

С величайшим недоверием принял народ «царскую волю». Очень скоро недоверие переросло в открытое негодование.

Царь и помещики недаром ждали взрыва народного возмущения. Оно не замедлило сказаться, ярко окрасив собой всю эпоху крестьянской реформы.

Народ ответил на царскую «манцыпацію» новым взрывом возмущения и протеста, новой волной крестьянских восстаний.

«Либеральные соловьи» изображали дело таким образом, что манифест и «Положения» не дошли-де до народа ввиду их обемистости, тяжелого стиля, витиеватости, малопонятности народу «внешне» неуклюжего документа «Положений», полного казенно-бюрократических фраз. Довольна жалка эта «аргументация» апологетов реформы 1861 года.

Народ ответил на эту реформу вещами посерьезнее тех, что с возмущением отмечены крепостником кн. В. П. Мещерским в его «Воспоминаниях»: «их» крестьяне после 19 февраля не приходили на пасху поздравлять своего барина. Неплохо ожидание крестьянами царской реформы выразил поэт того времени П. Шумахер в стихотворении «Кто она така?»:

— «Тятка, эвон что народу
Собралось у кабака:
Ждут каку-то все свободу;
Тятка, кто она така?».
«Цыц! Никшки! Пушай гуторят.
Наше дело — сторона;
Как возьмут тебя да вспорют,
Так узнаешь, кто она!»¹.

Народ не хотел принять крепостнические «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».

«Положения» устанавливали, что крестьяне еще до выкупа земли должны быть «временно обязанными» в течение двух лет. «Положения», по сути дела, предоставляли помещику установление цены земли, выкупаемой крестьянами, отводили крестьянам далеко не всю землю, которой они пользовались и при крепостном праве. Помещики получали право «отрезков» и отрезали лучшие, вы-

годнейшие земли, открыто грабя крестьян. Надеясь их землей (которую они должны были выкупить у помещиков), правительство полагало, что оно предотвращает образование в России рабочего класса. На деле реформа ускорила образование в России пролетариата; наряду с развитием промышленности, требовавшей рабочих, разорение крестьянских масс все больше «выталкивало» людей из деревни на фабрики и заводы.

Крестьянин получал в результате реформы 1861 года некоторую относительную личную свободу. Юридически крестьянин не мог быть продаваем, обмениваем, подарен. Но экономически и политически угнетение крестьян помещиками оставалось в полной силе и после отмены крепостного права. Остатки и пережитки крепостничества были огромны.

Очень любопытно свидетельство П. Кропоткина, который в своих «Записках революционера» пишет, что для помещиков «освобождение крестьян» оказалось, в сущности, выгодной сделкой. Так, например, — рассказывает Кропоткин, — «та земля, которую отец мой, предвидя освобождение, продавал участками по одиннадцати рублей за десятину, крестьянам ставилась в 40 рублей, то-есть в 3½ раза больше. Так было везде в нашей округе» (понятие «нашей округи» явно должно быть расширено до размеров всей страны. — И. Н.). «В Тамбовском же, степном имении отца, — продолжает Кропоткин, — мир снял всю землю на двенадцать лет, отец получал вдвое больше, чем прежде, когда землю обрабатывали ему крепостные»¹.

Ленин гениально определил существо и смысл реформы 1861 года. Он неизменно указывал, что, поскольку крестьян «освобождали» помещики и дворянско-помещичье правительство самодержавного царя, крестьяне вышли «на свободу», ободренные до нитки.

Ленин, подчеркивая связь революционных событий 1905 года с «крестьянской реформой», говорил: «1861 год породил 1905-й».

¹ П. Шумахер. «Стихотворения и сатиры», 1937, стр. 56.

¹ П. Кропоткин. «Записки революционера», изд. 1920 г., стр. 105.

Ленин теоретически и политически разбил народников, утверждавших, что реформа 1861 года принципиально враждебна развитию капитализма в России. Он доказал, что эта реформа явилась одним из моментов смены в России феодально-крепостнического способа производства буржуазно-капиталистическим способом производства, что русский крестьянин, освобождаясь в 1861 году от крепостной системы, вступал в условия буржуазных общественных отношений. Реформой 1861 года Россия, по словам Ленина, делала шаг по пути превращения феодальной монархии в буржуазную.

«Пресловутое «освобождение» (то-есть реформа 1861 года. — И. Н.), — писал Ленин, — было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними. По случаю «освобождения», от крестьянской земли, отрезали в черноземных губерниях свыше $\frac{1}{5}$ части. В некоторых губерниях отрезали, отняли у крестьян до $\frac{1}{3}$ и даже до $\frac{2}{5}$ крестьянской земли. По случаю «освобождения», крестьянские земли отмежевывали от помещичьих так, что крестьяне переселялись на «песочек», а помещичьи земли клинком вгонялись в крестьянские, чтобы легче было благородным дворянам кабалить крестьян и сдавать им землю за ростовщические цены. По случаю «освобождения» крестьян заставили «выкупать» их собственные земли, причем содрали вдвое и втрое выше действительной цены на землю. Вся вообще «эпоха реформ» 60-х годов оставила крестьянина нищим, забитым, темным, подчиненным помещикам-крепостникам и в суде, и в управлении, и в школе, и в земстве»¹. Ленин называл «великую реформу» крепостнической реформой, проводимой крепостниками буржуазной реформой. Крестьянин, вырываясь из-под власти крепостника, становился под властью денег, попадая в условия товарного производства, растущего капитализма.

Ленин считал 19 февраля 1861 года началом в России буржуазной эпохи, выраставшей из крепостнической эпохи.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XV, стр. 142.

★

Ф. Энгельс писал в восьмидесятых годах: «Так называемое освобождение крестьян (в России. — И. Н.) создало безусловно революционное положение, поставив крестьян в такие условия, при которых они не могут ни жить, ни умереть»¹.

Даже по официальным данным 1861 год был годом крестьянских восстаний против реформы 19 февраля. До восьмисот случаев восстаний, охватывших десятки тысяч крестьян, отказывавшихся дальше работать на барщине, платить оброк, подписывать так называемые «уставные грамоты», — это был ответ крестьянских масс на царскую «волю».

Самодержавие со страшной жестокостью подавляло вспышки народного гнева против угнетателей. Наиболее известные бездннские и кандиевские крестьянские восстания, ярко выражавшие собой революционный протест крестьянских масс против реформы 19 февраля.

В с. Бездна бывшей Казанской губернии об'явление царской «воли» 19 февраля вызвало протест крестьянских масс, отказавшихся идти на барщину и дальше, к чему их обязывали «Положения».

Известие о кровавой расправе генерала Апраксина и его отрядов с крестьянским восстанием вызвало ликование среди казанских помещиков. Один из современников писал по поводу этого ликования: «Главное, что теперь высказывается, — это какое-то каннибальское неистовство дворян... Как прежде они все боялись бунтов, так теперь не могут скрывать своей неистовой радости, что их взяла. Апраксин, который пока жил в Казани, слыл у них за дурака и неуча, теперь возведен в герои, и ему готовят ордена»².

Не менее характерно и известное восстание в Пензенской губернии, куда был послан об'являть «волю» свитский генерал Дренякин. Столкнувшись с «бун-

¹ «Летописи марксизма» VII—VIII, стр. 61. Письмо Ф. Энгельса неизвестному о русских делах.

² «Голос минувшего», 1917, сентябрь — октябрь.

том» крестьян Кандиевки, браваый генерал испрашивал телеграммой у царя разрешение «решить виновников» по своему суду. Царь, разумеется, разрешил.

Полилась крестьянская кровь.

Как и в Бездне, и в других местах убитые и раненые крестьяне покрыли собой землю, за которую восстали.

Так вводили на местах «освобождение крестьян» царские сатрапы, снабженные мандатами, гласившими, что они посылаются «для содействия, как особые доверенные лица государя императора, губернскому начальству в распоряжениях его как по приведению в исполнение означенных законоположений (о крестьянах), так и по сохранению при сем. в губернии порядка и спокойствия».

В эпоху шестидесятых годов крестьянские массы искали выхода из тупика в борьбе за настоящее освобождение.

Но, как и исторические восстания прошлого, крестьянские «бунты» шестидесятых годов, при всей своей грозности, не смогли еще не только уничтожить, но и поколебать самодержавие.

Среди угнетенных масс еще не было передовой ведущей силы — революционного рабочего класса. Крестьянские восстания эпохи шестидесятых годов не имели успеха, ибо не сочетались еще с рабочими восстаниями, которые бы возглавляли крестьянское движение и руководили им.

Как учат, обобщая опыт исторического развития, Ленин и Сталин, только такое сочетание сил могло привести к цели, а условий такого сочетания еще не было в эпоху реформ шестидесятых годов.

Когда в России созрел рабочий класс, поднялся во главе со своей партией на революционную борьбу, поведя за собой крестьянские массы, — революция победила.

В эпоху реформы 1861 года высоким уровнем политического сознания обладали лишь отдельные революционеры, прежде всего Чернышевский.

Он и выразил это сознание полнее и отчетливее всех в непримиримой борьбе с крепостниками и либералами. Он обличал обманную крепостническую суть

«крестьянской реформы» 1861 года, защищал интересы угнетенных крестьянских масс, представлял тогда великую историческую демократическую тенденцию развития России, отстаивал идею свержения самодержавия, гнета помещиков, всякой эксплуатации.

Отношение к «крестьянской реформе» со стороны революционной демократии во главе с Чернышевским запечатлено в двух публицистических документах большой политической силы, однако в то время не увидевших света, — в прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» и в статье «Письма без адреса» Чернышевского.

В «Современнике», в своем боевом органе печати, Чернышевский вынужден был молчать. Он не мог сколько-нибудь открыто высказать свою революционную точку зрения на проводимую царем и правительством вкупе с помещиками «крестьянскую реформу». Самое молчание Чернышевского, столь много писавшего об освобождении крестьян до реформы, было весьма красноречиво и многозначительно.

В романе «Пролог» Волгин говорит, что не может писать того, что хочет. «Что я могу отрицать! — восклицал Волгин, — может ли немой отрицать?». Так и Чернышевский чувствовал себя немой, не имея возможности выразить свое подлинное отношение к реформе.

В начале 1862 года он все же делает попытку высказать в «Современнике» свой взгляд на реформу. Он пишет свои «Письма без адреса». Но вся статья была перечеркнута цензорским карандашом, запрещена и тогда не увидела света; впервые она была опубликована уже спустя двенадцать лет за границей в нелегальной русской печати.

В целях маскировки статья называлась «Письма без адреса». Но на самом деле письма адресовались Александру II. «Вы недовольны нами, — писал Чернышевский своему «неизвестному» адресату. — Это пусть будет как вам угодно... мы не ищем ваших одобрений». И Чернышевский указывает, что для его трудов, имеющих единственную цель — быть полезными русскому народу, есть судья, который — увы! — не может еще про-

износить оценку. Этот судья — народ.

Чернышевский прямо указывает, что крестьянские массы не принимают предписанных «Положениями» 19 февраля уставных грамот, то-есть так называемых «соглашений» с помещиками, диктуемых помещиками же.

Анализируя положение в начале «крестьянского дела», то-есть в эпоху подготовки реформ, Чернышевский отмечает наличие четырех сил: во-первых, бюрократической власти, во-вторых, просвещенных людей, находивших нужным уничтожение крепостного права, то-есть «либералов», в-третьих, помещиков, противившихся реформе в силу своих экономических интересов, и, наконец, в-четвертых, крепостных крестьян, страдавших от крепостного права. Но соотношение этих сил было неравно. Крепостное право основывалось на дворянско-помещичьей государственной власти. И потому, — указывает Чернышевский, — отмена его проводилась бюрократически и «в пристрастии к дворянству». «...Результат, — пишет Чернышевский, — оказался такой, что изменены были формы отношений между помещиками и крестьянами с очень малым, почти незаметным изменением существа прежних отношений. Этим думали удовлетворить помещиков... Предполагалось сохранить сущность крепостного права, отменив его формы, — дворянство видело, что власть старалась сделать для него все, что могла»¹.

Так Чернышевский сразу же после реформы 19 февраля видел и отмечал ее крепостнический характер, единство целей и действий правительства, власти и класса помещиков-дворян.

Чернышевский указывает, что на первых порах крепостные крестьяне не поверили, что обещанная им воля ограничена теми формальными только переменами, которыми отличаются «Положения». Потому повсюду, — говорит Чернышевский, — произошли столкновения между крепостными крестьянами и властью.

Целым рядом выкладок и цифр Чернышевский доказывает, что проведенное царем, правительством и помещиками уничтожение крепостного права ухудшило положение крестьян. Так, если при крепостном праве с крестьян брались за одну десятину 2 р. 9 к., то по «Положению» 19 февраля, наряду с тем, что от крестьянской земли должны быть отрезаны в пользу помещика лучшие земли (свыше ста тысяч десятин), за остающуюся худшую землю крестьяне должны платить оброку по 2 р. 30½ к. за десятину.

Чернышевский пытался в подцензурной статье доказать грабительский, крепостнический характер проведенной реформы. Но в полной мере свою оценку реформы передовая революционная демократия дала в прокламации, обращенной уже непосредственно к крестьянам: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон».

Вопрос об авторстве этого документа, о принадлежности его Чернышевскому в исторической литературе считается решенным, главным образом благодаря положительному свидетельству Н. В. Шелгунова — деятеля эпохи шестидесятых годов, указывавшего, что именно Чернышевский написал прокламацию, о которой идет речь.

Она — замечательный документ русской политической мысли, яркий образец революционной литературы в России XIX века. Оценка реформы 19 февраля, данная в этой прокламации, показывает весьма высокий уровень политического сознания лагеря Чернышевского в эпоху реформы.

Блестящий образец истинно-народной литературы, прокламация «Барским крестьянам...» сохраняет характерные стилистические черты крестьянского обращения, письма, крестьянского разговорного языка и должна была бы, если бы удалось ее распространить, дойти до самых широких крестьянских масс.

Сразу же в прокламации указывается, что в результате 19 февраля положение крестьян остается тяжелым. «Только в словах и выходит разница, что названья переменяются. Прежде крепостными, либо барскими вас звали, а ныне срочно-

¹ Н. Г. Чернышевский. Избранные сочинения, ГИЗ, 1928, т. I, стр. 122.

обязанными¹ вас звать велят; а на самом деле перемены либо мало, либо вовсе нет». «...А, по-нашему, надо сказать: вольный человек, да и все тут. Да чтобы не названием одним, а самым делом был вольный человек».

В прокламации говорилось, что в результате реформы 19 февраля крестьяне вовсе не стали свободными, что будут отрезать лучшие земли, где четвертую долю, где — третью, а где и целую половину, что мужик попадает в новую кабалу к помещику, еще более тяжелую, чем прежде. За луга, сенокосы, за лес, за озеро — за все будет крестьянин платить помещику, который и усадьбы сможет перенести, куда захочет. И пойдет мужик в батраки.

Прокламация объясняла, что нечего народу ждать свободы от царя: «Оболгал он вас, оболстил он вас. Не дождетесь вы от него воли, какой вам надобно... Сам-то он, кто такой, если не тот же помещик?... Волю, слышь, дал он вам! Да разве такая взаправду-то воля бывает?». И автор прокламации разъясняет, какая в действительности нужна крестьянам воля.

Это объяснение страдает некоторой идеализацией так называемых демократических устройств западноевропейских стран, рисует некоторые буржуазно-демократические свободы, восхваляет общину. Но главное, «чтобы народ всему голова был». И прокламация призывает крестьян к единодушию и собиранию сил, к единению с солдатами, к обучению военному делу, «плечом к плечу плотнее держаться да команды слушаться, да пугающего страха не бояться, а мужество иметь во всяком деле», запастись оружием.

Прокламация понятным, доходчивым до крестьян языком звала к единодушию, ибо «один в поле не воин». Нет никакого толку в единичных, раздробленных восстаниях, бунтах по отдельным селам, — надо, чтобы все крестьяне готовились; наступит время «ну, тогда и при-

¹ В «Положениях» указано «временно-обязанные», хотя во время подготовки реформы проектировалось называть крестьян «срочно-обязанными».

шлем, — обещает автор, — такое явление, что гора доброе дело, то-есть революцию, начинать».

Так пытался лагерь Чернышевского объяснить крестьянству сущность и смысл обманной реформы 19 февраля 1861 года и призвать крестьянство к революции против самодержавия и помещиков.

В романе «Пролог», рисующем эпоху шестидесятых годов, написанном Чернышевским уже в ссылке, он возвращается к реформе 19 февраля.

Некий усатый старик-крепостник признает, что надо торопиться с отменой крепостного права, не то грянет крестьянский бунт. «Помнят ли господра пугачовщину?» — многозначительно спрашивает «старик» своих собеседников.

«Крепостное право будет уничтожено, — говорит в романе либерал Савелов, — но право собственности останется священной».

А революционер Волгин (автобиографический образ романа), видя крепостническую подготовку реформы, говорит: «Толкуют: «освободим крестьян». Где силы на такое дело? — Еще нет сил. Нелепо приниматься за дело, когда нет сил на него... станут освобождать. Что выйдет?.. Натурально, что: испортишь дело, выйдет мерзость... Эх, наши господа-эмансипаторы, все эти ваши Рязанцевы с компаниею, — вот хвастуны-то; вот болтуны-то; вот дурачье-то...».

Волгин, видя, что дело отмены крепостного права — в руках помещичьей партии, и не ожидая потому для крестьян ничего хорошего от намечающегося «освобождения», горячо возражает на указание, что есть-де колоссальная разница (в данных условиях) между освобождением крестьян с землею или без земли: «Нет, — говорит Волгин (Чернышевский), — не колоссальная, а ничтожная.. Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю без выкупа. Взять у человека вещь или оставить ее у человека — но взять с него плату за нее — это все равно. План помещичьей партии разнится от плана прогрессистов (то-есть либералов.—И. Н.) только тем, что проще, короче. Выкуп та же покупка».

Чернышевский мечтал о взрыве крестьянской революции, которая бы дейст-

вительно и решительно уничтожила крепостное право, а с ним вместе весь строй самодержавия. В этом и состояла боевая политическая программа Чернышевского в эпоху «крестьянской реформы». К ней, проводимой крепостниками реформе, революционер-демократ Чернышевский относился безоговорочно отрицательно, ибо, будучи защитником крестьянских масс, он отлично понимал, что этим массам проводимая реформа несет новую кабалу, новые лишения.

«И он, — писал Ленин о Чернышевском, — протестовал, проклинал реформу, желая ей неуспеха, желая, чтобы правительство запуталось в своей эквилибристике между либералами и помещиками и получил крах, который вывел бы Россию на дорогу открытой борьбы классов»¹.

Чернышевский боролся за «американский путь» развития сельского хозяйства в России, такой путь развития, при котором крепостничество уничтожается революционно, экспроприируя помещичьи хозяйства. Когда в эпоху реформы 1861 года резко столкнулись крестьянские и помещичьи интересы, Чернышевский защищал крестьянские интересы, отстаивая всеми возможными в его положении подцензурного публициста способами путь крестьянской демократической революции против самодержавия и помещичьего господства.

Возможность такой революции существовала и накануне реформы 19 февраля и в первое время после нее. Но известно, что не всякая революционная ситуация разрешается революцией.

Чернышевский был революционером, отчетливо понимал, что коренные вопросы общественного развития разрешаются не иначе, как путем революции. Он указывал, что реформами решаются второстепенные общественные дела; «но очень важные для общества дела никогда так (т.-е. путем реформ. — И. Н.) не делались».

Чернышевский говорил свои замечательные слова, на которые потом любил ссылаться Ленин в борьбе против оппортунистов и соглашателей: «Историче-

ский путь — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность. Она — занятие, благотворное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей»¹.

Он обличал пустоту либерализма, «хлопотавшего об отвлеченных правах, а не о благе народа», чуждом либералам. Он гневно клеймил либералов, тех, кто «верили наполовину» и «отрицали наполовину».

«От его сочинений, — писал о Чернышевском Ленин, — веет духом классовой борьбы». Он был последовательным боевым революционером-демократом, боровшимся за идеи крестьянской демократической революции.

VI

Шестидесятые годы прошлого столетия буржуазно-либеральные историки и публицисты называли «эпохой великих реформ». Мы видели «величие» этих реформ.

Для нас шестидесятые годы — эпоха Чернышевского. Он ее центральная фигура. Как ее крупнейший политический деятель, он стоял во главе передовых сил русского общества.

Не только с крепостничеством в экономической и политической жизни страны боролся Чернышевский, но и со всем строем крепостнических установлений в науке, литературе, быту, во всей широкой области человеческих отношений.

Либерально-буржуазные историки и публицисты весьма идеализировали эпоху крестьянской реформы 1861 года, неизменно писали о ней в высокаторжественных, патетических тонах, как о периоде, равного которому по значению не знала Будто бы вся предшествующая история России.

Все русское общество той эпохи, — пишут они, — «дохнуло так глубоко и мощно, что многие цепи и обручи мгновенно лопнули». Все стали думать в

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. I, стр. 180.

¹ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 37 — 38.

«одном направлении, в направлении свободы... разработки лучших условий жизни для всех и для каждого»; будто всем было ясно, что дальше нельзя жить по-старому: все шло в одном общем направлении; «все общественное движение представлялось одною широкою, поднимающеюся волною, захватывающею собою и правящие сферы, и средние круги обывателей... и передовые ряды интеллигенции страны». И млад, и стар, все были охвачены жаждой обновления, везде в департаменте, в министерстве, в конторе, в управлении все люди были, словно влюбленные, — «кровь кипит, виски бьются, а глаза горят». Сказочный подъем, «заря святого искупления». «Все очнулось, в сем овладело кригическое отношение к прошлому, в сем хотелось перемен».

Все это неимоверно приукрашено.

Эпоха шестидесятых годов действительно весьма важный период исторического развития России. Но он характеризуется не всеобщим стремлением к обновлению, а весьма острой классовой борьбой за действительное обновление России, борьбой, которую вел лагерь «Современника» во главе с Чернышевским против господствующего класса.

Общественный подъем в передовом лагере общества сталкивался со свирепейшей реакцией, все усиливавшейся в ходе осуществления крестьянской реформы.

Реакция везде и во всем искала «красноту». Весьма характерны «Записка о разных неблагоприятных толках и неблагоприятных людях» и «Список подозрительных лиц в Москве», поданные в 1858 году московским генерал-губернатором Закревским главноуправляющему III отделением Долгорукову.

Московскому генерал-губернатору, свирепейшему крепостнику и самодуру Закревскому, тогда везде мрещились тайные политические общества.

Указывая на издающиеся в Москве журналы, сей ревностный слуга царизма намечал ряд разрабатываемых журналами вопросов, которые могут послужить поводами к государственному перевороту. Среди них, конечно, прежде всего крестьянский вопрос — «орудие

для возбуждения крестьян против помещиков, а последних против правительства» (?—И. Н.). Далее московский генерал-губернатор обрушивается на «фабричный люд», «класс людей», который «давно подготавливается уже к беспорядкам».

Список «подозрительных лиц», представленный Закревским III отделению, очень широк: славянофилы — братья Аксаковы, Хомяков, Кошелев, Самарин, Погодин и другие в этом же духе. А ведь именно Погодин автор поистине классической фразы: «В благонамеренности я не уступлю никому на свете». Это совершенно точно и верно. Ее могли бы сказать и остальные перечисленные лица. Почти каждого из них насмерть перепуганный московский губернатор, как видно ничего не понимавший в борьбе политических партий той эпохи, аттестовал стандартной и достаточно выразительной формулой: «желает беспорядков и возмущений», «желает переворотов и на все готовый». Напрасно М. Лемке, много потрудившийся над опубликованием материалов и документов эпохи шестидесятых годов, считал, что Закревский «не ошибался... когда посылал в Петербург этот список 30 демагогов»¹. Эти «тридцать демагогов» решительно никакой «опасности» для самодержавно-государства не представляли.

Но были действительно передовые, прогрессивные силы общества. Они вели непримиримое идеологическое наступление на феодально-крепостническую действительность, на господствующий класс дворян-помещиков и самодержавное правительство. Их деятельность вместе с крестьянскими восстаниями того времени и придает эпохе шестидесятых годов черты общественного под'ема.

В общественную жизнь страны, и прежде всего в литературу, пришел революционер-разночинец, «новый человек».

XIX век в русской истории замечателен непрерывно развивающимся революционно-освободительным движением: от декабристов к Герцену и Белинскому, от Белинского — к Чернышевскому и Добролюбову.

¹ «Эпоха цензурных реформ», стр. 9.

В шестидесятых годах явились революционеры-разночинцы, уже не знавшие колебаний и непоследовательностей, присущих даже таким революционерам эпохи сороковых-шестидесятых годов, как Герцен, повели борьбу за демократическую революцию в России, за коренные изменения всего строя жизни снизу доверху.

Разночинец шел в жизнь, неся свои демократические идеалы, свою материалистическую философию, новое мировоззрение демократии и революционного просветительства, пронизывавшее всю широкую область идеологии — и политику, и философию, и искусство, и литературу, и этику, и науку.

Разночинец нес с собой непримиримую, в ы с т р а д а н н у ю демократическую вражду к господствующему классу и горячее, искреннее сочувствие угнетенному народу. И не только сочувствие, но и готовность бороться за народную свободу.

Разночинец шел в науку, в литературу, стремился к знаниям, захваченным господствующими классами. Он идейно рос, воспитываемый сочинениями Белинского, Герцена, Чернышевского и Добролюбова, поэзией Некрасова, Шевченко, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, сатирой Салтыкова-Щедрина.

Были люди—разночинцы, бедняки, демократы по всем условиям своей жизни, из далеких углов добравшиеся до университетских городов, кочегарами на пароходах. Это еще не было массовым явлением, но это уже не было исключительным случаем, вроде Ломоносова.

Ярким эпизодом происходившей тогда в русском освободительном движении смены дворянских революционеров «разночинцами»-революционерами явилась знаменитая полемика между «лондонскими эмигрантами» (кружок Герцена) и лагерем «Современника». Poleмика эта вызвала тайную поездку Чернышевского к Герцену в Лондон для объяснений.

В сороковых годах произведения Герцена наряду с произведениями Белинского играли очень видную роль в идейном формировании Чернышевского, питавшего к Герцену большое уважение,

как к одному из своих русских идейных учителей.

Чернышевский был свободен от того восторженного отношения к Герцену, которое в середине пятидесятых годов испытывал Добролюбов, но, несомненно, и Чернышевский цитал к нему большое уважение.

Герцен был великим революционером. Его историческая роль в русском революционно-освободительном движении очень велика. Он с небывалой до него широтой и силой развернул в своей вольной печати революционную агитацию, способствовавшую пробуждению революционеров шестидесятых годов. Но, будучи представителем поколения дворянских революционеров, в начале шестидесятых годов¹ Герцен одно время поддался либеральным иллюзиям, главным образом в связи с царскими рескриптами конца 1857 года. К Герцену тогда были близки известные лидеры либералов, как Кавелин, — в политике и публицистике, Тургенев — в литературе. Вскоре Герцен, однако, преодолел многие либеральные иллюзии и при всех его отступлениях от демократизма, как указывал Ленин, «демократ все же брал в нем верх».

Либеральные ошибки Герцена вызвали по его адресу упреки со стороны лагеря революционной демократии во главе с Чернышевским и Добролюбовым. Они в то время особенно сильно развернули критику дворянского либерализма, критику «лишних людей», либералов-идеалистов сороковых годов.

Новое, выступившее с таким напором поколение революционеров, различно демократической молодежи критиковало Рудиных, «лишних людей» сороковых годов, в большинстве своем выродившихся в либералов, стоявших на стороне царизма. Герцен ошибочно, болезненно воспринял эту критику, как полное отрицание роли его поколения передовых людей сороковых годов. Так вос-

¹ Хронологически — со второй половины шестидесятых годов; надо иметь в виду, что эпоха «шестидесятых годов», как принято в исторической литературе, обычно считается со второй половины пятидесятых годов, с окончания крымской войны.

принял Герцен знаменитую статью Добролюбова «Что такое обломовщина?». К тому же Герцен — и это также одна из его либеральных ошибок — отверг критику «Современником» так называемой в то время «обличительной литературы», гласности, столь раздуваемой либералами в противовес революционной пропаганде революционеров-демократов.

И в «Колоколе» летом 1859 года (№ 44) появилась резкая статья против «Современника» «Very dangerous!» («Очень опасно!»).

Выпад Герцена, тогда признанного вождя освободительного движения, против лагеря «Современника», конечно, не замедлил вызвать одобрение либералов, ненавидевших революционных демократов — Чернышевского и Добролюбова.

Статья Герцена возмутила лагерь «Современника». Добролюбов сначала, узнав от Некрасова о статье Герцена, не поверил в возможность тех обвинений, которые несправедливо бросал Герцен «Современнику». Убедившись в реальности статьи Герцена, Чернышевский и Добролюбов пришли к убеждению о необходимости объясниться с ним. «Надо писать Герцену письмо с объяснением дела, — записывает Добролюбов в свой дневник. — Меня сегодня целый день преследовала мысль об этом, и мне все было как-то неловко: как будто у меня в кармане нашлись чужие деньги, бог знает, как туда попавшие...»¹. И уже спустя несколько дней после первого же сообщения о статье Герцена в «Колоколе» Чернышевский тайно выехал в Лондон к Герцену объясняться.

К сожалению, нет абсолютно точных документов, которые бы характеризовали эту весьма важную поездку, но самый факт свидания Чернышевского с Герценом в Лондоне, как и общие результаты поездки, несомненны.

Добролюбов в июне 1859 года глухо пишет в одном из своих писем, что Чернышевский «уехал за границу»². В одном из писем Чернышевского к отцу, как и в некоторых письмах родных к Чер-

нышевскому, есть также глухие упоминания о какой-то его поездке.

Во второй половине июня Чернышевский уже писал Добролюбову из-за границы: «Оставаться здесь долее было бы скучно, но если б знал, что это дело так скучно, не взялся бы за него... по делу надобно вести какие разговоры! Не хочу писать, чтобы не огорчить Пыпина, через руки которого пойдет это письмо, но, если хотите вперед узнать мое впечатление (т.-е. впечатление от бесед с Герценом. — И. Н.), попросите Николая Алексеевича (т.-е. Некрасова. — И. Н.), чтобы он откровенно высказал свое мнение о моих теперешних собеседниках, и поверьте тому, что он скажет; он ошибется разве в одном: скажет все-таки что-нибудь лучшее, нежели сказал бы я об этом предмете. Кавелин в квадрате — вот Вам все»¹. Оставляя сейчас в стороне несправедливость этой последней резкой оценки, необходимо подчеркнуть, что поездка Чернышевского к Герцену, их беседа совершенно, как очевидно, не удовлетворила Чернышевского.

После встречи Чернышевского с Герценом в «Колоколе» появилась заметка, в известной мере исправлявшая ошибку Герцена. В этой заметке указывалось, что нападки «Колокола» на «Современник» за критику последним либерально-«обличительной литературы» и прежнее обвинение, будто бы этой критикой «Современник» помогает правительственной цензуре, — не носили оскорбительного для «Современника» характера. Издатели «Колокола» уверяли «честным словом», что они лишь прибегли к ироническим выражениям, которые нельзя брать в прямом смысле. Несомненно, Герцен хотел этой заметкой как-то исправить свою грубую ошибку в отношении «Современника». Характерно, что в самом начале заметки, носящей примирительный характер, издатели «Колокола» называют лагерь «Современника» «нашими русскими собратьями». В сущности, конечно, такими «собратьями» и были руководители «Современника» и

¹ Н. А. Добролюбов. «Дневник», изд. 1931 г., стр. 191.

² «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова». 1890, стр. 521.

¹ Н. Г. Чернышевский. «Лит. наследие», т. II, стр. 365 — 366.

издатели «Колокола», — это особенно ярко проявится вскоре, в связи с варварским осуждением Чернышевского царским правительством.

Полемика «Современника» и «Колокола» и поездка Чернышевского на свидание с Герценом важны в биографии Чернышевского, как и вообще в истории общественного движения шестидесятых годов. Может быть, одним из последствий этого свидания следует считать напечатанное в «Колоколе» письмо к Герцену, подписанное «Русский человек», критикующее либеральные ошибки Герцена, ярко рисуящее политические настроения лагеря Чернышевского. Это письмо — яркий документ революционного движения эпохи шестидесятых годов¹. Есть немало оснований считать автором этого чрезвычайно важного письма Чернышевского или во всяком случае человека, очень близко стоящего к лагерю, возглавлявшемуся Чернышевским. Участник тайного кружка «Земли и Воли» шестидесятых годов А. А. Слепцов утверждает, что письмо «Русского человека» — письмо Чернышевского.

«К концу царствования Николая, — пишет автор письма, — все люди, искренно и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силою можно вырвать у царской власти человеческие права для народа...»². «...Крестьяне, — пишется далее в письме, — которых помещики тиранят теперь с каким-то особенным ожесточением, готовы с отчаяния взяться за топоры, а либералы исповедуют в эту пору умеренность, исторический постепенный прогресс...». «...Наше положение ужасно, — заканчивается письмо, — невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет! Эту мысль вам, ка-

жется, высказывали¹, и оно удивительно верно, — другого спасения нет. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь!».

Боевой лагерь передовой революционной демократии во главе с Чернышевским был крайне немногочислен, хотя аудитория, на которую идейно влиял «Современник», была по тому времени общественного движения в России широка и захватывала значительный круг людей.

Литературные аристократы и либералы питали злобу и ненависть к Чернышевскому, в котором они справедливо видели непримиримого врага. Они именовали его «литературным Робеспьером».

В сущности говоря, уже к 1857 году отношения вражды и борьбы между либеральным лагерем и руководящей группой «Современника» определились ясно. Чернышевский уже тогда писал Тургеневу об его литературных соратниках — Боткине, Дружинине, Дудышкине и других: «Вы по доброте вашей слишком снисходительно слушаете этих т.г. Боткиных с братиею. Они были хороши, пока их держал в ежовых рукавицах Белинский, — умны, пока он набивал им головы своими мыслями. Теперь они (т.-е. Боткины.—И. Н.) выдохлись, и, начав «глаголати от похотей чрева своего», оказались тупицами... Возьмите статьи Дудышкина — кроме тех мест, где он повторяет Белинского. Вы найдете одни пошлости... я вас попрошу указать мне во всем, что написано Боткиным, Дружининым, Дудышкиным, хотя одну мысль, которая не была бы или банальной пошлостью, или бестолковым плагиатом. По-моему, уж лучше Аполлон Григорьев — он сумасшедший, но все же человек (положим, без вкуса), а не помойная яма»². Резкость приведенных выражений Чернышевского могла бы быть признана

¹ Н. Г. Чернышевский. «Лит. наследие», т. II, стр. 405 — 408.

² Любопытно, что эти слова из письма напоминают утверждения Чернышевского в статье «Борьба партий во Франции...», где Чернышевский говорит в связи с либерализмом: «Сильны только те стремления, прочны только те учреждения, которые поддерживаются массою народа».

¹ Нет ли здесь намек на беседу Чернышевского с Герценом?

² Н. Г. Чернышевский. «Лит. наследие», т. II, стр. 358.

дипломатически изящной манерой выражения в сравнении с тем стилем, которым говорили о нем его многочисленные литературные враги.

В литературных кругах Чернышевский, играя очень видную роль, чувствовал себя чужим и, пожалуй, был чужим большинству литераторов, их образа жизни, не говоря уже о взглядах. Беспременно-труженически работая в «Современнике», он близко сошелся лишь с Добролюбовым и Некрасовым.

Нечего и говорить, что Чернышевский с его политическими и литературными взглядами должен был глубоко ценить демократическую, народную поэзию Некрасова. Отсюда их личная дружеская близость. Она была прочно основана на общем деле.

Личная близость Чернышевского, которого Некрасов защищал перед литературными врагами, служила Некрасову немалой моральной поддержкой в грустные, тяжелые времена жизни поэта: он вливал в поэта настроения бодрости, когда они подчас оставляли его.

Чернышевский видел в Некрасове надежду русской поэзии и общественности.

Чернышевский указывал, что благодаря Некрасову он имел возможность писать в «Современнике» так, как он писал.

И летом 1877 года уже в далекой сибирской ссылке из последних стихов Некрасова, напечатанных в «Отечественных записках», почувствовав тяжелую болезнь поэта, а затем из письма А. Н. Пыпина узнав о болезни Некрасова, Чернышевский писал Пыпину: «...если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его, как человека, что я благодарю его за его доброе расположение ко мне, что я цалую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему...»¹.

Горячие слова признания Чернышевского дошли до умирающего Некрасова.

В ответ, едва слышным шопотом, он просил передать Чернышевскому:

«Я очень благодарю; я теперь утешен; его слова дороже мне, чем чьи-либо слова»¹.

И уже спустя десять лет, в 1888 году, однажды², когда Чернышевский в узком кругу близких ему людей стал громко читать стихи Некрасова, он вдруг не выдержал и разрыдался, продолжая, однако, читать «Рыцаря на час».

Некрасов был единственным человеком среди крупнейших писателей эпохи шестидесятых годов, с которым Чернышевский сблизился, чувствуя в нем поэтического соратника в борьбе. Но особенно идейно и лично близок был Чернышевскому Добролюбов.

С первого дня знакомства, до последней минуты жизни гениального критика, на протяжении всего только пяти лет (из которых к тому же Добролюбов долго был в отсутствии, так как лечился за границей) их, Чернышевского и Добролюбова, соединяла самая тесная, какую только можно себе представить, дружба.

Чернышевского объединяла с Добролюбовым совместная работа в «Современнике», полная общность, можно сказать, тождественность теоретических и политических взглядов, непримиримо принципиальное отстаивание их. Иной дружбы у Чернышевского не могло и быть.

В общественном мнении того времени Чернышевский и Добролюбов всегда стояли рядом, нераздельно друг от друга. Так они и вошли в историю русской общественной мысли и литературы.

В статье «В изъятие признательности»³ Чернышевский отрицал свое влияние на Добролюбова, говорил о его превосходстве над собой. Но это, конечно, неверно. Идею влияние Чернышевского на Добролюбова несомненно, и это, разумеется, нисколько, ни на иоту не умаляет, как неправильно полагал Чернышевский, ни гениальности Добролюбова, ни его огромной роли в истории русской литературы и критики.

¹ Там же, стр. 210. См. «Письмо А. Н. Пыпина Чернышевскому».

² Как рассказывает М. П. Краснов. См. сб. «Переписка Чернышевского», изд. 1925 г., стр. 14.

³ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 100—104.

¹ «Чернышевский в Сибири». Вып. II, изд. 1913 г., стр. 200.

Чернышевский ввел Добролюбова в «Современник» летом 1856 года. И вскоре он мог целиком передать в ведение Добролюбова отдел критики и библиографии журнала.

Уже спустя два — два с половиной месяца после своего знакомства с Чернышевским Добролюбов писал одному своему приятелю: «С Ник. Гавр. я сближаюсь все более и все более научаюсь ценить его... ..Этот один человек может помирить с человечеством людей, самых ожесточенных житейскими мерзостями. Столько благородной любви к человеку, столько возвышенности в стремлениях и высказанной просто, без фразерства, столько ума, строго последовательного, проникнутого любовью к истине — я не только не находил, но не предполагал найти»¹. Характерно, что Чернышевский, впервые опубликовав в числе других и это письмо Добролюбова в «Материалах

для биографии Н. А. Добролюбова», изъял из письма эти восторженные отзывы Добролюбова о нем. Дело было не в цензурных соображениях: в других местах письма Чернышевский зашифровывал свое имя буквами NN¹, как в некоторых письмах Добролюбова, касающихся Чернышевского, вымышленным обозначением: «П. О. Л-ского».

Не раз засиживался Добролюбов у Чернышевского до поздней ночи, не замечая времени за беседами о литературе, о философии. Эти беседы Добролюбов оценивал, как свою школу. Он вспоминал, как Станкевич и Герцен «учили» Белинского, Белинский — Некрасова, историк Грановский — историка Забелина. Из прирожденной скромности не относя к себе столь «лестных сравнений», он хотел лишь всю честь сравнения адресовать Чернышевскому.

¹ Н. Г. Чернышевский. «Лит. наследие», т. III, стр. 509.

¹ «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», стр. 318.

(Окончание следует.)

Литература народов Средней Азии

ОТ ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XV ВЕКА Н. Э.

Е. БЕРТЕЛЬС

(Продолжение ¹.)

★

СРЕДНЯЯ АЗИЯ ПРИ МОНГОЛАХ И ИХ ПРЕЕМНИКАХ

Мы видели выше, как хорезмшах Текеш снова объединил под одной властью Среднюю Азию со всем Передним Востоком. Дальнейшее движение намечалось на Багдад с тем, чтобы раз и навсегда положить конец халифату. Этим грандиозным замыслам не суждено было осуществиться. Государство хорезмшахов раз'едалось изнутри непримиримыми противоречиями и было неспособно даже к сопротивлению. И оно пало под ударами страшного и могущественного врага — монголов.

Китайские историки делили обитавших в непосредственном соседстве с ними кочевников на три группы: белых монголов, живших на территории Китая и воспринявших много от китайской культуры, черных монголов, кочевавших к северу от пустыни Гоби, и «диких» монголов, или монголов лесных, находившихся еще на стадии охотничьих народов и существовавших охотой и рыбной ловлей в пустынных местностях за Байкалом.

Среди черных монголов выдвинулся искусный полководец и тонкий политик Темучин, родившийся в 1155 г. Постепенно объединяя вокруг себя родовых вождей, он в 1203 г. восстал против вождя могущественного племени карай-

тов Онг-хана, убил его, захватил власть над Восточной Монголией, а три года спустя (1206 г.), покорив себе и Западную Монголию, на торжественном курултае (с'езде) монгольских вождей принял новое имя Чингис-хана, которое вскоре стало наводить трепет чуть ли не на треть земного шара. Создав монгольское кочевое государство, Чингисхан сначала подчинил себе Китай, столица которого Пекин (ныне Бейпин) была взята в 1216 г., и затем двинулся на запад.

Первым препятствием на его пути было княжество тюрков-карлуков, уже успевших принять ислам и включиться в культурный круг халифата. Оно было сметено с лица земли монголами в 1218 году. Чингис-хану открылась дорога на Среднюю Азию, и он мог вступить в борьбу с самими хорезмшахами. Последние не смогли сдержать натиск завоевателей, так как не имели опоры в военных кругах и поддержки в массах. К тому же они оказались бессильными бороться с широко разработанной системой шпионажа, применявшейся монголами. Оставался один выход — воспользоваться тем, что монголы не умели воевать, и борьбу с ними объявить «священной войной» (джихадом). Но и это средство не помогло. Население не умело воевать, ибо давно уже насильственно отстранялось от участия в военных делах. Чингис-хан же, как дальновидный политик, в первых завоеванных

¹ См. «Новый мир», кн. 6 и 7 с. г.

им областях никакого преследования мусульман не вел, носителей правоверия не трогал, и потому духовенство отказалось поднимать против него массы.

Сын Текеша Мухаммед искал спасения в бегстве и умер на одном из островов Каспийского моря (1220). Его сын Джелаладдин проявлял чудеса ловкости и изворотливости, но, хотя и сумел на некоторое время удержаться в Азербайджане, все же в конце-концов (1231) был изгнан монголами и пропал без вести.

Неудержимый поток монголов шел дальше и дальше на запад. Пройдя через Закавказье, монгольские войска под начальством внука Чингиса Бату (Батыя) в 1224 г. разгромили русских князей в битве при реке Калке, уничтожили тюркское княжество булгар на реке Волге и устремились дальше через Москву, Киев, Польшу на венгерские равнины, где их наконец сдержали героические усилия чехов. Другой отряд под начальством сына Тулуя Хулагу пошел на юго-запад, вступил в Иран, где уничтожил твердыни исмаилитов, захватил Багдад, истребил аббасидов, прошел Сирию и разбился наконец только у границ Египта.

Так монголы сосредоточили в своих руках все страны от Китая до России. Надо сказать, что они не стремились к централизации этой гигантской территории. По обычаю кочевников ханы поделили завоеванные страны между членами правящего рода, каждый из них получил определенное количество вооруженных сил, армию (улус) и территорию для кочевья (юрт). Сын Чингиса Чагатай получил в удел всю Среднюю Азию и Восточный Иран, другому сыну, Джучи, досталась область от Украины до Аральского моря.

Угедей получил Тарбагатай и приалтайские степи, Тулуй должен был заменить отца (умершего в 1227 г.) в столице монголов — Каракоруме. После ряда внутренних междоусобиц и столкновений в 1257 г. уже окончательно выделились четыре главных ханства: китайское, туркестанское, кыпчакское и иранское.

Кыпчакское ханство, носившее назва-

ние Алтун орду — Золотая Орда — и являвшееся в течение ряда лет повелителем России, было сформировано Бату, который после разрушения столицы волжских булгар создал себе новую столицу на левом берегу Волги, по нижнему ее течению, — известный Сарай, достигший расцвета при хане Берке (1256 — 66). С середины XIV в. в Золотой Орде начинается период внутренних междоусобиц, приведших к тому, что восточно-кыпчакский хан Тохтамыш объединил под своей властью и Золотую, и Белую Орды. В 1382 г. он совершил второй набег на Россию, приведший к разграблению и сожжению Москвы и неслыханным жестокостям. Конец могуществу Тохтамыша положил новый завоеватель, мало чем уступавший Чингис-хану, — знаменитый Тимур, или, как его называли европейцы, Тамерлан, искажая его персидское прозвище «Тимур-и ленг» — Хромой Тимур, данное ему по причине его хромоты.

Историю туркестанских ханов мы знаем мало, и, как правили в XIII в. потомки Чагатай Средней Азией, — сказать трудно. Из их числа вышел родившийся в 1336 г. Тимур, молодость свою проведший в разбойничьих набегах, затем ставший наместником Кеша, а в 1369 г. забравший всю власть в Средней Азии в свои руки. Обеспечив себе Среднюю Азию, Тимур с 1380 г. начинает длинный ряд походов на Иран, который он опустошил и разорил. К концу XIV в. он уже успел присоединить к иранским владениям Багдад и Месопотамию и глубоко проникнуть в Индию, вывезя оттуда сказочные богатства. В начале XV в. он снова обратился на запад, разбил при Анкаре османских турок, покорил Сирию и заставил подчиниться себе правителей Египта.

После этого, чтобы сравняться с Чингисом, оставалось одно — покорить Китай. Тимур уже было 70 лет, но и это не остановило его. В 1405 г. он двинулся на Китай, но не выдержал тягот похода и умер по дороге.

В организации государства Тимур держался тех же принципов, которые были введены его монгольскими пред-

шественниками. Каждый член его семьи должен был получить свой удел. Это влекло за собой раздробление огромного земельного комплекса, так как члены царского рода непрерывно между собой враждовали, стремились увеличить свой удел за счет своих родственников, что сильно ослабляло их сопротивляемость. Одному из потомков Тимура Шахруху (1404—1447) удалось в течение многих лет более или менее сдерживать распад государства. После его смерти страна все же распадается на составные части, причем иногда владения отдельных членов семьи дома Тимура, как их называют тимуридов, составляют всего-навсего два-три города с прилегающими к нему землями.

Для историков литературы и культуры Средней Азии особый интерес среди тимуридов представляют Улуг-бек, которому Самарканд и Бухара обязаны рядом сохранившихся и поныне прекрасных памятников архитектуры, и султан Абулгази Хусейн-Байкара (ум. 1507 г.), сумевший Герат конца XV в. сделать средоточием всей культурной жизни Средней Азии и собравший вокруг себя лучших персидских и чагатайских поэтов своего времени, во главе знаменитым государственным деятелем и гениальным поэтом Мир Али-Шером Навои.

Раздробленность среднеазиатских ханств подготовила их падение и расчистила дорогу узбекскому роду шейбанидов, которые в начале XVI в. и захватили в свои руки большую часть Средней Азии.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПРИ МОНГОЛАХ

Завоеватели несли с собой ужасное разорение. Зачастую после взятия города жители его истреблялись до последнего человека, а самый город стирался с лица земли. Тяжко отзывалось на оседлом населении и то, что интересы кочевников были прямо противоположны интересам землевладельцев. Монголам были нужны пастбища, а посеивы их интересовали лишь в ограниченной мере. Поэтому завоеванные ими об-

ласти и претерпели различную судьбу. Там, где приход монголов носил только характер грабительской экспедиции, нанесенные ими раны с течением времени залечивались. Правда, это было нелегко, особенно, когда разрушалась оросительная сеть, от которой здесь зависела вся культура. Но все же рядом с развалинами уничтоженных городов (Самарканд, Нишапур и др.) строятся новые города, при благоприятных условиях снова достигающие расцвета. Там же, где монголы располагались на более длительное время, где они сосредотачивали свои кочевья, города исчезали бесследно, как это особенно ярко видно на примере так называемого Китайского Туркестана, ряд крупных центров которого так никогда и не возродился.

Вместе с тем нельзя рассматривать монголов, как делали европейские историки, исключительно как варваров-разрушителей. Понятно, когда переднеазиатские историки изображали их какими-то сказочными чудовищами: раны, нанесенные ими, были слишком болезненны, сознание своего бессилия слишком мучительным. Трудно было бы ожидать от них иного изображения своих врагов. На самом же деле монгольское нашествие внесло и кое-что положительное в жизнь Переднего Востока.

Был, например, положен конец деятельности иранской родовой аристократии. Вместе с твердынями исмаилитов рухнули их последние прибежища, города получили возможность более свободного развития, усилились сношения с Европой, которая в монголах надеялась заполучить себе союзников для борьбы с исламом. Не случайно при монгольских дворах появляются посольства римских пап, пытавшихся обратить монголов в христианство и ничего не добившихся в этом.

Усилилась связь с Китаем, наложившая на искусство этого времени свой отпечаток. Не нужно забывать, что и Средняя Азия, и Иран многому научились у китайских мастеров.

Наконец считать монголов дикарями тоже нет никаких оснований. В XIII в. они уже пользовались письменностью,

сначала китайской, затем уйгурской. Около 1269 г. на основе тибетского письма был выработан новый, так называемый «квадратный» шрифт, продолжавшийся до середины XIV в., а затем, ввиду некоторых неудобств, снова уступивший место уйгурскому. Древнейший, известный нам письменный монгольский документ — хранящаяся в Ленинграде надпись Чингис-хана (1220—1225). Монголы пр.если с собой и свои законы — «Ясы» Чингис-хана, строго регулировавшие действия и деятельность всех носителей власти. Монголы принесли с собой искусство печати при помощи деревянных вырезанных дощечек (ксилография), созданное в Китае. Монгольские правители интересовались научными достижениями завоеванных ими стран. Покоритель Ирана Хулагу изучал химию и минералогию, по его приказу в Мераге была построена обсерватория, обслуживавшаяся китайскими учеными.

Во внутренние дела населения монголы (конечно, не считая избиений во время захвата) вмешивались мало. Это чрезвычайно характерно отразилось на литературных языках покоренных стран. Если арабское завоевание принесло с собой тысячи арабских заимствований в персидском, то даже в самый расцвет монгольского владычества заимствования в персидском из монгольского насчитываются лишь единицами, причем, в основном, это административные термины (аналогичное явление и в русском языке).

Были и попытки использовать монгольский язык. Поэт Пур-Беха-и Джуми написал касыду, в которой чередуются персидские, тюркские и монгольские строки. Казвинец Мелик Саид перевел уже известную нам «Калилу и Димну» на монгольский язык. Но это единичные случаи. Персидский язык продолжает оставаться литературным, хотя область его применения несколько меняется. Отсутствие интереса у монголов к религии ослабляет влияние арабского языка. Светские науки, вырвавшись из-под опеки богословия, целиком переходят на язык персидский, таким образом, оттеснивший арабскую премудрость.

ЛИТЕРАТУРА НА ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ

Художественной литературе на персидском языке монгольское завоевание нанесло сильный удар, от которого она оправилась лишь с большим трудом. При тесной связи профессиональных поэтов с придворной жизнью исчезновение всех мелких дворов должно было полностью прекратить деятельность придворных поэтов. Лишенные материальной поддержки, они не были в состоянии заниматься своим художественным творчеством. Были попытки обратиться к монгольским правителям с касыдами, но завоеватели не знали персидского языка, оценить льстивые комплименты не могли, да и не нуждались в них, опираясь на силу своего меча. Поэтому с момента монгольских завоеваний касыда, занимавшая главное место в персидской литературе, отходит на задний план. Тем сильнее развивается поэзия суфийская, выдвигающаяся в этот период на первое место. Условия как нельзя более благоприятствовали этому. Монголы уничтожили сдерживающее влияние феодального замка. Ослабление духовенства препятствовало ему накладывать запрет на деятельность суфийских пропагандистов и преследовать их. С другой стороны, страшные картины убийства и гибели целых городов и последовавшее за этим обнищание влекли за собой отчаяние населения. Оно искало утешения и находило его в мистике, в отходе от жизни, в погоне за призрачными небесными благами. Проповедники, своими глазами видевшие крушение тронов, уже открыто говорят о ничтожестве носителей власти. Их учение о бренности мира, о непрочности земных благ получает практическое подтверждение в самих исторических событиях. Не случайно у одного из величайших поэтов суфизма Джелаладдина Руми (1207 — 1273), деятельность которого протекала вдали от монголов (в Малой Азии), в стихах проходят яркие и грозные картины «страшного суда», в приближение которого многие тогда верили.

Все это развитие суфийской персид-

ской поэзии протекало почти исключительно на территории Ирана и Малой Азии. Среднеазиатские дервиши по причинам, о которых мы будем говорить дальше, в своих произведениях пользуются почти исключительно языками тюркскими.

СА'ДИ

Говорить о персидской суфийской поэзии нам здесь не придется. Отметим только одного поэта, деятельность которого хотя и протекала вдали от Средней Азии, на юге Ирана, но влияние которого распространилось на весь мусульманский мир. Это знаменитый шейх Са'ди Ширазский (1184 — 1292), чьими стихами украшались даже изразцы дворца Берке-хана в Сарае.

Са'ди родился в Ширазе, образование получил в Багдаде, в известном медресе Низамийе, созданном знаменитым Низам ал-мульком. Большую часть жизни поэт провел в странствиях по всему миру, изъездив его от Индии до Северной Африки. В странствия Са'ди погнало, с одной стороны, избранное им звание дервиша, добровольного нищего, с другой — поиски места, где бы можно было спокойно вздохнуть и не быть постоянно окруженным опасностями. Такого места ему в те годы найти не довелось, а горя испытать пришлось немало, вплоть до плена и рабства у крестоносцев. В конце-концов он вернулся в родной Шираз, где дожил до глубокой старости, пользуясь славой «святого мужа» и живя подавляющими.

Са'ди — яркий и плодотворный писатель, с одинаковым совершенством владевший и арабским, и родным персидским языком, а иногда прибегавший даже к помощи отдельных тюркских строчек. Из арабских стихов его особенно сильное впечатление производит потрясающая элегия на взятие Багдада монголами (1256). Эта элегия написана в форме касыды и начинается словами:

Сдавил я веками слезы, дабы не текли они,
Но так как бушевали воды, то перелились
они через плотину.

Багдадский весенний ветерок! После
разрушения его (Багдада)
Лучше бы пролетать ему над моей могилой.

Элегия наполнена глубочайшей, пламенной скорбью, поэт вспоминает те места, где провел свою юность, и раскрывает перед нами потрясающую картинку творящихся там ужасов.

Но главная слава Са'ди — бессмертный «Гулистан» (Цветник), сборник поучительных рассказов, написанных в 1257 г., зачастую заостренных в форме анекдота и пересыпанных короткими стихотворными вставками. Содержание для него Са'ди почерпнул, главным образом, во время своих бесконечных странствий. Это разные житейские события, из которых Са'ди всегда извлекает какое-нибудь мудрое поучение. Мораль его, однако, невысока. Ее основной принцип — во что бы то ни стало сохранять «доброе имя». Са'ди, стремясь научить читателя житейской мудрости, зачастую советует ему раболепствовать «перед сильными мира сего». Жизнь в представлении поэта настолько тяжка и неприглядна, что единственный выход для человека — на все махнуть рукой и пуститься по миру бездомным нищим.

Никто дервишу нищему не скажет —
За дом и сад скорей мне подать ты давай.
Иль будь своей доволен нищетой,
Иль печень воронью свою ты подавай.

Учение Са'ди во многих своих частях производит на нас отталкивающее впечатление своей безразличностью. Но это показатель того, как жилось тогда «обывателю», не имевшему ни защиты, ни протекции. Только ценой бесконечных ухищрений можно было как-то уберечь свою шкуру и в то же время не окопаться с голоду.

Са'ди широко использовал применявшуюся ранними суфийскими поэтами форму газели, но в противоположность безыскусным творениям народных проповедников вложил в нее все мастерство высокой поэтической техники. Его четыре сборника газелей указали дальнейший путь персидской поэзии. Место трескучей касыды должны были теперь занять глубоко интимные лирические любовные миниатюры. Здесь и жалобы на жестокость возлюбленной, и задорное хвастовство своей любовью

к «дочери лозы», и ядовитые насмешки над представителями сухого, официального правоверия.

Газели Сади возвещают появление одного из величайших лириков всех времен — знаменитого Хафиза, о котором мы дальше скажем.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ

Если монгольская эпоха и была неблагоприятна для художественной литературы, то в это же самое время персидская письменность обогатилась рядом совершенно исключительных памятников исторического содержания. Историческая наука всегда высоко стояла в халифате. И арабы, и иранцы оставили нам ряд ценнейших хроник, писавшихся часто в бесхитростной форме погодной летописи, без всяких пояснений и комментариев. Но иногда авторы хроник вскрывали причины событий и давали пояснения уже вполне исследовательского характера. Вся эта историческая литература, за редкими исключениями, пользовалась научным языком того времени, т.е. арабским.

При монголах деятельность историков получила дальнейшее развитие. Монгольские правители интересовались историей и желали, чтобы их подвиги были закреплены письменно. Покоренные народы тоже стремились изучить своих завоевателей, установить их прошлое и может быть, найти пути для борьбы с ними.

Результатом этих стремлений явилась грандиозная историческая работа на персидском языке везира иранских монголов — Рашидаддина, носящая название «Сборник летописей». Автор задался грандиозной целью — составить свод исторических сведений обо всех народах мира. Характерно при этом отношение составителя к своей задаче. Он говорит, что «история арабов и персов есть только одна из рек, впадающих в море всемирной истории», т.е. он понимает историю народов мира, как единое целое в противоположность многим европейским ученым, которые и теперь под всемирной историей желают понимать только историю европейских стран,

только европейцев считают достойными быть субъектами истории.

Хроника Рашидаддина распадалась на две части: I. История монголов с подразделением: 1. Введение и генеалогия монголов, 2. Предки Чингис-хана, 3. Чингис-хан и его преемники. II. История прочих народов: 1. История древнего Ирана до арабов, 2. История Мухаммеда и халифата, 3. История мусульманских династий в Иране, 4. Исмаилиты, 5. Огуз и тюрки, 6. История Китая, 7. История еврейского народа, 8. История франков, 9. История Индии.

Из этих двух частей для нас особое значение имеет первая. Это единственный в своем роде первоисточник, покоящийся частью на сведениях, полученных от монгольских знатоков истории, частью же на подлинных документах, текст которых иногда автором сообщается полностью.

Вторая часть для нас уже не имеет большого значения, так как значительное количество источников Рашидаддина нам теперь доступно в оригинале.

Труд Рашидаддина дополняют другие исторические работы, возникшие около этого же времени, — как «История завоевателя мира», написанная крупным чиновником монгольского периода Ата Маликом Джужейни (ум. 1283 г.) и описывающая походы Чингис-хана и Хулагу вплоть до уничтожения исмаилитов, «История Вассафа» (1330) и др.

Таким образом, можно уверенно говорить о том, что хотя художественная литература в период монгольского владычества и отступила на второй план, но литературная жизнь не прекратилась.

ЛИТЕРАТУРА НА ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

По мере сужения области персидской литературы возрастает количество произведений на различных языках тюркской системы. Дать полную картину этого процесса, к сожалению, пока еще очень трудно. Слишком мало изучены дошедшие до нас памятники, и, что еще печальнее, дошло из них до нас весьма немного, и то, зачастую, в единственных

экземплярах, искаженных и изувеченных руками малограмотных переписчиков.

Но уже и сейчас можно утверждать, что значение тюркских языков в Средней Азии стало неуклонно расти, начиная с XI в. Мы видели, как в это время почти непрерывно идет приток различных тюркских племен с востока на территорию Средней Азии и Восточного Ирана. Племена одержавших верх вождей пользовались рядом льгот, освобождались от налогов, получали большие земельные наделы, иранское же население наиболее плодородных районов отеснялось на второй план, отходило в климатически менее выгодные районы, как высокогорная часть Восточной Бухары, или же сосредотачивалось в городах, из земледельцев превращаясь в ремесленников и купцов.

Появление монголов не ослабило значения тюркских языков. Монгольский язык в массах распространения не получил и остался языком двора и феодальной верхушки. Напротив, значительная часть переселившихся в Среднюю Азию монголов теряла свой родной язык и отуречивалась. Не удивительно, что уже в начале XIII в. лингвисты начинают уделять большое внимание изучению тюркских языков. В 1215 г. Ибн-Даххан изучает в Багдаде тюркский язык, в Египте составляется дошедший до нас тюркско-арабский словарь. Даже в области официальных сношений с иными державами монголы наряду с персидским применяют и тюркские языки, на одном из которых написана, например, грамота Гуюк-хана (около 1246 — 1248 гг.) папе Иннокентию IV.

К сожалению, пока еще очень трудно уточнить характер этих языков, степень их близости друг к другу и их взаимоотношений. Затрудняется это тем, что как арабский, так, в особенности, уйгурский шрифт совершенно скрывают звуковой состав языка. На основании дошедших до нас памятников установить звучание примененного в них языка можно лишь весьма относительно. Это и не позволяет лингвистам делать достаточно твердые и определенные выводы.

Характерной чертой большей части дошедших до нас памятников XIII в. нужно признать их преимущественно религиозный и притом дервишеский характер. Если развивавшаяся в это время в Иране суфийская литература пользуется исключительно персидским языком, то среднеазиатские дервиши отдадут предпочтение языку тюркским. Это факт крайне знаменательный. Дервиши всегда обращались не к избранной аудитории, а к народу, и если они предпочитали тюркский язык, то это значит, что он был уже доступен широким массам. Можно с почти полной уверенностью сказать, что распространенный в свое время на территории Хорезма хорезмский язык (принадлежавший к языку иранской системы), от которого до нас дошли лишь обрывки отдельных фраз, в середине XIII в. совершенно вытесняется языком тюркским.

Продолжателем дела Ахмеда Есеви явился четвертый его преемник, живший в конце XII — начале XIII века, Хаким Сулейман из Бакыргана (в Хорезме), получивший широкую известность под прозвищем Хаким-Ата. Ему приписываются три сохранившиеся книги — сборник стихотворных молитв, легенда о Марии и книга о страшном суде. Установить точно, при отсутствии старых рукописей, что в этих книгах подлинно и что составляет позднейшие вставки, просто невозможно. Но характер книг позволяет сблизить их с упоминавшимся выше сборником Ахмеда Есеви. Стихи эти также сохраняют народные фольклорные формы, народный силлабический размер. Содержание их — узко правоверное, с сильным налетом дидактики.

Надо сказать вообще, что персидский дервишизм обычно в той или иной мере отклонялся от правоверия, иногда, как мы видели, служил лишь защитной маской для прикрытия мыслей, с исламом совершенно непримиримых. В противоположность этому среднеазиатское дервишество было всегда узко и фанатически правоверно, признавая только одну религию и всячески тормозя развитие истинной науки.

В 1233 г. некто Али, вероятно, тоже родом из Хорезма, написал дошедшую до нас «Повесть о Иосифе». Это все та же легенда об Иосифе Прекрасном, так блестяще обработанная Фирдоуси и потом не раз привлекавшая внимание поэтов. Али, однако, не пошел по пути подражания персидским авторам. Оставаясь верным излюбленной народной форме, он составил свое произведение из длинного ряда четверостиший, с рифмовкой строк по схеме: а а б а. Каждая строка имеет 12 слогов, разрезаемых двумя цезурами на три отрывка: 4||4||4. Форма эта засвидетельствована в фольклоре целого ряда тюркских племен. Интересно ее сходство с персидским рубайи, заставляющее предполагать какой-то общий источник, так как о заимствовании думать здесь довольно трудно.

В изложении содержания легенды автор тоже не связан с персидской поэзией. Он строго следует коранической версии легенды. У него нет и следа влияния суфизма, трактовавшего историю жены Пентефрия Зулейхи, как образец «мистической любви». Видимо, основная задача автора была популяризировать недоступную в арабском оригинале легенду корана среди тюркских племен в наиболее приемлемой и доступной для них форме.

Существовала в то время и светская литература, до нас, к сожалению, не дошедшая. Тот же Мелик Саид, который перевел на монгольский язык «Калилу и Димну», перевел на тюркский «Синдбад-намэ», известную книгу о коварстве женщин, дошедшую до нас в самых различных обработках на всех трех главных языках Переднего Востока и уже в давние времена оказавшую влияние на европейские литературы.

На левом берегу Сыр-Дарьи писал оставшиеся нам неизвестными тюркские стихи шейх-ул-ислам Хусамаддин-ал-Асими.

Несомненно, что в это время еще продолжали в широком масштабе создаваться фольклорные произведения. Нашествие монголов не могло не произвести огромного впечатления на население Средней Азии. Фантастические рассказы

о непобедимом завоевателе должны были разжигать воображение, и к этому времени можно отнести зарождение сохранившейся у казахского народа большой былины о Чингис-хане, изображающей его в облике сказочного богатыря.

Положение литературы мало меняется и в первой половине XIV в. В 1313 г. были закончены «Рассказы о пророках» Бурхан-оглы Кази Насыра, известного под прозвищем Рабгузи и тоже происходящего из Хорезма. Эта работа близко напоминает поэму Али, но излагает не только историю Иосифа, а и других признаваемых исламом пророков. Существенным отличием ее можно считать возвращение к персидскому метрическому стихосложению.

В 1313 г. появилось первое литературное произведение среди туркменских племен. Это возникшая у племени салуров книга «Помощник мюрида», тоже посвященная исключительно вопросам богословской догматики.

ЛИТЕРАТУРА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ

Значительно больший размах приняла литературная деятельность в Золотой Орде. Походы золотоордынских ханов, вызывавшие значительное передвижение их войск и сопровождавших их канцелярий по большой территории, содействовали сближению между собой различных племен. С одной стороны, на Золотую Орду оказывала влияние литература, славившаяся в Хорезме, с другой — через кавказские походы устанавливалась связь как с персидской, так и азербайджанской литературами. Основным языком для Золотой Орды являлся кыпчакский, ибо руководящую роль там играли кыпчаки, русским летописям известные под названием половцев, на Западе получившие название куманов.

Под'ем придворной жизни, роскошь золотоордынской столицы Сарая позволили поэтам здесь освободиться от исключительного влияния религиозной тематики и расширить область светской поэзии. Крупным успехом было появле-

ние поэмы некоего Кутба «Хосров и Ширин». Поэма посвящена Хатун, жене Тинибека, вступившего на престол после 1341/2 г.; она является подражанием одноименному произведению великого азербайджанского поэта Низами (1141—1203). Кутб воспевает любовь сасанидского царя Хосрова Парвиза к армянской принцессе Ширин. Главное очарование поэмы — изумительный образ Ширин, объединяющий в себе мягкую женственность с необычайным величием. Приниженное положение женщин в мусульманском Иране для большинства поэтов не давало возможности создавать величественные женские образы. Низами, живший в Гандже (ныне Кировабад), на самой границе Грузии, в этот образ вложил многое, что ему, несомненно, приходилось слышать о царице Тамаре.

По имеющимся у нас сведениям, женщины в Золотой Орде пользовались относительно гораздо большей свободой, чем в Иране, что доказывает хотя бы уже самый факт посвящения поэмы женщине. Очевидно, поэт хотел показать ей, что ставит ее так же высоко, как Низами свою героиню. Кутб к оригинальности особенно не стремился. Он прямо признается, что хотел дать перевод Низами, о котором восторженно отзывается в начале поэмы. Но, конечно, произведение Кутба не перевод в точном смысле. В ряде случаев поэт намеренно отступает от оригинала и, несмотря на то, что действие поэмы происходит в доисламском Иране, вводит описание обычаев и бытовых деталей золотоордынского ханства. Это первое светское произведение в западной части монгольских владений, и его можно назвать весьма удачным опытом, намечавшим пути для дальнейшего развития светской литературы.

Рядом с поэмой Кутба нужно назвать имевшую большой успех «Книгу любви» кунградца Хорезми, посвященную Мухаммед-ходжа беку, ездившему в 1357-59 гг. послом в Москву, к великому князю Ивану. Произведение Хорезми возникло также под сильным влиянием персидской поэзии и, как поэма Кутба, написано квантитативным персидским

размером. Поэма посвящена страданиям от любви и распадается на одиннадцать страстных любовных посланий, в которые введены весьма эффектные лирические газели. Как всегда, арабский шрифт препятствует точно установить язык произведения, но можно отметить, что словарный запас его ближе к среднеазиатскому тюркскому языку, так называемому чагатайскому (о котором дальше), чем к кыпчакскому. Это, вероятно, объясняется происхождением автора из Хорезма, более тяготевшего тогда к Бухаре и Самарканду, чем к Золотой Орде и Сарая.

Довольно чист кыпчакский язык в небольшой поэме Хусам Катипа «Книга Джумджумэ», написанной в 1369/70 г. Сюжет ее — древняя легенда, разработанная в Иране в XIII в. известным суфийским поэтом Фериддином Аттаром о царе Джумджумэ, череп которого ожил и поведал вопрошавшему его святому всю свою историю. Из здесь о переводе говорить также никак нельзя. Хотя общие черты легенды и сохранены, но Джумджумэ, рассказывая о своем былом величии, совершенно явно описывает двор золотоордынских ханов. Поэма проникнута суфийской мистикой и стремится подчеркнуть бренность и неустойчивость земной славы. Однако причислить ее к религиозным произведениям в тесном смысле слова нельзя, и интерес она представляет весьма значительный.

Известно еще имя некоего Сейфа из Сарая, о котором сообщается, что он писал ответы и подражания многим произведениям сарайских поэтов. Это доказывает, что дошедшие до нас памятники — лишь небольшая часть богатств, созданных в Золотой Орде. Справедливость такого утверждения доказывает весьма значительное совершенство поэзии, что ясно говорит о широко развернувшейся литературной жизни. Поэты уже не борются с языком, как это приходилось делать Юсуфу из Баласагуна, а владеют им уверенно, располагают богатым словарным запасом и смело берутся за трудную задачу соревнования с персидской классической поэзией.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ТИМУРА

Начинавшемуся расцвету был положен предел переворотом, осуществленным завоевателем Тимуром. Захват им власти выдвинул на передний план чагатайские роды, особенно возвысилось племя барлас, из которого происходил Тимур. В отличие от кыпчаков Тимур уже в самом начале своей деятельности сильно отходит от кочевых традиций, поддаваясь влиянию мусульманской культуры. Резиденцией своей он избирал Самарканд.

Превращая на Переднем Востоке целые области в пустыни, десятками тысяч истребляя ни в чем не повинных людей, Тимур, однако, свою столицу желал превратить в своего рода земной рай, центр всей культурной жизни эпохи. Не случайно созданные тогда вокруг Самарканда поселения получили названия по крупнейшим городам: Султанийэ, Шираз, Багдад, Дамаск и Миср (Каир).

В Самарканде Тимур развернул грандиозное строительство, желая масштабами затмить все, что существовало до него. Мечеть Биби-ханым, построенная им для его жены, даже сейчас, когда она так страшно пострадала от времени, поражает грандиозностью и изумительной гармоничностью своих линий. Можно думать, что в его времена это было, поистине, сказочное сооружение. Тимур строил не только дворцы. Он заботился и о восстановлении и расширении оросительной сети, что при благоприятном положении Самарканда возле большой реки (Зеравшана) было сравнительно легко осуществить. Строительные работы позволили Тимуров разбить прекрасные парки, которые в отсутствие самого повелителя (почти всю жизнь проведшего на коне), были открыты и для населения. Все это показывает, что Тимур стремился привлечь людей в свою столицу и удержать в ней насильственным свезенных туда со всех концов мира искуснейших ремесленников. Именно разграбление всего мира ради одного города и накопление совершенно неслыханных богатств позволили искусству и литературе, особенно при преемниках

Тимура, подняться вновь до громадной высоты и создать такие художественные произведения, которые и до сих пор поражают своим совершенством и законченностью.

Прежде чем перейти к характеристике собственно среднеазиатской литературы, нужно сказать несколько слов о тех изменениях, которые произошли в литературной жизни, а также об одном из крупнейших поэтов той эпохи, который хотя и провел всю свою жизнь на юге Ирана, в Ширазе, но повлиял на развитие литературы на всем Переднем Востоке.

Мы видели, какой страшный удар придворной литературе и, в частности, главной ее форме — касыде нанесло монгольское нашествие. Воскрешение старых традиций при Тимуре как будто давало возможность возобновления деятельности придворных одописцев. В самом деле, некоторое оживление касыды в это время наблюдается, но лишь весьма небольшое. Рост города, весьма интенсивная городская жизнь дали возможность литературе существовать не только при дворе феодала. Правда, большей частью эта литература маскируется под суфизм, пользуется его терминологией, но очень часто под этой маской скрывается вполне светская поэзия, и описываемые в стихах радости любви не имеют никакого отношения к мистическим экстазам дервишей XII—XIII вв. Суфийская маска нужна только для того, чтобы предотвратить нападения со стороны духовенства, укрыться от обвинения в неверии за восхваление запретного вина и других наслаждений. В этих кругах касыда больше была не нужна. Они могли ориентироваться на газель, которая уже у Са'ди успела достичь высокого совершенства.

ХАФИЗ

Окончательную победу газели доставил один из величайших лириков мира — знаменитый Хафиз Ширазский (ум. 1389 г.). Хафиз по своей профессии был богословом и преподавал толкование Корана в одном из медресе Ширазе. Богословская работа кормила

его плохо. Он пытался подрабатывать писанием стихов в честь правителей Фарса, но они оказывали ему крайне слабую поддержку и не давали возможности жить более или менее сносно. Стремясь разделаться с бременем душивших его долгов, Хафиз задумал эмигрировать в Индию, но любовь к родному городу, видимо, была слишком велика, и он не решился уехать. Выбраться из нищеты ему так и не удалось до самой смерти.

Наследие Хафиза невелико. От него остался лишь очень небольшой сборник, отредактированный уже после смерти автора его другом Мухаммедом Гуландом. Сборник состоит почти исключительно из газелей, посвященных воспеванию любви, красоты и вина. Внешняя оболочка стихов позволяет сблизить их с суфийской поэзией. Хафиз блестяще использовал характерный ее словарный запас и метафоры. В случае обвинения его в кощунственном легкомыслии он всегда мог бы защитить себя ссылкой на мистическое значение своей поэзии. На самом же деле мистики у Хафиза почти нет, хотя он и не мог вполне освободиться от влияния своих предшественников и временами писал в подлинном суфийском духе. Но чаще всего его слова нужно понимать в прямом смысле и не искать в них каких-то неведомых глубин.

Хафиз использовал совершенство и законченность, которые придал газели уже Са'ди, но преодолел сухость и дидактический тон предшественника и наполнил свои миниатюрные произведения глубочайшей страстью и подлинным искренним чувством. При всей технической изощренности язык Хафиза сравнительно прост и понятен. Это и обеспечило ему громадный, неувядающий успех и позволило многим из его газелей распространиться даже в самых широких массах и частично слиться с фольклором.

Газели Хафиза распространились по всему Переднему Востоку и вызвали бесконечное количество подражаний. Можно сказать, что в течение всего XV века как персидские, так и среднеазиатские поэты стремятся в

какой-то мере приблизиться к этому образу.

Газель, которая до монголов в придворных кругах занимала второстепенное место, теперь окончательно выдвигается на передний план, совершенно оттесняя устаревшую и теперь бесполезную касыду.

РАЗВИТИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЖАНРОВ В ПОЭЗИИ

Хотя распространение газели и внесило известную освежающую струю в литературную жизнь, все же крайняя ограниченность тематики и известная условность газели стесняли ее дальнейшее развитие. Так как сотни поэтов разрабатывали все одну и ту же тему, то уже к концу XV века излюбленные метафоры и сравнения превращаются в штамп, назойливый и надоедливый. Газель становится игрушкой, забавой для препровождения времени, подлинное вдохновение заменяется надуманной, вычурной игрой. Газель усложняется игрой слов, заданными рефренами. Некоторые поэты пишут целые серии газелей, в которых каждая строка кончается названием какого-нибудь цветка: розы, жасмина, фиалки, гиацинта.

Особенно ярко это внутреннее опустошение поэзии выступает в таких, получивших широкое распространение, формах, как хронограмма (тарих) и загадка (муамма). Хронограмма — стихотворение, обычно, в форме газели, описывающее какое-нибудь историческое событие, причем последняя его строка должна содержать дату этого события, выраженную в какой-нибудь фразе. Дело в том, что в арабском алфавите каждая буква имеет определенное цифровое значение, и потому любая фраза, если сложить цифровые величины составляющих ее букв, может выражать какое-нибудь определенное число.

Вся задача поэта в том, чтобы подобрать для хронограммы такую фразу, которая не только выражает самую дату, но характеризует в какой-то мере и самое событие.

Еще дальше от поэзии уходит муамма. Это вид поэтической игры, не допускающий геревода. Небольшое стихо-

творение из двух-трех бейтов содержит в себе в зашифрованном виде какое-нибудь собственное имя. Задача читателя разгадать его. При этом содержание стихов никакого намека на имя не содержит, а при посредстве двусмысленных оборотов намекает лишь на те буквы, из которых состоит загаданное поэтом имя.

Эти формы — яркий выразитель того падения, к которому приводит поэзию отрыв ее от жизни. Если уже в XII в. усложнение поэзии влекло за собою все большие затруднения для ее понимания, то теперь она окончательно отбрасывает все художественные цели и превращается в такую формальную игру, до какой не удалось додуматься ни одному формалисту.

По счастью, не вся литература того времени была такой. Творили, как мы увидим далее, и другие авторы, которым было что сказать, умевшие преодолеть вредную тенденцию и дать законченные произведения.

КЕМАЛЬ ХУДЖАНДИ

Из среднеазиатских подражателей Хафизу нужно в первую очередь отметить талантливого Кемалья Худжанди (ум. 1392 г.). О жизни его известно мало. Надо думать, что Кемаль пользовался в Средней Азии довольно большой славой, он был приглашен в Сарай, где провел четыре года, окруженный почетом и уважением.

Стихи его не богаты содержанием. Это все та же тематика Хафиза — любовные жалобы, жестокость друга, красота и прелесть его и т. д. Характерное их отличие — необычайная законченность формы и почти непрерывная игра слов. Вот небольшой образец:

Я сказал: пропиши мне рецепт для исцеления боли сердца.

Ответил он: как пропишу я тебе лекарство, раз нет тебе лекарства.

Весь смысл этой строки в том, что слово «дава-т» может значить «тебе лекарство», но в то же время и «чернильница». Т.-е. второе полустигшие допускает и второй перевод: «как пропишу я тебе лекарство, раз нет чернильни-

цы». Такого рода игра высоко ценилась в то время, да, нужно сказать, что и до сих пор остроумная, веселая шутка, построенная на игре слов, всегда найдет на Востоке внимательного слушателя. Изошренная техника поэзии при всей своей крайности пробуждает внимание к родному языку, гибкость в обращении с ним, создает прекрасную почву для блестящих импровизаций в этом роде.

Не касаясь других поэтов, развлекавших Тимура в часы его досуга, отметим еще, что при нем продолжается работа придворных историков, принесшая столь блистательные плоды при монгольских правителях Ирана.

Победа Тимура выдвинула рядом с персидским языком, попрежнему занимавшим, как мы видели, видное место в литературной жизни Средней Азии, еще один язык — чагатайский, или, как лучше его называть, среднеазиатско-тюркский — близкий предок узбекского. Этот язык начинает соперничать с языком Золотой Орды и в XV в. достигает блестящего развития под пером одного из крупнейших поэтов Средней Азии — Мир-Али-Шера Навои, о котором мы еще будем говорить подробно. Проследить первые шаги литературы на этом языке, к сожалению, пока еще невозможно, ибо памятников второй половины XIV в. до нас не дошло. Известно, однако, что подвиги Тимура были воспеты не только по-персидски. Имелась большая поэма о них и на тюркском языке, до сих пор пока не найденная. Некий Сефиаддин Хутталани написал на этом же языке прозаическую историю Тимура. Существовала, повидимому, и лирическая поэзия, но, кроме имен отдельных авторов, нам о ней ничего не известно.

Из фольклорных произведений к этому времени можно отнести зарождение былин об Едигее и Тохтамыше, получившей в дальнейшем большое распространение и известной в вариантах казахском, крымско-татарском, ногайском, туркменском, каракалпакском и башкирском. Едигей был темником (т.-е. начальником «тьмы» — отряда в десять тысяч человек) в Золотой Орде. Несматря на верность и преданность Едигею,

гея, хан Тохтамыш, видя его большое влияние, задумал устранить его и предать казни. Глубоко оскорбленный этой черной неблагодарностью, Едигей бежал к Тимуру, и с его помощью Тимуру удалось лишить Тохтамыша престола. Хотя былина эта и содержит ряд эпизодов более или менее фантастического характера, но в основе ее лежат подлинные исторические факты, подтверждаемые показаниями хроник этого периода.

Таким образом, мы видим, что во второй половине XIV в. литература в Средней Азии начинает снова выходить из того оцепенения, в которое ее повергло монгольское нашествие.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ТИМУРИДОВ

Настоящий расцвет литературы падает на XV в. при наследниках Тимура, историками Переднего Востока называемых обычно тимуридами. Распадение государства после смерти Тимура на ряд отдельных уделов имело своим последствием то, что вместо одного центра, которым при Тимуре был Самарканд, таких центров возникает уже несколько. Все многочисленные сыновья и внуки Тимура стремятся урвать себе кусок его огромной страны, что влечет за собой опять бесконечные междоусобные войны и целый ряд столкновений между родней.

После нескольких тревожных лет Самаркандом овладел Шахрух (1404), уступивший столицу своему сыну Улугбеку (1447) и перенесший свой двор в Герат. С этого времени начинается соревнование между двумя крупными центрами, из которых каждый стремится привлечь к себе лучшие силы страны. Хотя междоусобица и должна была неблагоприятно отразиться на культурной жизни Средней Азии, приводя к непроизводительному расходованию материальных богатств, но, повиdimому, награбленных Тимуром сокровищ было так много, что их хватило почти на целое столетие. Тимуриды, продолжая политику своего отца и деда, не только покровительствуют литературе и науке, но развивают и архитектуру.

Самарканд, Герат, Бухара украшаются рядом построек, и сейчас вызывают восхищение. Большие успехи делает музыка, для которой изобретается особая система нотной записи. Любовь к книге, желание расширять и украшать свои библиотеки заставляют тимуридов покровительствовать каллиграфии и искусству книжной иллюстрации. Тимуридская рукопись становится таким произведением искусства, с которым тщетно стала бы соперничать любая и даже самая совершенная типографская техника. В этих книгах все гармонически подобрано, начиная от переплета, роскошных украшений заглавных страниц, самого почерка и кончая изумительными миниатюрами, иллюстрирующими содержание книги. Из художников-миниатюристов нужно особенно отметить гениального Кемаладдина Бехзада (точные даты не известны, умер около 1530 г.). Бехзад разбил несколько условную, сухую схему миниатюры монгольского периода, имеющей в себе что-то застывшее, иконописное, и дал неподражаемые по своей живости, непосредственности и вместе с тем тщательной отделке произведения. Школа Бехзада — высшая точка подъема миниатюры в Средней Азии и Иране.

Однако не следует представлять себе расцвет искусств в тимуридскую эпоху, как общий расцвет, экономическое процветание страны в целом. Все эти достижения были созданы только для узкого круга потребителей, рассчитаны на двор и окружавшую его среду приближенных, с которой имели связь и представители наиболее богатых купцов. Роскошь тимуридского двора отнюдь не должна обозначать, что и широкие массы в это время благоденствовали. Конечно, повывисшийся спрос на предметы роскоши в известной степени отражался на благосостоянии ряда базарных профессий — ювелиров, кузнецов, медников, гончаров, токарей, — содействовал и обогащению купечества. Но грандиозные постройки далеко не всегда вызвали улучшение жизни масс, ибо частенько на эти постройки людей гнали принудительно.

Среди самих потомков Тимура инте-

рес к наукам и искусству был значителен. Большинство их было грамотно, а некоторые занимались даже литературными и научными трудами. Первое время языком их научной и литературной деятельности попрежнему оставался персидский, но именно в их среде, а иногда и при прямой их поддержке началось то блестящее развитие тюркской литературы, о котором мы уже упоминали. Два сына Шахруха — Улугбек и Байсонкор — даже вели переписку по литературным вопросам, споря о превосходстве одних поэтов над другими. Байсонкор занимался редактированием классических произведений персидской литературы. Хусейн-ибн-Байкара, завладевший во второй половине XV в. Гератом, известен интересными стихами и работами по истории литературы. Бабур (ум. 1530 г.), основатель империи великих моголов в Индии, — автор небольшого сборника лирических стихотворений и крайне интересных мемуаров на тюркском языке.

Улугбек был первым ученым на среднеазиатском престоле. Из всех областей человеческого умения он выше всего ценил науку. В предисловии к своему астрономическому труду он высказал мысль, что народы и религии исчезают, литературные языки подвержены изменению, но достижения точных наук остаются навсегда. Эта мысль приближается к совершенно правильной концепции о возможности для человека, в конце-концов, точно познать истину. Для Улугбека в 1420 г. около Самарканда была построена китайскими специалистами оборудованная по последнему слову техники обсерватория. Это было трехэтажное здание, с изображениями девяти небес, девяти небесных сфер с градусами, минутами, секундами и десятными долями секунд, семи планет, неподвижных звезд, земного шара с делением на климаты, с горами, морями, пустынями и т. п. Повидимому, все это были громадные, хорошо выполненные фрески на стенах здания.

Улугбек двенадцать лет работал над астрономическими таблицами и закончил этот большой труд только в год своей смерти, т.-е. в 1449 г. Труд его

имел для Востока большое значение и долгое время являлся основным пособием по астрономии.

Не все тимуриды отличались такими культурными склонностями. Шахрух, в противоположность своим сыновьям, был ревностным мусульманином, строго соблюдал посты, призывал ко двору чтецов Корана. Общаться он предпочитал с дервишами, в Средней Азии являвшимися защитниками строжайшего догматизма и боровшимися против всех светских наук. В Герате строжайше преследовалось запрещенное исламом вино. Особые чиновники проникали в дома частных лиц и, находя там вино, выливали его на землю. Однажды, когда выяснилось, что запретный напиток есть во дворцах двух царевичей, сына и внука Шахруха, правитель сам поехал к ним и выполнил обязанности блюстителя правоверия.

ДЖАМИ

Из поэтов, писавших только на персидском языке, нужно в первую очередь назвать задававшего тон всей персидской поэзии этого времени Абдаррахман Джамии (1414—1492). Поэт этот был дервишем и пользовался репутацией святости и огромным авторитетом при гератском дворе. Почти всю жизнь, за немногими выездами (как, например, в Самарканд), он провел в Герате, окруженный почетом и уважением. Джамии — сторонник суфийской философии, но в духе иранского дервишизма, т.-е. не скованный фанатичным правоверием среднеазиатских дервишей.

Автор он необычайно плодотворный. Можно сказать, что нет такого жанра персидской поэзии и прозы, в котором бы он не попробовал своих сил. После него осталось три лирических дивана, семь больших поэм, названных им «Семь престолов» (название созвездия Большой Медведицы), и ряд специальных работ по богословию и суфийской философии. Почти все эти произведения в той или иной мере — подражание классическим образцам персидской литературы, но, несмотря на это, художественные их достоинства весьма значительны. Из семи поэм Джамии че-

тыре — подражания произведениям упоминавшегося уже Низами, одна — «Иосиф и Зулейха» — разрабатывает ту же тему, что и названная выше поэма Фирдоуси, одна — «Саламан и Абсаль» — развитие темы, намеченной еще Авиценной.

Здесь нужно сказать несколько слов о том, что собой представляют такие подражания. В литературе Переднего Востока уже с XII в. распространяется обычай писать «назира» — ответы на произведения предшественников или современников. Такой ответ, если он пишется на лирическое произведение (касыда, газель), должны сохранить размер и рифму оригинала, в отношении содержания же может, как угодно, от него отличаться. Когда ответ пишется на эпическое произведение, то сохраниться должны заглавие (в известной, приближительной степени), размер оригинала и основные, узловые моменты фабулы. Мотивировка, психология героев, их моральный облик могут совершенно не совпадать. С первого взгляда может показаться, что при таких условиях эти ответы должны быть только перепевами уже давно известных тем. Нет слов, что у посредственных поэтов такие ответы и бывали часто лишь плохой копией хорошего оригинала. Но в руках крупного мастера, при всей скованности поэта фабулой, поэма иногда до такой степени менялась, что напоминала оригинал лишь в очень отдаленной степени.

Именно это можно сказать и про поэмы Джами. В его «Меджнун и Лейли», написанной в ответ на знаменитую поэму «Лейли и Меджнун» Низами, узловые моменты те же. Изображается история двух влюбленных, разлученных по воле жестоких родителей и трагически гибнущих от обуревающей их роковой страсти. Завязка и развязка те же самые. Но ход повествования, мотивы, психология, добавочные персонажи различны, как различна и социальная направленность поэмы. Таким образом, не нужно думать, что «назира» означает несамостоятельность автора, хотя, конечно, они показывают некоторое характерное для того времени безразличие к содержанию.

Мы видели, как постепенно лирика превращалась в формальную игру. Создать большую поэму в 6—7 тысяч строк, совершенно лишенную содержания, было бы невозможно. Поэты идут по иному пути. Они берутся за сюжет, уже многократно до них разработанный. Поэты как бы вступают в единоборство со своим предшественником. Они хотят показать, что могут разработать эту же тему еще лучше и полнее. Произведения их были рассчитаны на читателя — знатока, тонкого ценителя, способного углубляться в одну единственную строку, выискивая в ней новые тонкости и всячески ее комментируя. Такой читатель берется за книгу не с той целью, чтобы узнать из нее что-то новое, найти такую сторону жизни, которая ему ранее была неизвестна. Зная заранее сюжет, он с трепетом берет книгу и думает: как-то разрешено такое-то положение, какое обоснование найдено для такого поступка, как поэт сумел описать красоту того или иного героя? Нужно помнить, что мы имеем дело с литературой эпохи феодализма, когда традиция и все, что ею освящено, стоит на первом месте и всякое новшество встречается с сомнениями.

Только учитывая сказанное, можно понять, что отсутствие оригинальных тем у Джами отнюдь не должно влечь за собой помещение его в разряд третьестепенных авторов. Джами во всех областях, за которые брался, показал себя законченным мастером, при всех трудностях умевшим найти новую точку зрения на вещи. Недаром величайший поэт и крупнейший знаток литературы Навои преклонялся перед Джами и после его смерти посвятил ему целую книгу, описывающую их встречи и наполненную страстной скорбью об утраченном любимом друге.

Лирика Джами находится под влиянием Хафиза. Главное внимание он уделяет любовной газели, иногда достигающей у него высокой степени изящества. При всем своем суфийском пантеизме Джами иногда легок и остроумен и любит веселую шутку.

В произведениях Джами нет ни одного славословия, ни одной касыды, обра-

щенной к вельможам в расчете на пощадку. В Джами, как в фокусе, отражается все предшествующее развитие литературы. Он — своего рода итог, сумма всего, что было накоплено за эти столетия. По его произведениям можно уверенно судить, что в это время было жизненным и что успело отмереть.

ИСМАТ

Чрезвычайно типична фигура бухарского поэта Исмата (ум. 1426 или 1437 г.). Исмат, как указывают историки, происходил из богатой бухарской семьи; обычно прилагается ему титул «ходжа» заставляет думать, что его родичи были крупные купцы. Несмотря на обеспеченное положение, Исмат пристрастился к поэзии и добился такого успеха, что его стихи сделались любимым чтением бухарцев. Его привлек к своему двору неудачливый внук Тимура султан Халиль (1404—09), изучавший под его руководством литературу. Падение Халиля для Исмата было большим ударом, и он посвятил покровителю несколько трогательных стихотворений. Некоторое время он продолжал работать при Улугбеке (еще до его вступления на престол), но затем, разочаровавшись в деятельности придворного поэта, совершенно бросил поэзию.

Творчество Исмата богато и разнообразно. Тут и поэма, крайне эффектно излагающая легенду о жизни одного из суфийских проповедников, Ибрахим ибн-Адхама, переплетающуюся с манихейской версией легенды о Будде. Тут и эффектные газели, и касыды. Вот образец его касыды:

Однажды ко двору Сулеймана нашего
 Я пошел, лучше порога которого не может
 быть даже Кыбла.
 Увидел я, над треном величия распростерт
 Счастливый шатер, который не менее неба.
 В совете его председательствовал мудрец,
 Проницательнее которого не было
 на просторе праха,
 Мудрец своей эпохи, благодатный эмир,
 которого никогда
 Не надо было испытывать насчет мягкости
 нрава.
 Прочитал я в прославление и восхваление
 его касыду,

Какой не найти в сокровищнице последних
 дней мира,
 Пожаловал он мне коня, подобного которому
 из зверей и птиц
 По слабости не было в мире.
 Конь, который, словно сломанный лук,
 С головы до пят был лишь кости да кожа.
 Так как от отсутствия корма он стал,
 словно дух,
 То не было его телу никакой надобности
 в душе.

Стреножил я его паутиной,
 Ибо не было у него силы порвать эту нить,
 Открыл я ему рот, чтобы взглянуть
 на зубы,
 Но не было у него во рту ничего, кроме
 слюны разочарования.
 Спросил я: «С чьим клеймом пришел ты
 в мир?»
 Ответил: «В то время мира и Адама еще не
 было и признака».

Эта касыда чрезвычайно интересна грубым нарушением старых традиций. Поэт начинает с традиционных трескучих восхвалений, изложенных, правда, очень сжато, и сразу же переходит в совершенно явную пародию. Нужно особо отметить, что «конь», как это подчеркнуто, из личных конюшен султана. Тогда будет понятна вся острота насмешки. Вот еще два небольших отрывка, показывающие, какие мысли начали волновать Исмата:

Если чист ты от природы и чисты твои
 взгляды,
 Не возлагай надежд на дворцы низких.
 Корку сухого хлеба со своего стола
 Лучше вкушать, чем розовый сахар
 с чужого.
 Мирись одной костью, как Хума,
 Слово муха, на мед подледов не лети.
 Бей в царский барабан во дворце нищеты,
 А товар обоих миров не покупай и за одно
 зерно ячменя.

★

Я спросил разум: о, руководитель в делах,
 Равного которому по мудрости не указать!
 В чем смысл того, что из сокровищницы
 пропитания
 Пищи на одну ночь и то не дают добрым?
 То, что дают гнусным глупцам,
 Того проницательным мудрецам не дают.
 Скупцам дают богатство и роскошь,
 Щедрым и пощадки жизни не дают...
 Царские сокровища дают подлецам,
 А труженику не дают и полхлеба.

Если в первом отрывке звучит достаточно часто встречающийся в суфий-

ской поэзии мотив презрения к мирским благам, то второй поднимает уже значительно более неприятный для правителей вопрос. Исмаат, вероятно, мог собственными глазами убедиться в том, что искуснейшие бухарские ремесленники еле-еле сводили концы с концами, в то время как придворная челядь утопала в богатстве и не знала, чем бы себя улажить. Революционных настроений здесь еще нет, но все же ясно, что городские круги уже начинают осознавать всю безнадежность своего положения, начинают думать о справедливости. Может быть, именно эти мотивы и были причиной того, что, как сообщает историк литературы этого времени Даулатшах Самаркандский, в конце XV в. поэзия Исмаата была уже почти совершенно забыта в придворных кругах.

ДАУЛАТШАХ

Несколько слов о Даулатшахе (ум. около 1494—95 гг.). Это тоже один из приближенных гератского двора, втянутый в литературную жизнь стараниями Навои. Он происходил из придворных кругов и, повидимому, был хорошо обеспечен и получил хорошее образование. До пятидесяти лет, по собственному его признанию, он вел жизнь праздную и беспутную. Достигнув этого возраста, он призадумался и устыдился своей никчемности. Тогда, уединившись, стал думать о какой-нибудь литературной работе. Ему пришло в голову заняться составлением жизнеописаний знаменитых поэтов. Он принялся за этот труд и в 1487 г. закончил большую работу, получившую название «Записки о стихотворцах», в которой изложил все собранные им сведения о наиболее известных поэтах, писавших на персидском языке. Труд этот он посвятил своему покровителю — Навои. Эта работа в течение долгого времени служила главным источником для всех европейских ученых, изучавших историю персидской литературы. Первый пересказ ее на немецком языке был опубликован еще в 1818 г. в Вене. Можно сказать, что и до сих пор влияние книги Даулатшаха на ориентали-

стов крайне велико. Она, бесспорно, представляет огромный интерес, написана живо и ярко, помимо биографических анекдотов и исторических справок содержит целую хрестоматию очень неплохо подобранных образцов произведений различных поэтов. Но при всех своих достоинствах это типичная работа аристократа-любителя. Она субъективна в оценках и крайне небрежна в отношении истории. Хронология Даулатшаха зачастую фантастична, он со спокойной совестью дает иногда для одного и того же автора чуть ли не пять различных дат смерти, совершенно не считаясь с тем, допускают ли исторические сопоставления такие даты или нет. Эти недостатки книги, понятно, отразились и на европейских ученых, пользовавшихся ею, и внесли в целый ряд вопросов путаницу, которую постепенно удастся разрешить только в наше время. Вместе с тем, работа Даулатшаха показывает настроения гератского двора, стремившегося так или иначе втянуть всех в занятия литературой и искусством.

ХУСЕЙН ВАИЗ

Другой прозаик этой эпохи — Хусейн Ваиз Кашифи (ум. 1504—05 гг.) — гератский проповедник. Слава его покоится на обработке уже неоднократно упоминавшейся нами «Калилы и Димны», под его пером получившей название: «Светила звезды Канопа». Наш обзор показал, какое небольшое место в истории среднеазиатской литературы занимает художественная проза. Этому не нужно удивляться. В феодальный период художественная литература, как правило, пишется в стихах. Проза для этого времени — только язык науки. Такое явление характерно не только для Востока, совершенно ту же картину можно наблюдать и в истории западных литератур.

В тех случаях, когда, в виде исключения, художественное произведение пишется прозой, язык его должен быть близок к поэзии. Он изобилует длинными ритмично построенными периодами, пересыпанными внутренней рифмой,

украшенными поэтическими вставками. Такая проза перегружается всякими художественными приемами, метафорами, сравнениями и т. п.

В смысле эlegantности проза Кашифи вплоть до XIX в. считалась на Востоке верхом совершенства. В этой огромной книге каждая фраза отделана, как ювелирное произведение тончайшей филигранной работы. Техника Кашифи, однако, очень часто идет в ущерб ясности изложения. Почти на каждой странице читатель наталкивается на умышленно введенные туда затруднения. Перелистать такую книгу на скорую руку нельзя. Она требует работы и безукоризненного знания языка, только тогда

мастерство ее автора дойдет до читателя. Следовательно, и здесь мы видим характерную черту придворной литературы, ее аристократизм, сознательно заставляющий авторов писать для немногих избранных, отворачиваясь от масс, по их представлению, не достойных их труда.

Книга Кашифи почти четыре столетия была образцом для всех прозаиков, стремившихся перещегоолять его. Последствия были ужасны. Если среди европейцев господствует представление о литературе Востока, как о чем-то вычурно непонятном, то в этом повинна в значительной степени именно эта книга.

(Окончание следует.)

БИБЛИОГРАФИЯ

К. ПАУСТОВСКИЙ. «СЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ».

Детиздат, 1939 г., стр. 112, Ц. 2 р. 75 к.

Представляя законченное, самостоятельное целое, «Северные рассказы» развивают одну сюжетную линию. Они говорят об интернациональной солидарности борцов революции, о родстве поколений, о мощи народа, победившего самодержавие и воплощающего в действительность самые дерзновенные мечты лучших людей прошлого.

Действие первого из них происходит в январе 1826 года, в мрачную эпоху царствования Николая I, когда на Аландских островах был задержан пытавшийся бежать за границу декабрист Щедрин, раненный во время восстания.

В рассказе повествуется о том, как самоотверженные люди, прапорщик Бестужев, его невеста Анна Якобсен и солдат Тихонов помогли бежать арестованному декабристу. Прапорщик Бестужев и солдат Тихонов заплатились за эту помощь своей жизнью. Анна Якобсен от горя сошла с ума.

Действие второго рассказа происходит в дни Великой Октябрьской революции. Его сюжетно связывает с первым судьба внука декабриста, бежавшего в Швецию. Внук декабриста в наше время становится командиром миноносца «Смелый».

Правнук солдата Тихонова, Алексей Тихонов, сделавшийся известным художником, случайно знакомится с правнучкой Анны Якобсен, которая приехала погостить к внуку декабриста Щедрина. Они, потомки похороненных в одной могиле прапорщика Бестужева и солдата Тихонова, могут свободно любить друг друга. Таково содержание третьего рассказа. Это про них написал Бестужев в своем предсмертном прощальном письме к Анне Якобсен: «Я думаю об этих временах и завидую прекрасным женщинам и отважным мужчинам, чья любовь расцветает под небом веселой и вольной страны. Я завидую им и кричу в душе, как кричит узник из мрачных казематов: «Не забывайте нас, счастливицы».

Паустовский откликнулся на этот призыв. И перед читателем встали живые люди, испытывающие глубокое чувство, способные на самоотверженные поступки.

«Северные рассказы» можно отнести к лучшим произведениям Паустовского. В них особенно ярко выражено своеобразие писателя, как художника. Читатель узнает мастера описания

чуткого пейзажиста. Выразителен и лаконичен язык писателя. Сильны и впечатляющи, положенные в основу рассказов, факты.

В своей новой книге Паустовский проявил и свойственную ему исследовательскую жилку, свою любовь к памятникам старины, к преданиям, письмам и документам исторического прошлого нашей родины.

Среди советских писателей Паустовский стоит особняком. Он пришел к творчеству своеобразным путем. В очерке «Вторая родина» Паустовский пишет: «Моим любимым занятием было чтение географических карт. В слово «читать карту» я вкладывал особый смысл. Прочтешь карту — это еще не значило разобраться в топографических знаках, определить направление или точно вычислить расстояние от истока до устья извилистой реки. Я читал карту и странствовал по незнакомым странам».

У Паустовского впервые заговорила фантазия художника за таким «чтением» географической карты, и это оставило известный отпечаток на всем его творчестве.

Не случайно Паустовского часто сопоставляют с Гринем. И, действительно, подобно Грину, Паустовский в первых своих книгах искал для своих героев необычайных приключений в необыкновенных странах. Но после «Кара-Бугаза» поиски необычайного у Паустовского пошли совсем в другом направлении. Писатель увидел необыкновенное в окружающей его действительности. Он понял, что страна, строящая социализм, — это самая чудесная страна в мире, страна самых неожиданных возможностей.

Изучая природные особенности малоисследованного залива, Паустовский встретился с интересными людьми, натолкнулся на любопытные воспоминания, нашел новых героев для своих произведений.

Но изображение характеров больше всего затрудняет Паустовского. Бродяги и моряки, которыми заполнены его первые книги, несмотря на свою экстраординарность, очень похожи друг на друга, а также на героев Конрада, Лондона и других писателей. Ученые и исследователи, которым автор уделит много места и внимания в своем последующем творчестве, созерцательны и пассивны и в боль-

шинстве случаев изображены в момент, когда у них только просыпается сознание необходимости принять участие в классовой борьбе. Герои в исторических произведениях Паустовского тоже не борцы, а жертвы, гибнущие от жестокости самодержавия.

Персонажи Паустовского часто больше напоминают портреты из картинной галереи, чем живых людей. Особенно это относится к женщинам. Анна Якобсен в «Северных рассказах» ярче изображена на портрете, который висит на стене, чем в столкновениях с людьми. Также призрачна ее правнучка Мари Якобсен. Туманны и одновременно похожи друг на друга Невская в «Колхиде», Сметанина в «Черном море», Мария Трините в «Судьбе Шарля Лонсевилля», Хотидже в «Романтиках». Люди в книге Паустовского подчас производят впечатление застывших на полотнах фигур, порой кажутся силуэтами, движущимися на экране. Происходит это потому, что нет перспективы, нет проекции вглубь, которая делает нарисованные портреты живыми людьми. Автор словно боится утонуть в сложном мире психологических переживаний и облегченно скользит по поверхности, показывая лишь те думы и чувства, которые проявились во внешнем поведении героя.

Зная, как трудно дается Паустовскому изображение характеров, надо особенно отметить удачу писателя, создавшего в «Северных рассказах» впечатляющие образы прапорщика Бестужева, солдата Тихонова, командира Камчатского полка Киселева и его помощника Мерка. Все они выглядят не как смутные призраки, а как настоящие живые люди.

Честный, прямой, открытый характер Бестужева виден в столкновении его с великим князем и в ссоре с командиром Киселевым, и в отношении его к бежавшему декабристу, и в трогательной заботливости об Анне, и в сердечности к Тихонову.

В этой новой книжке писателя можно проследить, как талантливость автора помогает преодолеть казавшиеся органически свойственные ему недостатки. Так, умение выбирать для своих произведений решающие моменты в человеческой жизни помогло Паустовскому создать сюжетное напряжение в первом рассказе. Здесь каждое положение оправдано, и каждый раз вновь происходящее событие вызывает неожиданный поворот. Рассказ читывается до конца с одного вдоха.

Насколько значителен здесь успех писателя, можно понять, если вспомнить, что построение сюжета всегда было особенно трудным делом для Паустовского. Он откровенно признается: «Сюжетно строить вещь для меня всегда мучительно». Даже в лучших вещах писателя сюжет легко распадается на составные части, органически не связанные друг с другом, как, например, в «Кара-Бугазе», или выступает слишком обнаженно, как в «Созвездии Гончих Псов».

Во втором и третьем «Северных рассказах» снова обнажается неумение Паустовского строить сюжет. В «Северных рассказах» от

поисков необыкновенного у Паустовского осталось стремление к необычным положениям. Если неожиданность положений в первом рассказе вполне оправдана, то во втором и в третьем рассказах заметна некоторая нарочитость. Встречи потомка спасенного декабриста Щедрина и потомков его спасителей построены на неожиданностях и случайных совпадениях. Соединить судьбу трех поколений, конечно, было задачей нелегкой. И Паустовскому не удалось скрыть от читателя некоторую искусственность в построении сюжета. Конечно, правнук солдата Тихонова мог полюбить правнучку Анны Якобсен, но автору понадобилось очень много случайностей, чтобы соединить их. А это изобилие случайностей, как известно, вызывает недоверие. Некоторая нарочитость и условность, соединяющая эти рассказы, выплывает на поверхность и бросается в глаза.

«Северные рассказы» обнажают также прием Паустовского говорить вскользь, в воспоминаниях, в разговорах о происшедших событиях, об их классовой сущности. Самым слабым в сборнике является второй рассказ. Главный герой этого рассказа Щедрин, в самый разгар борьбы рабочих за власть, лежит в лазарете и узнает о революции из разговоров с навещающими его матросами.

Иногда герои «Северных рассказов» выражаются очень выспренно и странно одинаково. Так, например, Бестужев говорит Анне: «Анна, вы утешили несчастного, потерявшего надежду на жизнь. Сила моей любви к вам так велика, что я не имею достаточных слов, чтобы ее выразить».

Шкипер Пинэр, взявшийся доставить беглецов в Швецию, выражается почти таким же стилем: «Корабль велик, на нем хватит места для всех. Я с радостью приму на борт еще одного офицера, и если мне не изменяет мой старый шкиперский глаз, то и прелестную девушку, его невесту».

Все это дань увлечениям первых лет творческого пути, когда в поисках необычайного заключался для писателя смысл творчества, когда диалоги в его произведениях дополняли описание пейзажей от имени самого автора, когда отрешенность от жизни казалась писателю добродетелью.

Показывая в третьем рассказе картину будущего, Паустовский проявил вдруг неожиданную для него бедность фантазии. В его празднике будущего слишком много внешнего, декоративного блеска.

Говоря о таких своих произведениях, как «Кара-Бугаз», «Колхида», «Черное море», Паустовский постоянно подчеркивает мысль, что главная тема во всех этих вещах заключается в описании природных богатств края. Люди находятся у писателя на втором плане.

В очерке «Как я работаю над своими книгами» Паустовский говорит о «Кара-Бугазе»: «В книге я хотел показать не только завоевание пустыни, но и людей, то совершенно новое племя людей, которое выкалос в этой потрясающей схватке с природой».

О том, что Паустовский сумел почувствовать, понять и полюбить этих людей, говорят его «Северные рассказы».

Судьбы интеллигенции всегда привлекали внимание писателя. В биографических очерках, посвященных Шевченко, Левитану, Кипренскому, и в других, связанных с прошлым нашей родины, произведениях Паустовский не только выразил свою ненависть к угнетавшему народ царизму, он продолжает показывать силу ве-

ликого народа, богатого талантливыми, честными и глубоко любящими свою родину людьми.

В «Северных рассказах» Паустовский снова возвращается к теме об интеллигенции, и сказанное им в разное время, в разных произведениях, сжато повторяет в истории поколений тех представителей интеллигенции, которые отдали жизнь за счастье своего народа.

Галина Колесникова



ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ. «КАК РАБОТАЛ ДОСТОЕВСКИЙ».

Изд. «Советский Писатель», 1939 г., стр. 334. Цена 5 руб.

Книга Георгия Чулкова интересна, прежде всего, как чуть ли не первый общий очерк жизни и творчества писателя, написанный на основании не только окончательных текстов, но и рукописных материалов.

Опубликование советскими издательствами таившихся под спудом записных тетрадей Достоевского к «Бесам», «Братьям Карамазовым», «Идиоту», «Преступлению и наказанию», а также трех томов его переписки (четвертый и последний еще не опубликованы, как и записные тетради к «Юнострку», замечательные выдержки из которых приводит Чулков), расширило возможность изучения Достоевского. Чулков первый воспользовался этим для создания сводного очерка о Достоевском, и в этом его заслуга, тем более несомненная, что значительная литературная квалификация позволила писателю автору сделать свою книжку доступной для тех категорий читателей, которые, интересуясь жизнью и работой писателя, не склонны самостоятельно разбираться в писательских архивах. Кропотливо собранные Чулковым факты жизни и творчества Достоевского, разбросанные по отдельным, часто малодоступным рядовому читателю, журнальным статьям и предисловиям, и поэтому известные полностью довольно ограниченному читательскому кругу, не могут не представлять значительного интереса.

Особенно удачно подобраны многочисленные выдержки из писем и рукописей самого Достоевского, которые щедро цитирует Чулков, отводя им чуть ли не две трети своей книги.

Условия, в которых работал Достоевский, история журнальных и цензурных мытарств, каких немало испытал писатель, и, самое главное, умело и толково составленная по черновым записям история текста, — вот основное содержание книги Чулкова. Из сообщенных Чулковым фактов создается довольно полная фактическая картина житейского и творческого пути Достоевского. Описательная сторона книги Чулкова, несомненно, стоит на значительной высоте. Если не считать отдельных оплошностей, вроде пропуска рассказа «Скверный анекдот», небрежного изложения истории текста «Бедных людей», не дающего полного пред-

ставления о всей тщательности работы Достоевского над своим первым детищем, изложение отличается большой технической добросовестностью.

Приятен, в частности, тот педантизм, не всегда присущий нашим литературоведам, который Чулков проявляет в отношении источников, из которых он почерпнул свои сведения. Ценной частью книги является составленная Чулковым детальная библиография как публицистических статей самого Достоевского в период журнала «Время», так и коллективного изыскательского труда советских литературоведов.

Значительно хуже обстоит дело с теоретической стороной книги.

Позиция «защиты» Достоевского, на которой стоит Чулков, настойчивое стремление «обелить», оправдать писателя, в научном отношении оказываются не менее вредными, чем стремления зачеркнуть значение творчества Достоевского из-за его реакционных воззрений последнего периода. Такая позиция приводит Чулкова к одностороннему и тенденциозному освещению фактов из жизни и творчества писателя. Стремясь демократизировать Достоевского в глазах читателя, Чулков умалчивает о многих фактах последнего периода его жизни и в силу этого часто не сводит концов с концами.

Так, упоминая о борьбе Достоевского со славянофилами в начале 60-х годов, Чулков забывает сказать о том единении с ними писателя, которое имело место в семидесятые годы, когда Достоевский оказался на правом крыле далеко не однородного славянофильского движения.

Одобряя Достоевского за насмешливое отношение его к «Переписке» Гоголя, пародированной им в «Селе Степанчикове», Чулков ни слова не сказал о странном, отмеченном уже критикой факте чрезвычайной близости воззрений Достоевского, в частности, его проповеди христианского смирения и личного самоусовершенствования в последний период его жизни, с идеями этой же гоголевской переписки. Не довольствуясь сообщением подлинных фактов, свидетельствующих о стремлении Достоевского отмежеваться от его реакционных союз-

ников и о том теплом чувстве, которое до конца жизни испытывал Достоевский по отношению к своему революционному прошлому (в этом смысле особенно интересно сообщение Чулкова о малоизвестной статье Достоевского «Старина о петрашевцах», запрещенной царской цензурой), Чулков не останавливается перед созданием в этом смысле легенд. Совершенно бездоказательно автор пытается создать легенды о настороженности Достоевского по отношению к Победоносцеву, что решительно не подтверждается материалами переписки Победоносцева и Достоевского. Эта переписка свидетельствует о том, что подчинение Достоевского Победоносцеву было добровольным. Неправ также Чулков, говоря о чуждости Достоевского «византийской монархической» доктрине Победоносцева. Как будто было мало византийского и монархического в воззрениях самого Достоевского в последний период его жизни.

Нужно думать, что грандиозная фигура Достоевского не нуждается в подобном прикрасивании и зашубывании фактов. Несомненно, что установка покойного Чулкова мало способствует выяснению и установлению действительной картины о Достоевском. В этом смысле Чулков склонен толковать высказывания Достоевского слишком прямолинейно и упрощенно, а это приводит его к ряду неправильных заключений. В частности, совершенно незаконно то упорное стремление автора создать мифический образ религиозного демократа Достоевского, опираясь на его антипомещичьи высказывания. Вся нелепость подобного намерения станет ясна, если вспомнить о том, что антипомещичьи стрелы Достоевского, о которых говорит Чулков, направлялись не столько против сторонников старого порядка (с которыми, кстати, совершенно напрасно Чулков в одном месте отождествляет помещичью литературу), сколько против помещиков либерального и революционного склада, вроде Герцена, которого не раз имел в виду Достоевский, говоря о «помещичьей» революции, да и упрекал их Достоевский не только за сытость, но и за равнодушие к якобы «народному православию» и политическую оппозиционность, чуждую, по мнению Достоевского, смиренному русскому народу.

Самое отношение Достоевского к помещичьей сытости, к аристократической привилегированности было гораздо сложнее, нежели показывает его автор. Наряду с отталкиванием, здесь имело место и притяжение, сказавшееся, в частности, в том, что ненависть Достоевского к аристократу Тургеневу, бывшему для него как бы олицетворением барства, началось с зависти и восхищения перед ним: «Аристократ, богач, красавец,— не знаю, в чем природа отказала ему! Я буквально влюбился в него»,— пишет он брату о своем первом знакомстве с Тургеневым. Общественная психология Достоевского была чрезвычайно двойственной, и об этой двойственности не надо забывать исследователю его творчества, желающему действительно понять Достоевского во

всей его сложности и противоречии. Усиленно подчеркивая одну сторону, Чулков забывает о другой, если не считать самых общих деклараций. Это лишает автора ключа к пониманию тех фактов, которые он приводит в своей книге. Он или не объясняет их вовсе или объясняет неправильно.

Самая антибуржуазность Достоевского, которую Чулков риторически объясняет беспокойным сердцем поэта и тем, что Достоевский — «друг коммуниста Спешнева и почитатель Фурье» — не мог примириться с психологией мещанского общества, шла из того же источника, что и антикапитализм Герцена, то-есть из сознания своей принадлежности к старому культурному слою, из приверженности к старой дворянской культуре, представителем которой ощущал себя Достоевский.

Реальный общественный облик Достоевского, ярко выступающий из его писем и рукописей, в авторских комментариях Чулкова оказывается затухающим.

Отсутствие научного метода и тенденциозность мешают Чулкову правильно понять творческую психологию Достоевского; его комментарии к авторским признаниям Достоевского скорее затемняют их смысл, чем разъясняют его, явно умаляя огромный образ гениального художника, поработавшего в последние годы своей жизни властью ложного догматического мировоззрения. Несомненно, что именно оно было непосредственной причиной той внутренней неорганизованности и неслаженности целого в последних произведениях Достоевского, которые ощущали и его современники, и сам Достоевский. Недалою беспоестанно, начиная с «Идиота», — первого романа, в котором Достоевский попытался воплотить свое положительное мировоззрение, Достоевский жаловался на мучительность творческого процесса и на свою неудовлетворенность результатами собственного труда.

Попытка Чулкова в книге о том, как работал Достоевский, обойти молчанием творческую трагедию художника и опорочить авторские признания Достоевского в этом смысле тем, что они якобы являются плодом мнительности, совершенно незаконна. Приписанная Чулковым Достоевскому мнительность не помешала Достоевскому признать своим шедевром «Преступление и наказание», одобрительно отзываться о повести «Игрок», безошибочно отметить лучшие места в «Братьях Карамазовых». Объективность Достоевского к собственным произведениям совершенно несомненна, как несомненно и соответствие его отзывов о них, за отдельными исключениями, объективной действительности.

Совершенно неубедительна попытка Чулкова защитить роман Достоевского «Идиот», который сам писатель считал, и вполне основательно, своей неудачей. Замечательное признание Достоевского в том, что он не видит полного образа Мышкина, что «главный герой очень слаб», гораздо более соответствует истине и гораздо дороже нам, чем голословно-восторженные отзывы об «Идиоте» Чулкова. Востор-

женное отношение Чулкова к образу смиренного князя, бескровному и искусственному, как все смиренные образы Достоевского, не случайно. Причина его в том явно благосклонном отношении к положительному идеалу Достоевского, которое сквозит на протяжении всей книги Чулкова, обнаруживаясь, в частности, в избитых выдержках, посвященных «христианской мифологии» писателя, и в неосновательном стремлении Чулкова представить великого скептика Достоевского, наперекор его собственным заявлениям, искренно верующим и религиозным человеком.

Здесь, как и в ряде других отношений, Чулков является эпигоном декадентски-символистской критики о Достоевском, которая в лице Мережковского, Вл. Соловьева, Розанова и других видела в Достоевском прежде всего религиозного вождя. В частности, им принадлежит миф о театральности творчества Достоевского, являющийся одним из основных тезисов книги Чулкова. Сам термин «роман-трагедия», которым настойчиво и тенденциозно оперирует Чулков на протяжении всей книги, впервые был употреблен одним из крупнейших теоретиков декадентства Вяч. Ивановым, другом и сподвижником Чулкова, в интересной его статье о Достоевском. С утверждением Чулкова о том, «что все элементы творчества Достоевского сценичны и театральны», решительно нельзя согласиться.

Творчество Достоевского, его психоанализ, где он обнаруживает себя действительно единственным и неповторимым по своеобразием художником, не только не театрально, но и совершенно непередаваемо на сцене, так как основной чертой переживаний героев Достоевского является чрезвычайное богатство и разнообразие внутренних оттенков и бедность внешнего выражения. Лучшим подтверждением нашего мнения может служить хотя бы постановка «Преступления и наказания». От гениального романа Достоевского на театральной сцене в сущности почти ничего не остается, несмотря на мастерство актеров. Любопытно, что сам Достоевский, глубокий и пронизательный ценитель искусства, относился отрицательно к инсценировке своих вещей на сцене, высказывая ту мысль, что существо его прозаических произведений противоречит духу театра. Несомненно, что он был гораздо ближе к истине, нежели его последующие исследователи.

Из всех этих примеров (к ним можно было бы присоединить еще ряд других) очевидна необходимость чрезвычайно критического отношения к теоретической стороне книги Чулкова. Это не умаляет той ценности ее описательной стороны, о которой мы говорили в начале рецензии, тем более, что всегда неудачные теоретические рассуждения играют в книге явно второстепенную роль.

М. Полякова

Поправка: В № 8 журнала в очерках И. Новича — «Н. Г. Чернышевский» на стр. 229 вкралась опечатка. Вместо «материализм Чернышевского все же сочетался с диалектикой» следует читать: «Материализм Чернышевского все же не сочетался с диалектикой».

Редколлегия: **Ф. В. Гладков**

Л. М. Леонов

А. Г. Малышкин

В. П. Ставский

Ответственный редактор **В. П. Ставский**

Редакция: Москва 6, Пушкинская площадь, 5
Издательство: «Известия Советов Депутатов Трудящихся СССР».

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
РЕЧЬ ПО РАДИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР ТОВ. В. М. МОЛОТОВА 17/IX 1939 г.	3
Алексей ТОЛСТОЙ — Путь к победе, пьеса	5
Акад. И. ОРБЕЛИ — О поэме «Мгер из Сасуна»	45
Аветик ИСААКИАН — Мгер из Сасуна, поэма, перевод с армянского	47
Вит. ФЕДОРОВИЧ — Вино, рассказ	58
Эдуард САМУЙЛЕНКО — Будущность, роман, перевод с белорусского, окончание	69
Симон ЧИКОВАНИ — Воспоминание детства, стихотворение	146
Кирилл ЛЕВИН — Рассказы о военных топографах	147
Николай НЕЗЛОБИН — Неузнаваемая страна, очерк	180
Александр ЯКОВЛЕВ — Преступление Володи Грибова	196

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

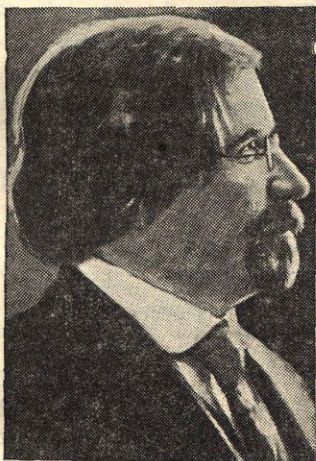
Акад. И. ОРБЕЛИ — Давид Сасунокий	210
В. ГОЛЬЦЕВ — Симон Чиковани	216
Б. ВАЛЬБЕ — О творчестве К. А. Тренева	230
И. НОВИЧ — Н. Г. Чернышевский, продолжение	242
Е. БЕРТЕЛЬС — Литература народов Средней Азии, продолжение	264

БИБЛИОГРАФИЯ

Галина КОЛЕСНИКОВА.— К. Паустовский. «Северные рассказы»	282
М. ПОЛЯКОВА — Георгий Чулков. «Как работал Достоевский»	284



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА



В связи с 80-летием со дня рождения великого еврейского народного писателя ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА

Государственное
издательство

«Дер Эмес» выпускает

первое полное

собрание сочинений

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА

(на еврейском языке)

□ □ □

ИЗДАНИЕ СОСТОИТ ИЗ 32-х ТОМОВ, содержащих все литературно-художественные и критико-публицистические произведения писателя и его письма. В издание также ВКЛЮЧЕНЫ БИОГРАФИЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА и ТОМ ИССЛЕДОВАНИЙ «О ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМЕ».

ИЗДАНИЕ БУДЕТ ХУДОЖЕСТВЕННО ОФОРМЛЕНО, выпущено в лидериновых переплетах и отпечатано на хорошей бумаге.

ТОМА ИЗДАНИЯ БУДУТ ВЫХОДИТЬ В ПОРЯДКЕ ИХ НУМЕРАЦИИ в течение 1939—1942 гг. Издание распространяется по предварительной подписке.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

ЦЕНА КАЖДОГО ТОМА 7 р. 50 к., ВСЕГО КОМПЛЕКТА — 240 руб.
ПРИ ПОДПИСКЕ ВНОСИТСЯ ЗАДАТОК В РАЗМЕРЕ 7 р. 50 к.,
который БУДЕТ ЗАСЧИТАН ПРИ ВЫДАЧЕ ПОСЛЕДНЕГО ТОМА.

ПЕРЕСЫЛКА ПО ПОЧТЕ ЗА СЧЕТ ПОДПИСЧИКА.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: во всех магазинах, киосках, библиотечках и отделах подписки отделений КОГИЗа, а также непосредственно Главной конторой подписных и периодических изданий — Москва, Маросейца, д. № 7.